

5

ISSN 0206-8680

КИНОСЦЕНАРИИ

1991

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Сценарии

- 3 *Р. Тюрин*
МАТРОССКАЯ ТИШИНА
- 24 *В. Черных*
**ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
И СОБАК**
- 48 *Р. Литвинова*
НЕЛЮБОВЬ
- 70 *А. Алиев*
В ЧИСТОМ ПОЛЕ — ЧЕТЫРЕ ВОЛИ
- 94 *Н. Кожушаная*
ЖЕНЩИНА НОМЕР ДВА
- 114 *Э. Петри, У. Пирро*
**СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ ГРАЖДАНИНА
ВНЕ ВСЯКИХ ПОДОЗРЕНИЙ**

Мемуары

- 149 *А. Чечулин*
«ЛЕНФИЛЬМ», ПЯТИДЕСЯТЫЕ...

Точка зрения

- 164 *Д. Мережковский*
Пророк русской революции
- 184 *М. Ямпольский*
Лицо-маска и лицо-машина
- 192 **Наши авторы**

5

1991

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

Е. Райская «Бабочки»
Р. Ибрагимбеков «Убийство Столыпина»
А. Усов «Насилие»
Е. Полтораки «Любовь к армии»
Р. Хуснутдинова «Женщины Земли и Вселенной»
П. Попогребский «Юбилей чиновника»
Д. Джавахишвили, Н. Манагадзе, Э. Ахвледиани «Ной»

Главный редактор Е. ГРИГОРЬЕВ

Редакционная коллегия:

О. АГИШЕВ, Ю. АРАБОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,
В. ГОЛОВАНОВ, О. ГОРБАЧЕВА, В. МАШУКОВ (зам. главного редактора),
Б. МЕТАЛЬНИКОВ, В. СОЛОВЬЕВ,
В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ

Ответственный секретарь Н. РЮРИКОВА

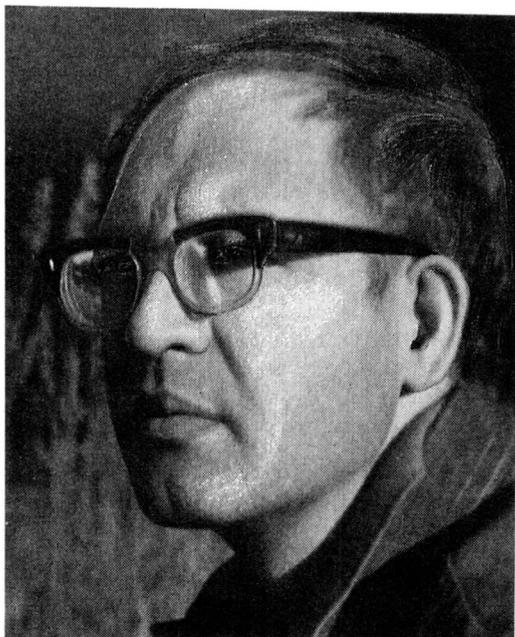
Технический редактор Л. МАРКОВА

Корректор Е. ПЫЛАЕВА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. По всем вопросам подписки и доставки журнала обращаться в местные отделения «Союзпечати». О типографском браке сообщать в Чеховский полиграфический комбинат.

Сдано в набор 21.06.91. Подписано к печати 26.07.91.
Формат 70×100 1/16. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 24,2.
Усл. кр.-отт. 16,24. Печать офсетная. Бумага типогр. «Сыктывкар».
Гарн. таймс. Тираж 20 600 экз. Заказ № 1035. Цена 2 р. 00 к.
Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр».
123376, Москва, Дружинниковская ул., 15.
Тел. 205-30-01.
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12.
Телефон 299-47-74.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по печати.
142300, г. Чехов Московской области.



Рудольф
ТЮРИН

МАТРОССКАЯ ТИШИНА

Берлин пал. Война кончалась. Союзники Бпили на Эльбе водку. И батальон, выстроенный по тревоге на бетонке румынского аэродрома, выглядел как-то мирно, почти добродушно. Двумя неровными длинными шеренгами, до предела нагруженные боезапасом, парашютными ранцами и оружием, десантники стояли перед готовыми к вылету транспортными самолетами.

Собственно говоря, никаким батальоном, тем более воздушно-десантным, эти четыре сотни людей никогда не были. Но приказ сверху строжайше и категорически предписывал любым способом, хоть с воздуха, настичь и напитать пехотой танковые корпуса Рыбалко, повернутые от Берлина на помощь восставшим чехословакам, и этот безоговорочный приказ спешили исполнять, надергав где попало, с бору по сосенке, некомплектные роты, команды, подразделения.

Капитан Евсеев еще раз обходит десантников, проверяя готовность, и приказывает начать погрузку. С тяжелым ревом один за одним транспортные самолеты уходят в воздух. А еще через час десять батальон, выброшенный по ошибке штурманов на немецкие танки из группы Шернера, прорывающиеся в плен к американцам, вынужден принять незапланированный, трагический бой на полное уничтожение.

Радист расстрелян еще в воздухе. Но его рация жива. Обнявшись со своим мертвым молоденьким сержантом, она летит в радост-

ных, чистых небесах под звуки штраусовского вальса — радист перед самым выбросом успел поймать Лондон, — в то время как внизу, на земле, уже начался ад. Сорокапятитонными танками давят людей, грузы, сухари, минометы. Нещадно, безжалостно мстят слабенькому, попавшему впросак батальону за павший Берлин, за проигранную войну.

Парашют капитана Евсеева вспыхивает над самой землей. Горящий купол накрывает его с головой. Но погибает капитан чуть позже, успев все же организовать яростное в своей обреченности сопротивление.

Через несколько минут все кончено. Уронив стволы пушек, дымясь и потрескивая окалиной, в разных концах поля догорают два тяжелых танка и несколько бронетранспортеров. Белеют запаханые в землю человеческие конечности, обломки оружия, куски строп и шелка. Ветерок тащит через поле чей-то чудом уцелевший парашют с остатками кровавого тряпья в ляжках. Стоит великая тишина. Батальона больше не существует.

Но вдруг хрипит, щелкает и оживает раздавленная, вмятая в пахоту рация. Звучат позывные Москвы. Глубокий, сотрясающий тишину голос диктора объявляет, что работают все радиостанции Советского Союза. Следует сообщение о капитуляции гитлеровской Германии. Война окончена. И, словно салютя чужой победе, взрывается один из танков. Эхо взрыва катится и затихает над израненной, сожженной землей.

Потом гранитная, торжественная, серая под июньским дождем Москва. Барабанный бой. Шеренги облитых дождем касок. Парад Победы.

...А она сидит прямо на полу посреди своей комнаты, сраженная полученной похоронкой.

...И марширующая через Красную площадь гвардия кидает к ее ногам поверженные фашистские знамена и штандарты.

...Извещение с траурной полосой по диагонали лежит на столе; отсюда же с застекленной фотографии, улыбаясь, глядит на нее муж, погибший капитан Евсеев; перед портретом — на помин души — горящая свеча и блюдечко с водой.

Двое притихших несмышленных мальчишек, ее сыновья, глядят на мать испуганно, и соседка по квартире, дряхленькая тетя Паша, утирая слезы в морщинках, уговаривает: — А вы поплачьте, милая, поплачьте...

...Знамена продолжают падать к ее ногам. К ногам миллионов осиротевших семей. К порогам сел, городов и пожарищ. Знамен на брусчатке — завал: белых и черно-красных, со значками, лентами, свастикой, но барабаны все продолжают бить, солдаты — идти, штандарты — падать, падать и падать...

С остановками и отдыхом, точно больная, она поднимается по ковровой дорожке старинного особняка. Это хореографическое училище. Здесь Елена Витальевна ведет класс. Уже с площадки она слышит звонкие голоса, смех, рояль, глухие удары ног об пол. Елена Витальевна останавливается, ждет, когда отпустит одышка. Усилим воли сгоняет с лица следы изможденности, достает зеркальце, приводит себя в полный порядок. Окружающих не должно касаться ее горе.

И входит.

Класс полон света и воздуха. Высокие лепные потолки. Сияющий паркет. Зеркала. Снаряды для упражнений, рояль, стойка, шведская стенка. Мальчишки с криком и хохотом развлекаются игрой в чехарду. Девочки, сбившись в стайку, гадают на картах. И лишь прилежная Ира Цалик занимается возле стойки разминкой.

В следующее мгновение карт уже нет. Рояль смолкает. Все приведено в надлежащий порядок. На приветствие — дружный ответ:

— Здравствуй, Елен Витальевна!

Спешат занять места у снарядов.

— Луговец, завяжи свой тапочек. Клестова, зайдешь ко мне на минутку. Остальные начинают разминку.

Прямая, с откинутой головой, Елена Витальевна идет в комнату педагога. Следом входит Клестова.

— В классе опять появились карты. И я огорчена. Ты староста группы.

Клестова, потупясь, не отвечает.

— Карты приносит Анциферова? Вы гадали?

— Теперь так делают многие. Каждый ждет кого-то с войны, с фронта. Если бы вы видели, как Анциферова умеет. Не глядя сказала, что Захарченко влюблена в Сережу Юдина, а он изменяет ей, дружит с Наденькой Соколовой. Все точно, мы чуть не упали!

— Анциферова сегодня же отнесет карты домой, и чтоб в классе я их больше никогда не видала. Ты свободна. Скажи, чтоб начинали с аккомпаниатором, я сейчас выйду.

Через мгновение Елена Витальевна появляется в классе. По ее хлопку все останавливаются.

Мальчики в трико и девочки в балетных пачках окружают ее, в них столько свежести, чарующей юности, чистоты, но Елена Витальевна — сейчас и, может быть, уже навсегда — ко всему этому безмолвна.

— Начинаем отбатывать атитюд возле стойки. Напоминаю: «атитюд», ударение на последнем слоге, с французского означает «поза». Это одна из красивейших поз классического танца. Опорная нога в прямом положении, другая в полусогнутом поднята сзади вверх, на уровень талии и выше. Одновременно вверх идет рука. При правом атитюде — левая. При левом — правая. Показываю. При стойке на пальцах танцовщицу поддерживает партнер. Мы начнем исполнять атитюд со ступни, из позиции три с «плис». Показываю еще раз...

Класс ловит каждое движение. Затем у стойки начинаются бесконечные повторы, поправки, наставления.

— Лепихина, слишком резко входишь в позицию. Мягче, еще мягче. Цалик, стоп! Запомни, танцовщица с дурным «плис» никогда не станет солисткой. Ее танец всегда будет жестким, как движения механической куклы. Не дрови, забудь про фазы, делай все слитно. Так, еще так, еще...

Урок закончен. Елена Витальевна остается одна. Запирается на ключ в комнате. Садится. Здесь, без посторонних, она может расслабиться. Гремящий рояль мешается в ее воображении с барабанным боем марширующих гвардейцев. Поверженные штандарты вновь падают к подножию Мавзолея, к курганам братских могил, к ее ногам. Она сползает со стула на пол. Ложится ничком. Зажимает уши, чтоб не слышать, забыть все это. И только теперь, через много часов после получения страшного известия, она начинает плакать.

Через год, в августе 1946 года, она знакомится с директором крупного машзавода.

В тот воскресный день она выезжает с сыновьями за город. Лес полон солнца, мягкого света и уже по-осеннему тих. Минув дачный поселок, они идут к лесной речушке. Дети сбрасывают сандалии. За железнодорожным полотном с открывшегося откоса машут вслед проносщемуся дальневосточному экспрессу. Затем пятилетний Филиппок устремляется по тропинке вниз.

На берегу, у воды, спит дядя. Он лежит на спине. Лицо закрыто фетровой шляпой. У ног насторожены три бамбуковых удилища. Поодаль в кустах стоит дядин лимузин со спящим шофером. Филиппок приближается, садится перед дядей на корточки. Сопит, силится заглянуть под шляпу. Дядя похрапывает. Значит, можно заняться удочками. Филиппок пробует потянуть одно удилище, другое. Третье тащит на себя. Из воды к ногам выскакивает на блесне рыбина. Это так неожиданно, что мальчик кричит, бросается прочь. Проснувшись и поняв, в чем дело, дядя хохочет. Подзывает мальчика. Так Филиппок знакомится с Сарычевым.

Прибегает с сердитым лицом Димка. Еще издали кричит младшему:

— Филипп, поросенок ты этакий! Мама пошла тебя в лесу искать!

Увидев рыбину, Димка умолкает, восхищенно трогает ее пальцем:

— Живая!

— А ты думал! — хвастает Филиппок. — Она знаешь как с нами дралась, когда ее из воды тащили!

Потом все трое, прихватив рыбину, идут к маме. Дружной компанией, разложив на газете еду, закусывают. Пьют из термоса чай. Гоняют с мамой, тоже сбросившей туфли, в футбол. Ищут грибы. Аукаются. Босиком бегают по речной отмели, распугивая стайки пескарей.

Потом уже не пригородным поездом, а машиной Сарычева возвращаются домой, на улицу Матросская Тишина. Сарычев, плотный, широкогрудый, с тяжелым лицом маршала Жукова и такой же коротконогий, помогает выгрузиться, дотащить до крыльца рюкзак, грибы, банку с драгоценной рыбиной. Долго стоит с мамой возле машины, о чем-то говорит, курит. Наконец прощается и уезжает.

Они отпирают дверь. Втаскивают на лестницу рюкзак, рыбину, грибы, плед и подаренные Сарычевым удочки. И никто из них не догадывается, что уже давно, спрятавшись в подворотне соседнего дома, за ними наблюдает безногий человек на колесной тележке.

Дверь запирается. Выждав время, человек на колесочке выкатывает из подворотни. Это капитан Евсеев, на которого год назад пришла похоронка, но узнать его трудно — он отпустил бороду.

В гостинице — это дешевая койка для крестьян при одном из колхозных рынков — Евсеев сдает постель, чайник, полотенце. Платит за ночлег и, забрав свой тощий мешок, выбирается на улицу. Теперь дорога одна — на вокзал. А оттуда — куда глаза глядят, на все четыре стороны.

Возле Каланчевки его с ног до головы окатывает проехавший лужею грузовик. Строят высотный дом. Мостовая разбита. Кругом траншеи, горы камня, щебня, досок, строительных материалов и труб. В довершение ко всему — такой уж незадавшийся день! — он умудряется свалиться в траншею теплоцентрали. Уже темно. Безлюдно. Кричать и просить помощи совестно. Пытается выбраться из скользкой глиняной ямы сам...

Его вытаскивают двое шедших мимо мужчин. Помогают найти водоразборную колонку и умыться. Затем втроем, выложив из мешка хлеб и консервы, распиивают бутылку водки. Оба — Семочкин и Жогов — бывшие танкисты, инвалиды войны. Семочкин в мятой армейской шинели, надетой прямо на нательную рубаху, материт все подряд: строителей, погоду, жизнь, водку. Жогов молчит, жует, ходит с консервной банкой за водой к колонке.

Выпив водки, Семочкин заходится долгим надсадным кашлем. Сплевывает:

— Побит весь. Врачи говорят: лечись. На курорт воздухом дышать ейай. Путевку бесплатную дают. А я положил. На врачей, на путевку, на воздух. Одно легкое сам выхаркал. Запросто. Плюну — шматки ихнего легкого так и летят. А потребуете для здоровья, я им и второе выхаркаю, не жалко.

Закуривают.

— Семья есть?

— Нет.

— Родственники где-то?

— Никого нет, — отвечает Евсеев.

— А чего ж на вокзал? — спрашивает Семочкин.

— Из госпиталя. Мне теперь все равно куда.

Семочкин берет выпитую бутылку. Глядит на свет. Убеждается, что пустая. Ставит обратно.

— Силу свою мы на фронте положили. А теперь энергии жить по-людски не хватает. Оттого, к примеру, и водку эту, заразу, пьем. Вот у тебя семьи нет. А у меня была. Была, а теперь нету. Жена к другому, к здоровому ушла. И дочь с собой забрала. Что мне осталось: пенсия, комнатах и будь здоров? А думаешь, тоже не мог бы устроиться? Да у меня тут генерал, однополчанин, дважды Герой Советского Союза! А она у меня дочь забрала! Спрашивается: за что я в тех танках с ребятами горел? За Родину, правильно! А вот стрелял неправильно! Надо было сперва эту сучку пришить, а уж потом эсэсовцев коло-

шматить!

Семочкин зло сплевывает. Прикуривает от своей папиросы другую — курит он почти непрерывно.

— Работу думаешь искать? Или пенсии хватит?

— Без работы нельзя, — отвечает Евсеев. — А может, учиться заочно стану. У меня до войны два курса юридического кончены.

Семочкин снова берет бутылку. Убеждает, что там не прибавилось. Швыряет ее в сторону колонки.

— Не знаю, какой с тебя юрист, а на работу, к сапожному делу, если желаешь, тебя мой Жогов хоть завтра пристроит. Спать негде? У меня сегодня ночуй! Неделю живи, месяц, год — сколько захочешь. Правильно, Жогов, говорю?

Жогов кивает: правильно.

— Ну и все! Об этом умолкай. А теперь в гости, к моему однополчанину генерал-лейтенанту Бурлакову поедем! Два раза с ним в одном танке горели, в сорок втором и сорок четвертом. Теперь он нам бутылку поставит. Жогов, подь таксиста слови.

— Платить-то чем будем? — ворчит Жогов.

— Генерал заплатит. Я об копейках этих и разговаривать с тобой не желаю, — отвечает Семочкин.

Жогов уходит. По пути поднимает выброшенную бутылку, сует в карман.

Через час все трое стоят на площадке перед дверьми генеральской квартиры. Приводят в порядок сапоги. Евсеев отдает Семочкину запасную офицерскую гимнастерку, потому что явиться пред лицо генерала в нижней рубашке и шинели — стыдно. Обнаружив у Жогова пустую бутылку, Семочкин впадает в бешенство:

— Еще будешь позорить меня, прибушь!

Выкидывает бутылку во двор. Дает последние наставления:

— Уговор такой: генералу никаких вопросов не задавать. Жен, детей, семейных не поминать. От него тоже жена ушла. Вести интеллигентно. Жогов, тебе говорю, понял? Сиди, на закуски вниманья не обращай, участвуй в культурном разговоре. А еще лучше молчи, понял?

— Ну понял.

— Тебя, извини, как зовут? — спрашивает он Евсеева.

— Михаил.

Семочкин нажимает кнопку звонка. Дверь открывается молодой опрятный сержант.

— Здравия желаем. Павел Александрович дома?

— Он плохо себя чувствует. Просил никого не принимать.

— Доложи, — приказывает Семочкин. — Гвардии старший лейтенант Семочкин с однополчанами прибыл.

Сержант уходит. И вскоре возвращается.

— Приказано зайти, раздеться и ждать. Павел Александрович сейчас выйдет.

Пятикомнатная квартира генерала огромна. Вдоль стен сплошные стеллажи с книгами. Мебели мало. Во всем солдатский порядок, прибранность. Чистота — ни пылинки.

Сержант раскидывает на стол свежую скатерть. Носит из холодильника бутылки, закуски, фрукты и дорогую, как видно трофейную, посуду.

— Видал? — подмигивает Семочкин. — В белых перчаточках служит! Это у генерала новый. А тот что был — нету. Тот меня знал. Да, видно, не прижился, не подошел. Тут тоже не всякий выдержит.

Семочкин не успевает договорить. Отворяется дверь столовой. Входит генерал. Семочкин и Жогов по-военному вскакивают. Генерал высок, сухощав, с нервным лицом и резкими складками возле крупного носа и рта. Оба рукава его кителя пусты. У генерала нет рук.

— Товарищ генерал, разрешите доложить: прибыли в гости! — сообщает Семочкин.

Сержант вносит жаркое, курицу, водку. Разливает по рюмкам. Он точен и сдержан в движениях, как метростроитель. Садятся за стол. Генерал замечает:

— Семочкин, ты никак уже выпил? Жогов, почему не держишь товарища?

— Держу, товарищ генерал, — отвечает Жогов. — Только он вырывается.

— Не более двух рюмок, — оправдывается Семочкин. — И то по причине воскресного настроения. И вот товарища встретил, в одной школе учились.

Генерал переводит взгляд на Евсеева. Тот представляется:

— Евсеев.

— Гвардии капитан, но только пехотный, — добавляет Семочкин.

— Где воевали? — спрашивает генерал.

Евсеев отвечает. Называет часть, фамилию командира дивизии. Выясняется, что в 44-м в Белоруссии, под Осиповичами, танковый корпус Бурлакова вводился в прорыв немецкой группировки в полосе той дивизии, где воевал Евсеев. Находятся и общие знакомые. Но больше генерал эту тему не задевает.

Он сидит очень прямо, перед налитой и нетронутой рюмкой. Так же прямо, будто проглотив аршин, сидит Жогов.

— Жогов, почему не ешь? Не вкусно?

— Вкусно, товарищ генерал!

Бросив опасливый взгляд на Семочкина, Жогов берет вилку.

Посидев несколько минут, генерал поднимается. Как по команде поднимаются и остальные.

— Прощу извинить,— говорит генерал.— Плохо себя чувствую. Семочкин, остаешься с гостями здесь. Есть, пить, чувствовать себя как дома. Алексей может принести патефон. Прощу прощения, мне хочется лечь.

Кивнув на прощание Евсееву, генерал уходит. Сержант провожает его в спальню. Помогает снять китель и лечь. Над постелью генерала прикреплен к стене лист бумаги со столбиком слов по-английски. Генерал учит языки.

— Словарик сменить?

— Оставь до завтра, не выучил,— отвечает генерал.

Сержант гасит свет, легионько щелкает баллуками.

— Спокойной ночи, Павел Александрович.

— Спокойной...

...Вернувшись в столовую, сержант устало садится к столу. Снимает с правой руки белую нитяную перчатку. Залпом выпивает рюмку водки. Снимает другую перчатку. Выпивает. Семочкин заводит патефон, ставит пластинку. Размеренная, грациозная мелодия наполняет комнату. Звуки бегут, сталкиваются, настаивают друг друга, будто журчит ручеек и тихо звенят льдинки. За столом, опустив головы, сидят и думают о чем-то четверо трезвых мужчин.

Заводской цех. Движущиеся под крышей балочные краны, локомотив с двумя мощными платформами на железнодорожной ветке. Сарычев с группой инженеров осматривает готовый узел огромного горизонтально-расточного станка. Затем покидает цех.

Приемная. Сбросив рабочий халат, Сарычев проходит к себе в кабинет. Вызывает секретаршу.

— Разыщите в цехах Трофимова и передайте через диспетчерскую: начальников цехов и отделов к тринадцати ноль-ноль — ко мне. Вопрос на месте.

— Хорошо. Сводку за вчерашний день я положила вам в папку.

— Седьмой цех данных так и не подал?

— Сейчас я еще раз напомню.

— Не нужно, я сам.— Снимает трубку: — Седьмой? Какого дьявола взяли моду тянуть суточную сводку? Буду наказывать! Да, наказывать! Диктуйте...

— Вал за сутки. План двадцать семь тонн. Сдали пятьдесят четыре.

— Пятьдесят четыре...

— Процент сто двадцать.

— Сто двадцать...

— Вал месяца. План тысяча двести сорок четыре. Сдали тысяча двести семьдесят семь. Процент сто пять.

— Сто пять... Это молодцы, хвалю. Дальше?..

— Товар за сутки. План двадцать семь

тонн. Сделали сорок восемь. Процент за сутки сто семьдесят три. За месяц сто девятнадцать.

— Сто девятнадцать...

— Номенклатура за сутки. Задали тринадцать. Сделали тридцать девять.

— Опять молодцы.

— Кооперация за сутки.

— Кооперацию не нужно, есть. И впредь со сводкой попрошу не опаздывать. Все, спасибо за работу.

Кладет трубку. Какое-то время сидит, стиснув уставшее лицо в ладонях. Затем набирает городской номер:

— Елена Витальевна? Добрый день...

Зуммерит селектор, и Сарычев вынужден снять вторую трубку. Докладывают, что установлена работа над тремя поворотными плитами по 7А256 эскиз 1404 по причине того, что на одном из станков сгорела обмотка ротора главного двигателя.

— А чем же у тебя занимается группа ремонта? Ну вот, даю тебе по селектору главного энергетика, с него теперь и требуй.

И пока по селектору ругаются начальники цехов, Сарычев на несколько минут отрешается от всех дел — он рад, что на телефоне Елена Витальевна. О чем он говорит с ней — не слышно, потому что селектор включен на всю мощь и начальники цехов, поминая друг друга все прошлые просчеты и беды, сцепляются по поводу сгоревшего двигателя не на шутку. Только однажды, прикрыв ладонью свою трубку, Сарычев врзается в их спор репликой:

— Ты, Азарий Прокопьевич, на Русанова не греси. Провод у него есть, был и всегда будет. Он не сидит без провода. Так что давно мог бы свой ротор заново намотать. Что? Силовые расчеты сделать некому? А инженеры у тебя чем занимаются?

И больше уже в разговор не вступает, выключает селектор. Согнав с лица невольное раздражение, заканчивает разговор с Еленой Витальевной:

— Так вы разрешите заехать? Сходим куда-нибудь. Или отпустим машину и погуляем. Согласны? Спасибо. До свиданья. До вечера...

Кладет трубку. Снова включает селектор. Но начальники уже доругались. И Сарычев вызывает секретаршу:

— О совещании объявлено?

— Объявлено.

— Позвоните Ксенофонтову, пусть захватит с собой разработчиков. Решим их вопрос на совещании, попутно...

Останавливает секретаршу в дверях:

— Галина Степановна, и хорошо бы чайку сейчас, покрепче!

— Пожалуйста. У меня все готово.

Район Электрозаводской. Здесь в сапож-

ной будке работает теперь Евсеев. Чистит обувь, торгует ваксой, подковками, гвоздиками, шнурками. Делает мелкий ремонт. Но клиент сегодня не идет. И Евсеев, сидя в будке, штудирует учебник за первый курс.

Приходит Семочкин. Просит на пиво. Получив деньги, не уходит. Усаживается на пустующее место клиента, щурит светлые глаза. Видно, хочется поболтать, и сегодняшней жизнью он явно доволен.

— Обедал?

— Не хочется что-то.

— А то я там супчик гороховый заделал, вполне приличный, есть можно.

Евсеев молчит, снова берется за книжку.

— Да кинь ты свою литературу! — сердится Семочкин. — Не сапожная будка, а избачитальня! На черта тебе этот институт дался?

— Отстань. Делом займись. Не надоело по пивным шляться?

— Чем прикажешь заняться?

— Работать иди.

— А мне пенсии хватает.

— Ты со стороны на себя глянь. Небрит. Каждый день пьешь. Руки трясутся. Последнее здоровье под ноги себе загоняешь.

— Ладно! — кричит Семочкин. — Я своему здоровью сам голова. На год-два хватит, мне больше не надо. Нажился! Глаза бы на вас на всех не глядели!

Подходит клиент. Семочкин вынужден встать, уступить место. Стоит в дверях будки, наблюдает работу Евсеева. Не выдерживает, начинает учить:

— Крем густо кладешь. А шнурочки товарища клиента на внутреннюю сторону обуви убирай. Вот так. И щетки свободной держи. Тогда артистизм появится, легкость!

Евсеев раздражается, злится, и оттого дело идет еще хуже. Приходит Жогов. Тоже остается поглядеть, и Евсеев не выдерживает:

— Жогов, вот вам еще на пиво, только идите отсюда!

Семочкин понимает это как признание своей компетентной дотошности. Начинает ломаться, ерничать, хлопать Евсеева по плечу. Наконец, забрав деньги на пиво, уходят.

Отпустив клиента, Евсеев запирает будку. Вешает табличку: «Ушел за товаром». Направляется к автобусной остановке.

Спрятавшись в подъезде неподалеку от хореографического училища, ждет Елену Витальевну. С минуты на минуту она должна пройти мимо этого дома на работу. Тогда он сможет хотя бы издали вновь увидеть ее лицо, походку, фигуру. Нетерпеливо взглядывает на часы.

Вот и она. Выйдя из троллейбуса, она идет к дверям училища. В руках зонтик и летняя сумочка. Светлое платье из чесучи. Старенькие ухоженные туфли. Много ли можно раз-

глядеть в эти несколько секунд? Вот она, как школьница, обеими руками тянет ручку тяжелых дверей на себя, скрывается в вестибюле училища.

Свидание окончено.

Выждав какое-то время, он звонит ей из будки уличного автомата — просто так, чтоб услышать ее голос. Аппарат поставлен невысоко, и нужные цифры он набирает на ощупь, сам.

— Елену Витальевну, пожалуйста...

Она берет трубку:

— Алло? Вас слушают, говорите...

Евсеев молчит. Слушает ее голос, дыхание.

— Алло! Почему вы молчите? Кто это звонит?

Он не отвечает. Тихонько вешает трубку на рычаг.

Этим же маршрутом возвращается к себе на работу. Тут же появляется Семочкин. Теперь он спешит.

— Где был-то?

— На базу за товаром ездил.

— Привез?

— Завтра...

— Ой, парень, врешь! Признавайся, бабенку себе какую нашел? Ладно, после расскажешь. Вот ключи. Мы с Жоговым поздно придем. Суп на полу, в кастрюле. Ешь, поправляйся, книжку читай и не грусти.

Семочкин ловко кидает ему ключи. Весело подмигивает и исчезает.

В другой раз Евсеев украдкой наблюдает жену и сыновей на Матросской Тишине, в сквере. Они гуляют в аллее. Он, прячась за кустами, пробирается следом.

В какой-то момент, рискуя быть замеченным и открытым, решается приблизиться к отставшему младшенькому сынишке. Поняв, что может напугать его своим видом, вовремя останавливается. Спрятавшись за дерево, следит, как малыш, пыхтя, силится выманить и завладеть какой-то букашкой, спрятавшейся в своей земляной норке.

Однажды он ждет ее возле училища в своей подворотне. Неподалеку стоит машина Сарычева и сам Сарычев. Он тоже ждет Елену Витальевну. Курит, поглядывает на часы. Евсеев наблюдает за ним с придирчивой неприязнью. Отмечает каждую мелочь: манеру курить, бросать папиросу и тут же закуривать новую; манеру независимо, властно держаться, коротко взглядывая на прохожих, идущих по тротуару.

Выходит Елена Витальевна. Сарычев помогает ей сесть в автомобиль. Они уезжают.

Евсеев остается один. Отталкиваясь палоч-

ками, неспешно катит к трамвайной остановке. Отсюда снова в ненавистную, тесную, давно надоевшую комнатенку Семочкина — больше деваться некуда.

Невдалеке от своего дома Елена Витальевна просит остановить машину.

— Не нужно, чтоб нас так часто видели вместе, — говорит она.

— Почему? — спрашивает Сарычев и вдруг догадывается: — Стесняетесь подъезжать к дому на автомобиле? Готов следовать за вами пешком.

Но Елена Витальевна не принимает шутливого тона. Торопится забрать сумочку, зонтик, авоську с продуктами, которые всегда вынуждена таскать по пути с работы.

— Я провожу, — настаивает Сарычев. — Возьмите цветы, они для вас.

Забрав у нее тяжелую авоську, он идет рядом. Оба молчат. У калитки она снова спешит проститься:

— До свидания.

Но он не отпускает ее.

— Елена Витальевна, скажите, отчего вы всегда торопитесь уйти? Вам неловко? Вам тягостно со мной? Вам неприятно думать, что наши встречи вас к чему-то обязывают?

— Я боюсь.

— Чего?

— Не знаю.

— Вы устали?

— Нет, это другое. С некоторых пор мне все время кажется, что что-то должно произойти. Что-то страшное. Я чувствую. И я боюсь. А может, я нездорова, и вся эта внутренняя тревога лишь следствие расстроенных нервов?

— Лена, нам необходимо поговорить всерьез.

— Простите, не сегодня...

Сарычев долго молчит.

— Странно, вы никогда даже не спрашиваете, не пытаетесь узнать, как и чем я живу, есть ли у меня семья. Не интересно? А может, стесняетесь? Хорошо, я скажу сам...

— Не говорите. Вы одинок. Я знаю.

— Откуда?

— Когда человек один, это всегда видно.

— Сперва умерла дочь. Ей было одиннадцать лет. Крупное воспаление легких. Зимой, в условиях эвакуации. Жена пережила ее ненадолго...

Сарычев закуривает и тут же бросает папиросу.

— Сергей Сергеевич, простите, мне пора...

Сарычев берет ее руку:

— Позвольте видеть вас? Иногда...

— Звоните.

Сарычев целует ее ладонь, запястье:

— Лена...

— Не надо...

Но он вдруг обнимает ее за плечи, притя-

гивает к себе, закидывает в поцелуй голову. От неожиданности она слабо вскрикивает. Выскользнув, забегает в дом. Гулко хлопает закрывшаяся за ней дверь.

Сарычев огорчен, смущен и расстроен. Подобрал кинутый ему зонтик и цветы, он кладет все это вместе с продуктовой сумкой на крыльцо возле двери и уходит.

Через минуту на крыльце появляется Димка. Втаскивает авоську в дом.

— Тяжелая! Картошки купила, да?

— Да.

Вместе с матерью поднимается на этаж.

— Тебя подвез Сергей Сергеевич на машине, да?

— Да.

— Между вами что-то произошло, да?

— Когда ты научишься не задавать старшим глупых вопросов?

— Ты бледненькая, и я подумал: может, он тебя напугал?

— Ты зарабатываешь сегодня ремня.

...Входят в квартиру. Филиппок уже ждет их. Бросается к матери. Поцеловав его в глазик и в лоб, она устало опускается на стул в прихожей. Филиппок стаскивает с нее туфли. Снимет один, отнесет и поставит в угол. Снимет другой, снова бежит, ставит его рядом, к первому. Он готов снять с нее и чулки. Это смешит ее, она не дается, а он сердится:

— Ма, ну дай же я сам! Ты же раздевала меня, когда я был маленький, теперь буду я тебя.

Она легонько шлепает его по рукам. Встает переодеваться.

— Цветы поставить в синюю вазу?

— Поставь в синюю.

...Через полчаса все сидят за столом, пьют вечерний чай. Приходит соседка Дарья Ивановна, приносит банку варенья.

— Земляничное. В городе такого нет, из деревни прислали. Чай пить начнем!

Попить чайку Дарья Ивановна всегда приходит со своим блюдцем и чашкой. Филиппок огорчен. Глядит на варенье, трогает свой тугой живот:

— Ой, а я без варенья напился!

— Не беда, еще разик попьешь.

— А места же в животе нету!

— Поищи, милоч, оно и найдется.

Мальчики бегут на кухню за свежим кипятком. Пить чай начинают сначала, теперь уже вчетвером.

...Затем — домашние хлопоты.

Укладывает мальчиков спать.

Прибирает посуду.

Готовит еду на день.

Стирает детские рубашки, штанишки, чулки.

Моеет и сушит себе волосы.

Во втором часу ночи наконец все готово. Но прежде чем лечь, она садится к трюмо расчесать волосы. Придирчиво и бесстрастно

рассматривает себя в зеркале. Да, время идет! Еще одна-две морщинки, легкие и пока почти незаметные, легли возле глаз и на лбу. Сложив на коленях руки, забыв про себя и про зеркало, она сидит перед туалетным столиком, слушая, как дышат во сне ее дети.

О чем может думать женщина ночью, одна, когда горит ночник, когда тишина и покой обнимают весь мир и лишь бабочка, обманутая теплом и блеском ложного светила, бьется в горячем стекле абажура, сбивая пылью со своих нежных, трепещущих крыльев?

Дико и не ко времени кричит заведенный будильник. Схватив, она прижимает его к груди — только бы не побудил мальчишек, — сует в подушку. Ложится. Гасит светильник.

Клуб промкомбината. Торжественное собрание по случаю 1 Мая. Идет награждение передовиков.

— Старшему мастеру цеха детской обуви Тужик Нине Игнатьевне — благодарность и профкомовская путевка в дом отдыха.

Аплодисменты.

— Наладчику третьего цеха, орденосцу, инвалиду Отечественной войны Стукалину Илье Тимофеевичу — похвальная грамота и денежная премия.

Аплодисменты.

Грамотой и деньгами в числе других награждают Евсева.

Жогов тоже проходит в приказе о награжденных, но в зале даже не появляется. Стоит с Семочкиным на улице возле клуба.

Евсеев отдает ему награду:

— Держи. Грамота тебе и благодарность в приказе. В зал хоть бы зашел, не торчал тут.

— Да ну их. Не умею я. На сцену надо залазить, слова говорить. Да и небрит я. Премии, выходит, не дали?

— Говорил идиоту: побрейся! — говорит Семочкин. — Глядишь, деньжонок в грамотке кинули бы.

— Кто знал!

— Ладно. Казенных не дали, на свои гулять будем. Ты, Миша, как? По кружке пива не возражаешь?

— По одной. Больше не заставляйте.

— Не божись. Праздник все ж таки!

В пивной занимают столик. Появляются закуска, хлеб, пиво. Грамоты, плюнув и размяв хлебный мякиш, Семочкин приклеивает на стенку. Теперь всякому видно — по делу гуляют. Затем уходит и возвращается с баянистом. Это слепой мужчина в черных очках — такие выдавали тогда в госпиталях. На нем опрятный костюм, галстук. Слепой ощупью нашаривает стул, садится. Ему наливают водки. Выпив, слепой достает из карма-

на темный медицинский флакон. Отвинчивает крышку, сплевывает в него мокроту. Завинтив, прячет склянку обратно. Достает кусок потертого синего бархата, стелет себе на колени и берет баян. Чуткими костлявыми пальцами трогает басы и голоса инструмента.

Ему льют еще. Слепой начинает петь «Землянку». Голос у него негромкий, приятный. Через каждые два куплета он прерывается, достает свою склянку, сплевывает и прячет обратно.

Потом он уходит. Его баян и сиплый с хрипотцой голос слышны из другого угла. И хотя слепой больше не пел, стаканы дюжиной поблескивают перед ним, наполовину и до краев наполненные ядовитой, остро пахнущей влагой.

— Подрались с кем, что ли? — говорит Семочкин.

— Сиди!

— Может, уйдем? Тяжело тут как-то, — говорит Евсеев.

Но уходить Семочкину не хочется. Захмелев, он, как всегда, делается язвительн, зол и недобро весел:

— Выпили, а оно не веселит. Может, добавим?

— Уйдем отсюда, — тянет Евсеев.

— Куда?! — взрывается Семочкин. — Тебе на Матросскую Тишину. Из подворотни выглядывать. А мне? Куда мне деваться?!

Евсеев бледнеет. Тихо спрашивает:

— Откуда знаешь? Следил?

— Ну и следил, не запретишь! Жогов, кто у него на Матросской Тишине, знаешь?

— Замолчи! — кричит Евсеев.

Выхватывает из кармана мятые рубли, трешки. Кидает на стол Семочкину:

— На! Напейся! Только молчи! Мало? Вот еще, бери, все бери! А следить будешь, я тебя...

Евсеев всхлипывает, в бессильной ярости стучит по столу кулаком. Семочкин пугается:

— Да, Миша, ты что?... Ну не хотел я, не знал!..

Жогов смотрит, сопит. Вдруг тяжело поднимается. Хватает Семочкина за грудки. Его контуженое лицо начинает страшно подергиваться. Говорить в такие мгновения он не может, только мычит. Но плечи и пиджак Семочкина трещат под его чудовищной хваткой. Евсеев бросается спасать хрипящего от удушья Семочкина.

— Жогов, сядь! Жогов, не надо! Жогов, милый, пусти, успокойся!

Но Жогов, и отпустив, не может самостоятельно отнять своих сжатых пальцев.

— Не могу. Расцепи...

Вдвоем разжимают ему пальцы. Усаживают. Жогов тяжело дышит, говорит:

— Ты, Семочкин, Михаила не трогай. Меня трогай, а его не трогай. Понял?

— Ну!

Семочкин поднимает стакан с водкой. Вдруг бьет его оземь. За ним бьет второй и третий. Говорит Евсеев:

— Бросай, Миша, нас. У тебя жена. Двое пацанов. Приди к ним, скажи: вот я, живой. Ног нет? Ты их не в пьяной драке потерял, на фронте. Жить надо, Миша. А не хоронить себя заживо...

Буфетчица кричит от стойки:

— Эй, там в углу! За посуду платить будете!

Какое-то время сидят молча. То, что у Евсеева есть семья, для Жогова неожиданность. Он растерян, не знает, как реагировать. Поднявшись, идет платить за стаканы. Семочкин тоже встает. Отлепляет со стены наградные грамоты.

— Идем?

— Посижу,— говорит Евсеев.

— Один?

Евсеев не отвечает.

— Не пей больше.

Семочкин и Жогов уходят. Евсеев остается один. В пивной шумно, людно, накурено. Из угла снова слышен баян и песня слепого. Ничего этого Евсеев не замечает...

В заборе — щель. Через нее виден пустырь. Мальчишки, гоняющие мяч. Коза, привязанная к колышку. Возле нее, за воротами, стоит Филиппок. Его, маленького, в игру не берут. Как хотелось бы подобраться к нему ближе! Постоять рядом. Тронуть ручонку. Заглянуть в родное лицо.

Давя крапиву и лопухи, Евсеев едет на колясочке вдоль забора к противоположному концу пустыря. Туда часто выскакивает мяч, и Филиппок бежит, чтоб принести его. К первому и второму мячу Евсеев не поспекает. Филиппок запросто опережает его. Но через какое-то время свои обязанности они распределяют вполне четко: Евсеев лазит на колясочке в крапиву за мячом, кидает его Филиппку, а уж тот мчится с ним на игровую площадку. Они не обмолвились еще и словечком, но уже немного дружны. У них есть общее дело, и это устраивает обоих. Только один раз Евсеев задерживает мяч в руках. Ему хочется, чтобы Филиппок подбежал поближе — тогда можно поглядеть его по голове и коснуться его рубашонки. Но Филиппок побаивается его непривычного вида.

— Дяденька, бросайте сюда! Ну бросайте! — просит он, а Евсеев медлит, не отдает.

— Эй, ты! А ну отдай мяч, не забижай ребенка!

Это здоровенный хозяин соседнего с пустырем дома, примыкающего двориком к пустырю.

— И вали отсюда! Видали мы таких. Сперва мячи подают, а выйдет жинка белье

снимать, его курица съела — ханыги на толчок уперли пропивать!

Евсеев бросает мяч. Не препираясь, спешит покинуть пустырь. Самое страшное, если подымут шум и его опознают.

— Эй! А документ в тебе есть? — кричит мужчина вдогонку.

На улице его догоняет Филиппок — добрая будет у мальчишки душа!

— Дяденька Фронтоник! — подбегает он, запыхавшись. — Пожалуйста, извините меня. Это он из-за меня на вас накричал. А вы в другой раз приходите. Я вам все мячи отдавать буду!

Евсеев с трудом сдерживает свои чувства:

— Приду...

— Хотите, я провожу вас до угла? — предлагает Филиппок.

Они идут рядом. Катится инвалид на коляске, и с ним мальчишка — оба одного роста.

— А вас как зовут?

— Зови просто дядя,— говорит Евсеев. — А я тебя Филиппком буду звать.

Мальчик останавливается. Он поражен.

— А меня и вправду Филиппком зовут. А как вы узнали?

— Догадался.

— А вы на фронте ноги потеряли, да?

— На фронте.

— А вы герой, да?

Евсеев смеется, треплет сынишку по выгоревшим волосам.

— А правда, что на войне железо горит?

— Правда.

— А земля?

— Земля тоже...

Заметив, что Филиппок не верит, Евсеев останавливается, достает коробок спичек. Тротуар и обочина дороги завалены тополиным пухом.

— Смотри!

Чиркнув спичкой, Евсеев поджигает пух. Вскочив, пламя, точно живое, бежит по камням и по тротуару. За ним остается черная полоска опаленной земли. Филиппок наблюдает зрелище с ужасом и восторгом.

— Вот так и на войне,— говорит Евсеев. — Но в тысячу раз страшнее.

Утро. Елена Витальевна подходит к училищу. И вдруг понимает: за ней следят, давно и упорно. Это — как удар грома. Она останавливается. Оглядывается. Поток пешеходов, улица, машины, дома — все как всегда. Но она не может побороть в себе возникшее чувство. Ей страшно. Она стоит посреди тротуара с потерянным, беспомощным видом. Подъезд училища рядом, но никакая сила не может заставить ее сделать хотя бы шаг вперед.

На нее начинают оглядываться. Кто-то из пешеходов трогает ее за локоть, заглядывает в лицо:

— Вы что-нибудь потеряли? Вам плохо? Ее сажают в такси.

Она возвращается домой. Дверь открывает Дарья Ивановна.

— Голубушка, что с вами?

Не отвечая, Елена Витальевна проходит в свою комнату, без сил опускается на стул. Входит перепуганная Дарья Ивановна:

— Леночка, что стряслось? Почему вы вернулись?

— За мной кто-то следит.

— Да господь с вами, Елена Витальевна.

— Подхожу к училищу, чувствую — глаза. Чьи, откуда — не знаю. Но каждой клеточкой чувствую: следят. Страх, Дарья Ивановна, такой — ноги подкашиваются.

— Да Леночка, да что это с вами, придумываете...

— И еще: все время кто-то звонит на работу. Беру трубку — молчат, слушают. А я по дыханию чувствую, этот человек меня знает.

— Какой человек?

— Не знаю.

Дарья Ивановна опускается на стул рядом. С горестным испугом глядит на Елену Витальевну. Вдруг всплескивает руками:

— Дак ведь забыла! Совсем, видно, память-то себе прожила, старая!

Спешит из комнаты. И тут же возвращается. В руке почтовый бланк.

— Вам денежный перевод утром принесли. Да не застали. Я уж сама приняла, расписалась.

Елена Витальевна берет бланк.

— Перевод? Какой перевод? Откуда? Кто это принес?

— Да как кто? Почтальон. Да он, бедный, торопит, спешит, а я, глупая, не знаю, никогда переводов этих не принимала, дак уж он руку-то мне с карандашом приставил, тогда уж и расписалась.

Кабинет Сарычева. Идет производственная ленточка. Входит секретарша. Кладет перед Сарычевым записку: «Пройдите к моему аппарату. Вас спрашивает женщина».

Улица. Елена Витальевна в телефонной будке.

— Мне необходимо вас срочно видеть, — говорит она в трубку.

— Лена, что произошло? Не пугайте меня. Объясните.

— Нет, узнаете все при встрече.

Сарычев молчит, решая, как быть.

— Хорошо. Сейчас выезжаю.

Служебный автомобиль и шофера Сарычев оставляет на углу. К скверу, где ждет его Елена Витальевна, направляется быстрым, стремительным шагом. Не дав ему опомниться, Елена Витальевна сразу сует перевод:

— Ваш? Только честно.

Сарычев спокойно разглядывает бланк. Возвращает обратно.

— Поверьте, не имею к этому переводу никакого отношения.

— Сергей Сергеевич, вы понимаете, как важно мне знать, кто прислал эти деньги. Сейчас мне не до вопросов этики. И если вы скажете, что это сделали вы, я не обижусь. Если нет, тогда это перевод моего мужа — значит, он жив. И мое предчувствие...

— Ваш муж погиб. Я не верю, что можно слать деньги с того света.

— Час назад вы следили за мной возле училища?

— Час назад я проводил утреннюю производственную ленточку.

— Тогда я ничего не понимаю.

— Елена Витальевна, милая, поверьте, нельзя жить так дальше. Вы сгорите, вы сожжете себя своими предчувствиями и бесплодными, безнадежными ожиданиями. Уже сейчас вы больны, устали. Вам нужен длительный, серьезный отдых...

— Я хочу знать, от кого эти деньги.

— Вы не допускаете мысли, что их мог прислать кто-нибудь из однополчан вашего мужа? Один из тех, кто знал его близко и с кем он был дружен на фронте?

— Тогда почему нет письма? Почему ложный обратный адрес и школьный почерк на бланке? Чтобы не опознать руку? Я была на почте. Там только пожимают плечами.

— Письмо или какая-то приписка действительно могли и даже должны быть. Это логично...

Какое-то время молчат.

— Елена Витальевна, простите, у нас нет сейчас времени. Позвольте довести вас до работы?..

Она соглашается. По дороге к машине Сарычев говорит:

— Для меня все это тоже неожиданность и загадка. Попробую еще раз навести справки о вашем муже. Но не уверен, что удастся узнать что-нибудь новое.

После занятий она отпускает весь класс, задержав Анциферову. Приводит ее в свою учительскую комнату.

— Скажи, Анциферова, это правда, что ты умеешь гадать на картах?

Анциферова стоит, взбывшись крутым лбом; в глазах у нее тоска.

— Что ж ты молчишь?

— Я не молчу. С того раза, как вы сказали, я их и в руки не беру, хотя девочки иногда

просят.

— Прости, ты не так меня поняла. Я только хотела знать, правда ли, что ты разбираешься в картах и умеешь иногда угадывать.

Анциферова удивлена и насторожена.

— Раньше умела. Вообще карты мне открываются. Ко мне даже взрослые женщины с нашего дома ходят. Просят погадать: кто на любовь, кто на письмо, кто на что. Карты, как люди. Один умеет их видеть, другой — нет.

— Хорошо, скажи, а мне могла бы ты погадать?

Анциферова не верит, пугается.

— Если вы шутите, Елена Витальевна...

— Нет, я не шучу, — прерывает она Анциферову.

— Но у нас же нет карт.

— Я принесла. Вот...

Елена Витальевна достает из сумочки нераспечатанную, новенькую колоду игральных карт. Анциферова теряет еще больше.

— Ну хорошо, — соглашается она. — Только я запру дверь. Можно?

— Пожалуйста. Делай, как для тебя удобней.

Заперев дверь, Анциферова возвращается к столу. Расстегивает свой портфельчик.

— Уберите ваши карты. У меня есть свои, — говорит она и, достав потрепанную колоду, смущенной скороговорочкой поясняет: — Случайно сегодня с собой захватила, сама не знаю зачем. Теперь, видите, пригодились.

— Что я должна делать?

— Садитесь ближе, — командует Анциферова. — Не бойтесь, я не кусаюсь. Снимите с руки кольцо. На что будем гадать?

— Не знаю. Вообще... на все... на жизнь...

— Цвет волос вашего мужа?

— Русый, но он не вернулся с фронта. Я получила на него похоронку.

— Это еще ни о чем не говорит. Тетя Наташа из нашего подъезда получила на сына две похоронки, а потом он пришел живой, только раненый. Вот этот король, условно, будет ваш. А вот эта дама — вы. Теперь сдвиньте карты рукой. Не так.левой. Хорошо.

Анциферова снова тасует колоду. Начинает раскладывать: дамы, валеты, шестерки, тузы, короли. Елена Витальевна не понимает в этом ничего, зато Анциферова в своей стихии. Ее руки мелькают над столом с такой быстротой, что трудно следить.

— Сперва загадаем на вас, Елена Витальевна, — предупреждает Анциферова. — Я буду говорить, а вы должны отвечать, где верно, где нет.

— А если мне не захочется? Или, предположим, не совсем ловко будет ответить? Могу я промолчать?

— Можете, — разрешает Анциферова. — Вот четыре карты — будете болеть. Плохо спите, видите много снов, во сне иногда кричите.

Елена Витальевна молчит.

— А вот какой-то король идет к вам со своей любовью. У вас есть знакомый броне-мужчина?

— Ну не знаю... — теряется Елена Витальевна. — Возможно, есть. А впрочем, не знаю...

— Так есть или нет? — в упор спрашивает Анциферова и жестко глядит на своего педагога. — Картам нужна точность, иначе они тоже начнут лгать.

Елена Витальевна вспыхивает:

— Анциферова, мне не хотелось бы отвечать на твои глупые и бестактные вопросы!

— А это не я спрашиваю. Карты. Но если не хотите или стесняетесь, не отвечайте. Карты сами все скажут, — говорит Анциферова. — А вот деньги...

— Какие деньги?! — Елена Витальевна хватается девочку за руки. — Какие деньги?!!

— Не знаю. Вижу известие. Вижу деньги, — отвечает Анциферова.

Елена Витальевна дрожащими от спешки руками достает из сумочки денежный перевод.

— Этот?

— Может быть. Почтовое отделение и сумму получения карты, сами понимаете, показывать не обязаны. Значит, именно этот. Вот видите, Елена Витальевна! — с торжеством восклицает Анциферова. — Не верили, а карты вот они, не врут. И вот даже свадьбу теперь показывают.

— Да ты что, Анциферова! Какая еще свадьба?! — пугается Елена Витальевна. — Давай-ка лучше прекратим это. Пошутили, и будет...

Но Анциферова не соглашается.

— Нет, Елена Витальевна, с картами так нельзя. Они могут обидеться, если их не дослушать, и начнут мстить. Вот тот самый король броне-мужчина, который настойчиво идет к вам со своей любовью. Вы ложитесь с ним три раза подряд — рядом. Это означает — быть свадьбе!

— Ну хорошо, хорошо, не будем, согласна... Но я хотела бы гадать на себя и на моего мужа...

— Пожалуйста!

Анциферова снова тасует карты. Сбрасывает. Долго тасует и раскладывает их по мастям. Елена Витальевна, вся напрягшись, ждет. Что-то скажут сейчас карты! Она почти начала верить в их бесстрастную, непрекаемую объективность и силу.

— Пусто. Ничего. Все темно, — объявляет вдруг Анциферова и поспешно мешает карты.

Собрав их в колоду, встает.

— Я могу идти?

— Да-да, конечно. Извини. И спасибо...

В дверях Анциферова медлит. Останавливается. Оборачивается к Елене Витальевне:

— Хотите, я вам признаюсь? Хотите? Так вот: человек не может предсказать чью-то судьбу. Я себе никогда не гадаю, потому что картам ни на одну капельку, ни на такую вот даже капельку нельзя верить. И вы — не верьте...

Елена Витальевна отпускает девочку усталой и виноватой улыбкой. Оставшись одна, рвет бланк перевода на мелкие клочки.

Ночью она вдруг просыпается от какого-то внутреннего толчка. Взглядывает на часы. Начало четвертого. Садится в постели. Затем торопясь начинает одеваться. Набросив козынку, с туфлями в руках выскальзывает в прихожую. Здесь лицом к лицу сталкивается с Дарьей Ивановной. Очевидно, старуха поджидала и сторожила ее. Загородив входную дверь, она горестными старческими глазами глядит в лицо Елены Витальевны, точно перед ней больная или сумасшедшая.

— Елена Витальевна, голубушка, куда вы в эту пору собрались? — ласково, стараясь не спугнуть, спрашивает старуха.

Елена Витальевна останавливается, встряхивает головой, будто вспоминает куда. Отвечает:

— На вокзал.

— Да милая моя, зачем же вам на вокзал? Или приехать кто должен?

— Миша приехал! Их эшелон на путях выгружают.

— Лена, голубчик, родненькая моя, да господь с тобой! Нету там никого. И поезда нету. Идем, в постельку тебя уложу. Идем, хорошая, не надо на улицу выходить.

Старуха отворачивается. Лицо ее морщится в беззвучном плаче.

— Дай туфельки-то сюда... Разожми руко-то, разожми...

— Пустите!

Елена Витальевна пытается прорваться к двери. Старуха заслоняет ее телом. Вспыхивает короткая, яростная борьба. Елена Витальевна сильнее. Растрепанная, в сбитой косынке, выскакивает она из дома к калитке.

Еще совсем рано. Город лишь начинает просыпаться. Поливают улицы. Идут первые, почти пустые трамваи. В этот час на безлюдных, летних улицах Елена Витальевна совсем одна. Почти всю дорогу она бежит бегом. Редкие прохожие, завидев ее, останавливаются, глядя вслед. За Красносельской она падает. Сломался каблук. Туфли при-

ходится снять...

И все же она опаздывает. Эшелон стоит на дальних путях. Он пуст. Она идет вдоль состава. Откатывает двери теплушек. Там пусто — лишь солома на полу и дощатые нары. Бросается к другому эшелону. Откатывает дверь первого попавшегося вагона. В вагоне стоит лошадь. На спине лошади, верхом, сидит крупная обезьяна. Закрыв ладошками морду жеребца, молча и жутко глядит на Елену Витальевну. Не имея сил оторваться от этого нечеловечески пристального взгляда, Елена Витальевна быстро накатывает дверь теплушки обратно.

— Дура! Дура! — кричит из теплушки попугай.

Это вагоны цирка-шапито.

Значит, предчувствие обмануло ее.

— Эй, милая, кого ищешь? — Это железнодорожник.

Но она лишь взглядывает на него и проходит, не отвечая.

— Если солдатиков, так их напротив вокзала в машины сажают.

Она бросается к вокзалу. Да, действительно на привокзальной площади много каких-то солдат. Молодые ребята с зачехленными автоматами, вещмешками, скатками шинелей через плечо. Они рассаживаются по бортовым машинам, и грузовики увозят их. Вот и последняя машина пристраивается в хвост колонны и пропадает в конце улицы из виду. Площадь пустеет. Елена Витальевна остается одна.

Уставшая и опустошенная, она идет обратно, домой. На улицах ужелюдно, и на нее оглядываются. Босая, в разорванной кофточке, с косынкой и туфлями в руках, она и вправду выглядит странно. Нужно прибить каблук и надеть туфли. Она пересекает улицу, направляется к ближайшей сапожной будке. Уже издалека ей видно, как безногий инвалид снимает с будки щит, отпирает замок, готовясь начать работу.

Евсееву удается увидеть ее вовремя. Бросив щит, он заскакивает в будку и запирается. Елена Витальевна остается стоять перед закрытой дверью. Стучит в будку:

— Послушайте, у меня отлетел каблук. Не могли бы вы починить туфлю?

Ответа нет. Елена Витальевна пытается заглянуть через стекло внутрь будки. В тот же миг окошко завешивается изнутри картонкой «Обеденный перерыв».

Елена Витальевна уходит.

Возвращается. Снова стучит в будку.

— Вы не могли бы дать молоток? Я прибью каблук сама.

Ответа нет. Елена Витальевна находит камень. Кое-как прибывает каблук. Уходит. Отойдя, оглядывается на странную будку.

Щит все еще валяется на тротуаре, мешая прохожим. Сапожник, как видно, не собирается выходить из будки. Уходя, Елена Витальевна оглядывается на нее еще и еще раз.

У калитки ее встречает Сарычев. Берет руку, заглядывает в лицо:

— Елена Витальевна, дорогая, что с вами происходит?

— Ничего.— Отнимает руку.— Идите домой. Я устала, ужасно болит голова, и очень хочется спать. До свидания...

Уходит в дом.

Сарычев еще долго стоит, думает, курит возле калитки.

В тот день она не выходит на работу. Спрятавшись в подъезде напротив училища, Евсеев напрасно ждет ее часа два. Потом решает позвонить. Останавливает какого-то студента, потому что трубку и диск автомата не достать с тележки. Студент помогает набрать номер, подает трубку. Отвечают, что Елена Витальевна больна. Он ждет, может, скажут какую-нибудь подробность, но нет. И он вешает трубку — не на рычаг, а на прибитый ниже крючок для сумок.

...Возвращается к своей будке. Открывает замок. Снимает щит. Раскладывает мелкий товар. Готовит гуталин, щетки, шнурки, подковки. Но голова занята другим; он плохо соображает, рассеян, угнетен, работа не клеится. Неверно дает сдачу какому-то клиенту, и когда тот протестует, Евсеев долго не может понять, чего от него хотят. Он чистит, мажет, снова чистит, наводит бархотками блеск, но все это как-то механически, не участвуя в работе ни головою, ни сердцем, не отвечая на вопросы клиентов, а когда те платят и обиженные невниманием уходят, равнодушно, не проверяя, сбрасывает мелочь в жестянку.

Приходит в себя от гневного возгласа очередного клиента:

— Ты чем же мажешь меня? Ботинки желтые, а ты их черной ваксой наворачиваешь! Ослеп? Или с похмелья?

Евсеев извиняется. Торопясь снимает краску. Клиент ворчит. Уходит. Евсеев решает закрыть будку. Все одно сегодня ему не работа. Заперев дверь, направляется к трамваю с пакетом под мышкой. Там две пары сандалий для сыновей и кулечек с сахаром, полученным по карточкам сразу за две декады.

...Вот и Матросская Тишина. Жара. Безлюдье. Улица утопает в тополином пуху. Знакомым лязгом Евсеев выбирается к пустырю. Здесь, как всегда, мальчишки гоняют мяч. Может, и его сыновья здесь? Но сегодня их нет. Где же они? Евсеев занимает испытанную, безошибочную позицию. Мяч часто

вылетает сюда, и тогда от ребят можно узнать что-нибудь новое. Так и случается. Мяч летит через забор, почти в руки Евсееву. И сразу же над забором появляются две стриженные мальчишеские головы. Глядят, отдаст дядька мяч или нет. Тут же узнают в нем своего знакомого и спешат сообщить:

— А Димы сегодня нет. И Филиппка нет. Они на дачу уехали.

— С кем уехали? Одни?

— А мы не знаем. Их дядя Сережа на леговухе увез.

— А кто этот дядя Сережа?

— А это ихней мамы жених. А они вам зачем? Хотели повидать, да?

— Хотел.

— А вы родственник, да?

— Нет. Просто знакомый...

Евсеев кидает мальчишкам мяч, через лаз выбирается обратно, на улицу. И тут едва не случается самое страшное. Возле аптеки он чуть не лицом к лицу сталкивается с Еленой Витальевной. Успевает сорвать кепку и прикрыть ею лицо. Вжимаясь в пыльный крашенный забор, притворяется побирушкой, который выпил и теперь, когда его развезло на жару, ужасно хочет спать.

Она идет навстречу. И вдруг останавливается так близко, что он слышит ее дыханье. Неужели узнала? Нет, уже уходит. Он слушает ее удаляющиеся шаги. Каблучки стихли. Только теперь он решается оторвать кепку от лица.

Глаза его закрыты. Лицо осунулось, постарело от волнения и испуга. Открыв глаза, видит: перед ним лежит милостыня — рубль, который она ему подала.

Однажды перед будкой Евсеева останавливается армейский патрульный автомобиль. Лейтенант в погонах политработника, козырнув, уточняет:

— Гвардии капитан Евсеев? Михаил Алексеевич?

Евсеев глядит на лейтенанта:

— Я.

— Прошу в машину.

— А в чем, собственно, дело? Зачем и куда я должен ехать?

— Прошу извинить. На месте все объяснят.

Евсеев запирает будку. Ему помогают забраться в автомобиль. По дороге к центру лейтенант прихватывает из ателье индпошива еще двух инвалидов, а на углу, в пивной, Жогова и Семочкина.

— Слушай, лейтенант, куда нас везут? — спрашивает Семочкин.— Что происходит?

— Товарищи бывшие офицеры и инвалиды войны, прошу не дергать меня вопросами. Я выполняю приказ. Все остальное узнаете чуть позднее.

— Жогов, ты чего-нибудь натворил?

— Выпил два пива. С тобой. Больше — ничего.

— Тогда я ничего не понимаю, — говорит Семочкин. — Евсеев, а ты?

— Тоже.

Здание Главного политуправления Советской Армии. Лестница, вестибюль, коридоры заполнены ветеранами войны. У некоторых видны наружные признаки ранений. В зале накрыты столы с угощением: легкое вино, фрукты, закуски, папиросы.

Семочкин удивленно присвистывает:

— «Мне снился чудный сон...» — оглядывает зал, собравшихся. — Гляди-ка, со всего города ребят насобирали!

У стола выпивают по бокалу сухого вина. И едва успевают закурить, оглядеться, как подтянутый, молодежавший офицер приглашает всех присутствующих в конференц-зал. Жогов сует в карман початую бутылку вина, коробку папирос, яблоко.

— Прекратите! — свирепым шепотом командует Семочкин, но Жогов делает вид, что не слышит.

В зале долго рассаживаются. Кашляют. Скрипят, хлопают сиденьями. К трибуне выходит полковник. Глядит в зал, спокойно ожидая тишины. Выражение лица — усталое.

— Товарищи. Коммунисты и комсомольцы. Офицеры и рядовые. Однополчане. Друзья. Вы пережили и выиграла небывалую в истории человечества, великую, страшную войну. Вы отдали победе лучшее, что имели: силу, молодость, здоровье, красоту. Родина, партия, весь народ перед вами в великом, неоплатном долгу. Но вы знаете, как теперь трудно. Идет период восстановления народного хозяйства. В стране не хватает хлеба, жилья, одежды. Даже Москва, столица, не в состоянии обеспечить вас полностью всем необходимым и еще несколько лет не сможет предоставить вам тех благ и условий, которые вы заслужили...

Полковник делает передышку, как бы готовясь к самому трудному рычку. И вдруг заканчивает речь одной фразой:

— Партийные, советские и хозяйственные организации столицы приняли решение собрать вас здесь затем, чтобы предложить вам переселение в места, где могут быть созданы для вас лучшие условия жизни и быта.

Зал реагирует глухим гулом. Реплика с места:

— Стесняетесь нас?!

Полковник поднимает руку, требуя тишины.

— Товарищи! Милые мои! Друзья! Страна, а тем более столица, не стесняется вас. Она гордится вами и бережет вас! Вы — ее лучшие люди! И я еще раз прошу понять меня

правильно. Никто не собирается переселять вас куда-то принуждением или силой. Нет! И еще раз нет! Только по добровольному согласию любой из вас может выехать на жительство в любую область страны. Вам будут предложены лучшие, плодороднейшие районы: Крым, Кавказ, Южный Казахстан, Средняя Азия. Вам будет предоставлено жилье, лечение, медицинский уход, отдых, усиленное питание, посильная работа, условия для учебы — все, что вы пожелаете...

Реплика:

— Семьи можно с собой брать?

Встречная реплика из зала:

— Забирай! Кому она тут нужна!

И сразу облегчающий смех зала.

— Товарищи! Я сказал все, что мне поручили вам сообщить. Я прошу вас, подумайте сами, посоветуйтесь с вашими семьями, женами, родителями, родственниками. Весь багаж, дорога, билеты, проезд, подъемные, суточные, единовременные пособия — все виды материальных пособий будут предоставлены вам вне всяких лимитов и ограничений. Подумайте. И решите для себя, как лучше... Слово предоставляется бывшему командиру танкового батальона, орденосцу и инвалиду Отечественной войны, Герою Советского Союза, гвардии майору Колтуну Юрию Евграфовичу.

Он — без ног. С обгоревшим лицом, веками и ушами. Грудь — сверкающий золотом и эмалью заслон, столько на кителе орденов, наград и медалей.

— Ребята! Здесь много покалеченных на фронте саперов, пехоты, танкистов. Посмотрите на меня. Чурка с глазами. Но я не стесняюсь себя. Мы не виноватые. Мы прошли войну наскрозь. Все выдержали, пересилили, победили. Но находятся теперь из нас такие, которых сломала не война, а мирные будни. Бросила жена, ушла любимая, еще что-нибудь — и вот уже он пьет горькую по кабакам и вокзалам, ведет разгульную жизнь, гробит остатки здоровья и даже скатывается в уголовщину. Таких — высеять. Они засоряют столицу. Но речь не о них. Мое слово — к вам. И я говорю: ребята, вокруг очень много ран! Они кричат с каждого нашего лица, с каждого угла Москвы. Если мы уедем к другой жизни, то одной раной станет меньше, одним днем светлее, одним городом краше. Как коммунист и бывший танкист заявляю: готов выехать с семьей, куда мне предложат!

Шутливые реплики с мест:

— В Ялту его!

— В Сочи ехай!

— В Магадан!

Полковник улыбається, говорит:

— Тише, товарищи, тише! Я очень рад видеть в ваших рядах бодрое, оптимистическое настроение. Когда юмору, шутке есть

место — жить легче. Объявляю перерыв. Для желающих посидеть, подкрепиться накрыты бесплатные столы. Затем будет показан кинофильм «Кутузов».

Евсеев, Семочкин, Жогов выбираются из зала. Жогов выкладывает обратно на стол яблоки, вино, папиросы.

— В Москве родился, в Москве крестился, в Москве умру. Больше мне ничего не надо.

— Живыми не дадимся, — соглашается Семочкин. — В крайнем случае позвоним генералу...

Евсеев отыскивает полковника.

— Разрешите обратиться?

— Слушаю вас.

— Моя фамилия Евсеев. Имею в Москве семью, жилье, работу. Живу один. Не хочу быть обузой. Если жена примет меня, могу я не выезжать, остаться?

— Товарищ Евсеев, ну что это за разговор! Я же четко объяснил: едут те, кто желает ехать.

Евсеев возвращается к столу. Жогов говорит:

— Хотите новый анекдот? Обхохочешься!

— Ну?

— Загадка. «Без рук, без ног — на бабу скок!» Кто это?

— Не знаю, — говорит Семочкин.

— И ни за что не догадаешься, — говорит Жогов. — Это не хулиган и не коромысло.

— А кто же?

— Инвалид Великой Отечественной войны.

Евсеев смеется вместе со всеми. Семочкин, утерев выступившие слезы, спрашивает:

— Сам придумал?

— Рассказали, — отвечает Жогов.

Евсеев вдруг говорит:

— Это про меня. Я надумал в семью, к жене...

Веселье враз обрывается.

— Да, анекдот... — смущенно бормочет Жогов.

— Обхохочешься, — мрачно говорит Семочкин.

Комната Семочкина. Стол, окно, две койки, табурет — больше тут ничего нет. Весь этот день Евсеев готовится к предстоящему свиданию, как к смерти. Бреется, чистит пиджак, надевает новую сорочку и галстук. Друзья помогают. Надраивают толченым кирпичом его медали, красят колясочку свежей краской. Колесики наводят белилами и смазывают тавотом, чтоб не скрипели. Получается очень красиво.

— Никаких ног не надо! — говорит Жогов, закончив работу.

Наконец все готово. Семочкин ставит на стол бутылку водки, три стакана. Все трое садятся к столу. Разливают водку. Жогов поднимает стакан:

— Хочу, Миша, на прощанье сказать...

— Не надо, — говорит Семочкин. — Пьем молча.

Евсеев поднимает стакан. Но не пьет. Ставит обратно:

— Не буду.

— Правильно. Трезвым здесь жил, трезвым туда приди.

Через квартал Евсеев останавливается. Долго стоит. И поворачивает обратно.

— Чего?! — кричит на него Семочкин, когда Евсеев появляется в дверях комнаты.

— Не могу. Хоть убейте...

Семочкин берет стакан с водкой. И вдруг махом выплескивает ее в лицо Евсееву. От неожиданности тот хватается ртом воздух, ошалело хлопает глазами.

— Прочухался? А теперь послушай, чего скажу. У тебя семья — жена, двое мальчишек. Стоит тебе сделать только один шаг, и тебе больше не нужно прятаться по подворотням, чтобы увидеть их хотя бы издалека; ты сможешь покупать своим сынишкам сандалики, конфеты, книжки не таясь; и каждый вечер дома тебя будет ждать простое, тихое счастье — стоит сделать только один шаг!..

После этого все трое долго молчат.

Потом Семочкин подходит к двери, распакивает ее, говорит Евсееву:

— Иди...

Прижавшись к какой-то стене, Евсеев переживает непогоду. Бушует гроза. Теплый летний ливень хлещет тротуары, деревья, асфальт. Постепенно дождь начинает стихать.

...На Матросскую Тишину он добирается затемно. В доме горит свет. Крыльцо. Лампочка в жестяном колпаке. В косяке кнопка звонка. Для него — высоко. Как же достать ее? Он ищет какую-нибудь палку. Находит короткий деревянный чурбак. Подкатывает к крыльцу. Втаскивает по ступеням. Ставит к двери. Взбирается. Пробует достать с чурбака кнопку звонка. Низко!

Сдвигает чурбак в сторону. Стучится. Ответа нет. Тогда колотит в дверь кулаками. Из квартиры кто-то выходит. Он чувствует — вышла она, Лена. Теперь ей нужно спуститься вниз, к двери, и спросить: «Кто там?» Вот ее шаги. Подходит к двери. Молчит. Дышит. Почему она не спрашивает: «Кто там?» Почему медлит? Бойтся?

— Кто? — вдруг тихо спрашивает она.

Он хочет ответить, голоса нет.

— Кто здесь?

Задавленно, будто с того света, он отвечает:

— Открой... Это я...

За дверью долгая, страшная тишина. Затем

звук железного запора — открывает. Но разбухшая от дождя дверь не поддается. Она с силой ударяет в нее плечом. Дверь распахивается, сбивает Евсеева с крыльца. Когда Елена Витальевна выглядывает за дверь, она видит пустое крыльцо и стоящий на нем короткий уродливый чурбак. Вскрикнув, она захлопывает дверь. Набрасывает запор. Бежит наверх, в квартиру.

Евсеев, сбитый с крыльца дверью, лежит недвижно, лицом в размокшую грязь. Нет желания подняться, думать, жить, двигаться. Потом он выезжает за калитку. Умывается в дождевой луже. Вода в ней почти чистая. Закуривает. И выезжает в поисках такси на магистраль.

Особняк Главного политуправления на Кропоткинской. Пропускное окно. Проверив документы и козырнув, сержант пропускает Евсеева к лифту.

— Четвертый этаж, направо. Комната четыреста семь, — говорит он.

Полковник в своем кабинете. Поднимает на Евсеева уставшее лицо, спрашивает:

— Что, Евсеев, обратно вернулись?

— Вернулся, товарищ полковник.

— Насколько понимаю, желаете теперь выехать?

— Желаю.

— Семья с вами? Или остается?

— Остается.

— Понятно, — говорит полковник.

Достаёт бумаги.

— Могу предложить Кубань, Туркмению, Узбекистан, Южный Казахстан. Выбирайте.

— Все равно, товарищ полковник.

— Тогда советую Южный Казахстан, город Пржевальск. Тепло, сухо, воздух, фрукты. Алма-атинский филиал государственного университета. При желании можете продолжать учебу. Вы коммунист?

— Да.

— Может, зайдете дня через три? Получим новые лимиты. Смогу предложить вам Крым, Молдавию, Подмоскowie, Украину. Что захотите...

— Благодарю, но я хотел бы уехать...

— Согласны на Казахстан?

— Да.

— Пишите заявление. Билет, проездные документы, деньги и все, что полагается, получите здесь, утром. Партдокументы придут по месту нового жительства, в адрес райкома. Ордер на жилье получите там же.

— Спасибо...

— Я позвоню на проходную, вас отвезут на машине. И будем надеяться, что все это происходит... происходит к лучшему.

его на восток. И так случается, что где-то за Малаховкой вслед поезду машут платком и руками мальчики и Елена Витальевна. Это Сарычев снова вывез их за город, на природу.

Зима. Вечер. Елена Витальевна выходит из училища. Ее ждет Сарычев.

— Где же ваша машина?

— Сегодня я безлошадный, — смеется он. — Сломалась машина.

Садятся в полупустой троллейбус. Ближе к вокзалам троллейбус наполняется людьми. В этот час едут из театров, с вечерней учебы и из поздно закрывающихся учреждений.

На передней площадке шумит, скандалит с пассажирами какой-то мужчина.

— Удивительно знакомый голос, — говорит Елена Витальевна. Привстав с сиденья, тянет шею, чтобы увидеть этого человека. Спрашивает Сарычева:

— Видите его?

— Кого?

— Мужчину с хриплым, застуженным голосом.

Сарычев тоже тянет шею, привстает.

— Вижу. В армейской шинели. Небрит. И кажется, пьян.

— Следите, где он сойдет.

— Зачем? Вам снова что-нибудь померещилось?

— Вас не касается, — резко отвечает она.

Сарычев обижен. Но следит за мужчиной в шинели исправно.

— Сел у окна, на переднем сиденье. Должен сказать, неприятный тип.

Троллейбус останавливается. Раздирает смерзшиеся двери. Пассажиры начинают выходить.

— Пробьемся на переднюю площадку, — говорит Елена Витальевна. — Мне нужно увидеть этого человека в лицо.

Проталкиваются через переполненный салон. И тут Елена Витальевна видит, что человек в шинели сошел. Посадка уже закончена. Елена Витальевна кидается к дверям. Успеваает выскочить. Троллейбус трогается, увозя растерявшегося Сарычева.

Шинель мелькает уже далеко, за спинами пешеходов. Елена Витальевна пытается настичь ее. Мужчина, точно почувствовав погоду, оглядывается и прибавляет шаг. Теперь видно, что он слегка прихрамывает. Поднимает ворот шинели. Пробует затеряться в толпе. Елена Витальевна преследует цепко. Мужчина снова оглядывается. Поняв, что она преследует именно его и что играть в прятки больше незачем, мужчина переходит на рысь. Елена Витальевна — тоже.

Дворами, арками, переходами, не отставая ни на шаг, она загоняет его в какой-то подъ-

езд. Поднимается следом вверх по лестнице. Вот и последний, шестой этаж. Лестничная площадка. Дальше бежать некуда. Мужчина поворачивается к ней лицом, готовый, если потребуется, защищаться. Это Семочкин.

— Чего надо? — грубо спрашивает он.

Елена Витальевна видит опухшее, нездоровое лицо и даже теряется.

— Извините. Я обозналась.

Поворачивает обратно. Спускается по лестнице. Какое-то время Семочкин медлит. Затем начинает спускаться вслед.

— Эй, гражданочка, подожди! Загнала меня на крышу — и в сторону? А может, я дорогу назад забыл?

Елена Витальевна, поняв, что может попасть в неприятную ситуацию, торопится выйти на улицу через двор. Семочкин преследует ее. Они как бы поменялись ролями.

— Не ходите за мной!

— Да не бойся! Я фронтовик, я женщину обижать не стану...

Елена Витальевна ускоряет шаг, потом бежит. Семочкин рысит следом. Тогда она сворачивает в первый попавшийся подъезд. Взбегает по лестнице на третий этаж. Звонит в какую-то квартиру. Ей открывают.

— Извините, за мной гонится пьяный...

Ее выпускают. Дверь закрывается перед самым носом Семочкина. Он стучит в нее кулаком, затем — ногою. Дверь распаивается. Перед Семочкиным вырастает могучего сложения женщина. Уперев руки в гигантские бока, снисходительно спрашивает:

— Ты чо, суслик?

— Извините, — бормочет Семочкин и спешит поскорее исчезнуть.

Квартира, типичная для послевоенных лет, многонаселенная. Женщина, впустившая Елену Витальевну, проводит гостью в свою комнатку. Помогает снять пальто, дает старые валенки, усаживает. Ей не более тридцати, но лицо ее уже увяло; глаза тихие, уставшие и необыкновенно большие на худеньком, с кулачок, личике.

— Трудно живет народ, — говорит она. — Вот некоторые и куролесят. А все война! Много она беды принесла, да и эта, должно быть, еще не вся, надолго горяшка хватит! Грейтесь. Я кипяточку сейчас принесу, чаю заварим.

В комнату под разными предлогами заглядывают соседки — каждой охота взглянуть на неожиданную гостью-«артистку».

— Вдовы одни да ребятишки, а мужчин ни одного. У Пивоваровых вернулся сын, женился, а только побит весь, больше в больницах лежит, чем дома живет. Вот и все наши мужья, — рассказывает хозяйка. — Ваш-то пришел?

— Нет, — отвечает Елена Витальевна.

В комнату, постучавшись и сразу, не дожидаясь ответа, входит соседка, выставившая Семочкина. Она очень сильна, мужиковата, одета в мужской пиджак и косо сидящую на ней юбку.

— Нюра! — представляется она и сует Елене Витальевне большую, сильную руку. — Чай что ли пьете?

— Чай.

— Да на фиг он нужен, когда у меня белое есть!

Она уходит и приносит бутылку водки. Говорит хозяйке:

— Стаканы давай. Самогон. Из рюмок пить невозможно. Без спичек горит, зараза.

Наливают в стаканы.

— Стойте! — говорит Нюра. — Картошка есть! Картошки сейчас принесу. Пивоваровых, что ли, позвать? У них квашеная капуста.

— Зови.

Приходят Пивоваровы. Сноха с сестрой и старушка. Приносят капусты. Садятся наконец выпить.

— Дак, девки! — говорит Нюра. — Чего это мы одни-то пить будем? Еще ведь бутылка есть! Верку позвать, что ли?

— Зови. Лизочку тоже. И тетю Варвару. Юшковым в дверь стукни, кто есть, пусть тоже идут.

— Эх! — восклицает Нюра и вскакивает из-за стола. — Пить — не дрова рубить! Патефон принесу. Может, и плясать будем!

И вот дверь уже не стоит на петях. Входят. Выходят. Сноха приходят. Несут хлеб, яйца, соль, картошку, вино, холодную кашу, компот — кто чего. Девчонки успевают принарядиться. Наконец садятся к столу.

— Сказать что-нибудь надо. Первую рюмку так не пьют, — говорит кто-то.

Встает Нюра со стаканом. Оглядывает сидящих.

— Девчонки! Бабульки! Мамаши! Женщины! Вот мы сидим тут, а наши ребята, мужья, отцы, женихи в земле лежат убитые. Выпьем за них, за ихнюю память и упокой.

Кто-то всхлипывает.

— Лей сразу по второй, чтоб воды напущить не успели! — говорит Нюра.

Потом поют песню. Елена Витальевна тихонечко подпевает мотив. По радио таких песен не передает, и слова ее ей не знакомы. Песня рассказывает о молодой женщине, у которой убит на войне муж. Как жить без милого? Она обращается со своим горем к людям, к избам, к полям, камушкам, траве и деревьям. Но никто не может дать ей ответа...

...Потом идут провожать Елену Витальевну. На троллейбусной остановке подпившая Нюра выплясывает, кричит:

— А где ж тот настырный фронтовичок?! Уж он бы сейчас от меня не ушел! Уж я б его

всем пламенем души и тела согрела!

Сажают Елену Витальевну в троллейбус. И какое-то время ей в окно салона еще видно, как Нюра и девчонки Юшковы выплясывают на опустевшей остановке под частушку.

На Матросской Тишине ее ждет Сарычев.

— Боже мой, Сергей Сергеевич, вы?!

— Я...

Он так промерз, что с трудом шевелит губами.

— Да вы с ума сошли!

— Знаю...

— Вы же заоченели! Идите в дом, вам необходимо согреться.

Она берет его под руку.

— Лена... нет обождите... вы знаете, я люблю вас... давно... Скажите, сколько еще ждать? Год? Два? Три? Я устал. И будет лучше, когда я буду знать сколько...

Она молчит. Взглядывает на его лицо. И вдруг тихо говорит:

— Хорошо... я согласна...

— Лена, милая, когда?

— Когда захотите. Хоть завтра.

Он прижимает ее ладонь к лицу. Слов у него нет. Она тихо смеется:

— Мы с вами, как две ледышки...

Свадьба — в банкетном зале московского ресторана. Гости встают, поднимают бокалы:

— Горько!

Сарычев целует Елену Витальевну. Она не отвечает. В глазах ее слезы. Гости аплодируют:

— Это от счастья!

— Радости вам и долгих лет жизни!

Музыканты начинают вальс. Они танцуют одни под взглядами всего зала. Она клонит лицо, и он тихо спрашивает:

— Плохо себя чувствуешь?

— Нет, ничего.

— Ты чем-то расстроена.

— Все очень хорошо.

Сделав круг, она прерывает танец. Идет на место. Но музыка продолжает играть. Банкет взрывается криками, аплодисментами:

— Еще!

— Просим еще!

— Бис!

И начинают скандировать. Елена Витальевна принуждена возвратиться и продолжать танец.

— С тобой что-то происходит,— тихо говорит он.— Я заметил еще с утра.

— Сказать?

— Скажи.

— Я здесь, с тобой. На свадьбе. Гости. Музыка. Цветы. Шампанское. Замуж выхожу. А он дома. Меня ждет.

— Кто дома? Кто ждет?

— Миша. Михаил...

Сарычев останавливает танец. Музыка обрывается. Под крики и аплодисменты гостей он ведет Елену Витальевну из зала.

В безлюдном холле останавливается:

— Нам нужно поговорить.

— Дай, пожалуйста, папиросу,— просит она.— Спасибо. Не пугайся того, что я сказала. Вздор, предчувствие, галлюцинации нервной женщины, называя это как угодно. Но мы сделаем так: сейчас сойдем вниз, к гардеробу, ты оденешь меня, посадишь в машину, и я съезжу домой.

— Не дури! Ты на нашей свадьбе. На своей. И на моей. Уважай хотя бы элементарно гостей и собравшихся.

— Оставайся. Я еду. Он дома. Он ждет меня. Я знала об этом еще утром.

Сарычев берет у нее папиросу. Гасит.

— Идем.

Одевает ее внизу. Без пальто выходит на улицу. Сажают в машину. Елена Витальевна уезжает. Он стоит один на морозе. Захватывает горсть снега, трет свое пылающее лицо. Вдруг останавливает такси.

Садится, говорит адрес:

— Матросская Тишина.

Бросив машину, Елена Витальевна торопливо взбегает к себе на этаж. Достает ключи от квартиры. И тут видит, что дверь в квартиру уже кем-то открыта.

Скользнув в прихожую, она прислоняется к стене. Темно. Далеко, в другой комнате, настенные часы бьют четверть одиннадцатого. Она стоит, давая глазам привыкнуть к темноте. Затем неслышно как тень движется в комнату. Шарит по стене в поисках выключателя. Спокойный, ровный голос останавливает ее:

— Не включай. Так будет удобней...

На фоне окна она видит силуэт сидящего за столом мужчины.

— Сядь. Поговорим.

Как зачарованная, лишенная воли сомнамбула, она подвигается к столу, садится на краешек стула.

— Ты знала, что я здесь?

— Да. Я чувствовала, что ты здесь. И я не ошиблась. Ты — здесь...

— Ты знала, что я жив?

— Да. Я верила, что ты жив. И ты — жив...

Он молчит. И она спрашивает:

— Можно, я все же зажгу свет?

— Ты боишься меня?

— Чуть-чуть. Немного...

— Я скоро уйду. Скажи, как ты жила эти годы?

— Не знаю. Я не жила. Я ждала тебя.

— Как дети?

— Здоровы.

— Знают, что я погиб?

— Да. Когда они подросли, я сказала. Оба надолго смолкают. Она спрашивает: — Скажи, были случаи, когда ты следил за мной на улице? Или звонил мне по телефону?

— Да. Я прятался в подворотне. Чтобы увидеть тебя. Хотя бы издалека. Иногда я звонил, чтобы послушать твой голос. Но потом ты стала бросать трубку.

— Боже мой! Если б я знала... А переводы? Денежные переводы? Они — твои? Он молчит. Она встает. Говорит:

— А теперь, Сергей Сергеевич, я зажгу свет. Мне хочется видеть ваше лицо.

Зажигает свет. За столом — Сарычев.

— К чему вы устроили этот маскарад?

— Я устал. Я не хочу жить втроем. Тем более что один из этих троих давно мертв. Вот бумага и орден, которым награжден ваш муж посмертно. Я узнал все, что можно узнать. Мне известны обстоятельства его гибели. Его батальон десантировали на танки. Никто не мог и предполагать, что это немецкие танки из группы Шернера, прорывающиеся в плен к американцам. На войне это бывает. Он дрался и погиб, как полагается погибать солдату, советскому офицеру. Похоронен в Чехословакии. И вам пора примириться с этим.

— Оставьте меня!

Сарычев поднимается, какое-то время медлит.

— Уходите!

Он выходит. Тихо прикрывает за собой дверь.

С тех пор проходит 20 лет. Наступает май 1967 года. В этот день Москва оставляет суету и приспускает знамена. Траурный похоронный кортеж с останками Неизвестного Солдата минует Ленинградский проспект и вступает на улицу Горького.

На тротуарах многотысячные шеренги людей, в последнем, прощальном молчании провожающие лафет с гробом. Среди них — Елена Витальевна. Кортеж проходит, направляясь к Александровскому саду и Кремлевской стене. Следовать за ним нет никакой возможности из-за многолюдства толпы и давки на тротуарах. Елену Витальевну оттесняют к витрине и дверям кафе. И она решает зайти в него — передохнуть.

В кафе почти пусто. Она садится за столик к окну. Напротив двое мужчин в гражданских костюмах, но при всех боевых наградах. Это Семочкин и Жогов. Оба чисто выбриты, торжественны и серьезны. Достают принесенную с собой водку, требуют у официантки закуски и бокалы. Та готова отказать, но взглянув на их орде-

на и планки за ранения, приносит то и другое.

Семочкин взглядывает на Елену Витальевну раз, два, три и вдруг говорит:

— Простите, а мы с вами знакомы!

Елена Витальевна лишь мельком взглядывает на него и не отвечает.

— Вспомните,— пристает Семочкин.— Зима, снег, поздний вечер. Вы преследуете меня, пока не загоняете на верхний этаж какой-то халупы. Потом, правда, все повторяется. Только — наоборот. Вспомнили?

Елена Витальевна вновь взглядывает на него. И, вспомнив тот забавный эпизод, не может сдержать улыбки.

— Вспомнили! — радуется Семочкин.— А я, признаться, немножко струхнул тогда. Документы в военкомате, врачи силой из Москвы в Крым посылают, а я скрываюсь от них где придется. Ситуация!

— Я тоже немножко испугалась,— говорит Елена Витальевна.— Я шла за вами, потому что вы чем-то напомнили мне моего погибшего мужа.

— Тоже не пришел?

— Да.

— Теперь уж и не придет,— говорит Жогов.— Сегодня вот последнего хороним, навсегда.— Можно налить вам глоток?

— Простите, я не пью водки,— говорит Елена Витальевна.— Я закажу вина.

— За погибших надо пить горькое,— говорит Семочкин и наливает ей водки.— Ваш муж был офицер?

— Да.

— Вот и давайте помянем. Его и всех остальных. Как величали-то? За кого поднимаем?

— Капитан Евсеев. Михаил Алексеевич... Гвардии капитан...— Поднимает свой бокал.— За него и за всех непришедших.— Пьет.

Семочкин и Жогов глядят на нее почти со страхом; бокалы свои отставляют. Она взглядывает на них:

— Почему я пила одна?

— За мертвых пьем, за живых не торопимся,— брякает Жогов.

Семочкин дергает его под столом. Обращается к Елене Витальевне:

— Вы очень торопитесь? Нет? Спасибо. Мы — на одну минутку.

Оба выходят. Запираются в туалетной комнате. Включают калорифер для сушки рук, чтоб никто не мог их подслушать.

Семочкин, лихорадочно соображая, бормочет как заведенный:

— Что делать?! Что делать?!

Жогов — спокойней.

— Думаешь, это она?

— Она.

— Думаешь, это он?

— Он.

Калорифер смолкает. Его включают опять.
— Что делать?! Что делать?!
В дверь туалетной стучат. Надо выходить.
— Что делать?! — бормочет Семочкин.
— Выходим, — говорит Жогов. — Стучат...
— Я скажу ей!
— А я?
— Поедешь домой, к Мише. Надо подготовить его.
— А ты?
— Привожу ее к вам.
— А он? Михаил? Знаешь, чего он со мной сделает?
— Чего?
— Оторвет голову.
— С полочки мы тебе новую купим.
Пошли!

Выходят. И сразу видят Елену Витальевну, уходящую из кафе. Бросаются вслед.
— Гражданка Евсеева!
Она останавливается. Подает руку.
— Мне пора. Спасибо за все. До свидания.

— Пойдите! — говорит Семочкин.
— Что-то случилось? — спрашивает она.
— К нам приехал товарищ из Южного Казахстана. На праздники. У него нет обеих ног. Двигается на колясочке...

— Зачем вы мне все это говорите?
— Вы должны поехать с нами.
— Куда?
— К нему.
— Зачем?
— Ваше имя Елена Витальевна?
— Да.
— У вас двое сыновей. Младшего зову Филиппком?

— Да, — пугается она. — Откуда вы знаете?
— От нашего товарища. Его фамилия Евсеев. И он тоже капитан. Гвардии капитан... Это — ваш муж.

— Нет! — в ужасе шепчет она.
— Он ждет вас.
— Нет!
— Ваше имя Елена Витальевна? И у вас двое сыновей?
— Нет! Нет! — кричит она. — Это не он! Это не он!!!

Из зала выбегают официантки, администратор. Швейцар свистит на улицу в свисток, призывая милицию.
— Отойдите! Как вы смеете приставать к женщине!

А Елена Витальевна, потеряв всякий контроль над собой, испуганно твердит одно:

— Нет! Это не он! Это не он!!!

Потом — длительный обморок. Придя в себя, она видит милиционера с дружинниками, Семочкина, официанток. Дальнейшее — тоже точно во сне. Машина. Ее куда-то везут...

Гоголевский бульвар...

Крымский мост...

Зубовская площадь...

Пироговка.

— Приехали, — говорит шофер.

Семочкин уходит. Она с милиционером и дружинниками остается в машине. Через минуту Семочкин возвращается. С ним Жогов и дворник.

— Упустили! — говорит Семочкин. — Сбежал!

Милиционер выходит из машины.

— Куда?

— Спрятался на чердаке, — докладывает дворник.

— Пошли на чердак, — говорит милиционер.

Мужчины направляются за дворником. Елену Витальевну оставляют в машине с шофером.

...Чердак завален рекламными щитами, поломанной мебелью, старыми транспарантами, портретами вождей, мотками электропровода для праздничных иллюминаций и прочим старьем.

— Тсс! — шипит дворник и знаками показывает заходить слева и справа.

Милиционер достает из кобуры пистолет. Охватывая пространство по всей ширине, мужчины начинают продвигаться к дальнему углу чердака. Цепляют какой-то щит. Он трещит. Рушится. Вздывает облако пыли. Прочихавшись и переждав, когда пыль оседет, продвигаются дальше.

Никто не замечает, как Елена Витальевна тоже поднимается на чердак. Прикусывая кулачок, чтоб сдержать крик и не выдать себя, она с ужасом наблюдает эту облаву.

Дворник останавливается. Подныривает под оборванные провода. Кидается за щит: там спрятались беглец.

— ЕСТЬ!

Дружинники и милиционер бросаются на помощь. Слышна упорная, тяжелая возня. И вдруг оттуда вырывается гневный и тонкий вскрик, будто кричит смертельно раненный заяц. Елена Витальевна бросается на мужчин. Тоже кричит, бьется в чьих-то крепких руках:

— Вы не смеете! Вы не смеете! Я не хочу! Не хочу! Не надо!!!

Ее уводят вниз. Сажает в какой-то комнате. Суют нашатырь и стакан с водой, расплескивая на пальто и чулки. Потом все уходит. Она остается одна.

Она могла бы сидеть так день, ночь, еще день — опустошенная и ко всему безразличная. Входит Семочкин. Трогает ее за плечо. И она понимает: это за ней.

— Идти? — спрашивает она.

— Идемте.

Он помогает ей встать. Она поправляет сбившиеся волосы и, точно приговоренная к казни, идет за Семочкиным. Но вдруг останавливается.

— Я не пойду. Я боюсь.

Но он ведет ее дальше. И она не в силах сопротивляться. Останавливаются перед какой-то дверью.

— Здесь? — спрашивает она.

— Да, — отвечают ей.

— Пусть все уйдут, — приказывает она.

Милиционер прячет пистолет в кобуру. Делает знак дружинникам и дворнику. Все уходит. Семочкин медлит, опасаясь, вероят-

но, оставить ее одну. Но, взглянув на ее лицо, тоже уходит.

...Она остается одна. Трогает дверь рукою. В нерешительности гладит пальцами ее неровную, крашеную поверхность. Затем встает перед дверью на колени и — толкает ее...

Мы не знаем, что она видит. Перед нами река, плес, кустарник; поле несжатых овсов взбегает холмами к роще, и оттуда кличет, зовет кого-то кукушка.

1972 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

1991 год идет трудно для вас и для нас.

Следующий будет наверняка труднее — иллюзий на этот счет нет ни у кого. Непредсказуемо растут цены на типографские расходы, углубляется бумажный кризис, увеличиваются поборы за рассылку изданий.

Мы понимаем, что в наши времена многим не до чтения — быть бы живу! Но будем ли мы живы как свободное, культурное, нравственное сообщество, если мы лишимся и этого хлеба — духовного?

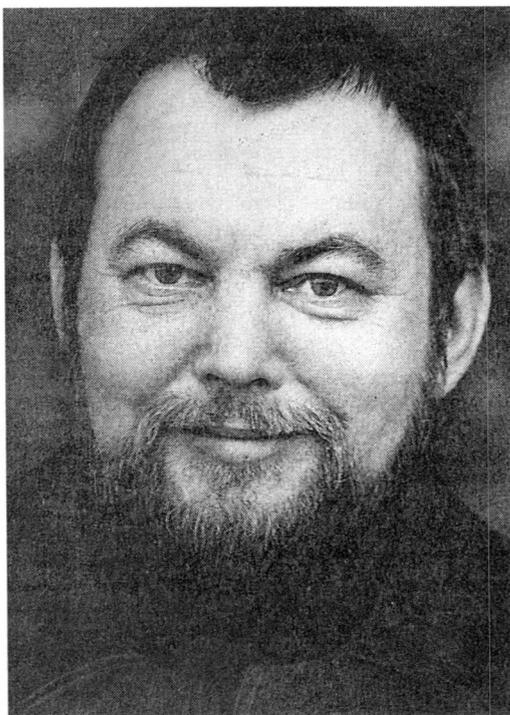
Выход — один: объединиться издателям и читателям, ибо все мы делаем, по сути, одно общее дело сбережения и развития отечественной литературы, искусства, мысли, свободного слова.

Наша общая с вами задача — сохранить в культурном обиходе кинодраматургию как полнокровный вид литературного и кинематографического творчества.

Это сейчас тем более важно, что отечественное киноискусство практически исчезло из прокатного репертуара, и, пожалуй, только на страницах нашего журнала, хотя бы на уровне сценария, вы можете узнать, какие идеи его наполняют, какие новые герои в нем появляются, какие развиваются сюжеты.

Мы надеемся на наших традиционных читателей.

Как бы то ни было, цена на наш журнал остается прежней.



Валентин
ЧЕРНЫХ

ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК

(Месть женщины)

I серия

Молодая женщина лет тридцати пыталась остановить такси. Машины с зелеными огоньками проскакивали мимо. Она оглянулась. На балконе одного из домов стояла другая молодая женщина. Она помахала ей, и та ушла в квартиру. Женщина на дороге осталась одна. Теперь она пыталась остановить любую машину, даже не такси. И эти тоже не останавливались. Наконец у обочины притормозила девятка-«Жигули», водитель сам распахнул дверцу, и женщина села рядом с водителем.

— Спасибо,— сказала.

Она достала зеркальце, чтобы поправить прическу, и вдруг увидела в зеркале лицо мужчины, которого не было на заднем сиденье, когда она останавливала машину. В машине был тогда один водитель. Она сделала попытку оглянуться, но мужчина сзади прижал ее голову к подлокотнику сиденья, попытался забрать с ее колен сумочку. Женщина вцепилась в сумочку.

Водитель вел машину на большой скорости, не обращая внимания на борьбу. На перекрестке зажегся красный свет, и водитель вынужден был остановиться. Женщина увидела возле универсама двух патрульных милиционеров, это придало ей решимости, может быть, и сил. Она ударила сумочкой, попала в лицо державшего ее сзади мужчины. Ей хватило его секундной

растерянности. Она выскочила из машины и бросилась к милиционерам.

— Задержите, там бандиты... Они приставали ко мне...

Молодой сержант и старшина лет пятидесяти глянули вслед удаляющимся «Жигулям».

— Номер машины? — спросил сержант.

— Я не заметила,— ответила она.

Сержант достал рацию.

— Обожди,— сказал старшина.— Кто они?

— Я не знаю их.

— Что ж ты, дорогуша, пьешь с незнакомыми, садись к ним в машину.

— Как вы можете!.. Что вы говорите!.. — возмутилась она.

— А как можно с пьяной разговаривать? — спокойно возразил старшина.— От тебя же вином разит.

— Я была у подружки... выпила половину рюмки за ужином,— теперь уж растерялась она.

— Я не мерил, не знаю,— возразил старшина и добавил: — Иди домой, дурочка. Считай, что легко отделалась.

— Как ваша фамилия? — потребовала она у старшины.

— А мы бесфамильные,— усмехнулся старшина,— мы под номерами.— Он указал на металлическую бляху с номером на мундире и сказал сержанту: — Вызывай перевозку. Пусть с ней в медвытрезвителе

разбираются, кто к кому приставал, то ли к ней, то ли она к кому.

И тут в радию забубнил голос:

— Пятая патрульная группа. Прибрежный проезд, три. Групповая драка.

Милиционеры зашагали по вызову, уже не обращая на нее никакого внимания. Старшина на ходу расстегнул кобуру пистолета.

Она подошла к дому. В подъезде набрала код. Ошиблась. Дверь не открывалась. Сосредоточилась, снова нажала кнопки кода.

Вошла в квартиру. Закрыла дверь на два замка, на цепочку, бросилась на тахту и разрыдалась. И тут позвонили в дверь.

— Кто?

— Это ваш сосед Никифоров с пятого этажа. Мне с вами надо поговорить.

— Извините, я занята.

— Я на пять минут. Я вас не задержу.

— Подождите минутку...

Она умыла лицо, припудрила нос, открыла дверь.

Вошел сосед, мужчина лет сорока пяти, в ковбойке и джинсах.

— Слушаю вас,— сказала она.

— Простите... вы не хотите взять собаку?

— Не хочу.

— А у вас была когда-нибудь собака?

— Нет.

— Тогда, может быть, подумаете?.. Собака — это самое преданное и верное существо... К тому же — сторож и защитница...

— Послушайте, чего вы от меня хотите? Зачем вы меня убеждаете взять собаку?

— Дело в том, что мы с женой уезжаем в Африку. На два года. Я хирург, она гинеколог. Мне сорок пять лет, ей сорок. Это последняя возможность. Нам предложили этот контракт, мы согласились, но вдруг все сорвалось... Ну мы и взяли щенка. Но вдруг все закрутилось снова, и вот мы уезжаем...

— Все понятно, но при чем здесь я?

— Возьмите нашу собаку. Ей только три месяца. Она привыкнет к вам и забудет нас.

— Я не хочу брать собаку, у меня достаточно проблем и без собаки.

— Вы хоть посмотрите на нее...

— Я и смотреть не буду. Извините, но я ничем не могу вам помочь...

Утром она с трудом села в автобус. Мужчины прорывались первыми. В салоне на задней площадке ее стиснули, новым потоком пассажиров на следующей остановке ее начали двигать в глубь салона, она начала сопротивляться.

...Из метро она вышла в центре Москвы и в потоке среднего и пожилого возраста

мужчин заспешила к зданию Госплана.

Она вошла в большую комнату, в которой стояло пять столов, оснащенных компьютерами почти последнего поколения. Включила компьютер, на дисплее возникли статистические данные по тракторостроению.

В комнату заходили женщины, здоровались, садились за свои столы.

— Картошка уже по два рубля,— сообщила одна.

— Когда это все кончится? — сказала другая.

Компьютеры были включены, но никто, кроме нее, не работал. В комнату заглянул мужчина лет сорока. Это был явно начальник.

— Здравствуйте, девушки,— сказал он.

Девушки, которым было от тридцати до пятидесяти, тут же деловито застучали по клавиатурам. Он подошел к ней и сказал:

— Анна, проверь все сводные данные, что-то у нас не сходится.

— Почему я? — спросила она.— Это же не моя работа.

— И не моя тоже,— ответил начальник и вдруг закричал: — Мне надоело! Сколько можно портачить! Еще один такой прокол, и нас расформируют за ненадобностью! — И начальник выскочил из комнаты.

Женщины некоторое время работали молча. И тут выкрикнула самая пожилая:

— Ну и пусть! То организуют, то реорганизуют. Сама уйду.— И женщина заплакала.

Анна подошла к ней, наkapала в стакан валерьянки, дала ей выпить.

— Ничего себе денек начинается,— прокомментировала молодая блондинка. Она подкрасила губы и сообщила: — Если что, я в управлении.— И, захватив сумочку, вышла из комнаты.

Из учреждений выходили служащие. Среди них она — Анна Николаевна Журавлева, тридцати пяти лет, старший экономист из Госплана,— в короткой куртке, длинной узкой юбке, что весьма модно в этом сезоне.

Возле ее дома были припаркованы две милицейские машины. Старухи из соседних подъездов, что-то обсуждая, стянулись к ее подъезду.

Она поднялась на лифте. На лестничной площадке толпились соседи. Обсуждали случившееся.

— Сейчас грабят везде...

— Участковый сказал, что это третья кража за месяц.

— Может, кто из своих?

Соседка из квартиры напротив пояснила: — Квартиру ограбили подчистую, на третьем этаже.

Она поспешно открыла замки, верхний и нижний, вошла в квартиру, бросила взгляд на двухкассетный «Шарп», открыла шкаф — кожаная куртка на месте, выдвинула ящик, из-под стопы постельного белья достала коробку, раскрыла — кольца, цепочки, серьги на месте.

Она посмотрела на часы. Вошла в ванную, поставив телефон возле двери. Приняла душ. Надела длинный домашний халат, передумала, натянула вельветовые брюки и кофту навыпуск.

Поставила чайник, нарезала лимон, разложила печенье.

Услышав шум лифта, открыла дверь. Почти одновременно открылись и двери соседней. Он прошел, провожаемый взглядами.

Поцеловал ее, достал из кейса букетик цветов, коробочку прессованной пудры.

— Наше вам... Что с тобой?

— Соседку обворовали...

— Не тебя же.

— Пока не меня. Сколько у тебя времени?

— Для тебя вечность.

— Значит, как всегда, два часа.

— Два часа пятнадцать минут.

— Не смешно.

Он подошел к ней, обнял, она ткнулась ему в грудь, он начал снимать с нее кофту.

— Я сама...

...Они лежали вместе.

— Дай мне телефон, — попросил он.

Она дотянулась до телефона, который стоял на полу, передала ему.

— Миша, заходи после девяти, плюс минус пятнадцать минут... Да. Пока на объекте.

Она выхватила у него телефонную трубку и сказала:

— Он врет. Он уже не на объекте. Он лежит рядом с объектом.

— Хочешь скандала?

— У меня телевизор поломался.

— А я здесь при чем?

— Надо его везти в мастерскую, телевизор тяжелый, мне одной не под силу. Давай сейчас и отвезем...

— В следующий раз...

Увидев его лицо, она поспешила переменить тему:

— Чай пить будешь?

— Не успеваю уже...

Он оделся, попытался привлечь ее к себе, она отстранилась.

— Чао!

После его ухода она походила по квартире, потом села пить чай и заплакала.

На следующее утро она вышла из подъезда. Невдалеке от автобусной остановки в ее ноги ткнулся щенок. Она погладила его и зашпешила. Щенок засеменил за нею. Она пошла быстрее, щенок побежал рядом. Она вер-

нулась к подъезду. Щенок двинулся за нею.

— Чья собака? — спросила она проходивших людей.

Никто не знал. Щенок привалился к ее ноге и тут же уснул. Она взяла щенка, поднялась на пятый этаж и позвонила в квартиру Никифорова. Ей не ответили. Она оставила щенка на площадке и пошла вниз. Щенок, повизгивая, с трудом одолевая ступени, двинулся за нею.

Она взяла щенка, открыла дверь своей квартиры. Щенок начал исследовать кухню. Она налила в блюдце молока. Щенок вылакал молоко, привалился к плитусу и уснул. Она достала с антресолей старую меховую безрукавку, бросила в угол и положила на нее щенка.

Выйдя из метро, она вклинилась в утреннюю толпу. Показала пропуск госплановским милиционерам. Доехала на лифте до своего этажа. По коридору шли спокойные, хорошо одетые мужчины и женщины. И она тоже стала спокойной и размеренной. Вошла в комнату. Снова она была первой. Села, включила компьютер.

Она почти бежала по лестнице, слыша тьяканье щенка с жалобными подвываниями.

Она влетела в квартиру, щенок начал карабкаться по ее ногам, она прижала его к груди, и щенок тут же затих.

Она осмотрелась. На полу были хоть и небольшие, но лужи. Вытерла пол и открыла балконную дверь, чтобы проветрить.

Она ужинала, щенок пытался забраться к ней на колени. Дала щенку кусочек мяса, щенок мгновенно проглотил его и стал тут же икать. Подула ему в рот, налила в блюдце молока, щенок попил и успокоился.

Она начала вычитывать машинописные страницы рукописи. Щенок попытался играть листами, пришлось укладывать повыше. Потом щенок помочился на ковер, пришлось оттирать.

Она поднялась на пятый этаж и позвонила. Дверь открыл Никифоров. В квартире стояли раскрытые чемоданы, кресла и диван были покрыты целлофановой пленкой.

— Извините, — сказала она. — У вас не потерялся щенок?

— У меня никто не потерялся. Мы живем вдвоем с женой. Она на месте. В ванной...

— А щенок? Вы вчера предлагали мне щенка. Он тоже на месте?

— Черт возьми! — выругался Никифоров. — Вы что, ее нашли? Где?

— Практически возле нашего подъезда.

— Ну и сообразительная девка! Я ведь на рассвете отнес ее в соседний квартал...

— Как вы могли?!

— А что же мне делать? Никто не берет. Это крупная порода. Сейчас такую трудно прокормить. Предпочитают маленьких... Ладно, где она?

— У меня...

— Так... Мы улетаем через три часа. Ладно, я еще успею отнести подальше, дети подберут...

С Никифоровым они спустились в ее квартиру. Щенок с визгом бросился к хозяйину.

— Пошли, Нюрка, в люди, — сказал Никифоров.

Но щенок у порога сел. Вернулся к ней. Никифоров был уже на площадке. Щенок выбежал на площадку и снова вернулся к ней, начал тащить ее за подол юбки.

— Не надо ее никуда уносить, — сказала она. — Я ее пристрою.

На работе, в обед, она обсуждала с коллегами, кто мог бы взять щенка. «Против» было больше, чем «за».

— Я бы взяла маленького пуделя.

— Ризеншнауцер — настоящая сторожевая собака. Будет тебя охранять!..

— Я бы взяла, да куда такую кобылу в однокомнатную. На моей кухне она и не развернется... И прокормить — наплачешься... В ней килограммов сорок, наверное, живого веса!..

— Ей своя машина нужна... В муниципальный транспорт с такой не сунешься...

Они совершали вечернюю прогулку. Нюрка довольно дисциплинированно бежала рядом. Наступал час выгула. Провели двух величавых догов. Вдалеке прошествовала огромная московская сторожевая. Встретился непривычно уродливый французский бульдог и привычно красивая овчарка. Были и беспородные. Маленьких, юрких, их не держали на поводках, они шныряли рядом, носились по газонам.

Они с Нюркой стали свидетелями драки двух сук фокстерьера и таксы. Охотничьи собаки, подготовленные к единоборству с лисой и кабаном, вцепились друг в друга, хозяева растащили их за задние ноги.

Забесновалась лайка, увидев идущего навстречу эрдельтерьера. По-видимому, это были враги. Хозяева, чтобы предотвратить драку, разошлись в разные стороны.

Владельцы напоминали собак своей породы, или собаки напоминали владельцев. Были и явно выраженные комплексы. Маленькие мужчины предпочитали больших собак. Большие мужчины вели маленьких. Были и партнеры: крупные женщины с круп-

ными собаками и маленькие с маленькими. Кокетливые женщины предпочитали болонок и скотч-терьеров.

К Нюрке подбежала сука доберман-пинчер. Нюрка насторожилась, и доберманша тут же лапой завалила ее на землю и нависла в ожидании сопротивления, чтобы продемонстрировать свою мощь. Хозяйка, модная, полнеющая, снисходительно извинилась:

— Извините, вы новенькая, а мы — старожилы. Здесь всё, как у людей. Есть старшие и младшие. Сильные и слабые. Мы сильные. — И, дав команду своей суке, прошествовала дальше.

Нюрка встала, отряхнулась и виновато на нее взглянула.

— Ничего, — утешила она Нюрку. — Вырастешь — рассчитаешься.

Ночью от пережитых волнений Нюрка скулила во сне. Она встала, погладила ее. Нюрка попыталась залезть к ней в постель. Она прикрикнула. Нюрка растянулась от обиды. Тявканье перешло в подвывание. Она не выдержала и взяла Нюрку к себе. И Нюрка тут же затихла, уткнувшись ей под мышку.

Вечером после работы она забежала в магазин. Мяса не было. Лежали куски жира с прожилками мяса. Пришлось взять мороженой рыбы.

Дома она отварила рыбу. Нюрка рыбу есть отказалась.

— Привыкай, подружка, — уговаривала она Нюрку. — Такая жизнь. Дальше будет только хуже.

Нюрка демонстративно осталась на кухне, поглядывая на холодильник, потом ушла и легла на свою подстилку. Ночью она встала, прошла на кухню и съела рыбу. Приходилось привыкать к трудностям бытия.

Выявились и явные неудобства. Пришел он. Достал из кейса букетик цветов. Нюрка его встретила дружелюбно, попыталась залезть на колени.

Телевизор не работал. По радио комментировали очередной Съезд народных депутатов. Он убрал звук, обнял ее и нетерпеливо начал раздевать, Нюрка решила, что это игра, и вцепилась в его штаны.

Дверь пришлось прикрывать. Нюрка обиженно затыкала, потом завывала. Вой мешал ему заниматься любовью.

— Сделай что-нибудь, — сказал он в раз-

дражении.

Она прикрикнула. Нюрка ответила радостным лаем. Он не выдержал, вышел в переднюю и, по-видимому, довольно больно ударил. Нюрка вначале зашлась испуганным визгом, потом обиженно залаяла и снова завывала от тоски и обиды. Она не выдержала, выскользнула из постели, взяла Нюрку на руки.

Нюрка скулила от обиды и боли. Она начала ее утешать.

— Ну что ты, подруга. Успокойся. Прости его. И меня прости. Может, он на нас женится. Тогда мы будем жить втроем. Он будет нашим защитником. Ты должна понять, женщина не может жить без мужчины.

И Нюрка, кажется, поняла и затихла. Она уложила ее на подстилку и вернулась к нему. Поцеловала его.

— Прости меня. Я тебя люблю.

— Но ты пойми и меня.

— Я тебя понимаю. И она поймет. Она еще маленькая.

Он снова обнял ее. И тут Нюрка снова залаяла и заскребла в дверь.

— Я ее убью, я не могу, когда скребутся в дверь! — Он вскочил и начал одеваться.

— Прости меня,— просила она.— Не уходи. Я сейчас что-нибудь придумаю.

— Вот когда придумаешь, тогда я и приду, дура блаженная! — И он покинул квартиру.

Радостная Нюрка запрыгнула на постель и попыталась лизнуть ее в лицо.

Неприятности накапливались. Как всякому щенку, ей хотелось общения. Гуляя, они шли мимо детской площадки. Нюрка, играя, бросилась к детям. Дети шарахнулись от нее и зашлись от плача, матери возмущенно закричали. Это было праведное возмущение. Пришлось отшлепать, что не послушалась команды. Нюрка вроде бы поняла справедливость наказания и, виновато поглядывая на нее, шла рядом.

Она с Верой и Надей пила чай. Нюрка сидела возле стола. Надя протянула ей печенье. Нюрка глянула на нее, но не взяла. Она похвалила Нюрку.

— А что он? — поинтересовалась Вера.

— Ничего... не звонит.

— Вот что,— решила Вера.— Как только он позвонит, ты Нюрку в сумку, у тебя же есть большая, и вези ко мне.

— Пока ее еще можно возить в сумке,— возразила Надя.— А когда подрастет, она же ни в какую сумку не поместится. Что тогда?

— Что, что,— передразнила Вера.— Или Нюрка в конце концов поймет, что занятия любовью свято, и будет молчать, или

он привыкнет к ее лаю. Мужик, он ведь примитивен, у него ведь тоже рефлекс, как у павловской собаки. Мой Эдуард, когда ложится со мной, включает магнитофон. У него лучше всего под битлов получается.

Подруги расхохотались. Нюрка присоединилась к ним веселым лаем. Самая практичная из них, Надя, предложила:

— Может, перед этим Нюрку хорошенько кормить? Сытое животное всегда спокойнее.

— И ему тоже пару бифштексов,— предложила Вера.

Она провожала подруг. Нюрка дисциплинированно шла на поводке рядом.

Потом, привычно оглянувшись, нет ли поблизости людей, она спустила Нюрку. Нюрка понеслась в заросли кустов между домами. Вдруг донесся ее испуганный визг. Она бросилась на помощь. За кустами сидели трое мужчин. На газете были разложены закуски, стояла бутылка портвейна. Один из мужчин, в длинном модном плаще, с аккуратной шкиперской бородкой, держал Нюрку на весу за шкуру. Нюрка испуганно визжала.

— Отпустите, ей больно! — крикнула она.

— Хорошая сучонка. Породистая,— «шкипер» рассматривал Нюрку.— И хозяйка хорошая,— добавил он.— А за выгул в неполюженном месте штраф десять рублей.

Она лихорадочно искала деньги.

— У меня только четыре рубля с мелочью...

— Тоже деньги.

«Шкипер» взял у нее деньги и отшвырнул Нюрку. Нюрка бросилась к ней, прижалась к ноге. Она прицепила поводок к ошейнику и потащила ее из кустов. Испуг у Нюрки прошел, и она зарычала на «шкипера», как взрослая собака.

Нюрка проходила общий курс дрессировки среди овчарок, эрдельтерьеров, колли, черных терьеров.

Дрессировкой руководил мужчина лет тридцати в поношенных джинсах и куртке. Нюрка плохо поддавалась дрессировке. Она не хотела подниматься по лестнице на вышку. Дрессировщик некоторое время наблюдал за ее ежедневными усилиями, потом подошел и сказал:

— Вы поднимитесь сами. Тогда она пойдет.

Ей пришлось подняться. Нюрка внизу забеспокоилась и, преодолев страх перед высотой, взлетела на вышку и уже без боязни спустилась вниз. Теперь спускалась она. Она тоже не привыкла к крутым лестницам и уже совсем перед концом спуска все-таки поскользнулась и полетела вниз. Дрессировщик подхватил ее. И она от стра-

ха обхватила его. Он улыбнулся ей.

— Меня зовут Борисом,— сказал он.

Она наконец отпустила руки.

— А меня Анной...

Потом она ловила на себе его взгляды. Да и сама посматривала, как он управляет-ся с собаками. Собаки его слушались.

Они вошли в подъезд. Трое мужчин распивали на ступеньках портвейн. Среди них был и знакомый им «шкипер».

— Подросла сучонка,— прокомментировал он, оглядев Нюрку.

Она пыталась пройти, но мужчины сидели плотно. «Шкипер», посмеиваясь, протянул ей бутылку, предлагая выпить... Нюрка, считая, что это веселая игра, прыгала рядом. Все-таки она прорвалась и бросилась вверх по лестнице. Нюрка весело бежала с ней рядом...

В квартире она закрыла дверь на два замка. Села. Нюрка села напротив, заглядывая ей в глаза.

— Подруга,— сказала она,— что ж ты не защищала меня? Мы должны помогать друг дружке. Мы с тобой одни и рассчитывать можем только на себя.

Нюрка, выслушав почти понимающе, заворчала.

И снова были тренировки на площадке. Нюрка плохо ходила по буму. Сделали перерыв.

— Простите,— подошла она к Борису.— Не подрессируете ли вы мою Нюру? Я заплачу. А то через две недели экзамены, и я боюсь провалиться.

— Все будет нормально,— успокоил Борис.— Она способная.— Он улыбнулся. Улыбался он хорошо.— Завтра меня не будет. Начнем послезавтра. Встретимся здесь в семь вечера.

Она гуляла с Нюркой по берегу Москва-реки. Нюрка носилась в стае собак. Были среди них беспородные, но были и легкие на ногу пойнтеры, впереди неслась русская борзая.

Здесь же, среди собачников, делал бизнес молодой человек, продавая ошейники с насечкой, гребенки, тримлинги. Она выбрала для Нюры красивый ошейник. Заколебалась: покупать — не покупать. Все-таки купила. Собаки носились вдаль.

И тут она увидела «шкипера». Он шел явно к ней.

— Здравствуйте,— «шкипер» улыбнулся.— Я прошу у вас прощения.

Она промолчала.

— Понятно,— сказал «шкипер».— А я ведь с самыми лучшими намерениями. Я узнал вашу собаку, мальчишки прицепили к ней поводок и потащили,— он махнул в сторону домов.— Собака же молодая, еще глупая, может и увести.

Она посмотрела в сторону, куда показал «шкипер».

— Спасибо,— вынуждена была сказать она и бросилась за мальчишками.

Она догнала их у самых домов. Нюры у них не было. Она бросилась назад. Увидела, что от пляжа отъехала «Волга». Ей показалась собачья морда в салоне машины, но «Волга» уже выехала на дорогу. Впереди был светофор-мигалка, перед которым машины притормаживали, но «Волга», не притормаживая, пронеслась и скрылась за поворотом.

Она добежала до берега, посвистела, позвала:

— Нюра! Нюра!

Нюрка не подбегала. Она спросила нескольких собачников. Все видели ее собаку. Только что была здесь.

Она прошла вдоль берега. Начало темнеть. Она вернулась к своему дому. Спросила у старушек возле дома. Те Нюрку не видели. Она поднялась по лестнице, осматривая каждую площадку: а вдруг все-таки прибежала сама?

И что было уже совсем бессмысленно, осмотрела свою квартиру, заглянула под стол, под кровать, открыла ванную. Посидев несколько секунд, она набрала номер телефона:

— Пропала Нюра. Я не знаю, что делать. Я тебя умоляю. Приезжай.

— Без паники! — ответил мужской голос.— Отключите электроэнергию. Я выезжаю.

Она печатала объявления, обещала вознаграждение тому, кто найдет или сообщит, где находится сука ризеншнауцер, возраст один год, в красном ошейнике.

Он вошел, прочитал объявление и усомнился:

— Вознаграждение? Надо писать: за большое вознаграждение. Или конкретную сумму. Скажем, триста рублей. За триста рублей можно и подсуетиться.

— У меня сейчас нет трехсот рублей,— сказала она.

Он достал кошелек и выложил на стол три кредитки по сто рублей.

— Я тебе отдам,— сказала она.— В квартальную премию.

— Перестань,— отмахнулся он.— И успокойся. Завтра перед работой расклеишь объявления.

— Почему завтра? Я расклею сейчас.

— Сейчас ночь. Ночью объявления никто, кроме пьяных, не читает. А у пьяного любая поступившая информация вымывается следующей, — он обнял ее и попытался расстегнуть блузку.

— Я не могу сегодня... Она, наверняка где-то сидит и ждет, что я ее найду.

Он вздохнул и пошел с нею, захватив свой кейс-атташе.

Они расклеили объявления. Он сел в свои «Жигули». Она спросила:

— А почему ты сказал по телефону, чтобы я отключила электроэнергию?

— Рядом стояла моя жена. Я ей объяснил, что у меня на стройке авария. А когда авария, в первую очередь надо отключить электроэнергию.

— У меня не авария, у меня катастрофа.

— Найдется она, — заверил он и тронул машину.

Она пошла по привычному маршруту, по которому гуляла с Нюркой. Было темно. Где-то громыхнул лист железа. Она съезжилась от страха и остановилась. Сержант из патрульной службы отметил ее медленный проход. Когда она прошла еще раз, кому-то сообщил по радию.

Она вернулась домой.

На следующий день она договорилась в отделе множительной техники, и ребята ей отпечатали сотню объявлений на ксероксе и даже воспроизвели контуры Нюркиной морды с торчащими ушами. Взяли десятку.

После работы она расклеила дополнительные объявления и села у телефона. Телефон молчал. Она попыталась читать — не получалось. Наконец зазвонил телефон. Ошиблись. Потом позвонил он. Она сообщила, что пока без изменений. Но обрадовалась, что он позвонил.

Не выдержав ожидания, она вышла на улицу. Прошла по маршруту, где гуляла с Нюркой. Наступало вечернее собачье гулянье. Прошел мимо невысокий мужчина, с трудом сдерживая московскую сторожевую... Модно одетая молодая женщина спустила с поводка красиво остриженного пуделя... Трех борзых провела в своре странного вида женщина... Вывели гулять бассета... Она сообщила владельцам о своей потере, просила позвонить, если увидят или узнают что-либо, называла номер своего телефона. Ей обещали.

Во дворе магазина «шкипер» грузил ящики в кузов грузовика. Увидел ее.

— Я вам сочувствую, — сказал он. — Хорошая была собака.

— А почему была? — спросила она.

— А вы разве ее нашли? — спросил «шкипер», и замолчал, явно чего-то не понимая.

Она смотрела на него не отвечая, «шкипер» усмехнулся, не нашел, по-видимому, подходящей фразы для продолжения разговора и продолжил погрузку ящиков. А она почему-то не уходила, наблюдала за его работой. И «шкипер» явно занервничал.

Участковый — молодой лейтенант — прочитал ее заявление.

— Будем искать, — пообещал он и положил заявление в папку. — Зайдите через неделю.

— Как через неделю?! — ужаснулась она. — Это же живое существо!.. У нее сейчас сердце разрывается от тоски!.. Она ждет меня...

— Вы сколько за собачку заплатили? — спросил участковый.

— Мне ее... в общем, подарили...

— Значит, бесплатно получили. А вот во втором подъезде вашего дома «Жигули», седьмую модель, угнали. На рынке она сейчас сорок тысяч стоит. Ладно, у спекулянта какого. У труженика угнали. Пятнадцать лет копил. Трагедия. Сегодня ко мне его жена приходила. Говорит, совсем тихим стал. Вы «Шинель» Гоголя читали?

— Читала.

— Так там Акакий Акакиевич из-за шинели тронулся. А здесь седьмая модель. А что — и тронешься. У вас машина есть?

— Нет.

— И слава Богу, что нет. Спокойно спать будете. Очень часто угоняют машины. И вскрывают. И приемники тащат, и запасы, и лобовые стекла вынимают. Детские коляски — и те тащат. Я уже не говорю о велосипедах. Тридцать два заявления у меня. Есть разбойные нападения...

— Я понимаю, у вас много забот... Но вы мою собаку будете искать? — спросила она.

— Собаку искать не будем. Будем искать преступника, который произвел кражу личного имущества. Собака ведь — личное имущество. А «шкипер», как вы его называете, это рабочий магазина Сысоев. Второй — Виктор Викторов, по кличке Витек, торгует с лотка у метро. Третьего не знаю. В воровстве собак замечены не были...

Лейтенант глянул на часы.

Она вышла из подъезда. У магазина стояла привычная очередь за спиртным, тянулись очереди к лоткам за яблоками, за колбасным фаршем, очередь была у газет-

ного киоска, у будки с мороженым. Люди стояли терпеливо. Привыкли.

Сидела с подругами у себя в квартире. Покуривали. Пили кофе.

— Купи себе другую,— сказала Вера.— Нет выхода. В Москве собаку не найти.

— Буду искать,— сказала она.

— До конца жизни,— заметила Вера.

— Из нее уже шапку сделали,— сказала Надя.

Она заплакала. Пришлось утешать.

— Что ты, как старая дева, собачку завела, роди ребенка! — сказала Надя.

— От кого? — спросила Вера.— Девки, надо что-то делать.

— Что? — спросила она.

Подруги молчали.

— Мне пора,— сказала Надя.— У Мишки по алгебре не получается...

— А у меня вообще ничего не получается,— сказала Вера.— Извини. Но я вечерами боюсь одна ходить...

Распрошались с подругами. В передней висел Нюркин поводок. Всплакнула.

Потом сполоснула лицо, припудрила, села за стол, взяла лист ватмана, разграфила очень аккуратно и начала вписывать адреса, заглядывая в справочники:

- 1) ветеринарные поликлиники;
- 2) собачьи площадки;
- 3) клубы собаководства;
- 4) ветстанция;
- 5) виварии;
- 6) птичий рынок.

Был второй час ночи, когда она закончила работу и приколотла ватман на стену. И тут зазвонил телефон. Она сняла трубку:

— Да. Черная. Ризеншнауцер. Да. Красный ошейник. Нет. Муж не может. Я сама. Я сейчас. Это где? Записываю.

Она почти бежала по микрорайону. В этот ночной час прохожих не было. Она нашла дом, свернулась с записью на листке. Многоэтажный дом был темен, светилось только два окна.

Она поднялась на лифте, нажала на кнопку звонка. Дверь открыл небритый мужчина.

— А где собака? — спросила она.

— Здесь все псы,— усмехнулся мужчина.

Она прошла через переднюю. В комнате было еще двое мужчин, которые встретили ее радостными возгласами. Они были пьяны.

— Проходите,— пригласили ее,— разделите нашу трапезу, а мы разделим ваше горе.

— Где собака? — спросила она и позвала: — Нюра!

— Я Вася,— мужчина, который открыл ей дверь, подтолкнул ее в комнату.

Она попятилась. Вася обхватил ее и попытался уже втащить в комнату. Она ударила его локтем, оттолкнула, бросилась к двери, за ней бросились уже все трое. Она справилась с защелкой, распахнула дверь и бросилась вниз по лестнице. Зашумел лифт и пополз вверх. Хлопнула дверь лифта. Лифт пошел вниз. Она сбросила туфли. Выскочила из подъезда, забежала за дом, пронеслась через детскую площадку и выскочила на освещенное место у аптеки. Она надела туфли и пошла, выравнявая дыхание. И тут она увидела, что к ней приближаются двое мужчин. Она огляделась, подняла кусок кирпича и, прижимая его к груди, торопливо свернула в сторону.

Она вошла в свою квартиру, перевела дыхание, сняла с антресолей старый чемодан, набитый изношенной обувью, и достала из него старую финку в потрепанном кожаном чехле. Финку она положила в свою сумочку, проверила все три дверных замка, набросила цепочку и легла спать, положив рядом сумочку, в которой лежал нож.

На следующий день после работы она начала объезжать районные ветеринарные лечебницы.

На улице Юнатов в лечебнице сидела очередь из хозяев и собак. Собаки задирались, хозяева молча пересаживались. Были здесь и кошки, и хомяки, и морские свинки, но больше все-таки собак.

Из кабинета врача выходили люди с перевязанными животными. Самых маленьких выносили на руках.

Она прошла к заведующему, молодому мужчине в хорошем костюме, при дорогих японских часах.

— Извините,— сказала она.— У меня пропала собака, сука, ризеншнауцер. Если вдруг...

— Давайте,— сказал заведующий.

— Что? — не поняла она.

— Объявление.

Она достала листок. Заведующий кнопкой прикрепил его на картонный щит. Таких объявлений было несколько десятков.

В следующей поликлинике пожилой ветеринарный врач приклеил ее объявление на стенку. Здесь тоже были десятки объявлений. Ее объявление легло на другое, в котором была мольба сообщить о пропавшем коккер-спаниеле.

Вечером она возвращалась домой. На пустыре гуляли несколько собачников. Двое

мужчин курили, а их собаки резвились рядом. Борис занимался с двумя эрделями, которые не хотели влезать на вышку. Она поспешила пройти мимо, Борис ее не заметил.

В воскресенье она ходила по Птичьему рынку. Продавались щенки — породистые и беспородные, продавались котята, птицы, рыбы. Шел дождь со снегом. Мокрые щенки жались друг к другу. Их накрывали целлофановой пленкой. Под полупрозрачной пленкой они казались странноватыми, почти неземными существами.

Рядом с ней в модном, но холодном плаще ходил он.

— Поехали домой, — предложил он.

Она тоже замерзла и молча прошла вперед. И вдруг она увидела Нюрку, мокрую, дрожащую. Бросилась к ней:

— Нюра, Нюрочка! — и стала ее обнимать. Собака шарахнулась от нее.

— Ты чего, выпила? — спросил ее продавец. — Какая Нюра, это же кобель. Бест.

— Извините, — сказала она.

— Поехали домой, — снова предложил он. — Это же бессмысленно... Прошло столько времени...

— Ты поезжай, я останусь.

— Ну и оставайся!..

Он энергично зашагал к выходу. Она надеялась, что он оглянется, но он не оглянулся.

Вечером она сидела с подругами на кухне. Пили чай.

— Кстати, есть щенки, — сказала Вера. — Шпицрутену.

— Ризеншнауцеры, — поправила Надя.

— Я так и сказала. Покупай. Мы тебе одолжим денег.

Она промолчала. Она уже приучила себя не отвечать, просто молчала. Зазвонил телефон. Она сняла трубку и начала записывать.

— Спасибо. Я сейчас приеду. Девочки, посидите, я подъеду в Химки. Очень похоже, что там Нюрка.

— Мы с тобой, — встала решительно Вера. — В такую темень мы тебя одну не отпустим.

Но их решимость заметно поубавилась, когда они вышли из такси на неосвещенной улице у домов барачного типа. Чиркая спичками, они нашли нужный им дом, вошли в подъезд. Вверху что-то загрохотало.

— Надо ездить с мужиком, — сказала шепотом Вера.

— Нет мужика, — ответила она и начала стучать в дверь.

После работы она выстояла очередь за колбасой. Но когда подошла к тележке, колбаса закончилась. Очередь мгновенно распалась и так же мгновенно выстроилась у другой тележки. Она оказалась в самом конце очереди, не стала испытывать судьбу и вышла из магазина.

В универсаме давали колготки. Очередь была громадная. Была очередь и на автобусной остановке, здесь она покорно встала, ехать-то надо.

У себя в квартире, не раздеваясь и не зажигая света, она поплакала. Телефон молчал. Телевизор не работал.

В воскресенье она снова была на Птичьем рынке. Шел дождь со снегом. Ризеншнауцеров на этот раз не предлагали. И тут она увидела Бориса. Он покупал корм для рыб. Она тут же повернула назад, но он уже ее заметил.

— Анна! — он явно обрадовался. — Я вас давно не вижу, вы раздумали дрессировать Нюрку?

— У меня ее украли...

— Как? Когда?

— Три месяца назад.

— Можете уже не ходить сюда, — сказал он. — Продают или сразу, или выдерживают чуть больше месяца, когда владельцы теряют надежду найти.

— Я надежды не потеряла. Если она жива, я ее найду.

Он внимательно посмотрел на нее. В ее отрешенности была непреклонная воля.

— Замерз, как цуцик. Выьем чего-нибудь горячего, — предложил он.

В кафе ничего горячего не было, только лимонад.

— Поехали по домам, — предложил он. Он остановился у старого «Запорожца», первой еще модели, прозванной народом и «горбатым», и «ушастым».

— Мой «мерседес», — усмехнулся он. — Я патриот. У меня все советское.

Она села в машину. Обогрев едва работал.

Они ехали по Москве.

— Сейчас особенно крадут сук, — говорил Борис. — Производить щенков выгодно. Особенно от крупных собак. Цены подскочили втрое. Посчитайте! В среднем семь щенков. Без родословной по пятьсот рублей. Значит, три пятьсот. В год до семи тысяч. Покупают кооператоры для охраны. Да и вообще спрос на сторожевых собак сильно увеличился. Люди чувствуют себя спокойнее под охраной зверей.

Помолчали.

— Когда у нее должна быть следующая течка? — вдруг спросил Борис.

— Прошла два месяца назад, — ответила

она. — А почему вы об этом спросили?

— Если ее вязали в последнюю течку, щенки могут появиться через несколько дней или уже появились. Их надо будет реализовать. Конечно, они могут разойтись по знакомым. Но, во-первых, ни у кого нет семи знакомых, которым нужны собаки, у меня, например, таких знакомых только двое. Значит, обязательно повесят объявления. Через клуб без родословной продавать не будут. Объявления на Птичьем рынке появятся обязательно. Или привезут щенков. В общем, пора перекрывать все ходы и выходы.

— Как? — спросила она.

— Это мы разработаем, — пообещал он. Они остановились у ее дома.

Борис подрулил к тротуару, заглушил двигатель, вышел, открыл дверцу машины, подал руку, помогая ей выйти.

— Спасибо, — сказала она и улыбнулась. Он достал блокнот, написал свой телефон.

— Звоните. В следующее воскресенье начинаем операцию под кодовым названием...

— «Месть женщины».

— Устрашающее название, — сказал он.

— Этим людям я ничего не прошу.

— Простите, — сказал Борис. — Русские отходчивы, а русские женщины особенно... Мы все и всем прощаем...

Она вышла из своего солидного учреждения и заспешила к метро. Ее обогнал мужчина, пошел впереди нее, потом внезапно остановился. Она налетела на него. Мужчина обернулся. Это был Виктор.

— Девушка! — он улыбнулся. — Вы мне очень нравитесь. Предлагаю пойти в кино.

— Билеты есть? — спросила она.

— Нет, — ответил он. — Но достанем.

— Вначале достань, — сказала она. — Извини, у меня дела.

— Подожди... Не сердись, что я тогда ушел с рынка. Это было бессмысленно. Собаку не найти. Я не хочу поощрять идиотизм даже любимой женщины. Я тебе куплю кошку. Ее не надо выводить гулять, и ее никто не украдет... Поехали?

— Мне же в противоположную сторону, — сказала она и пошла к метро.

Он смотрел ей вслед.

Она уже подходила к своему подъезду, когда увидела его, с цветами стоящим возле «Жигулей». Она не остановилась, вошла в подъезд. Он — за ней. Она открыла дверь лифта. Он вошел вместе с ней. Нажал кнопку нужного этажа.

— Ты собираешься ко мне? — спросила она.

— Я не собираюсь, я уже собрался, —

и протянул ей цветы. Она взяла.

— Я очень сожалею, — она улыбнулась. — Но обстоятельства переменялись. У меня теперь другой мужчина.

— И когда он появился? — поинтересовался он.

— Со вчерашнего дня.

— И я на него могу посмотреть?

— Конечно. Приходи в воскресенье на Птичий рынок.

— Обязательно приду, — пообещал он.

— Подержи, — она дала ему цветы и открыла дверь своей квартиры. Вошла и захлопнула дверь.

Он остался на лестничной площадке.

Она, не раздеваясь, сидела в прихожей. В дверь непрерывно звонили. Потом она услышала, как громко хлопнула дверь лифта.

В воскресенье с утра она занялась макияжем. Осмотрела себя в зеркало.

— Очень даже ничего, — сказала она себе.

И стала одеваться. Натянула теплые рейтузы, теплые носки, пальто и набрала номер телефона.

Борис припарковал «Запорожец» у Птичьего рынка. Сегодня он был в приличном пальто, из-под шарфа выглядывал галстук.

Она по привычке двинулась в ряд, где продавали щенков. Но Борис показал ей на доску с объявлениями. На этот раз были вывешены три объявления, что продаются щенки ризеншнауцеров. Борис записал адреса.

И тут она увидела Виктора. Он был в дубленке. Высокий, видный. Он подошел, улыбнулся и спросил, кивнув на Бориса:

— Этот?

— Познакомьтесь, — сказала она. — Это Борис. Это Виктор, бывший любовник, который меня предал.

— Как всегда, неадекватная реакция, — улыбнулся Виктор. — Но сегодня я оделся тепло и готов к подвигам.

— Спасибо, не надо, — поблагодарила она.

— В принципе, здесь делать больше нечего. Сейчас надо обзванивать и ехать по объявлениям, — сказал Борис.

— Я готов ехать, — Виктор взял у Бориса листок с адресами. — Спасибо вам за помощь.

Виктор подхватил ее под руку.

Она попыталась освободиться, но он держал крепко. Она обернулась к Борису. Тот стоял, а Виктор, уже не обращая на него внимания, уводил ее с рынка.

Она попыталась вырваться еще раз. Но силы и весовые категории были настолько разными, что она оказалась чуть ли не прикованной к Виктору. Она оглянулась еще раз. Борис продолжал смотреть им вслед,

но не сдвинулся с места. И тогда от полного отчаяния и безнадежности она села прямо в размешанный пополам с грязью снег. Виктор этого не ожидал и отпустил ее руку. Так она сидела, а он стоял рядом. Проходившие мимо поглядывали на нее, но не вмешивались. Несколько женщин, наблюдая, остановились невдалеке.

— Ладно,— сказал Виктор довольно спокойно.— Посиди. Охолонься.— И направилсь к своим «Жигулям».

Она встала, стряхнула с пальто снег, оглянулась. Бориса не было. Виктор стоял возле «Жигулей». Она направилась к остановке автобуса.

Борис видел, как она сидела, как встала и пошла к остановке. Он бросился за ней, но подошел автобус, она вошла, и автобус тронулся. Тогда он подбежал к своему «Запорожцу», завел, нарушая правила, развернулся. Автобус он нагнал на остановке. Он объехал автобус и встал впереди него почти вплотную. Водитель, молодой парень, покрутил пальцем у виска: совсем, мол, тронулся. Борис подбежал к нему.

— Шеф, открой дверь. Там у тебя моя подруга. Обиделась на меня.

Водитель внимательно, с высоты огромного автобуса, осмотрел Бориса и открыл дверь. Борис вскочил в автобус, увидел ее, схватил и потащил к выходу.

— Отстаньте! — отбивалась она.— Что такое? Все меня таскают сегодня туда-сюда!

Борис вытащил ее из автобуса. Водитель, наблюдавший за ними, тут же закрыл двери. Он подал назад автобус, объехал «Запорожец» и помахал Борису.

— Простите,— сказал Борис.— Я малость подрастерялся. Подумал: милые бранятся, только тешатся. Простите меня.— Он распахнул дверцу «Запорожца». Она поколебалась, но все-таки села.

В машине она молчала.

— Что мне сделать, чтобы вы не были такой мрачной? Хотите, спою? — предложил Борис.

— Пойте,— сказала она.

И Борис запел:

Четвертые сутки пылают станицы,
Горит под ногами родная земля.

Раздайте патроны, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, седлайте коня...

У светофора пришлось притормозить. Водители остановившихся рядом автомашин с удивлением поглядывали на громко поющего Бориса.

Она не выдержала и рассмеялась.

Они поднялись на лифте и позвонили в дверь. Раздался собачий лай.

— Это не ее голос,— сказала она.

— У собак нет голоса, а есть лай, нет лица, а есть морда, собаки делятся не на мальчиков и девочек, а на кобелей и сук.

Им открыла женщина, держа за ошейник суку. Это была не Нюра. Шенки ползали в загородке, сооруженной из ящиков. Сука предостерегающе зарычала, когда они приблизились к щенкам. Пришлось ее закрыть в другой комнате.

Они поговорили о цене. И обещали позвонить через неделю.

— Может быть, на сегодня хватит? — спросила она.

— Нет,— сказал он.— Объедем всех.

И они заходили в квартиры. Смотрели на щенков и уходили.

— Может быть, заедем ко мне? — предложил Борис.— Попьем чайку.

— С удовольствием,— сказала она.

Они пили чай в его комнате — одной из трех комнат коммунальной квартиры. Обстановку комнаты можно отнести к благопристойному советскому стандарту. Тахта, которая раскладывается на ночь. Навесные полки с книгами. Стол, четыре стула, два кресла, черно-белый телевизор, дешевый проигрыватель из белой пластмассы. Кроме рыб в аквариуме, ничто не привлекало в комнате внимания.

— Все замечательно вкусно... И чай, и бутерброды. Не мужчина, а клад,— сказала она.

— Спасибо,— поблагодарил он.— У меня весьма много достоинств, но они не перекрывают одного очень крупного и очень неприятного моего недостатка. Я, увы, мало зарабатывающий мужчина...

— А кто вы? Чем занимаетесь?

— Я рентгентехник. Не врач, хоть и знаком с медициной, а техник. Очень хороший техник. Но у нас и за хорошую, и за плохую работу платят одинаково...

— Сейчас есть кооперативы. Есть возможность подработать.

— Я работаю на полторы ставки. Работать еще больше — это уже халтурить. А я привык себя уважать.

— Бедный, но гордый? — спросила она.

— Нет,— ответил он.— Бедность ненавижу. Но хочу спокойно спать, хочу иметь хорошее настроение... Не хочу быть скаковой лошастью в бесконечном заезде... У меня есть друг с определенной жизненной установкой. Он ставит перед собой цель. И зарабатывает на ее осуществление. Он уже купил видеомагнитофон, теперь он копит деньги на автомашину, потом он будет строить загородный дом... У меня этого никогда не будет. Я сказал об этом своей жене, она подумала-

подумала и... ушла от меня. После развода и обмена двухкомнатной квартиры, доставшейся мне от родителей, я переехал в эту коммуналку... где даже собаку не могу завести...

— Почему?

— Соседи не разрешают... А потому держу рыбок и дрессирую чужих собак...

— И завариваете замечательный чай!.. — пошутила она.

— Простое чай хороший. Дали взятку за хорошие снимки. А вообще я свободный человек. Ни жены, ни детей, ни дома... Разве это дом? — он обвел жестом комнату. — Ни перспектив... У меня с зарплатой техника никогда не будет ни машины, ни магнитофона, ни даже цветного телевизора. Честно говоря, мне надоела советская нищета. Я решил уехать. Уже подал в посольство документы на оформление.

— Вы еврей? — спросила она.

— Да посмотрите! Глаз узкий, нос плюский — совсем русский. Русский я, русский, в десятом колене московский...

— Жаль, — сказала она.

— Оформляют несколько месяцев. Нюрку мы еще успеем найти.

— Себя жаль, — сказала она. — Только мне понравился мужчина, и тот уезжает. Ну что ж, мне пора.

Она встала. Он помог ей надеть пальто. Спросила:

— Так до следующего воскресенья?

При прощании возникло легкое замешательство. Он протянул ей руку. Она рассмеялась и поцеловала его в щеку. Вполне приятельски. Он сконфузился еще больше, и даже замок в двери ему поддался не сразу.

Утром она спешила на работу. Возле магазина стоял фургон, из которого разгружали ящики с овощными консервами. Сысоев увидел ее, улыбнулся и спросил:

— Все ищите?

Она молча прошла мимо. Сысоев весело запел ей вслед:

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай подпоет!

Грузчики дурашливо подхватили:

Кто весел, тот смеется,
Кто хочет, тот добьется,
Кто ищет, тот всегда найдет.

У метро с лотка торговал яблоками толстый, добродушный и уже слегка пьяный Витек. Узнав ее, он оживленно помахал ей.

Анна работала привычно быстро. В комнату вошел начальник бюро, сказал:

— Девушки, здравствуйте. — И так же бодро сообщил: — Приказом начальника управления Людмила Ивановна назначена заведующей сектором. Поздравим и поаплодируем Люсе, — начальник похлопал.

Его поддержала только самая пожилая. Остальные женщины молчали, прекратив работу. Людмила собрала бумаги и перенесла на пустующий стол заведующей сектором. Начальник потоптался, не смог придумать, что бы еще сказать, и вышел.

Вера встала и кивнула, проходя мимо стола Нади. Та поднялась.

— Пошли покурим, — сказала Вера Анне. — И ты тоже, — почти приказала она самой пожилой.

— У меня много работы, — сказала пожилая.

Три женщины стояли в коридоре.

— Она ничего не понимает. — Вера закурила. — Под ее руководством мы совсем зашьемся. Наш рулевой — полная дубина, теперь она. Два дурака на шесть человек — это уж слишком.

— Конечно, должны были назначить Анну, — сказала Надя. — Она среди нас самая опытная.

— Назначают тех, у кого другой опыт, — со злостью сказала Вера.

— Ничего, девочки, — утешила их Анна. — Может быть, она и освоится.

Но Людмила зашивалась. Стол ее был завален сводками. Женщины посмеивались. Анна встала, подошла к столу Людмилы и начала ей объяснять. Людмила кивала, но не понимала. Тогда Анна сама села за ее компьютер.

Вечером Анна осталась в комнате одна. Она доделывала свою работу, которую не успела сделать днем. В комнату заглянул начальник.

— Извини, — сказал он. — Конечно, должны были назначить тебя, но ты же знаешь, Люде покровительствует Игорь Иванович. — Вы хотите сказать, что он с ней спит? — усмехнулась Анна.

— Это, в конце концов, их личное дело, — сказал начальник.

— Конечно, — согласилась Анна. — Но я не могу делать и свою, и ее, и, простите, частично и вашу работу.

— Анюта, придется с этим пока смириться.

— Надоело мне смиряться, Владимир Петрович, — сказала Анна.

— Какой выход? — спросил начальник.

— Скажите Игорю Ивановичу, чтобы он ей нашел место в отделе снабжения. При-

нести, отнести.

— Понятно,— сказал начальник.— Но пока решаем мы: кому и где работать.

— Решаете вы,— ответила Анна.— Но работаем-то мы.— Анна отключила компьютер.

В воскресенье Борис подъехал на своем «Запорожце» к подъезду ее дома. Она его уже ждала. Он вышел, распахнул дверцу машины, она улыбнулась ему, села, он захлопнул дверцу.

В центре Москвы шел митинг, дорогу перекрыли. Скапливались машины. И вдруг мотор «Запорожца» заглох. Борис поднял капот и начал копать в моторе.

— Я могу чем-нибудь помочь? — спросила она.

— А чем тут можно помочь? — Борис вздохнул и начал продувать бензопровод.— Эту мельницу купил еще мой отец. Человек, имеющий старый автомобиль, не имеет времени ходить вот на такие митинги, каждую свободную минуту ему надо что-то подкручивать, подвешивать, доставать, обменивать. Тут уж не до политики...

— Но сегодня все занимают политикой, все митингуют,— заметила она.

— Да,— согласился он.— Это верно... Правда, непонятно, что из этого всего получится.

Борис включил зажигание, мотор завелся. Демонстранты прошли дальше, и машина тронулась.

— Я тут недавно купил монархическую газетку,— продолжил Борис, выезжая на набережную.— Они доказывают, что монархия — лучшая форма правления. У нас в больнице заместитель главного врача по хозяйственной части Гидеминов, говорят, из Рюриковичей. Так он рентгеновской пленки, ночных горшков достать не может и матерится, как сантехник. И вот поставят такого идиота на царство. Вроде бы имеет право. Его роду почти тысяча лет!..

— А вы же увидите,— сказала она.— И ничего этого не увидите.

— Да уж,— сказал Борис.— Пусть этот фильм ужасов досматривают без меня.

Она и Борис были на Птичьем рынке, прошли по ряду, где продавались щенки. Ризеншнауцеров не было. Она остановилась возле суки ротвейлера. Остался один щенок. Хозяин, заметив ее колебания, сказал:

— Отдам за четырехста. Последний. Последний всегда приносит счастье.

Она поспешно отошла. Борис догнал ее уже в птичьем ряду.

— Что случилось? — спросил он.

— Я чуть ее не предала,— сказала она.— Еще немного, и я купила бы этого щенка.

— Может быть, так было бы лучше,— заметил Борис.

— Для кого? — спросила она.

Борис не ответил.

Они начали просматривать объявления. На этот раз было два объявления о продаже щенков ризеншнауцеров. Борис переписал адреса. Они сели в «Запорожец».

— Сегодня мы ее найдем,— сказал Борис.

— Я уже не верю...

— Сегодня мы ее найдем,— убежденно сказал Борис.— Прошло шесть недель, как она ошенилась. Или сегодня, или никогда...

Один из адресов был на Таганке, недалеко от Птичьего рынка. В загородке из томов старой энциклопедии ползали щенки. Сука хозяйка отвела на кухню и закрыла. Это была не Нюрка. Анна сказала:

— Извините,— и вышла из квартиры. Хозяйка от изумления не произнесла ни слова.

— Надо было хоть для видимости поторговаться,— сказал в лифте Борис.

— Мне надоела видимость,— сказала она.— Я ненавижу видимость.

Борис предпочел промолчать.

Второй адрес был в Строгине. Они нашли дом, позвонили в дверь. Раздался лай.

— Это не Нюрка,— сказала она и повернула к лифту.

Но дверь уже открылась. Женщина удерживала за ошейник мощную овчарку.

— Извините,— сказал Борис.— Мы что-то перепутали. Мы ищем щенков ризеншнауцера.

— Я продаю щенков ризеншнауцера,— сказала женщина.— Вы сейчас все поймете. Щенки не мои. Моя сука их выкармливала. Проходите.

Женщина повела в спальню упирающуюся овчарку.

— Пойдем отсюда,— сказала она.

— Нет,— ответил Борис.— Овчарка не ценная. Хозяйка что-то темнит.

Женщина, закрыв овчарку, вышла к ним. Она показывала щенков, объясняя:

— Сука ризена у моей приятельницы. У суки пропало молоко. Уже не только у женщин, но и у собак пропадает молоко. Моя Лайма выкормила этих прелестных ризенов. Вы не беспокойтесь, что нет родословной. Я знаю и мать, и отца этих щенков. Это породистые ризены. Просто хозяева не выправили родословной.

— Мы хотели бы посмотреть суку,— сказал Борис.

— Это невозможно,— вздохнула женщина.— Ее увезли в Брянскую область. У моей приятельницы там зимняя дача.

Они вышли во двор.

— Прогноз не оправдался,— сказала она.— Мы ее не нашли. Это последний адрес. Борис молчал, обдумывая ситуацию.

— Щенков уже подкармливают, но их еще все-таки кормит сука. Значит, она где-то рядом. Ее или приведут кормить щенков, или выведут гулять. Надо ждать.

— Сколько? — спросила она.

— Будем ждать, пока ее не увидим...

Они прогуливались вдоль домов. Расходились, сходились. Уже зажглись уличные фонари. Выводили собак, в основном, дворняг, декоративно-комнатных.

И тут Борис заметил, как из крайнего подъезда вышел мужчина с черной собакой.

— По-моему, ризен! — сказал Борис.

Они бросились следом. Но мужчина и собака уходили. И тогда она крикнула:

— Нюрка!

Собака остановилась.

— Дэзи, вперед! — скомандовал мужчина.

— Нюрка, ко мне! — крикнула она.

И собака бросилась к ней. Она подпрыгивала, скулила, пыталась облизать ее. Она присела, Нюрка лизнула ее и завyla вдруг, по-волчьи, тоскливо и страшно.

Мужчина подбежал к ним, схватил Нюрку за поводок.

— Это моя собака! — крикнула она.

— Перебьешься,— ответил мужчина и потащил собаку. Нюрка упиралась.— Дэзи, рядом! — скомандовал мужчина, и Нюрка, поджав хвост, подчинилась.

Она бросилась к мужчине.

— Я искала ее полгода. И я не отступлюсь. Вы украли мою собаку.

— Я тренер на площадке Речного вокзала. Я подтверждаю, что это ее собака,— сказал Борис.

— Не подходите! — предупредил мужчина.— Какие полгода? Я ее купил год назад, щенком.

— Не надо врать,— сказала она.— Не надо! Я вам готова заплатить любую сумму, которую вы назовете. Я вас очень прошу, отдайте мою Нюрку. Я ее очень люблю, и она любит меня.

— Отвалите,— угрожающе предупредил мужчина.— И забудьте сюда дорогу. Или я вас изувечу. Я это при свидетелях говорю.

Привлеченный разговором на повышенных тонах, подошел рослый молодой человек. Мужчина подтолкнул Бориса к его «Запорожцу».

— Ладно,— сказал Борис.— На сегодня отступим.

Она села в машину. Борис завел мотор. Мужчина с собакой вместе с парнем обсуждали случившееся. И вдруг она распахнула дверцу и крикнула:

— Нюра, ко мне.

Собака вырвалась у мужины и уже на ходу вскочила в машину. Она перекинула ее на заднее сиденье.

— Гони! — крикнула она Борису.

Борис нажал на газ, но выжать из старой машины смог очень немного. К тому же, не зная выезда, промахнулся, сдал назад и увидел, что мужчина открывал дверцу новой «Волги» и в нее вскочил и парень.

Борис свернул в переулок, повернул направо, налево, выскочил на Кольцевую дорогу и тут же заметил преследующую их «Волгу». «Волга» догнала их, пошла вроде бы на обгон, но вместо того, чтобы обгонять, почти прижалась и начала оттеснять «Запорожец» Бориса к кювету. Борис едва удерживал руль.

— Разные весовые категории,— сказал он и остановился.

«Волга» встала вплоты к «Запорожцу». Борис схватил заводную рукоятку, пытался выбраться из своей машины через другую дверцу. Но мужчина уже вышвырнул Анну в кювет, а Бориса зажали в кабине и били головой о приборную доску.

Из проезжающих мимо машин на них обращали внимание. Некоторые даже притормаживали, но, рассмотрев избиение, трогались дальше. Не остановился никто.

Она выбралась из кювета и бросилась на помощь Борису, но ее снова отшвырнули. Мужчина вытащил из «Запорожца» упирающуюся Нюрку, загнал ее в «Волгу» и сказал:

— Это последнее предупреждение. Если появитесь еще раз — изувечим. Найдем в любом месте и изувечим.

Они сели в «Волгу», развернулись на разделительной полосе и уехали.

Достав аптечку, она вытирала кровь с лица Бориса и плакала.

— Прости меня,— говорила она ему.— Это я тебя втравила в эту историю. Теперь я буду действовать только сама.

— Ну уж нет,— сказал Борис.— Оскорбление нанесено и мне лично. Ладно. Следующий ход будет за нами.

II серия

«Запорожец», тарахтя и громыхая, несся по Кольцевой московской дороге. Его обгоняли «Жигули», «Волги», «Таврии», «тойоты» и «вольво». Просто мелькали мимо и уносились вперед. Но когда «Запорожец» обогнал «Москвич» первой послевоенной модели, которому было никак не меньше сорока лет, Борис выжал из своей машины все возможное и обошел его.

На заднем сиденье «Запорожца» сидела она и лейтенант милиции — участковый инспектор.

У дома, где жила теперь Нюрка, стояла новая «Волга», на которой их вчера догоняли.

Возле подъезда ждали двое понятых: ста-

рики-отставники. По данному случаю один даже был при всех многочисленных медалях, значках и одном ордене, врученном на сорокапятилетие Победы. Рядом с понятиями стоял молодой милицейский лейтенант. Лейтенанты отдали друг другу честь.

Лейтенант, который приехал с нею и Борисом, заканчивал составление протокола.

— На основании статей...— он вписал в протокол номера статей Уголовного кодекса,— собака по кличке Нюрка у вас изымается и передается законной владелице Анне Николаевне Журавлевой. Распишитесь, Спириин.

Спириин — теперь уж бывший владелец Нюрки — ответил пренебрежительно:

— И не подумаю. Завтра же я подам на вас в суд. Это же полное беззаконие. Я покупаю бродячую собаку, выхаживаю ее, откармливаю, содержу несколько месяцев.

— Я готова вам за все заплатить,— она достала кошелек.— Я все оплачу.

— Я сам готов приплатить, чтобы никогда вас не видеть. Но не советую радоваться. Я еще не сказал своего последнего слова,— предупредил Спириин.

Лейтенант молча дал подписать протокол понятиям, положил в папку. Она взяла Нюрку за поводок. Нюрка глянула на своего бывшего хозяина. Тот молчал. Нюрка заскулила, пошла за нею, оглядываясь на Спириина, не понимая, почему люди молчат, что с ними происходит, почему люди так сумрачны и непримиримы.

Они вышли во двор... Отъезжая, Борис глянул в зеркало заднего обзора и увидел Спирина и парня, который их преследовал вчера. Сегодня они молча смотрели вслед удаляющемуся «Запорожцу».

Она открыла дверь своей квартиры. Нюрка ворвалась, бросилась на кухню к месту, где всегда стояла ее миска, потом обежала квартиру, поскулила над своим мячиком, легла у ее ног и тут же уснула от нервного перенапряжения.

Они ужинали все вместе.

— Я тебе благодарна на всю жизнь,— говорила она.— Без тебя бы я ее никогда не нашла. Меня все бросили. И он, и мои подруги. Только ты остался верным. Ты мне с каждым днем все больше и больше нравишься...

— Ты мне тоже... очень нравишься.— Борис даже несколько смутился от такого признания.

— Говори мне, пожалуйста, об этом каждый день. И тогда каждый день я буду счастливая, веселая, обаятельная, добрая. Я тебе

буду служить, как верная собака.

Он смутился еще больше. Сказал:

— Спасибо! Все было очень вкусно,— и засобирился к себе домой.

— Я тебя провожу,— сказала она.— И Нюрка ведь не догуляла.

Они вышли втроем. Он подошел к «Запорожцу». Все четыре баллона были спущены. И не просто спущены. Покрышки были взрезаны и не подлежали уже никакому ремонту.

— Они нас все-таки выследили,— сказал Борис.

Она огляделась по сторонам. Нюрке передалась тревога, и она тоже насторожилась.

— Я боюсь, не уходи сегодня хотя бы,— попросила она.— А если они ворвутся? Мою дверь можно вышибить просто плечом.

Она не могла уснуть, ворочалась. Не спал и он. Она услышала, как он прошел на кухню, как щелкнула зажигалка. Она тоже встала, накинула халат, вышла на кухню и попросила у него сигарету.

— Дурацкое положение,— сказал он.

— Почему? — спросила она.— Нормальное. В таком положении оказываются миллионы мужчин и женщин каждый день, вернее, каждую ночь,— поправилась она.— Но как бы мужчина ни нравился женщине, первым должен проявить инициативу мужчина.

Он улыбнулся, подошел к ней, обнял...

Утром они завтракали вместе. Он с удовольствием наблюдал, как она быстро приготовила гренки, кофе.

— Приводи в порядок машину,— сказала она, одеваясь.— Она нам потребуется. Ты замечательный,— она поцеловала его.— Повезет же какой-нибудь австралийке.

— Ты считаешь, что повезет? — спросил он.

— Конечно. До вечера,— сказала она.

— До вечера,— он обнял ее и нежно поцеловал.

Что-то в ней сегодня было особенное. Она шла по коридору управления: стремительная, счастливая, уверенная. Мужчины останавливались и оглядывались ей вслед.

...И работала она быстро, четко, уверенно, чего нельзя было сказать о ее сослуживицах. Одна из них разорвала уже просчитанные сводки.

— Сколько можно переделывать! — с яростью выпалила она и выскочила из комнаты.

В комнату зашел начальник, на этот раз без бодрого приветствия, и направился к ней.

— Анна,— попросил он,— мы задерживаем другие отделы. Помогите.

— Нет,— она улыбнулась начальнику.—

Каждый должен нести свой чемодан.— И, больше не обращая внимания на начальника, продолжила свою работу. Он постоял несколько секунд рядом и побрел обратно.

Она сидела рядом с Борисом в его «Запорожце».

— Куда? — спросил он, вырuling из переулка.

— Туда, где мы были вчера.

— Зачем?

— Хочу извиниться, — сказала она.

...Они въехали во двор дома, где вчера нашли Нюрку. Она вышла из машины. «Волга», на которой их вчера преследовали, стояла у подъезда.

— Посиди в машине, — попросила она.

Она подошла к «Волге», достала из сумки большое шило, с трудом, но все-таки проткнула баллон.

Он увидел это, выскочил из «Запорожца». Вдоль дома шли двое мужчин. Он подошел к ней, когда она пыталась проткнуть второй баллон.

— Что ты делаешь! Что ты делаешь! — спросил он с ужасом, прикрывая ее, чтобы не заметили мужчины.

— Что! Что! — передразнила она. — Помог бы женщине. — Второй баллон она никак не могла проткнуть.

Он взял у нее шило, мгновенно проткнул.

— Боже, — сказал он, — что я делаю!

Она взяла у него шило и подошла к третьему баллону. На третий баллон сил у нее уже не было. Он схватил у нее шило, проткнул оставшиеся два баллона, схватил ее за руку.

— Все! Все! Мы отомстили. Уезжаем!

— Подожди. — Она достала из сумки бутылку с мутноватой жидкостью и вылила часть этой жидкости на капот. Краска вдруг похула и начала трескаться. Оставшуюся часть жидкости она вылила на багажник и пошла к «Запорожцу».

Он сел за руль и не мог вставить ключ в замок зажигания.

— Успокойся, — сказала она.

Наконец он вставил ключ.

— Посиди немного, — попросила она. — Тебе надо успокоиться.

Но он уже рванул с места.

...Он гнал машину по Кольцевой дороге. Она молча сидела рядом. Наконец он не выдержал и сказал:

— Ты бандитка.

— Нет, — возразила она. — Я добрая, замечательная женщина. Но меня довели.

— Ты же испортила машину. Чем ты ее полила?

— Я не знаю, — ответила она. — У меня есть подруга химик. Я попросила ее приготовить такую смесь, чтобы прожигала двухмиллиметровое железо.

— Зачем? — спросил он. — В конце концов четыре старых баллона моего «Запорожца» — неравноценная плата за испорченную новую «Волгу».

— А как оценить унижение! — выкрикнула она. — А меня унизили, меня оскорбили и тебя, кстати, тоже, — добавила она уже спокойнее.

— Не гнечи Бога, — попросил он. — Нюрка нашлась, и будь благодарна. Они тебе этого не простят. Они или убьют Нюрку, или ее отравят.

— Значит, я тоже или убью их, или отравлю.

Он внимательно посмотрел на нее.

— Успокойся, — сказала она. — Я думаю, до убийства не дойдет. Но они за все ответят... Я это сделаю... Я придумаю — как... Успокойся, ты в этом не будешь участвовать... Я справлюсь сама. Я же понимаю, тебе перед отъездом совсем ни к чему влипать в какие-то истории.

— При чем здесь мой отъезд? — рассердился Борис. — Они же с тобой расправятся!

— Наверняка, — согласилась она. — Если я не буду сопротивляться.

Она вышла из магазина, подошла к подъезду своего дома. Возле подъезда ее поджидал бывший уже теперь хозяин ее Нюрки и владелец испорченной «Волги». Он двинулся за нею.

— Спирин, если вы попытаетесь войти в мою квартиру, я вызову милицию, — предупредила она.

— Побеседуем здесь, — он кивнул на скамейки во дворе между двумя домами.

Но скамейки были заняты. На одной сидели старухи, на другой целовалась юная пара. Спирин подошел к молодым.

— Ребята, мне надо поговорить с этой женщиной, — он показал на Анну. — Я хочу сделать ей предложение.

— Ну если предложение, — девушка встала. — Пойдем, — сказала она парню. — Когда ты соберешься сделать предложение мне, нам тоже, может быть, уступят место.

Они сели на скамью и со стороны, наверное, смотрелись как счастливая пара. К тому же Спирин, спрашивая, улыбался. Она, отвечая, тоже улыбалась.

— За что вы покалечили мою машину? — спросил Спирин.

— Какое совпадение! — ответила она. — Нашу тоже покалечили.

— Да весь ваш ушастый не стоит ремонта, который мне обойдется не меньше чем в две тысячи.

— А вы считали, что вам все сойдет с рук?..

— Что — все? — спросил Спирин.

— Воровство.

— Я купил эту собаку, — сказал Спирин.

— У кого? Где? — спросила она. — Назовите этого человека!

— На Птичьем рынке, — ответил Спирин. — У прохожего.

— Неправда, — сказала она. — Я была на рынке все двадцать четыре воскресенья с момента, когда ее украли. Во что вы превратили собаку? В механизм по производству денег?! Вы же видели, что она еще щенок! Ей еще год надо было расти. Это все равно что заставить рожать тринадцатилетнюю девочку. К сожалению, в Уголовном кодексе нет наказания за это преступление против животных. Ладно, Бог вас накажет. Я не хотела этой войны, вы мне объявили ее сами, вы ее захотели, вы ее получили.

— Чего ты добиваешься? — спросил Спирин.

— Я добиваюсь, чтобы тебя судили. И я добьюсь, чтобы все узнали, что ты вор. Общественность, я думаю, поинтересуется к тому же, на какие доходы купил инженер Спирин на черном рынке машину, которая стоит не меньше сорока тысяч. А инженер Спирин получает триста двадцать рублей.

Спирин внимательно посмотрел на нее. Она не отвела взгляда.

— Тогда так, — сказал Спирин, вставая. — Если ты не отлипнешь от меня, на тебя случайно наедет машина или однажды тебя найдут в Москва-реке вместе с твоей собакой. Жизнь человека сегодня недорого стоит. А я денег не пожалею. — И Спирин носком ботинка почти незаметно ударил ее по ноге, ударил по голени, по самому болезненному месту, но он не ожидал ее реакции. Она поднялась и ударила его коленкой между ног, удар был мгновенный. Спирин согнулся от боли. Она прошла мимо старух, улыбнулась им. Никто во дворе и не заметил, что произошло.

Она открыла свою квартиру. Ей навстречу бросилась Нюрка. Она присела на пол у двери. Нюрка лизнула ее в лицо, почувствовала знакомый ей вкус слез, застыла в недоумении, потом присела рядом с нею и завывала...

Вечером они с Борисом обсуждали случившееся. Борис прошелся по комнате и сказал:

— Я думаю, на этом все и закончится. Я помню, как мы дрались в детстве. Дерешься, дерешься, видишь, что противник не сдается, и все заканчивается. Каждый продемонстрировал силу, никто не поддался, и наступает мир.

— А я мира не хочу, — сказала она. — Я хочу войны...

— Не надо, — сказал Борис. — Они отравят Нюрку. Она же добрая собака.

— Значит, перестанет быть доброй, — сказала она. — И ты займешься ее дрессировкой. Она должна быть злой, недоверчивой, агрессивной. Если в квартиру входит человек, она

должна бросаться мгновенно. Если ко мне подходит на улице человек, она должна быть так же мгновенно рядом со мною. И если рядом стоящий со мною человек только поднимет руку, она должна даже без команды защищать меня.

— Послушай, — Борис сел рядом с нею. — Если воспитать собаку такой, как ты хочешь, то это значит жить в постоянном страхе. Подойдет к тебе на улице подруга, случайно поднимет руку, чтобы, ну скажем, поправить прическу, и собака может броситься. В квартиру войдет почтальон, врач — и нет никакой гарантии, что у нее не сработает рефлекс нападения. Я не хочу превращать нормальную собаку в зверя.

— Значит, ты хочешь, чтобы завтра выдавили дверь и расправились со мною и с нею? — спросила она.

— Успокойся, — попросил Борис. — Не надо преувеличивать опасность.

Вечером она гуляла с Нюркой. Нюрка бежала по пустырю.

Она услышала, как из кустарника крикнули:

— Дэзи!

И Нюрка помчалась на зов.

— Нюра, ко мне, — крикнула она, но Нюрка ее то ли не услышала, то ли не послушалась. Она бросилась за нею. Увидела, как быстро удаляется мужчина.

Нюрка, удобно устроившись, с аппетитом поела большой кусок колбасы.

— Фу! — крикнула она, стегнула Нюрку поводком, но собака уже расправилась с колбасой.

Они возвращались домой. И вдруг Нюрка легла на землю. Она приказала ей встать. В подъезде Нюрку стало тошнить.

В квартире она с трудом заползла под стол. Дыхание становилось частым и прерывистым.

Она набрала номер телефона и сказала:

— Боря, кажется, ее отравили... да, понятно, понятно. Я тебя умоляю...

...Она набирала воду в большую спринцовку, раскрывала Нюркину пасть и закачивала в нее воду.

...Борис вбежал в комнату, разломал ампулу с лекарством, набрал в шприц, вколлот, на руках отнес Нюрку в ванную и, перевалив через колено, начал выдавливать содержимое желудка.

Они сидели рядом с едва дышащей Нюркой. Борис послушал сердце. Уколлот иголкой, рефлекс были.

— Не хотел я этого, — сказал Борис. — Но придется...

Она сидела у себя в квартире. Позвонили

в дверь.

Нюрка с лаем бросилась к двери и запрыгала в радостном возбуждении перед мужчиной в длинной ватной куртке.

— Хорошая девочка,— сказал мужчина.

Нюрка подпрыгнула, чтобы лизнуть его в лицо. И тут мужчина хлестнул ее плеткой. Нюрка отскочила и обиженно заскулила.

— Фас! — скомандовала она.

Мужчина замахнулся плеткой. Нюрка залезла от лая, не нападала, но и не отступала.

— Понятно,— сказал мужчина.— Потенциально совсем неплохие данные.

Она ехала в троллейбусе, который был заполнен женщинами, в основном, пожилыми и среднего возраста. Располневшими, в привычных синтетических пальто и плащах. Женщины переговаривались, явно многие из них были знакомы друг с другом.

На остановке троллейбус почти опустел. Она вышла вместе со всеми. Женщины шли к зданию, на котором была вывеска «Галантерейная фабрика». При входе на фабрику стояли женщины-вахтеры. Им показывали синие книжечки-пропуска. А некоторые и не показывали. Просто здоровались. И она запустила руку в сумку, кивнула вахтерше и прошла вместе со всеми. И так же в толпе двинулась к зданию фабричного клуба. На щите перед клубом было вывешено объявление с двумя фотографиями. Она приостановилась перед объявлением, на котором было написано:

«Сегодня
альтернативные выборы
директора фабрики».

На одной из фотографий был изображен мужчина лет пятидесяти, Петухов — начальник цеха кожгалантереи. В втором Спири — главный инженер фабрики. Фотография бывшего хозяина Нюрки была цветная. Спири улыбался. Петухов был сосредоточенно серьезен.

Она разделась в клубном гардеробе.

Она сидела в зале вместе со всеми, наблюдая за происходящим на сцене. А на сцене находились Петухов и Спири. Спири заканчивал изложение своей программы.

— Если мы приложим все наши усилия в этом направлении,— говорил Спири,— мы станем богатыми и счастливыми. За работу, товарищи!

Его слова встретили аплодисментами. Ведущая, бойкая женщина, обратилась к собравшимся:

— Товарищи, есть ли мнения по кандидатам на должность директора нашей фабрики?

Женщины молчали. Никто не хотел выхо-

дить первой. И тогда встала она.

— Есть,— сказала она и пошла к трибуне.

Спири узнал ее.

Она подошла к микрофону.

— Если вы своим директором хотите выбрать вора и негодяя, причем мелкого и пакостного, голосуйте за Виталия Николаевича Спирина.

Зал молчал. Первой опомнилась ведущая собрание.

— Кто вы такая? — спросила она.— Вы к нашей фабрике не имеете никакого отношения.

— К фабрике не имею, но со Спириным у меня очень тесные отношения. Он не только вор, но еще и бандит. Три дня назад он меня ударил только потому, что я не согласилась с его доводами. Если вы хотите иметь директора, который может избить женщину, а здесь, на фабрике, большинство женщин, голосуйте за Спирина.

Зал опомнился и возмущенно зашумел.

Она подняла руку:

— Собрание постановило: для выступающих регламент в пять минут. За пять минут я вам все расскажу.

И зал притих.

Она сидела в фойе в полном одиночестве. Мимо нее проходили, поглядывали с удивлением, некоторые даже с испугом.

Женщины голосовали. Собирались группами. Отходили в сторонку, вычеркивали, для некоторых вопрос был, по-видимому, решен давно, и они вычеркивали сразу одну из фамилий, другие задумывались, вздыхали, это было явно непривычное занятие для очень многих. Они привыкли, что всю жизнь за них решали другие. Сегодня решали они.

Она вошла в зал. Все места были заняты. Одна из молодых женщин поспешно встала и уступила ей место. Со сцены зачитали протокол счетной комиссии. Директором был избран начальник цеха Петухов. Женщины аплодировали. Она встала и пошла к выходу.

Уже за проходной ее догнал Спири.

— Удовлетворена? — спросил он.

— Нет,— ответила она.

— И что же дальше? — спросил Спири.

— Теперь я добьюсь, что тебя исключат из партии.

— Сейчас это не трагедия, сейчас сами выходят.

— А тебя выгонят.

— За что ты меня преследуешь? — почти с отчаянием спросил Спири.

— За то, что ты вор. И не хочешь в этом покаяться.

— Я не вор. Я ее купил.

— У кого?

— Я не знаю их фамилий. Это Витек, он торгует овощами с лотка у метро. И такой

рыжий, с бородой. Шкипер у него кличка. Они предложили мне, и я купил за сотню.

— Они предложили именно тебе, потому что другие ворованное не покупают. Может быть, ты и машину ворованную купил по дешевке? Ты жиреешь на чужой беде.

Спирин остановился, схватил ее за лацканы куртки и потащил к помойке между домами. Она пыталась сопротивляться, крикнула:

— Помогите!

Но мимо проходили люди, делая вид, что они этого не видят. Это их не касалось. Наконец она вырвалась, отпрыгнула в сторону, достала из сумки нож и пошла на Спирина.

Женщины работали за компьютерами. В комнату вошел молодой человек с рулоном сводных таблиц.

— Прошу прощения, — сказал он, — но ваш отдел запутал работу всего управления. — Он положил таблицы на стол Людмилы. — Разберитесь, пожалуйста. — Не выдержал и добавил: — Это не работа, а черт знает что! — И вышел.

Женщины молчали.

— Девочки, надо разбираться, — сказала почти робко Людмила.

— Ну уж нет, — вскочила Вера. — Ты запутала, ты и разбирайся. — И она выключила компьютер.

Погас экран дисплея Нади, отключила компьютер и Анна. Некоторое время еще работала самая пожилая программистка, но и она отключилась.

Людмила посидела и вышла.

— Пошла советоваться, — прокомментировала Вера.

Борис ожидал Анну. Из Госплана выходили солидные, хорошо одетые мужчины, да и молодые были одеты солидно и со вкусом. Анна увидела его, заулыбалась, поцеловала. Борис смутился.

Они шли по улице под руку, Анна с увлечением рассказывала:

— Всё. Считай, что это забастовка. И мы будем держаться до конца. Как ты думаешь, чем это все может закончиться?

— Как всегда. Вам уступят в какой-то мелочевке, но все решать будут по-прежнему они.

— А в чем уступят?

— Уберут эту Людмилу и поставят тебя. Ты наиболее опытная, девчонки тебя подерживают.

— Это совсем неплохой вариант для пользы дела, — сказала Анна.

— Идиотка! Ты должна стать начальником отдела. Надо всегда требовать большего! — возмутился Борис.

— Ну большего ты будешь требовать у себя в Австралии. А мы у себя сами разберемся.

— Эх, Анюта, — с сожалением сказала Борис, — и ты тоже! Наши замечательные личные отношения переводись в политику.

— Никакая это не политика, — возразила Анна. — Ты же уезжаешь не из-за политики, а потому что там дешевле джинсы, кроссовки, видеомагнитофоны.

Борис остановился.

— Прости меня, Боренька, — поспешно сказала Анна. — Это потому, что я тебя люблю. И мне обидно, что такой замечательный парень достанется какой-то австралийке.

— Ладно, — сказал Борис. — Пока я еще не уехал, я приглашаю тебя в кино.

— А билеты взял? — спросила Анна.

— Выстоял в очереди. Я уже несколько лет не был с женщиной в кино. С любимой женщиной, — добавил он. — Мы будем сидеть в темном зале, и я тебя буду робко трогать за коленку.

— Только очень робко, — предупредила Анна. — А то схлопочешь.

— Конечно, — сказал Борис. — Я же теперь знаю, с кем имею дело...

Витек — молодой, но уже располневший мужчина — торговал яблоками рядом с метро. К концу рабочего дня он был слегка пьян и поэтому оживлен.

— Яблоки венгерские! — выкрикивал он. — Запасайтесь! Последний завоз. Завтра не будет! И послезавтра не будет!

Торговал он быстро. Накладывал в пластмассовую миску, быстро называл цену и тут же снимал миску с весов.

Она стояла в стороне от очереди. Он ее заметил, но очередь не уменьшалась, и Витек сосредоточился на торговле.

— Контрольная закупка, — произнес мужчина средних лет в очках, в кожаном пальто, из тех покупателей, которые обычно не глядят на стрелку весов и не пересчитывают сдачу. Теперь уже яблоки были взвешены самым тщательным образом. Мужчина был обчислен на тридцать копеек. Тут же были перевешены яблоки еще у двух женщин, которые, купив, почему-то не ушли сразу. Их обчислили почти на рубль. Начали составлять протокол.

Она убирала квартиру. Нюрка перемещалась за нею. Зазвонил телефон. Она сняла трубку, выслушала и сказала:

— Заходите. Да, конечно...

Она пылесосила, увидела, как насторожилась Нюрка, и выключила пылесос. Дверь квартиры открывали снаружи. Щелкнул один замок, потом второй, Нюрка глянула на нее,

она кивнула. Нюрка отошла и легла. Дверь открылась и вошел тренер в ватной куртке. Нюрка зарычала. Тренер шагнул, и Нюрка бросилась вперед. Она повисла на рукаве куртки. Тренер достал отвертку, попытался ею ткнуть Нюрку, но она тут же перехватила вторую руку. Отвертка выпала. Тренер ударил Нюрку коленкой, Нюрка отскочила и тут же бросилась снова. Тренер не устоял и упал. Нюрка стояла над распластанным на полу человеком, ощерив пасть...

Начальник отдела вошел в комнату и сказал:

— Анна Николаевна, зайдите ко мне.

Она прошла в кабинет начальника, села.

— Начальник главка, — сказал он, — по моей просьбе, вернее даже по моему настоянию, перевел Людмилу Петровну в другой отдел. По моей рекомендации вас назначают заведующей сектором. Приказ будет подписан сегодня. Принимайте дела и приступайте к работе в новом качестве.

— Нет, — сказала Анна.

— Почему? — удивился начальник. — Ты же будешь получать на семьдесят рублей больше.

— Нет, — сказала Анна. — Я не хочу работать под вашим руководством.

— А может быть, ты сама хочешь руководить отделом?

— Я бы справилась...

Начальник встал, подошел к окну, молча постоял.

— Анна, — сказал он. — Я же разумный человек. Я все понимаю. Да, я плохой начальник отдела. Я только по образованию экономист, но ни одного дня не работал по специальности. В райкоме я занимался политической работой. Но я же тоже не виноват, что все вдруг переменялось.

— Не вдруг, — сказала Анна.

— Поработай, — просил начальник. — Ну потерпи хоть немного, пока я не устроюсь на другое место.

— Извините, — сказала Анна. — Как говорит одна моя подруга, кончилась терпелка... — И она вышла из кабинета.

Витек на этот раз торговал молча.

— Три кило, — сказал парень в варенке и глянул на часы. — Черт, опаздываю.

Витек высыпал яблоки в подставленный пакет, и парень сказал:

— Контрольная закупка.

Витек огляделся и увидел ее. Она стояла в стороне у щита с объявлениями. Начали составлять протокол. Потерпевшие и свидетели расписались в протоколе.

— Всё! — сказал Витек. — Торговля закончена.

Прикрыв ящики с яблоками целлофановой пленкой и прихватив сумку с деньгами, он бросился за нею. Она уходила к автобусной остановке. Витек схватил ее за рукав.

— Поговорим! — потребовал он.

— Я с вами не знакома, — ответила она.

— Не держи меня за дебила, — Витек не отпускал рукава куртки. — Как только ты появляешься, так контрольная закупка. Мстишь! Я тебя обсчитал? Извини! Ошибки могут быть у каждого. — Витек раскрыл сумку и достал двадцатипятирублевую купюру. — Возьми. Это за меня и за всех, кто тебя обсчитает на год вперед. Всё! Квиты!

— Нет, — ответила она.

— Мало? — удивился Витек. — Подруга, вполне нормально. К тому же я человек с принципами, больше чем на двадцать копеек не обсчитываю. Двадцать копеек сегодня не деньги. Подруга, возьми четвертак и забудь обиды. Теперь лучшие фрукты, а также и овощи — для тебя. Давай дружить. С этого дня мы друзья!

— Витек, — сказала она. — Мы с тобой враги. И уже давно. Девять месяцев уже.

— Извини, — сказал Витек. — Всё есть, но склероза у меня пока нет. Девять месяцев! Извини, но я с тобой не спал. Чего не было, того не было.

— Девять месяцев назад ты украл мою собаку. Суку, ризеншнауцер.

— Не было и этого, — возразил Витек. — Собак терпеть не могу. А также кошек, рыбок, попугаев, хомяков, белых мышей, ящериц и прочих. Подруга, ты ошиблась.

— Я не ошиблась, — ответила она. — Украл ты и продал Спирину, за сто рублей.

— Значит, собачка нашлась! И хорошо! И чудненько. Тебе повезло. — И Витек заспешил к своему лотку.

Она вывела Нюрку из подъезда. Нюрка бросилась было к скверу, но она ровно, не повышая голоса, сказала:

— Рядом...

И Нюрка пошла рядом, изредка поглядывая на нее.

Они вышли на пустырь. Она спустила Нюрку с поводка, и та понеслась среди кустов.

...Тренер в своей ватной куртке приближался к ней, поглядывая на кусты. Нюрки не было. Тренер подошел к ней.

— Девушка увлеклась, — сказал он. — Не следит за хозяйкой.

Тренер взял ее за рукав плаща, но успел отпрыгнуть, Нюрка неслась на него. Тренер выхватил пугач, нажал на курок, грохнул выстрел. Нюрка, не обращая внимания не грохот, повисла у него на руке. Тренер выстрелил еще раз, теперь уже перед Нюркиной мордой, и Нюрка мгновенно перехватила его руку с пистолетом.

Она оттянула Нюрку, успокаивая ее поглаживанием.

— Обучение закончено,— сказал тренер, скатывая куртку и укладывая ее в сумку.— Время от времени надо будет только поддерживать форму.

— Я вам беспредельно благодарна,— она достала деньги и протянула тренеру. Тот пересчитал их, положил в портмоне.

— Руку не протягиваю, я без спецодежды,— сказал тренер и добавил: — Будьте осторожны. Она получает удовольствие от нападения...

Она взяла Нюрку на поводок. Проходя мимо строительного вагончика, тренер сказал:

— Выходи. Дрессура закончена.

Из-за вагончика вышел Борис.

— Взял, как за полный курс? — спросил он.

— Так ведь она и прошла полный курс,— сказал тренер.

— Она же способная,— возразил Борис.— Ты вполтину меньше времени затратил. Друг называется...

— Не жмись, я же рублями взял, деревянными. С тебя можно было взять зелеными. Как, кстати, есть вести из посольства? Когда отваливаешь? — спросил тренер.

— Через месяц, не раньше.

— На отвальную позовешь?

— Позову,— пообещал Борис.

Домой возвращались втроем. Нюрка слева, Борис справа. Нюрке не понравилось, что Борис идет слишком близко к хозяйкой, и она, поворочав, втиснулась между ними.

— Молодец,— похвалил ее Борис. На похвалу она покрутила обрубок хвоста.

— Она все науки превзошла,— с гордостью сказала Анна.— А ты отказался ее дрессировать. Она же у нас талантливая.

— Да, талантливая,— согласился Борис.— И мы из этого таланта сделали зверя. А когда из человека или собаки делают зверя, это добром не кончается. Я тебе этого не могу объяснить, но у меня дурные предчувствия, не кончится это добром...

— Ну добром это не кончится только для меня... Ты был в посольстве? Какие новости? — Поговорим,— сказал неопределенно Борис.

Она готовила ужин. Он помогал, накрывая на стол. Наконец они сели. Нюрка лежала в передней, наблюдая одновременно за ними и за дверью в квартиру.

— В общем, разрешение есть. Остались кое-какие формальности, билет, обмен денег. Она молчала.

— Ты огорчена? — спросил Борис.

— Я рада за тебя. Все-таки Австралия...

— Я там остроюсь и вызову тебя,— сказал Борис.

— Там будет видно,— она улыбнулась.

— Что-то я не вижу печали,— сказал Борис.

— А мы женщины гордые. Я еще заплачу, когда ты уедешь.

— Давай наконец поговорим серьезно.— Борис резко встал из-за стола, взмахнул рукой, и уже через мгновение Нюрка оказалась рядом и ощерила пасть.— Извините, девушки,— Борис осторожно опустил руку

— А мы с Нюркой тебе приготовили подарок.— Анна принесла пакет с джинсами.

— Ты что! — выкрикнул Борис.— Я же знаю, сколько сегодня стоят эти штаны. Ты зачем потратила деньги? Да я там их могу купить сто, двести!

— Примерь! — попросила Анна.

Борис поколебался, но все-таки вышел из кухни и вернулся уже в новых джинсах.

— Замечательно,— сказала Анна.— У тебя отличная фигура.

— Вроде бы ничего,— Борис подошел к зеркалу в прихожей, увидел в зеркале улыбающуюся Анну.

Витек торговал у метро.

— Контрольная закупка,— сказала старушка в старом, явно перелицованном летнем габардиновом пальто.

Витек огляделся и увидел ее. Она шла к метро. Он бросился к ней. Но она уже вошла в метро, и он вернулся. К нему подошла дама с хорошо уложенной прической.

— Витек,— сказала она.— Я думала, ты умнее. Если уж пошла облава, надо ложиться на дно, в тину, и не трепыхаться. Я тебя увольняю из нашего торга. Он уволен,— объявила она очереди.

Очередь ее объявление восприняла конструктивно. Люди мгновенно разошлись по другим лоткам.

Вечером она гуляла с Нюркой. На площадке, как всегда, резвился молодняк. К ней подлетали молодые пудели, коккер-спаниели. К этой мелюзге Нюрка относилась терпимо, но если кто-то был особенно надоедливым, она взбрыкивала, и собаки опрометью бежали к своим хозяевам. Малая пуделиха была так напугана этим рыком, что с размаху подпрыгнула, стремясь спрятаться на груди у хозяйки. Маленькие собаки чувствовали и силу и характер Нюрки. На площадке устанавливалась новая иерархия. Остались невыясненными только отношения между Нюркой и доbermanшей, которая уже несколько лет была главной на этой площадке и с которой в свое время они недовыяснили отношений.

Некоторое время и Нюрка и доbermanша

ходили в разных углах площадки, стараясь не сближаться. Но тут вспыхнула очередная драка. На этот раз дрались кобели, черный терьер и овчарка. Доберманша бросилась в свалку, то ли разнять, то ли поучаствовать в этом азартном деле. Бросилась и Нюрка. Владельцы растащили своих кобелей, Нюрка и доберманша оказались рядом. Первой не выдержала доберманша. Она зарычала. Вызов был брошен. Нюрка вызов приняла. Они сцепились, встали на задние лапы, Нюрка была уже килограммов на десять тяжелее и подмяла доберманшу. Анна оттащила Нюрку.

— Извините,— сказала она.

— Чего уж тут,— вздохнула хозяйка доберманши.— Власть переменялась.

Анна работала за столом. Зазвонил телефон. Она сняла трубку, выслушала, сказала:

— Сейчас буду...

Она поднялась этажом выше. Перед дверью с табличкой «Начальник управления» поправила волосы, воротник блузки и вошла в приемную.

Секретарша, пожилая женщина, сказала:

— Вас ждут.

Она вошла в кабинет. За столом сидела женщина ее лет, не старше тридцати пяти. Она вышла из-за стола, пожала Анне руку. Они были даже похожи: обе рослые, спортивные, в легких блузках и узких юбках. Они присели в кресла у журнального столика. Начальница предложила Анне сигарету, та взяла. Обе закурили.

— Романенко уходит в НИИ,— сказала начальница.— Пойдешь на его место?

— Пойду,— ответила она.

— Ну и ладушки,— сказала начальница.— Тогда иди принимай дела.

Она спустилась на этаж ниже и зашла в кабинет своего начальника. Тот складывал бумаги в большой портфель. Рядом стояли две стопки книг, перевязанные бечевой.

— Тебя что ли назначили? — спросил начальник.

— Меня,— ответила она.— А вас я и не знаю, то ли поздравлять, то ли приносить соболезнования.

— А этого никто сегодня не знает,— заметил начальник.— Сегодня поздравляют, завтра приносят соболезнования, бывает и наоборот. Принимай дело.

— Принимать нечего,— ответила она, садясь в его кресло.— Все знакомо.

— Довольна? — спросил ее теперь уже бывший начальник.

— На сегодня — да,— ответила она.

— А на завтра ты особенно не рассчитывай. Здесь и просидишь остаток дней своих. Дальше не пустят.

— Остаток еще большой,— спокойно воз-

разила она.— Поживем — увидим.

— Что-нибудь увидим. Только что? Смутные времена,— сказал бывший начальник.

— Хуже уже не будет...— сказала она.

Витек торговал теперь у железнодорожного вокзала. И вдруг увидел ее.

— Всё— объявил он очереди.— Закрыто на обед.— И бросился к ней: — Я тебя умоляю! Отстань от меня. Я как вижу такую розовую куртку, как у тебя, у меня тахикардия начинается. Прости меня. Это меня Шкипер подбил. Он все организовал. И собаку твою он травил. Я больше никогда не буду. Прости меня,— и Витек вдруг заплакал.— Прости!

Она молча повернулась и пошла к подземному переходу.

Анна прогуливалась во дворе около универсама, держа Нюрку на коротком поводке. Увидев, как подкатил автобус «ПАЗ», она подошла к телефону-автомату и набрала номер.

Сысоев, он же Шкипер, с двумя другими грузчиками поспешно вытаскивали коробки с телевизорами и грузили в автобус. Во двор въехал милицкий «газик». Из него выскочил капитан с двумя сержантами. Один из сержантов заглянул в кабину автобуса, выдернул ключ зажигания. Милиция нашла двух понятых. Сысоева и грузчиков попросили сесть в милицйскую машину. И тут Сысоев увидел ее и Нюрку. Он схватил обрубок металлической трубы, вырвался от державшего его сержанта и бросился к Анне. Он успел только замахнуться. Нюрка в доли секунды уже повисла у него на руке, дернула ее, и Сысоев рухнул на землю. Нюрка стояла над ним, ощерив пасть.

— Ко мне,— приказала Анна.

Нюрка, рыча, отошла.

— Ничего,— пообещал Сысоев Анне.— Еще встретимся.

— Через несколько лет,— ответила Анна и пошла к подъезду своего дома.

Нюрка шла рядом, поглядывая, будто спрашивая, правильно ли она поступила.

— Все правильно. Ты молодец,— похвалила она Нюрку, и та завертела обруском хвоста. Всегда приятно, когда тебя хвалят.

Усталая Анна сидела на кухне. Борис накрывал на стол.

— Всё,— сказала Анна.

— Что все? — не понял Борис.

— Все кончается.

— Кое-что и начинается,— ответил Борис.— У меня есть кое-какие новости.

Анна молчала.

— Ты почему не спрашиваешь, какие? — спросил Борис.

— К сожалению, сегодня все больше плохих новостей. Но я готова и к плохим.

— Я сдал билет,— сказал Борис.— Я решил не ехать.

— Почему? — спросила Анна.

— Ну, в общем...— Борис все-таки решил: — Я люблю одну женщину. Я хочу быть вместе с нею. И я больше ничего не хочу. К тому же она мне купила джинсы, вторых мне не надо, а зачем тогда ехать... Извини, я, конечно, какую-то ерунду мелю, чего-то я...

И Анна заплакала.

— Ну что ты,— Борис обнял ее.

Анна сквозь слезы сказала:

— Прости меня. Я должна сказать тебе что-то, но ничего придумать не могу. Не говорить же тебе «спасибо»...— И Анна заплакала почти навзрыд.

— Ну почему же,— сказал Борис.— «Спасибо» — очень хорошее слово. Я теперь всем буду рассказывать, что когда я ей признался в любви, она мне сказала спасибо.

И Анна рассмеялась.

...Они ужинали. Нюрка лежала в передней, наблюдая и за входной дверью, и за ними.

— Тогда и у меня есть новости,— сказала Анна.

Борис отложил вилку.

— Я беременна. Уже два месяца... Твой ребенок, твой...

— Почему ты молчала? — изумился Борис.— Я же через два дня мог улететь. И ты бы мне не сказала?

— Нет,— подтвердила Анна,— не сказала бы. Ты мог подумать, что я пытаюсь удержать тебя при помощи беременности. Из жалости, а не по любви...

Она, Нюрка и Борис гуляли в осеннем лесопарке. Кроме них никого не было. Анна держала Нюрку, прикрыв ей глаза, Борис бросал палку, и Нюрка, определяя по звуку, где упала палка, прочесывала метр за метром в поисках. Находила, приносила палку.

— Я самая счастливая женщина на свете,— сказала Анна.

— Нет повести счастливее на свете,— продекламировал Борис,— чем повесть о Борисе и... Анетте,— нашел он подходящую рифму.

Он обнял Анну. Нюрка прыгала рядом, лизнула в лицо ее, Бориса. Кружились счастливая женщина, мужчина и собака.

Рядом была дорога. Они увидели бешено несущиеся «Жигули». А за ними с такой же скоростью неслась «Волга».

Неожиданно «Жигули» затормозили. Из них выскочили трое парней и побежали к лесу.

Затормозила и «Волга». Из нее выскочили двое парней.

Она увидела, что у них автоматы.

А те, которые убегали, вдруг остановились.

Один из них встал на колено, выхватил из-под плаща обрез, прицелился, дважды выстрелил. Преследовавшие их парни бросились на землю. Трое снова побежали к лесу.

Нюрка, не понимая в чем дело, приготовилась к прыжку.

— Лежать! — крикнула она.

Трое парней почти уже достигли леса. И тогда один из преследовавших дал очередь из автомата. Этого Нюрка уже выдержать не смогла. Те, которые убегали, были далеко, а этот с автоматом почти рядом, и она бросилась на него. Парень выстрелил в Нюрку в упор. Она перевернулась в воздухе и упала. А парень остановился, откинул складной металлический приклад, приложил его к плечу и уже прицельно дал длинную оглушающую очередь. Один из убежавших упал сразу, другой прохромал несколько шагов и опустился на землю. Третий остановился в растерянности, а потом поднял руки.

Она бросилась к Нюрке. Та была неподвижна.

Борис схватил Нюрку и побежал к своему «Запорожцу», который стоял у обочины.

Борис гнал «Запорожец», обгоняя машины. Она пыталась перевязать Нюрку. Кровь заливала сиденье.

Уже в городе Борис проскочил перекресток на красный. Постовой засвистел, потом схватил рацию, предупреждая следующий пост о нарушителе.

— Не гони больше,— сказала она Борису.— Она уже не дышит...

Борис выкопал яму в лесу. Нюрка была завернута в брезент. Он положил ее в яму и начал закапывать. Она сидела рядом.

— Это я виновата. Я, я виновата,— твердила она.

Шел мелкий дождик. Ее лицо было мокрым то ли от дождя, то ли от слез. Борис поднял ее и повел к «Запорожцу».

Дома он снял с нее мокрую одежду, растер ей плечи, спину, принес чай, малиновое варенье.

— Как же теперь жить? — спросила она.— Кто же меня теперь защитит?

— Я,— сказал Борис.

Он уложил ее в постель, укрыл одеялом, пледом и сел рядом.

И снова была зима. Борис стоял у цветочного киоска. Цветы продавали кооператоры, и они были безумно дороги. Борис выложил все свои деньги за три гвоздики, ему не хватило почти рубля. Он выгребал мелочь. Кооператору надоело ждать его копеек, он смач-

нул мелочь в ящик, протянул цветы Борису:
— Гуляй, парень. В следующий раз отдашь.

— Спасибо. Отдам обязательно, — пообещал Борис.

Борис подошел к ее дому, вошел в подъезд. Он открыл дверь квартиры. Анна, очень заметно беременная, обрадовалась цветам, поцеловала его.

— Голодный? — спросила она.

— Очень.

— У меня все готово.

И вдруг он услышал писк. Он прошел в комнату. По ковру ползал щенок. Это был месячный ризен. Щенок увидел его, поднялся на лапы. Он присел. Щенок рассматривал его, не отводя темных, еще ничего не выражающих глаз. И человек смотрел в эти глаза то ли зверя, то ли доброй собаки.

Он оглянулся. Рядом на ковер опустилась Анна.

— Прости, — сказала она. — Это Нюра.

И щенок пошел к ней и ткнулся в ее руки.

1991 г.

В 1992 ГОДУ ЖУРНАЛ «КИНОСЦЕНАРИИ» БУДЕТ ЗНАКОМИТЬ СВОЕГО ЧИТАТЕЛЯ С ЛУЧШИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИЗВЕСТНЫХ ДРАМАТУРГОВ И МОЛОДЫХ СЦЕНАРИСТОВ, ПРИВНОСЯЩИХ В КИНОИСКУССТВО СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД, НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕМАМ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ СЮЖЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

В БУДУЩЕМ ГОДУ МЫ НАМЕРЕНЫ РАСШИРИТЬ РАЗДЕЛ, ГДЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА КЛАССИКА МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА. В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОПУБЛИКОВАТЬ СЦЕНАРИИ ФИЛЬМОВ Р. РОССЕЛЛИНИ «РИМ — ОТКРЫТЫЙ ГОРОД», Ф. ТРЮФФО «ЖЮЛЬ И ДЖИМ», «НЕЖНАЯ КОЖА», Л. БУНЮЭЛЯ «ФАНТОМ СВОБОДЫ», И. БЕРГМАНА «ПЕРСОНА», «ШЕПОТЫ И КРИКИ», ДНЕВНИКИ И. БЕРГМАНА, КОТОРЫЕ ОН ВЕЛ ВО ВРЕМЯ СЪЕМОК ЭТОГО ФИЛЬМА, Ж. Л. ГОДАРА «АЛЬФАВИЛЬ», «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». В РЕДАКЦИОННОМ ПОРТФЕЛЕ — ВОСПОМИНАНИЯ ИЗВЕСТНОГО АНГЛИЙСКОГО АКТЕРА ТЕАТРА И КИНО ДИРКА БОГАРДА «ФОРЕЙТОР, ПОРАЖЕННЫЙ МОЛНИЕЙ», ПЕРВОГО РУССКОГО КИНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ А. ХАНЖОНКОВА, КИНОВЕДА Г. МАРЬЯМОВА «СТАЛИН СМОТРИТ КИНО».

В ПЛАНАХ РЕДАКЦИИ — ПУБЛИКАЦИЯ КНИГИ ФРАНЦУЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ ЛУИ СЕЛИНА «МОЯ ВИНА», НИКОГДА ПРЕЖДЕ НЕ ИЗДАВАВШЕЙСЯ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ.

КРИТИКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ИЗДАНИЯ СОСТАВЯТ СТАТЬИ КРИТИКОВ И КИНОВЕДОВ Ю. БОГОМОЛОВА, С. ФРЕЙЛИХА, М. ЯМПОЛЬСКОГО, В. ШМЫРОВА, ФИЛОСОФОВ В. ПОДОРОГИ, М. РЫКЛИНА И ДРУГИХ.



Рената
ЛИТВИНОВА

НЕЛЮБОВЬ

(Отрывочные события, переживания,
попытки в течение семи дней)

Ажар А-ой

— С моей бабушкой случилась такая несправедливость в жизни показательная! — сказала Маргарита своему молодому кавалеру, который сидел за столиком напротив нее, сжимал ей руку, и взгляд у него был покорный. Она потрогала на ощупь его ладонь, высунула оттуда свою руку и продолжила, — в тысяча девятьсот тридцатом году она не знаю как оказалась в деревне. И ей нужно было под вечер возвращаться на станцию, чтобы успеть к поезду. Понимаешь? — она вздохнула. Глаза его не меняли своего выражения независимо от произносимых слов. — Ответь мне, — тогда он кивнул. Она отвела взгляд от него и стала рассказывать дальше. — Было уже темно, надо было ехать мимо леса. Она очень торопилась. Она была женщина обаятельная, по фотографиям. У нее было много поклонников. У нее были малиновые загадочные губы и раскосые глаза, такое белое лицо, все говорят, что она была вполне красавицей. Как на твой вкус, тебе нравятся такие? — спросила она. Тот стал раздумывать, потер себе лоб. Она не стала дожидаться, пока он придумает, она и так знала, что бабушка была красавицей. — Так вот ей дали лошадь по знакомству, чтобы она добралась до станции. Она села в повозку, она не умела управлять, но лошадь знала дорогу, и она выехала поздними сумерками, ее уговаривали остаться переночевать, она не согласилась, и с тех пор ее никто не видел, — Маргарита вздохнула, припоминая лицо ба-

бушки на фотографиях. — Нашлась лошадь и повозка, а бабушку не смогли найти. Но весной разнесся такой слух, будто в разрушенной церкви вдруг под провалившимся куполом таким островком выросла пшеница! А знаешь, был большой голод. Все туда побежали, церковь стояла у леса, заброшенная. Один крестьянин копнул лопатой... чуть-чуть, прямо в то место, откуда росла пшеница непонятная, и наткнулся на что-то твердое... Стали раскапывать, и это оказалась моя убитая бабушка, которую едва замели землей. Оказывается — ее спутали с кем-то, кто ходил и отбирал хлеб, и убили для назидания, по ошибке! А убив, разрезали ей живот и засыпали туда пшеницы, которая весной и проросла! Иначе бы и не нашли, наверно... — Рита остановилась в своем рассказе. Она потрогала свою челку, в порядке ли ее прическа. Вздохнула.

Рите было двадцать лет. У нее было еще довольно припухлое щекастое лицо. У нее была манера — хватать себя за горло правой рукой. Она немного сутулилась, говорила тонким голосом и заворачивала одну ногу за другую.

— Ты представляешь, ведь ее отговаривали, а она отвечала, нет, нет, я поеду. Это правда, что смерть зовет, — сказала она патетически так, что молодой ее Миша вздрогнул и еще сильнее задумался. — Вот мне кажется, что я буду долго жить, дольше всех, всех перехорону, или мне кажется, ты меня

заревнуешь и убьешь в спину, да? — Она шевельнула его рукой. Тот сказал ей:

— Не-е-ет!

— Бедная у бабушки судьба,— подвела итог Рита,— знаешь, какая она у нее? Как ты думаешь, какая? Нельзя определить. Просто судьбоносная судьба. Судьбоносная судьба,— повторила она. Она оглянулась вокруг, на людей, особенно ей интересны были женщины. Они сидели в фойе выставки фотографий одного известного фотографа и пили кофе. Выставку смотреть Рите было лень встать, поэтому пока для начала они пили-пили кофе до самой последней усталости, и Рита рассказывала ему свою жизнь. Миша же все осмысливал очень основательно, отвечать не успевал, поэтому только пока выразительно молчал, подперев свой нос загнутым в колючку пальцем, как на старых жеманных фотографиях подпирают подбородки. Еще он умел очень шумно и глубоко выдохнуть и вдохнуть, у него были «говорящие» круглые глаза и пухлый рот. Рита огляделась по сторонам и спросила:

— Ты бы мог ограбить квартиру? А?

— Я не люблю насилия,— сказал он, кхекнув.

— А какие это насилия? Насилие только над одной дверью,— изумилась она его мимолетной трусости. Он пожал плечами, делая мудрое лицо. Она опять вспомнила про «судьбоносную судьбу» и сказала: — Никто не знает своей судьбы, да? Ведь смотреть в будущее это грех, но я думаю, себе можно что-то напроорочить, и тогда это сбудется, поэтому себе не надо предекать плохого,— сказала она ему своей опыт.— А мне все думается и думается что-то особенно трагическое... Послушай, ну что ты такой... немножко тупой? — стараясь говорить ласково, спросила она и передразнила выражение его лица с толстыми губами.

— А я вовсе не тупой,— не согласился он.— Мне хорошо тебя слушать.

— А я вчера... мне одна девушка рассказала, что они пошли куда-то в кафе. Две девушки. Выпили в кафе. Ужасно скучно им было в жизни в тот вечер, и на беду им какой-то пожилой старичок подмигнул. Они и пошли с ним гулять. Зашли в сквер. Уже была почти ночь. Сели там на скамейку, стали пить шампанское, прямо из бутылки. Старичок посадил одну себе на колени, стал раскачивать ее, она стала его щекотать. Он, эта девушка мне рассказывает, стал хохотать. Видно, на него это очень подействовало. Другая девушка тоже подхватила, и они вдвоем стали его щекотать и зачекотали насмерть. Он упал со скамейки на землю, сшиб бутылку, ему сделалось дурно, и эта девушка мне рассказала, что у него глаза закатились и что он умер. И они побежали из парка, обгоняя друг друга, и, представляешь, хохотали!..

— Может, он все-таки выжил? — с сомнением спросил Миша.

— Не ходи ты в скверы,— посоветовала ему Рита, вздохнув и опять оглядываясь и вспоминая еще какую-нибудь историю.

— Да я и не хожу,— сказал он просто душно,— ты же знаешь. Я все время дома сижу, жду твоего звонка, а ты всегда обманываешь.

Она не любила выяснять такие скучные темы, она показала ему в окно и сказала:

— Дождь, погода совсем больная как-то.— И опять повторила: — Судьбоносная судьба.

Миша вздохнул. В окно Рита увидела, как подъехал автомобиль, из него вышел мужчина в свитере и стал, прищуриваясь, смотреть на окна выставки.

Это был тот самый фотограф, чьи фотографии представлялись в зале. Он не понимал, зачем, по большому счету, он приехал на эту свою выставку, хотя он назначил одну неточную встречу здесь, но приехал он не ради нее, а от одиночества и скуки, которая охватила его дома, когда он посмотрел в окно на начинающийся дождь, и поэтому он сел в машину и приехал для начала на свою выставку. Ему было 55—57 лет. И с первого взгляда он совсем не казался признанным фотографом, потому что немного был похож на алкоголика, лицо у него было чуть испитое и смуглое. Он закурил, заходя на территорию выставки и уже заранее скучая и жалея, что ему некуда девать себя в этот свободный свой период жизни. Он зашел, и его все сразу стали узнавать, пока он шел по фойе прямо ровно посередине, прищуриваясь, с пустыми праздничными руками, удивительно уверенно посматривая по сторонам.

Рита в этот момент стояла уже у стены, согнув одну ногу в колене и приставив ее к стене. На ней — короткая юбка, голые ноги без чулок. Она грызла длинную прядь волос и тоже смотрела на фотографа. Были чьи-то шепоты: вот он, вот он и т. д. Все оборачивались на него, чуть расступаясь. К нему сразу подошли какие-то знакомые: один — похожий на гусара с усами и молодая женщина с широко поставленными глазами и порочной какой-то полуулыбкой, и еще лысоватый мужчина с маленьким размером ноги, очень бросавшимся в глаза, и извинительным выражением лица, и другие. Но прежде чем они обступили его, Рита встретилась с фотографом глазами и после быстро и низко опустила голову, отчего-то смутившись.

У двух лифтов стояла толпа. Рита с Мишей присоединились к ней. Рита заметила фотографа. Он стоял рядом. Он был в белом свитере, лицо казалось чуть подсвеченным снизу. Открылся лифт. Миша зашел с общей толпой в него. Рита осталась, махнула ему, чтобы он

не выходил, он собирался уже выйти, но не успел.

Рита поехала в другом лифте с фотографом. Он стоял рядом с ней и улыбался, словно подбадривая что-то спросить у него. На самом деле он хотел, но не умел знакомиться, не решался, поэтому улыбался. Она спросила его:

— Это правда, внизу ваша выставка?
Все в лифте посмотрели на них.

Миша ждал ее наверху. Она вышла из лифта вместе с незнакомым ему известным фотографом и сказала ему:

— Привет.

Но это было слишком неожиданно холодно для их влюбленных отношений. Он удивленно посмотрел на нее.

— Это мой знакомый. Миша, — представила его Рита.

— Здравствуйте, — почтительно сказал Миша старшему по возрасту мужчине.

Фотограф протянул ему руку.

— Очень приятно, — сказал он, тут же отворачиваясь и теряя к нему интерес. Миша потоптался на месте. Рита с сочувственной улыбкой посмотрела на него. Обращаясь сразу к двоим, она сказала:

— Я натерла ноги. У меня новые туфли. Давайте посидим, пока не началось, — все посмотрели на ее новые туфли.

Они пошли и сели втроем в кресла. Фотограф спросил:

— Что-то выпьете? — Она кивнула. Он встал, отошел купить ей выпить.

— Что? — спросила Рита у Миши.

— Ничего, — ответил он, вглядываясь в ее лицо. Он размышлял, почему она так странно с ним говорит, ведь это он пригласил ее сюда. Он ничего не понимал: — Я бы мог тебе купить.

Между тем вернулся фотограф. Отдал ей стакан. Миша критически посмотрел на нее из своего кресла.

Мимо них побежали люди.

— Фильм начался! Фильм начался! — Прошла мимо служительница с ключами, сжатыми в сцепленных пальцах.

Никто не оглянулся на нее.

— Может, это можно выпить в зале? — спросила Рита, отпивая из своего стакана.

— Да, конечно, можно! — сказал фотограф.

Все трое встали и втроем пошли в зал. Рита спрятала стакан под кофтой. Они вошли в темный зал. Фильм уже начался. Рита чуть оступилась, фотограф первый поддержал ее. Мише вдруг показалось, что они оба объединились против него.

— Ближе надо сесть, — сказала Рита.

— Сбоку лучше, — сказал фотограф, наклоняясь к ее уху. Миша тревожно обернулся на них. Рита на ходу глотнула из своего стакана.

кана. У нее захватило дух. Сели, и правда, сбоку. Фотограф оказался между ними.

На экране шел цветной фильм. Пожилая женщина говорила:

— Я очень влюбилась в одного араба. Он на двадцать лет младше меня, — она обращалась к своей молодой дочери и ее мужу: — Я пришла сказать вам это. — Она встает, уходит. Муж ее дочери говорит:

— Твоя мама, она того, крезанутая.

Потом эта пожилая женщина идет по темной улице, возвращаясь домой. Около подъезда ее ждет араб, тот самый, которого она любит. Он очень молодой. Он очень трепетно смотрит на нее. Она бросается к нему. Они обнимаются. Женщина эта — совсем старушка, полная немного. Они идут к ней домой.

Он моется в ванной. Его показывают целиком голым в отражении запотевающего зеркала.

Фотограф говорит негромко про этого голого араба свое мнение:

— Ничего особенного.

Рита смеется на такое его замечание. Миша опять беспомощно и настороженно оглядывается на них — ему плохо слышно, над чем они смеются.

Араб моется в ванной. Пожилая героиня заглядывает к нему и говорит, засматрившись:

— Какой ты красивый.

Рита допивает свой стакан до конца. Ставит его на темный пол. Встает. Проходит мимо фотографа и Миши, цепляясь за их колени и объясняя:

— Я пойду умоюсь. Совсем опьянела. Сейчас.

Миша протяжно и умоляюще смотрит на нее. Она выходит из зала. Навстречу ей идет служительница. Она говорит ей:

— Где тут можно умыться?

Та показывает ей пальцем.

Рита заметно хромает от своих новых туфель.

Она выходит из туалета. Навстречу ей идет фотограф. Оказывается, он тоже зачем-то ушел из зала.

— Как мне больно идти! — жалуется она, припадая на обе ноги сразу.

— Поехали отсюда! — вдруг предлагает он ей. — Я вас отвезу.

— А что Миша? — спрашивает она, польщенная.

— Он кино смотрит, — говорит убедительно фотограф, только что покинувший зал. — Пошли. Пускай смотрит. Не надо мешать, — просто объясняет он, как о чем-то не особен-

но важном.

— Да, действительно. Пускай. Фильм хороший. Я там оставила стакан на полу.

Миша сидит в зале один рядом с тремя пустующими креслами. Ему не смотрится. Он все время оборачивается, не вернулась ли Рита.

Они стоят у выхода.

— Моя машина там,— говорит фотограф.

— Я не могу, не могу идти,— говорит жалобно Рита.

— Иди босиком что ли,— советует он. Рита снимает туфли.

— Я подгоню машину!

Она стоит босиком у входа. На улице уже совсем стемнело. Зажглись фонари. С ревом машина фотографа разворачивается посередине улицы, подъезжает к Рите. Она садится. В руках у нее — по туфле. Она аккуратно ставит их на пол машины. На большой скорости машина отъезжает.

Тут спускается вниз Миша. Он спрашивает у служительницы:

— Здесь не выходила девушка?

Та делает напряженное лицо, отвечает:

— Не выходила... Она хромая? — вспоминает.

— Нет.

— Не выходила.

Миша возвращается.

Фотограф тормозит на одной из улиц.

— Здесь мой дом. Подожди. Я принесу кое-что сейчас.— Он выходит из машины.

Быстро возвращается. У него в руках — тапочки, правда, большого размера.

— На, надень,— говорит он ей.

— Здесь остановите, пожалуйста,— говорит она ему.

— Завтра? — спрашивает он ее, видно, уже не в первый раз. Она улыбается.

— Да. Спокойной ночи,— выходит из машины. Он слепит ее фарами с головы до ног в тапочках, со всеми подробностями. Она машет рукой. Он дает медленный газ, отъезжает.

На следующий день.

Рита с Мишей стоят у двери его квартиры, в коридоре.

— Ну прости, прости меня! — говорит Рита и быстро-извинительно целует Мишу в руку. Тот отдергивает ее, печально вздыхает.

Дома у Миши — большая черная собака. Она прихрамывая бежит из одного конца коридора в другой, ударяясь боком об стену, отталкиваясь и опять разбегаюсь по коридору.

— Это она от радости,— говорит Миша.

Миша подзывает ее, когда она смотрит в окно: два мальчика стояли под дождем (у одного был зонт) и рассматривали мертвого голубя. Обсуждали его.

— Иди посмотри,— сказал он святым каким-то голосом.

Она подошла к столу. Он отодвинул ящик в столе. В нем лежали три маленькие Ритины фотографии. Он опять задвинул ящик.

Когда Рита была одна в комнате, она подошла и сама хотела посмотреть на фотографии. Она отодвинула ящик, но их не было. Они куда-то исчезли.

Рите захотелось под впечатлением Мишиной преданности и любви самой позвонить фотографу еще до их назначенной встречи. Она знала, что это не гордо и так не полагается делать. Она даже не знала, что ему сказать, но желание было таким сильным, что она не смогла отказать себе набрать номер его телефона. Она сделала это прямо при прохаживающемся мимо нее Мише. Он что-то хотел ей сказать, она махнула ему рукой, чтобы он сохранял тишину. Он примолк, открыв рот на полувздохе. Были гудки. Она не знала, как поступить, если подойдет кто-то к телефону.

Фотограф взял трубку и три раза сказал: «Да! Алле! Не слышно...» — Она, послушав только его голос, испуганно положила трубку, боясь, что он догадается как-нибудь, что это звонила она, и назовет ее имя. Насчет Миши она не беспокоилась совсем. Она улыбнулась, когда положила трубку. Посмотрела в окно.

— Мне хочется вымыться в ванной,— сказала она,— только не заходи ко мне.

— Не закрывайся, я не войду,— сказал он, добрый такой, переминаясь с ноги на ногу.

Она послушалась его, закрыла дверь и долго смотрела на слабый, висевший на одном только гвозде замок, закрыть его или не закрыть. Но она не ослушалась. Она пустила воду в ванну. Она посидела с минуту, когда вода уже добралась до щиколоток. Она сидела на корточках, потом изменила положение и села на колени так, чтобы вода из высокого крана попадала ей на спину. Она опустила голову и закрыла глаза. Тут ей почудилось, что кто-то смотрит на нее. Она оглянулась на мутную занавеску. Правда, в том месте, где стоял туалет, кто-то сидел и, повернув в ее сторону голову — белое смазанное лицо,— смотрел на нее.

Она испуганно отодвинула занавеску, подозревая, что это обманул ее Миша и теперь сидит и пугает ее своим немым подсматриванием. Она приготовила выражение на лице,

чтобы сказать ему, «как он осмелелся?..».

На унитазах сидела пожилая женщина в ночной длинной рубашке. Это была Мишина больная мама. Вид у нее был отрешенный. Она бессмысленно смотрела на Риту. Она была уже очень старая, в маразме, она никого не узнавала и плохо понимала окружающее, хотя сохраняла привычки и потребности, чтобы жить. Рита схватилась в замешательстве за край ванны, она не знала, как поступить и что сказать в такой ситуации. Мать пристально смотрела на нее, было впечатление, что ей интересно смотреть на нее, голую, она даже рассматривает ее. Глаза ее лениво «бродили зрачками» по телу Риты. Она шумно вздохнула, придерживая подрагивающими руками край ночной рубашки. Рита учтиво сказала ей:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте,— ответила старуха, сохраняя достоинство в голосе и отчужденность на лице, будто они встретились на высоком приеме.

Рита опять задвинула занавеску, решив, что, может быть, мать стесняется до конца оправиться, если она смотрит на нее. Она включила воду посылнее, чтобы лишить себя определенности звуков.

Через минуту она отодвинула занавеску, но матери уже не было. Было пусто. Она, видимо, опять отправилась спать.

Миша тем временем сидел на краю кровати своей мамы и, накручивая ей на руку истрепанную веревку: так, чтобы она не отвязалась, скрещивал ее на запястье и между большим и указательным пальцем. Его мама, признавая только Мишу, покорно смотрела на него, утопая головой со спутанными, как у ведьмы, волосами в подушке. Миша, стараясь говорить громко и упрощенно, объяснял ей:

— Ты, мама, не кричи. Ты, если тебе что-то надо будет или боль почувствуешь, дерни за эту веревку. Позови меня. Потому что другой конец я привяжу к своей руке. Поняла? — спросил он, наклоняясь к ее белому несчастному лицу.

— Не уходи,— сказала она, как ребенок иногда упрашивает родителей перед сном.— Мне страшно. Ложись со мной,— предложила она.

Он поморщился.

— Мама,— повторил он.— Ты поняла систему, которую я тебе объяснил?

Она беспомощно посмотрела на него.

— Ну-ка, порепетируй, дерни! — попросил он ее. Она слабо дернула.— Молодец! — сказал он.

Миша с Ритой лежали на достаточно узкой, предназначенной только для одного кровати. Миша лежал с закрытыми глаза-

ми — он дремал, хотя еще был полдень. Миша лежал с краю. Правая рука, перетянутая в запястье веревкой, свисала у него с кровати. Рита не спала. Она нашла на стене воткнутую в обои женскую шпильку. Она стала ковырять ею уже несколько прорванные обои, как ей почудилось легкое шевеление. Она обернулась. Заглянула через Мишу и увидела, как дергается его рука за протянутую из комнаты его матери веревку. Мама из своей комнаты беззвучно звала его, а он не просыпался.

Рита толкнула его. Он очнулся. Она сказала:

— Мне пора. Мне нужно уходить...

Первая встреча.

Рита пришла на одну минуту раньше. Она удивилась, фотографа не было. У него в запасе была еще минута. Она прошла десять шагов вперед-назад. Его не было. Она остановилась, стала напряженно смотреть на дорогу.

Рита села на скамейку. Посмотрела на часы. Он опаздывал на сорок минут. Рита встала и медленно стала уходить от назначенного места свидания. Знаменитый фотограф не пришел.

Рита прошла метров тридцать, потом решила смириться, не гордиться, еще подождать и вернулась на прежнее место.

Это было людное место, где они договорились встретиться. Она много отвлекалась на прохожих, принимая их за фотографа. Подъезжали и уезжали все чужие машины.

Так она пропустила его приезд. Он поигналил. Она повернула к нему голову. Увидела.

Он думал, что же сделать, чтобы она простила его за опоздание?

Он быстро открыл дверь, вышел из машины и встал на колени прямо перед своей машиной, никого не стесняясь, прямо на землю. Мотор работал. Одет он был в белый, казавшийся ему шикарным пиджак.

Рита схватилась руками за щеки, смущаясь. Он все не вставал с колен, улыбаясь ей и прижимая руки к груди. На него уже оглядывались.

Рита подбежала к нему, простодушно улыбаясь и тонким голосом повторяя:

— Что вы! Встаньте, встаньте! Пожалуйста! — Она улыбалась, и ее улыбающиеся руки перемещались то на челку, то на щеки, то касались его белого пиджачного плеча.

Он вел машину очень быстро. Курил. Рита стыдливо покашливала и сжимала руки на сдвинутых коленях. Лирически смотрела в окно, стараясь не показывать беспричинную улыбку на губах. Он, покуривая, рассказы-

вает Рите, чтобы ей было не скучно:

— ...аварий я много видел на дороге. Я всегда замечал, там, где происходит смерть, — там что-то происходит в этом месте! Атмосфера... Какая-то неизвестная мне сила. На всем этом месте лежит «печатать»...

— Не знаю, — сказала Рита. — Когда мне было шесть лет, я видела на пляже, как из кузова грузовика снимают утонувшего. — Она вздохнула. — Он утонул, бедный. Молодой. И он был белый-белый-пребелый, как мраморный. Поразительно красивый был. Нисколько мне не страшно было смотреть на него.

Он пожал плечами и тоже вспомнил:

— Я видел одну велосипедистку, она так сильно разогналась, опустив голову, что врезалась в борт впереди идущей машины. Мне говорят, поезжайте быстро мимо этого места, там авария. Но я поехал медленно, мне хотелось посмотреть. Так вот, эта велосипедистка лежала на обочине, на траве. Ноги согнуты в коленях, а лицо закрыто, как от солнца, газетой. Но были уже сумерки. Только-только что это все случилось! И самое поразительное — у нее был... живой цвет ног!..

Рита сказала:

— Давайте здесь повернем.

Они свернули в деревню, быстро проехали ее. Дорога шла теперь мимо леса.

— Уже закат! — сказала Рита, высунув руку в окно. Они съехали на берег речки. Он остановил машину под деревом.

— Выйдем? — спросил он. Она согласно открыла дверцу. Поставила ноги на землю, оглянулась на него.

Под деревом он поцеловал ее. Она вблизи рассмотрела его лицо, все его морщины. Он удивился, когда она сказала ему: «Вы — красивый...» Он пожал плечами.

— Хорошо бы искупаться, — вдруг сказала она. Спустилась к воде и стала будоражить дно голыми ступнями.

Он усталο прищурился на нее.

— У меня в машине есть чистые простыни. Есть чем вытереться потом. — Он стал возвращаться к машине.

Рита быстро разделась за деревом. Связала в узелок вещи. Неловко спустилась к воде, боясь поскользнуться на глиняном берегу. Не оглядываясь, как взрослая женщина, с «охом» вбежала в воду и тихо поплыла.

Она плавала, плавала, пока не устала. И ни разу не повернула к берегу головы. Она никак не могла придумать, как ей выйти голой из воды при нем. Она стеснялась. Течение сносило ее левее. Вдали, в камышах, стояли два рыбака.

Вечерний свет так ложился на воду, что она

сверкала черным непрозрачным цветом. Торчали только белые худые плечи. Рита подплыла к берегу, но не знала, как выходить. Она встала ногами на дно и посмотрела на фотографа.

Он сидел совсем рядом у воды и прямо смотрел на нее, держа на коленях ее узелок с вещами.

— Очень красиво, — сказал он.

— Мне уже пора домой, — жалобно сказала Рита из воды.

Оба они лежат в кровати. Рита обнимает фотографа за спину. Совершив это, она расстроено плачет, словно униженная навсегда. Она плачет бесшумно, чтобы он не заметил. Если он заметит, как ему объяснить? Она уже считает, что совершила предательство. Фотограф откидывается на подушку. Он совсем не замечает ее слез. (Просто две мокрые полоски на щеках.) Он говорит:

— Схожу за сигаретами, — встает.

Рита остается одна на кровати. Окно открыто. Ночь. Дует из окна. Она лежит, завернутая в чистую, накрахмаленную простыню. Ветер волосы шевелит, край простыни в ногах шевелит. Он приходит, садится на край постели, курит. Она ему говорит из темноты:

— Но все равно, я все думаю, все равно, если вернуть все назад, я бы опять поступила так же.

Он оборачивается. Она говорит:

— Ах будь всё неладно или ладно... Длинный сегодня у меня день.

Она встает, перегибается через подоконник. Он отстраняет ее, закрывает окно, говорит:

— Не надо, можно свалиться.

Заматавшись в простыню, она ходит вокруг него в темноте. — Почему ты вдруг так испугался... открытого окна?

— Их надо бояться. Открытое окно — это опасно, — говорит он.

— Ну скажи, что такое? Я не понимаю.

— Я был лет шестнадцати, когда моя мать разбилась. Меня разбудили утром, когда она уже была мертвая.

— Как разбилась?

— Ее стали искать, нашли на подоконнике ее туфель. Второй туфель был на ней. Она разбилась. Что это было, никто точно не знает.

Рита не стала больше спрашивать. Она помолчала, ожидая, что он сам ей что-то расскажет. Он просто курил, рассматривая ее профиль.

— Ты можешь меня отвезти? Или нет, я сама... Вы лежите... — она то говорила с ним на «вы», то переходила на «ты».

— Ты не останешься?

— Я не умею. Так сразу оставаться.

Критический солнечный день.

Она шла с Мишей по улице. Она спросила его:

— Сколько времени?

— Уже час дня.

— О! — сказала она и быстро пошла к телефонной будке. Он хотел зайти в будку вместе с ней, но она незаметно не пустила в нее, вместо этого отдала ему свою сумку.

— Кому ты звонишь? — заунвно спросил он. Она не ответила, а с беспричинной радостной улыбкой прикрыла дверь. Это ему показалось подозрительным. Ему это не понравилось. Он поставил ее сумку между ног на землю, достал ручку. За ее спиной он шуряя стал рассматривать, какой номер она неконспиративно набирает. Он записал его по цифрам на чуть вспотевшей от волнения руке. Сомнения вызвала только первая цифра — и он поставил над ней вопрос: то ли 3, то ли 2. Записав, он сжал ладонь, чтобы она не заметила. Она как раз повернулась к нему, посмотрела на него. Он не понимал, кому она звонит.

Она звонила фотографу. Она старалась говорить с ним нейтральными словами.

— Да! Да! Приди через час! Да.— Он еще что-то ей говорил, но она, сказав самое важное, не стала рисковать дальше, а положила побыстрее трубку. Она вышла на воздух. Ей немного стыдно было смотреть в глаза Мише. Он нес ее сумку. Спросил:

— Куда ты хочешь пойти?

— Я не могу... — сказала она безропотным голосом. Она не поднимала лица, и опытному проницательному человеку сразу бы стало подозрительно, но Миша не был таким. У Риты нелегко получалось вранье. Она сделала умоляющее лицо: — Но мне очень нужно, и ты увидишь, к вечеру мы обязательно встретимся. Обязательно.

— Я буду ждать, — поверил он ей. — Только не переживай так.

— Ладно. Иди, — сказала она ему, оттолкнув его пальцами. — Я буду ловить такси.

— Я помогу. Куда тебе?

Рита совсем не хотела называть, куда ей было нужно. Она нервничая сказала:

— Ну иди, иди. Не помогай мне.

Он, как обычно, послушался ее и пошел, оглядываясь, зажав в кулак руку с цифрами.

Вечер настал.

Рита лежала с фотографом на постели, завернувшись в полотенце. Он же, докуривая, лежал под одеялом, торчали только его голые плечи. Он говорил:

— Ну давай, иди под одеяло. — Тут позвонил телефон. Рита вздрогнула. Отчего-то она испытывала тревогу, и он уже поднес руку к трубке, она сказала:

— Не бери!.. — Но он уже взял и уверенным тоном сказал: — Да! Да. Да... — Тон с

каждым «да» у него менялся. Очень удивленный, он протянул ей трубку и сказал: — Тебя какой-то Миша. Кто такой Миша?

— Боже мой... — тихо-тихо сказала Рита, зажав руками рот и правую щеку. — Ну зачем ты взял трубку?! — Он держал трубку в руке. Он хотел ее положить, разъединить. Но это было бесчеловечно. Она взяла трубку, и уже наверняка зная, что скрывать нечего, сказала:

— Да... Зачем ты звонишь? Тебе не надо было этого делать. — Она говорила это с большим сочувствием. — Ой нет! Не надо, не надо, — быстро заговорила она. Фотограф тоже заволновался вслед за ней. Смешно было смотреть, как его озабоченное лицо теперь не подходило, не сочеталось с белой постелью рядом с девушкой. — Не приезжай. Не надо. Я прошу тебя, не позорься, пожалуйста, не надо, это я тебе точно говорю... — Тут их разъединило. Она потрясенно сказала: — Он сейчас придет.

Фотограф подумал немного и возмущенно сказал:

— А кто он такой?

— А!.. — неопределенно промямлила она. Голос у нее пропал. Она ничего не могла объяснить. Все силы у нее ушли в стук сердца. Она медленно сползла с кровати, села, нащупала на стуле свою одежду, чтобы одеться и встретить Мишу одетой. Фотограф все еще продолжал лежать голым со своим неподходящим лицом, его охватывало возмущение. Он прокашлялся и сказал:

— Ну, во-первых, я его не приглашал...

Она натягивала, как во сне, коричневое, похожее на школьное платье. (Она его еще носила в школе, оно было очень старое, сшитое по старой моде, сильно обтягивающее, с белым воротником.) Оно совсем не сочеталось в свою очередь теперь и с голым фотографом, и с раскрытой белой-белой постелью.

— Боже, боже мой, боже мой... что мне делать, я ужасная, боже мой, — приговаривала Рита, трясая головой, полосками волос, упавших на щеки. Она даже ни разу не заглянула в лицо фотографу. Она считала себя теперь хуже всех — ей не было оправдания, она испытывала самые глубочайшие угрызения совести, самые сильные, какие она только испытывала в своей жизни до этого момента и после. Лицо у нее сделалось глубоко трагическим и растерянным. Даже изменились черты лица, как перед казнью, — они обострились. Дрожащими руками она застегивала на себе бесконечное число крючков, придуманных старой модой сбоку на платье. Она была близка к обмороку, и даже если бы ей кто-то сейчас что-то говорил, она бы все равно не услышала, потому что в голове у нее шумело, как будто ее несло куда-то по ветру с великой скоростью, в полном мраке.

— Что-что-чтошто? — обернулась она к

нему через плечо, посмотрела на него изменившимся безумным немного взглядом. Он все еще вальяжно продолжал лежать, хотя сигарета его потухла рядом с его растревоженным озабоченным лицом. В свою очередь, он очень дивился перемене, произошедшей в Рите. Она щелкнула последним крючком и побежала в темный коридор и остановилась у дверей, словно она ожидала ареста, никак не меньше. Она стояла в темном пыльном коридоре и слушала беззвучные звуки, и это была очень странная картина, очень странная. Сразу позвонили в дверь, не успели они даже объясниться. Звонок был длинный и трагически-решительный. Рита вздрогнула и бросилась открывать двери, но у нее даже на удивление не хватило сил повернуть тонкий засов на двери, так она потеряла много сил на первых переживаниях... Она беспомощно оглянулась на вышедшего к ней в халате фотографа. Вид у него был в этом халате очень красноречивый по сравнению с Ритой. Сейчас, в данную секунду он не испытывал таких больших глобальных чувств по сравнению с Ритой, у которой это было первое предательство в жизни — так она для себя это определила. И сейчас он был примитивен в сравнении с ней со своим затронутым за живое самолюбием и возмущением, со своим видом в «петушином» халате с голыми, видневшимися из-под него ногами. Он грозно прокашлялся и открыл дверь. Они оба, опережая друг друга, одолели общий коридор и оба разом остановились у прозрачной двери, за которой стоял Миша. Рита, прикусив кулак, зачарованно смотрела на Мишу и немного безумно улыбалась страшной и жалкой одновременно улыбкой. Ее немного шатало.

— Вы кто такой? — громко спросил между тем фотограф, продолжая играть свою непонятную роль. Голос у него был недовольный и резкий.

— Я? — серьезно отозвался из-за двери Миша, переминаясь с ноги на ногу и заглядывая на Риту. — А вы кто такой?

Фотограф вздрогнул. Двери он не открывал и, гордо выпрямившись, стоял приблизившись к стеклу, стараясь рассмотреть стоящего против света мальчика-юношу. Свет бил прямо в лицо смотревшим, как наиболее провинившимся, и стояла просто черная высокая фигура, и совсем не по-хулигански переминалась с ноги на ногу...

— Ты его знаешь? — спросил фотограф, обращаясь к Рите уже другим голосом.

— Знаю, — сказала она, — это Миша.

Тогда он проявил мужество — иначе бы это было совсем не по-мужски: струсить вроде и не открыть двери — он открыл дверь. Миша двинулся вперед, но фотограф не уступил ему дороги, а опять повторил:

— Кто вы такой?

— А вы кто такой? — спросил тот дрожа-

щим от волнения голосом. Он был поразительно бледным, когда он приблизился, стало различимо его лицо во всех подробностях. Губы у него были тоже белыми, как будто у него вырвали сердце или вылили всю кровь. — Кто вы такой? — сказал он ужасным голосом. — Как вы можете?... — заговорил он, не умея подобрать слова. Он оглянулся на Риту. Она сказала, продвигаясь, чтобы встать между ними:

— М-ммммми... — она встала между ними, переводя взгляд с одного на другого. Она опять стала улыбаться, как дурочка, в такой момент, рукой она стала ловить свою улыбку на лице, но никак не могла правильно попасть, чтобы зажать себе рот, а попадала то в щеку, то в лоб худой холодной рукой.

— Ты, — сказал Миша наконец, кое-как подобрав выражения, — в школьном платье и он — старый!.. — Все, он больше ничего не мог произнести.

— Ну что? — спросил деловито холодно-оскорбленный фотограф. — Выгнать его что ли?

— Нет... — сказала Рита, а почему она не сказала «да»? Она и сама не смогла бы объяснить. Она просто что-то произносила.

— Ну так ты что, будешь с ним разговаривать? — спросил он у нее язвительно, продолжая оставаться обиженным.

— Да. Я поговорю с ним, — отозвалась она. Он удивленно посмотрел на нее и гордо отошел в сторону, потом быстро пошел к себе в квартиру и стал поспешно одеваться, чтобы не быть больше в этом смешном халате и с голыми ногами — это-то он понял.

Миша смотрел все время в глаза, взгляд у него сделался умоляющим, он смотрел на Ритино безжизненное, «раздавленное» лицо. Он жалел его, и ненависть его куда-то ушла. Он сказал:

— Поехали отсюда. Что тебе здесь делать?

— Да, действительно... — машинально сказала она, ей было смертельно стыдно. Ее уже не существовало — ее слово убили, уличили, и у нее уже не могло вообще быть чести и гордости — так она ощущала себя в эту минуту. Она опять улыбнулась. Он поразился этой ее дикой жалкой улыбке.

— Поехали, — сказал он, и она вдруг ответила:

— Нет.

— Как нет?..

— Нет, — сказала она. На самом деле ей казалось, что теперь, с этой минуты она не может делать еще кого-то несчастным, что уходить не надо, что уходить теперь бессмысленно. Она предала. Зачем нужны продолжения? Ей было очень больно внутри души, но из-за такого решения ей делалось совсем безнадежно плохо. Она не поднимала лица своего.

— Ну хочешь, я встану на колени, — спросил он, отчаявшись. Он встал на колени. Стоя на коленях в полуметре от нее, он не приближался к ней, и ей показалось, будто он теперь вообще брезгует прикасаться и трогать ее. Она зажала одной рукой глаза и сказала:

— Нет. Нет. Нет. Нет. — Уже более холодным голосом.

Это был совсем безнадежный отказ. Он понимал это по голосу, но он отказывался учитывать это свое понимание «от ума». Он тогда схватил ее за локоть и потащил куда-то вбок, на себя — на самом деле он хотел вывести ее на улицу. Она не вырывалась, она была как ватная, слабая, как истощенная. Она только скрывала свое притворное и трагическое лицо предательницы с белыми губами. Один белый воротничок на платье у нее из-за поспешности был завернут внутрь. Миша отвернулся от такой детали. Он потащил ее вниз, по ступенькам, оставив открытой дверь в квартиру фотографа. Он вывел ее на улицу, посадил на скамейку, поцеловал и сказал «сейчас найду такси». Она отчужденно сидела, как будто это не она была провинившаяся, а кто-то другой ее сильно оскорбил, почти убил. Она тупо смотрела, как он стоит, ежесекундно оглядываясь на нее, и ловит машину. Наконец поймал одну. Он распахнул в ней дверцу на заднее сиденье, опять подошел, взял ее, как бессильную старушку, за локоть, повел, стал помогать зайти в машину, но Рите все никак почему-то не заходило. То нога не поднималась, то спина все никак не гибалась, она обернулась и сказала ему:

— Нет, нет, я уже не поеду... — Она вдруг сделалась сильной, и насмешка у нее стала осмысленно уничтожающей и жестокой. На самом деле она относилась не к нему, а к ней — она, получалось, так судила только единственно себя, но не его.

— Пойду, уже много времени мы здесь... — сказала она.

Машина чуть тронулась и проехала сантиметров на двадцать вперед с открытой дверцей. И шофер стал кричать что-то...

Из ирреальности, которую Рита ощущала с того самого звонка, и еще когда она стояла в темном коридоре, ожидая его прихода, и еще когда она безумно улыбалась, рассматривая лица соперников, — вот из этой ирреальности жизнь возвращалась к ней своей реальностью. Но эта реальность была серого цвета, с запахом улицы и бензина и беспокойства, с умоляющими взглядами, с криками полоумного шофера, а главное — с чем-то таким ужасным, необъяснимым, что случилось с ней в жизни. И если бы ей сказали сейчас, что за это ей полагается смерть, она бы не удивилась, а приняла этот приказ как должное и даже с некоторым облегчением. Как будто у

нее оторвали что-то внутри, но она была сама в этом виновата. Она сделала это своими руками. Ей казалось, что с этого момента началась правда в ее жизни. И нечестно теперь опять уезжать с ним, покидая другого. Предательство уже было совершено. Дальнейшее было нечестью еще большей. Вот так думалось ей. Она отвернулась от него. Пошла обратно обратной дорогой.

Миша пошел за ней. Она обернулась и уже автоматическим, по старой какой-то врожденной привычке вдруг сказала:

— Может, я приеду вечером...

Она поднялась вверх. Вошла в по-прежнему распахнутые двери, хотя прошло немало времени и фотограф мог бы их уже закрыть, но он не сделал этого. Она заглянула в комнату, где стояла кровать. Его там не было. Она зашла на кухню. Он сидел торжественный и тщательно одетый за столом, положив большие руки на крышку.

— Ну что? — спросил он понимающе отчего-то... — Поговорила?

— Да, — сказала она, садясь на стул напротив него.

Тогда фотограф встал, закивал — он чувствовал себя хорошо, потому что получалось, что он победил. Он стал улыбаться, и Рита улыбнулась вслед за ним. (Что это было?)

Понедельник (первая половина дня).

— Нет, ну вот только приходите через неделю, освободится это не самое ответственное место, потому что эта женщина уйдет в большой отпуск, — говорила Рите женщина главврач госпиталя-приюта. Она остановилась возле дверей приемного отделения. — Вот это здесь. Здесь бывает не больше пятнадцати человек. — Они не открыли еще дверь, как главврач поглядела почему-то на ее волосы и сказала: — Ходите здесь только в шапочке, очень пропитываются волосы... знаете ли, запахом! — Она кашлянула. Потом вдруг предложила: — Мне вообще-то надо сейчас в столовую. Хотите посмотреть вместе со мной?

Рита сказала:

— Конечно.

В кухне при столовой никогда не был включен свет. Все серое, бесцветное. Каша, пюре, подрагивающий суп в огромных кастрюлях казались остывшими, такими же холодными, как мозаичный кафельный пол.

Здесь уже толкались санитарки с верхних этажей, гремя каталками, на которых они увозили выданный на все отделение обед, прибывали все новые. Все они возбужденно перекликались между собой и зорко-подобострастно наблюдали за главной поварихой.

Та ходила с голыми ногами в замасленных войлочных шлепанцах и до крайности коротком халате. На широкой спине он настолько натягивался, что был весь в продольных морщинах. Это она распорядилась, кому какой кусок мяса бросить, сколько отсчитать желтых проваренных кур и на какие порции их разрубить. Все было в ее власти. И санитарки ревниво за этим наблюдали, а потом получали каждая свою порцию, и некоторые иногда обижались — это делалось видно и по их лицам — это означало, что им выдали без излишков, точь-в-точь — значит, из-за чего-то они попали в немилость поварихи.

Повариха все делала немисливо скоро. Санитарки быстро рассасывались, с лязгом увозя с собой тележки с наполненными кастрюлями.

Рита с главврачом прошли между расступающихся девушек. Рита чуть поскользнулась на липком полу. Они прошли под ласковым и кивающим взглядом поварихи за ширму, где стоял «дегустационный» стол.

А как заражала эта атмосфера взаимной слежки и предвкушения обеда! На ходу санитарки жадно отщипывали от куриц кусочки мяса и проглатывали их на ходу, словно не в силах сдержаться от голода. «Какие мы голодные, — как бы говорили их возбужденные блестящие взгляды, — но ничего. Сейчас мы наедемся. Что там у нас?» И они двумя пальцами поднимали крышки с кастрюль, нюхали желтый казенный пар из супов, и лица их веселели.

— Отобедаете с нами? — спросил какой-то парень в грязном халате на голое тело, наклоняясь к главврачу и Рите с улыбкой.

Рита встала и сказала:

— Я появлюсь через неделю.

— Ага, — сказала ей врачиха с сияющим «продажным» выражением на лице.

Рита, уже ступая осторожно и опасаясь поскользнуться, вышла из кухни. Прошла мимо столовой, огромной, откуда доносился стук железных ложек о дно тарелок, словно это была не больница, а тюрьма.

На улице Рита остановилась и понюхала прядь своих волос — она действительно пропиталась каким-то особенным тошнотворным запахом.

Понедельник (вторая половина дня).

К вечеру, когда на улицах поднялся ветер, вышли гулять парами и четверками приезжие мужчины, настало время, когда вот-вот включат фонари. Рита пришла к фотографу на свидание к нему в дом. Она с удовольствием сначала рассмотрела его большую дубовую старую дверь, прежде чем позвонить. Она хотела позвонить торжественно и значимо

дважды, но волею судьбы получилось единожды и очень кратко (это было похоже на то, что происходило у нее в душе). Она послушала, нет ли приближения шагов, как это всегда слышится за всеми дверьми, но дверь открылась для нее неожиданно бесшумно, причем незнакомым молодым человеком с голыми ногами, в халате, под которым ничего не было. Молодой «доктор» завертелся на месте вокруг себя, приговаривая: «Вы уж простите, сейчас я свет найду, где же здесь свет найти?..» На лице у него была мексиканская острая негустая бородка. Волосы были черные, кольцами, особенно на висках. Рита услышала голос фотографа, немного изменившийся, чуть полуприглушенный: «У вешалки, у вешалки кнопка!..» — и легкое поскрипывание и удары во что-то деревянное. Рита с улыбкой обошла бедного белого молодого человека с обнаженными ногами и розовыми ладонями, хотя тот уже нащупал кнопку под вешалкой и включил свет в коридоре и уже сделал встречающее лицо и уже сложил губы, чтобы что-то произнести. Но Рита с извинением на лице обогнула его и заглянула в большую светлую комнату, откуда только что говорил фотограф.

Фотограф лежал на длинном высоком столе посередине просторной комнаты под самой лампой на белой простыне, чем очень сразу напугал Риту. Фотограф скосил глаза и в одну минуту прикрыл свое тело, так что Рита не успела даже поглядеть на него, желтым клетчатый пледом и сказал:

— Ну что? Раздевайся...

Рита опустила глаза, опомнившись, чтобы фотограф не стеснялся ее, и, повернувшись к молодому человеку с благоговейным лицом, спросила громко:

— А вы тут что делаете?

Тот стыдливо и еще более благоговейно потер руки и тихо пояснил:

— Я массирую...

Рита расстегнула плащ. Массажист сказал:

— Я, простите, не встречаю, не ухаживаю... — Он взял у нее из рук плащ, повесил его на крючок. Она прошла первой в комнату и быстро заговорила-заговорила, обходя стол с лежащим на нем фотографом вокруг и не отрывая взгляда от его лица с набухшими морщинами под резким близким светом люстры:

— Давно ли вы? Я же помешаю вам. Я могу выйти в другую комнату, мне так и следует сделать, я уйду, уйду, и тебе не придется прикрываться, вы массируете все тело? или что? Только, может быть, спину?.. — спрашивала она, не интересуясь ответами. И про спину она спросила зря, потому что он лежал именно на спине... Рита заговорила, все более отчего-то волнуясь и заражаясь этим волнением. — Но почему ты лежишь на столе, почему? У тебя такое лицо, что плохая

примета — лежать на столе, — с ходу придумывала она «приметы». Массажист по-рабочему, как-то по-простому улыбался, не вникая в смысл ее слов, а только благодушно и благодарно всматриваясь ей в лицо. Они обменялись понимающими взглядами: голова фотографа со стола и нависшая над ним голова массажиста.

— Так нет, отчего же ты должна уходить, напротив, не уходи, я не стесняюсь, — опять сдавленным «лежащим» голосом проговорил фотограф.

— А мы, собственно, все... — вставил приветливый массажист, но Рита прервала его скромный голос и спрашивала опять:

— Но отчего ты накрыт одеялом, сними одеяло, массируйся: ничего стыдного в этом нет... — как бы уговаривала она его.

— Когда тело отмассировано, — опять вмешался массажист, — на нем нужно сохранять тепло. Поэтому-то и одеялом, одеялом... его, — вывернулся он из своей «народной» фразы. Он улыбнулся. Взял непокрытую руку фотографа, стал потряхивать ее, потом схватился своей розовой рукой за его пальцы и стал каждый по отдельности палец потирать с особенным, как Рите показалось, старанием и усердием, как будто он сдавал экзамен. Фотограф с беззащитным лицом лежал на белой простыне: то он с какой-то высшей «покойницей» покорностью глядел в потолок, то обращившись на Риту, хотя это было неудобно для его шеи, и улыбался ей многозначительно. Потом он даже высунул язык — но это у него не получилось, потому что он не умел делать этого, это ему было не свойственно, и делал он это первый раз в жизни. Но он подумал, как-то так, наверно, нужно делать для нее, молодой, — она должна оценить это. Он улыбнулся. Она поправила на нем одеяло, и чтобы больше не смотреть на это зрелище, отошла к окну.

После массажа фотограф прыгнул на деревянный пол голыми ногами со стола — Рита спиной услышала этот звук и специально не повернулась, чтобы не застать опять какое-то неловкое его положение. Она не хотела «ронять» его в своих глазах и в его глазах. Она переждала немного и повернулась, когда он уже натягивал через голову свитер, а его массажист, как подручная женщина на стройке, бегал с узелком своих вещей и по-церковному приговаривал: «Куда же мне, придется бы...»

Они совместно отвернули простыню со стола, и под ней показалась белая крахмальная скатерть. Массажист с радостным уважительным выражением на лице присел на самый краешек стула, сложил свои наработавшиеся мягкие руки на коленях и, склонив затылок, ждал, когда фотограф наполнит каждому по

бокалу вина. По звуку из бутылки он каждый раз правильно догадывался и поднимал голову как раз в тот момент, когда чей-то бокал был наполнен, убедившись, что он наполнен, массажист опять скромно опускал глаза. Он подждал, когда его позовут, специально пригласят, он боялся навязываться и вел себя предельно скованно и тихо. Фотограф поднял свой бокал. Остальные взялись за свои тоже, сжав стеклянные ножки у самого основания.

— Если именно у самых ножек держать рюмки, получается красивый звон! — не выдержала и поучила всех Рита.

Массажист покашлял, выпрямился, тряхнул своей курчавой головой, невольно обращая на себя особое внимание, и сказал:

— Выпьемте за мое вхождение в эту семью!

Фотограф растроганно усмехнулся. Рита обернулась, посмотрела соответственно произнесенным словам кругом, словно бы осматривая «семью», в которую «вошел» массажист. Они переглянулись между собой, не чокаясь, и выпили каждый до дна.

Фотограф надел очки для близкого расстояния, пододвинул к себе какую-то бумажку, чиркнул в ней что-то и спросил уже более житейским тоном:

— Ты у меня какой сеанс? Восьмой?

— Седьмой, — честно, с предельно честным лицом выпрямился массажист, ставя перед собой аккуратным жестом бокал. Скатерть была мягкая, в складках.

— Седьмой?... — фотограф снял очки. Посмотрел на Риту и спросил у нее врасплох: — У тебя есть деньги? — она покраснела, оглядываясь на постороннего массажиста, и кхекнула. — Ты говори, — серьезно повторил он ей, — у меня есть...

— Нет, — сказала Рита, стараясь говорить ровно и безразлично, но получалось с жалкими ненатуральными интонациями.

Фотограф вместе с массажистом с психологическим сомнением посмотрели на нее. Тогда она три раза повторила на разные лады, как в песне:

— Не надо мне!.. Не надо... мне не надо, нет...

Этим она как-то убедила их, они оба отвели от нее взгляды и уже переглянулись между собой.

Еще один день вместе.

Фотограф уже был достаточно пьяным, его шатало из стороны в сторону. Он поставил бутылку на землю рядом со своей машиной и сказал Рите: «Ты же меня не любишь...» Он вздохнул. Рита покачала головой. Он открыл машину, сел в нее.

— Куда ты? — сказала она ему, наклоняясь. — Ты же пьяный. Я тоже тогда с тобой.

Они оба уселись в машину. Оба они были

достаточно пьяными. Рита смотрела сквозь стекло, и ей все время казалось, что стекло грязное, она несколько раз протирала его рукой. Фотограф завел мотор. Поехали. Улочка была узкая, пустынная. Он развил скорость предельную и стал гонять из одного конца улочки в другой. Скорость была просто бешеная. Рита, побелевшая, героически молчала. Чудом им никто не попадался на пути. Так они проездили по этой улочке раз пять туда-обратно, удовлетворяя пьяное лихачество. Было весело и без всякой музыки, просто под шум мотора и шин и тормозов каждый раз при развороте. Но на шестой раз в конце улочки, там, где она переходила через две колонны в другую улицу, им попались две нарядные женщины, взявшиеся под ручки. Фотограф несся прямо на них. И затормозил сантиметрах в десяти от их спин. Причем они еще, увидя, что на них несется автомобиль, завизжали и еще своим ходом бежали, как могли быстро, метров десять. Фотограф затормозил. Женщины были лет сорока, в блестящих сверкающих платьях, на каблуках, довольно полные, напудренные, завитые — им никак не шел их взволнованный перепуганный вид. Они стали заглядывать, наклоняясь, в ветровое стекло машины и что-то тонко кричать.

Фотограф сдал назад и, отъехав метров на тридцать, опять разогнался и опять стал с бешеной скоростью наезжать на этих двух. Они тут же перестали ругаться, опять закричали и побежали на каблуках в сторону колонн, чтобы спрятаться за ними. Он опять затормозил довольно точно сантиметрах в пятидесяти от их убегающих юбок.

— Что ты делаешь? — проговорила Рита. Она немного отрезвела. Женщины не стали больше кричать, а сначала добежали до спасительных колонн, скрылись между ними и опять что-то закричали.

Фотограф опять сдал назад. Разогнался...

Тут появился постовой в форме.

Фотограф сдал еще назад. Они уехали в другой конец улочки. Бросили машину и побежали дворами: впереди фотографа, за ним — Рита. Оба немного отрезвели.

Рита спросила на ходу:

— Куда нам теперь?

Он забежал в подъезд. Они поднялись на второй этаж. Он позвонил в дверь. Ему открыл какой-то низенький мужчина, предварительно спросив: «Кто там?» «Это я!» — ответил фотограф, и тогда дверь открылась, видно, его уже знали по голосу.

— Быстро, быстро! — сказал фотограф, забежал в квартиру, захлопнул дверь. — Мы машину бросили, — сказал он.

— Давай, давай, — снисходительно сказал низенький мужчина и ушел в комнаты.

— Это кто? — спросила Рита.

В коридор к ним вышла девочка лет пят-

надцати-шестнадцати с раскосыми глазами, с белым лицом.

— Это моя дочь! — сказал фотограф. Дочь улыбнулась ему и улыбнулась Рите.

Все пошли на кухню. Дочь села в угол и неожиданно и удивительно для Риты закурила, и все молчали и ничего не говорили ей.

Опять стали выпивать, только уже вместе с низеньким мужчиной. Тот, осушая рюмку, говорил фотографу, глядя на Риту:

— Ты совсем с ума сошел, это уже старческий маразм, это ненормально! Это у вас какая разница? Тебе же шестьдесят почти... скоро...

Фотограф пьяно улыбался, не обижаясь и вообще простительно и по-доброму реагируя на каждое слово. Он стоял почему-то, ему хотелось быть выше всех сидящих, чтобы все смотрели на него и чтобы Рита тоже смотрела на него.

Рита встала, вышла в коридор. Но куда ей уходить? Она тогда не стала возвращаться в кухню, а вошла в комнату, маленькую, где стояло пианино. Она открыла его. Нажала на несколько клавиш. Вошел низенький непонятный ей хозяин и сказал:

— Если вы сыграете мне вот по нотам, то я буду восхищен! Я быстро пьянею, извините, — добавил он, прикрываясь ладошкой, чтобы избавиться ее от запаха.

Он взял первые попавшиеся ноты с пианино, раскрыл их, поставил перед Ритой. Она с трудом стала разбирать мелодию сразу двумя руками. Получалось у нее очень медленно. Хозяину стало скучно стоять рядом с ней и дожидаться, когда она разберется. Он ушел. Рита захлопнула крышку и вернулась в кухню.

Когда они уходили, Рита сняла с себя бусы, стала протягивать их красивой дочке и повторять:

— Это вам. На память, вам пойдет. Мне больше нечего сейчас подарить. Только это. — Но та не спешила брать.

— Бери, бери, — разрешил ей фотограф, — это от сердца, от самой души.

Тогда та взяла мягкими пальцами. Бусы блеснули у нее в руках под ее взглядом.

Они вернулись домой к фотографу. Вымытый, протрезвевший, он лежал на широкой кровати и ждал Ритино появления. Закурил, не отрывая глаз от двери.

Рита сидела на краю ванны. Была включена вода, но Рита не раздевалась. Медленно запотевало большое зеркало. Рита пальцем вытерла от пара то место, где было ее лицо на зеркале.

Вышла из ванной одетая, удивляя фотографа.

— Ты что? — спросил он.

— Ничего,— она опять присела на спинку кровати, таким же манером, как только что сидела в задумчивости на краю ванны. Стала болтать ногой. Она не смотрела ему в лицо, не смотрела на него всего, раздетого и готового ко сну. Он лежал, как ребенок, с выложенными поверх одеяла руками, часто моргал. Она смотрела в сторону окна — хотя окно было занавешено, как будто она видела сквозь него.

— Я не хочу...— сказала она.

— Что ты не хочешь? — повторил он. Она молчала. Повернула к нему голову, посмотрела красноречиво. Тогда он сказал: — Ложись просто поспи, никто тебя не заставляет... Она жалостливо посмотрела ему куда-то в брови, сказала таким честным и жестоким голосом:

— Но я ничего не хочу. Ничего, понимаешь ли?..

— Иди тогда выпей чаю,— нашел он выход.— Я посплю, мне плохо что-то.

— Нет. Я ухожу,— договорила она.

Встала. Посмотрела на него сверху вниз, на его вымытое страдальческое лицо, лежащее посередине большой накрахмаленной подушки. Посмотрела на вторую приготовленную для нее пустую подушку. Лицо ее брезгливо покривилось — она была до конца жестока.

— По-ка,— сказала она, дошла до двери. Там, открывая замок, опустив голову, еще размышляла, оглянуться или не оглянуться. А когда замок поддался, она просто вышла. Захлопнула за собой дверь. В голове сделалось пусто. Она быстро стала спускаться по лестнице навстречу новому стремлению.

Миша гулял с собакой. Собака у него хромала. На ноге у нее была повязка, поэтому он далеко с ней уйти не мог, ходил между скамеек возле дома. Он стоял спиной к подъезду. Он заметил, что собака его подняла голову и смотрит в сторону дома. Он оглянулся, увидел Риту. Она заходила в подъезд. Он еще мог успеть позвать ее, но он смолчал. Она зашла в подъезд.

Миша сел на скамейку, чтобы быть менее заметным. Он знал, что она сейчас спустится вниз. Собака поджала ногу, боясь боли, чтобы опереться на нее.

Вот Рита опять появилась. Выражение всей ее фигуры было пронзительно грустным. Она смотрела куда-то в сторону.

Миша решил мужаться, чтобы не позвать ее, он отвернулся и стал считать:

— Раз, два, десять, сорок, — у него не получалось подряд, даже цифры скакали вне последовательности, — четырнадцать, пятнадцать, семнадцать, сорок шесть, четвереста... — На слове «четыреста» он не выдер-

жал и, повернув голову, закричал, вставая: — Рита!

Она оглянулась — сначала не в его сторону, близоруко шурясь, потом в его — и на лице ее уже была приготовлена замечательная улыбка.

Миша позвал ее в комнату из кухни, когда она смотрела телевизор и протирала лицо кусочками льда, который лежал у нее в высокой прозрачной вазе.

— Иди! — позвал ее Миша. Она встала, пошла за ним. Она шла за его спиной, шерстяной и немного сутулой, хлопнула его мокрой ладонью «не сутулся!». Он повернул к ней свое взволнованное и радостное лицо и сообщил:

— В знак...— он смутился, не договорил.— Я просто тебе дарю ящерицу! — сказал он и показал спрятанную стеклянную банку с зеленой, как игрушечной и драгоценной, ящерицей.— Мне рассказали, что она может есть только мух и насекомых. Их можно ловить у нас в духовке или под шкафом! — весело посоветовал он ей.

Его позвала мама. Он ушел.

Рита некоторое время рассматривала у окна «подарок».

Зашла в комнату Мишиной мамы. Он сидел, сутулясь, на ее кровати и стриг ей ногти на левой руке.

Фотограф был один дома. Он поставил перед собой зеркало, небольшое, на ножке. Стал сам стричь себе челку. Несколько раз укололся ножницами, когда состригал себе немного сзади,— ведь он стриг на ощупь.

Это было мучительным занятием, но фотограф никогда не ходил и не доверялся парикмахерским. И сейчас в одиночестве он стриг себя по своему вкусу.

Миша сидел рядом с Ритой за столом. Рита выдавила на стол из тюбика детский крем. Сказала:

— Знаешь, как приятно?

— Как?

Она стала пальцем водить по выдавленному крему, делая круги.

— И так все быстрее и быстрее,— сказала она, сочиняя ощущения прямо на ходу,— неизъяснимо, почему так приятно. Попробуй! — он послушался, стал так же водить толстым своим пальцем. Рита вздохнула.

Встала. Села за телефон. Стала делать звонки по вдохновению.

— Мама! — звала она, говорила: — Он такой милый, только нос толстый, но на носу можно сделать операцию, но любит ли он меня? — Пауза.— Ну а что у тебя вкусного? Ах

как мне хочется, как хочется приехать... но я не приеду...— говорила она.

Еще она позвонила. В трубке был женский голос. Верно, это был не тот голос, который она ожидала услышать. Она бросила трубку. И некоторое время держала палец во рту.

С ней была тоска. Она протяжно вздохнула. Наизусть стала набирать номер. Два раза срывался диск.

Фотограф нашел в журнале статью о Мэрилин Монро. Здесь было ее фото, разрезанное наискось. Одна половина с глазами была наверху, другая внизу статьи. Это возмутило фотографа и вызвало в нем любопытство — он захотел соединить фото. Поэтому сейчас он разрезал статью. Он сопоставил две части фотографии Мэрилин Монро, и зазвонил телефон. (Это звонила Рита. Он давно изучил эту ее манеру звонить по наитию.) Он взял трубку. Там молчали. Тогда он сказал: «Рита...» Трубку положили.

Он поглядел на М. М. Соединенная, она оказалась не очень. Он разъединил половинки.

Рита стояла в коридоре. Миша, округляя глаза, спрашивал бессмысленным голосом: — Ты куда? Ты куда?

Он посмотрел на часы. Было два часа ночи. Рита сказала очень убедительным голосом: — Ну-у, мне очень надо! По делу! — она прижала обе руки к груди, чуть наклонившись, — так стоят умоляющие о чем-то люди, — очень важно...— добавила она, одной рукой открыла замок, быстро вышла. — Я позвоню!.. — сказала она.

Была ночь. Горела луна. Она вышла на площадь. Вдоль стены дома пробежал трус-прохожий. Рите сделалось весело. Сию секунду на площади было пустынно. Машины ехали по площади, как им нравится: наискось, дугой, овалом и т. д. Рита подняла руку. Она видела, как две машины стали соревноваться, обгоняя друг друга, чтобы первой остановиться возле нее. Она села в машину «победителя». Тот даже ничего не спросил. Он улыбался ей из полутьмы машины. Быстро поехали. Она сказала:

— К вокзалу. Знаете улицы у вокзала? — У нее был очень веселый голос. Пожалуй, это было ее ошибкой.

Водитель кивнул, свернул в такт кивку.

— Быстрее, быстрее, — попросила она его, — я очень тороплюсь.

Он опять посмотрел на нее. Она была одета в белое-белое. Он сказал:

— Ох!..

— Что?

Он объяснил:

— Я сразу вас заметил. Вы как специально шли в белом. Эта сволочь хотел меня опередить, но я срезал его!

Через несколько секунд она сказала ему, глядя в окно:

— Но смотрите, вы едете, делая большой крюк. Можно было не так ехать. Вы что, не знаете дороги?..

— Нет, — ответил он уверенным тоном, — я-то знаю дороги. Хочу вас повозить побольше.

— А зачем? Зачем вам это?

— А не зря вы все-таки попали в мою машину? А не к нему?.. — сказал он.

Она задумалась.

— Остановите машину, — кротко сказала она, уже испугавшись и оглядываясь на пустынные улицы, по которым ехала машина. — Пожалуйста, остановите машину!

Он молчал. Скорость была порядочная. Правда, он с досадой цыкнул. Уже больше не поворачивал своего лица, как будто он на что-то решился.

Тогда Рита открыла дверцу. Посмотрела на «быстрый асфальт».

Он протянул через нее свою руку, захлопнул дверцу и нажал кнопку.

— Остановите! — сказала Рита.

— Да нет же! — забубнил он тупо. — Не зря же ты попала ко мне в машину!..

— Ага!.. — как будто догадалась Рита. — Что же такое это будет? — спросила она его. Тот вздохнул. — Что это за улица?

— Не самая далекая улица... — отозвался он. Рита посмотрела на него. Лоб у него стал блестящим, как будто его смазали маслом.

Рита решила опять открыть дверцу, но он не дал.

— Ну! — сказал он. — Хватит! Не зря же ты мне попалась в машину! — опять повторил он скорее для собственного убеждения свой главный аргумент.

— Не будь дерьмом, — сказала она ему проникновенно, осознав всю сложность положения, — будьте человеком, у вас же есть мама? Есть мама? Вы ее любите? Остановите, я выйду, — он не отвечал, хотя она ему «оставляла» паузы для ответов. Она продолжала: — А не то будет плохо, я обещаю!.. — она сокрушенно вздыхала, пытаясь одновременно и что-то придумать и понять, что за улицы они проезжают. Мимо них на скорости проезжали какие-то машины, но никто не оглядывался на них. Все было обыденно.

Когда уже было «можно», она открыла дверцу и выставила на землю ноги. Он возился за спиной. Он подобострастно сказал:

— Не выходи! Я сейчас отвезу тебя, куда ты хочешь!..

Ее белая кофта была чуть порвана. Она

вышла из машины и надела колготки, подбравшие с пола. Она молчала, лицо у нее было красное от слез. Тогда он вышел за ней, заглядывая ей в глаза и одновременно поправляя брюки.

— Ну ты что? — подобранным голосом сказал он. Когда он вышел из машины, обнаружился его рост — он был на голову ниже Риты. Она сказала:

— Сволочь ты, ты знаешь, что ты сволочь? Он пожал извинительно плечами.

Она пошла от машины. Он сказал:

— Давай, я тебя отвезу, а то опять что-то случится.

Она подумала, вернулась.

Он завел мотор.

— К вокзалу, ты говорила?

— Назад меня вези.

Он погнался за машиной.

Все обдумав, он сказал:

— Ты мне должна дать свой телефон. Я привезу тебе сто роз! Ты ведь не куришь? И правильно, я всегда презирал этих, кто курит, а ты — просто балерина, наверно!.. Да? Я тебе привезу роз, чтоб ты меня извинила, но по-другому нельзя-я было!.. — Он засмеялся. Рита не смотрела на него. Он остановился на площади.

— Напиши телефон, — он опять не давал выйти.

— У меня нет.

Она сочинила ему на бумажке телефон. Вышла.

У подъезда ее ждал Миша. Она как его увидела, закрыла лицо руками.

Она лежала в постели. Он налил ей еще в рюмку.

— Выпей ты тоже, — сказала она ему.

— Ну хорошо, — сказал он ей. Они оба выпили, он взглядывался пронзительно в ее лицо.

— Не смотри так, — сказала она. Подняла одеяло, посмотрела себе на живот и показала на царапины, — вот здесь еще и здесь, — показала на правый бок. Он поцеловал ее.

— Спи, — сказал он.

— Иди ко мне, — сказала она, — если тебе теперь не противно...

— Что ты говоришь такое?.. — он лег рядом с ней, хотя был одет, обнял ее, завернутую в одеяло. Она глубоко-глубоко вздохнула, закрыла глаза.

Он полежал так вместе с ней. Посмотрел ей в лицо. Тихо спросил:

— Ты спишь? — она не отвечала. Тогда он встал. Вышел в коридор, посмотрелся в зеркало. Он сделался бледным, губы стали узкими. Он, стараясь не хлопнуть дверью, спустился на улицу. Вышел на эту самую площадь, чтобы отыскать водителя.

Впереди него шел какой-то человек. Миша

побежал за ним. Тот испуганно оглянулся, ускорил шаги. Миша догнал его, внимательно, как ненормальный, посмотрел ему в лицо. Кажется, этого человека спас его возраст — ему было лет шестьдесят. Миша отступил от него, утратив интерес. Тот почти побежал от него.

Засунув руки в карманы, Миша вышел на середину площади и стал поджидать автомобиль, как маньяк. Была самая тихая и пустая середина ночи, близкая к рассвету. Медленно выехала на площадь старая «Победа». Миша взглядывался в водителя, несколько метров пробежав за автомобилем. Там сидел усатый, в беретке, добропорядочного вида мужчина. Он гордо посмотрел из своего окошка. Миша остановился, ссутулившись. Стал грызть ногти на левой руке. Машина уехала. Он огляделся. В наступившей тишине он увидел стоящий на краю площади автомобиль темного цвета, который он не мог заметить сразу, потому что он был загорожен киоском. Миша быстро пошел прямо туда. Работал мотор. Это сразу усилило подозрение, а то, что водитель сидел и еще курил, совсем решило его участь. Миша подбежал и стукнул кулаком ему в лобовое стекло, как сумасшедший. Тот занервничал, открыл дверцу машины, собираясь ему что-то сказать. Миша поставил ногу между дверью, чтоб тот не смог ее больше закрыть, и наклонился в салон, протягивая руки и пытаясь ухватить водителя за грудь... Хотя это был совсем другой человек!

Миша вернулся домой. Рубашка у него была немного порвана (только на спине). Он сразу же заглянул в комнату, где оставил спать Риту. Она не спала. Сидела на кровати, облокотившись о стену. На одеяле в ногах у нее лежала собака, которой он обычно не разрешал спать на постели, но зато это ей всегда разрешала Рита, балуя ее за строгое воспитание. Миша ничего не сказал ей, но собака, как только увидела его, сразу же трусливо прыгнула с кровати.

— Как ты? — спросил Миша, присаживаясь на край.

Она закурила. Помахала рукой, разгоняя дым. Сделала одну затяжку, другую.

— Неприятно, конечно... — сказала она и жалко засмеялась.

Днем они пошли в магазин. На улице Рита постукала Мишу по спине:

— Не сутулься! — сказала она ему. Тот выпрямился. — Сначала в магазин, а потом в кафе, — сказала она ему. Он согласно закивал. — Купи вот этот журнал, — она остановилась у ларька. Он купил «приказанный» журнал. Она на ходу стала рассматривать его. — Скажи, — спрашивала она, — вот эта женщина красивая? Она похожа на меня?

Нет?

Они дошли до магазина. Рита по наитию оглянулась, увидела проезжающего в своей машине фотографа.

Они зашли в магазин. Миша пошел платить в кассу. Она стояла возле матового стекла и смотрела на улицу. Вдруг с улицы постучали в стекло. Она присмотрелась — сквозь матовое стекло едва был узнаваем фотограф. Он звал ее. Рита оглянулась на Мишу.

Миша подошел к ней.

— Ну что? Теперь пить кофе, не забыла?

Она вышла из магазина с опущенной головой. Фотограф пошел за ними, выдерживая дистанцию.

Они сели в кафе. Миша сам выбрал столик у окна. Рита потеряла из виду фотографа, она все время смотрела на улицу. Его нигде не было видно.

Пока Миша покупал кофе, она сидела и старательно зарисовывала известного узбекского писателя перьевой ручкой. Сначала она нарисовала ему родинку на щеке, как у Мерилин Монро. Потом сделала его толстые губы поярче. Потом прическу. После этого он посмотрела на улицу. Фотографа не было. Посмотрела на Мишу. Он стоял в очереди из нескольких человек вторым. Она отыскала в журнале еще одно крупное фото одного политического деятеля — из него М. М. получилась гораздо похожее.

Миша принес кофе. Она спросила его, когда он сел и с сожалением посмотрел на испорченный журнал:

— Похож на Мерилин Монро?

Он пожал плечами. Тогда она у него спросила:

— Ты ведь умный мальчик?

— Я не мальчик, — сказал он.

Рита опять посмотрела на улицу сквозь стекло и увидела, как фотограф подъехал на своей машине к кафе и затормозил. Он не вышел из своей машины. Сидел, ждал. Рита сказала:

— Я подумала, ты должен бросить меня, — сказала она.

— Как бросить? — испугался он.

— Пусть мне будет плохо. Я плохая, — сказала она, — тебе нужно найти хорошую правильную девушку, она тебе будет помогать с твоей мамой. Ты будешь ходить на лекции, учиться. Я же останусь одна. Может, я стану человеком. Пойму что-то... — она говорила какой-то бред, потому что все время оборачивалась и отвлекалась на улицу. Фотограф кивал ей. — Я ведь это серьезно решила. Нельзя так, я плохой человек. Брось меня, пусть мне будет хуже.

— А мне? — сказал он, — мне тоже хуже?

— Нет-нет, — сказала она и посмотрела на него.

— Не пугай меня, — попросил он.

— Хорошо, — сказала она. Улыбнулась.

— Разве ты не хочешь детей?

— Я? Нет, наверно.

— Но почему?

Она пожала плечами.

— Почему?

— Не хочу...

— Почему? — еще раз спросил он.

— Иди принеси мне еще кофе! — сказала она и протянула ему свою чашку.

Он встал, взял чашку. Посмотрел — она была полная.

— Но там есть еще! — он громко поставил чашку на стол.

— Он холодный. Принеси мне горячего, — сказала она, улыбаясь.

Миша что-то хотел сказать, но послушно взял чашку и пошел к стойке.

Рита быстро встала и вышла на улицу. Села в машину фотографа. Он быстро отъехал. Она, не оборачиваясь, охваченная волнением, сжимала и разжимала руки и говорила:

— Ты знаешь, как ты виноват? Знаешь, как ты виноват передо мной? Ты знаешь, что со мной случилось ночью? Во всем виноват ты, потому что я ехала к тебе!.. Когда я вернулась назад, с тех пор мне не хочется жить! Я не вижу никакого смысла! Никакого. Я ничего не хочу понимать в жизни. Жизнь меня очаровывает и сразу же всякий раз разочаровывает. Надо быть и добрым и злым, щедрым и жадным, красивым и скромным, словочю и отличником, выпить и отказаться, бросить и согласиться... — Она вздохнула. — Ночью я засну. Завтра буду жить опять. Я знаю, что мне нужно делать, но я не делаю этого — я буду работать, буду одна, буду доброй. А сейчас мне даже жалко жить так, такой жизнью, учиться на ее уроках. Ее уроки — дерьмо. Вот если я завтра не проснусь, мне совсем не жалко. Мне жалко маму. Жизнь хороша весной, летом, осенью в прохладу, закутавшись в простыню, лежа под распахнутым окном!.. Да? Да?..

Фотограф остановился около магазина. Рита осталась ждать его в машине.

Фотограф сказал продавщице в косметическом отделе:

— Всех помад по одной, и вот это и это...

Он вышел с большим свертком.

Дома у себя он нашел большую фотографию М. М. и стал Риту гримировать под нее. Убрал ей челку со лба, накрасил губы, поставил родинку. На столе лежала грудка всяких помад. Рита все время старалась дать совет

и говорила:

— Может, лучше этот цвет? Или этот!

Он ей не отвечал. Посадил напротив окна. Принес фотоаппарат и сказал:

— Пленка все равно черно-белая.

Она засмеялась:

— Как сесть? Так?

Он ее фотографировал, она говорила:

— Как я живу, как чувствую... Наверно, это неправильно. Я осуждаю себя, но я бываю счастлива, но... — она задумалась, — и несчастлива одновременно...

Он сказал ей:

— На последних фото у Монро совсем трагическое лицо. Абсолютно трагическое лицо. — Здесь он уже говорил, как настоящий профессионал. Он вздохнул.

Уже было темно. Миша ходил под окнами квартиры фотографа. Он все ждал и надеялся, что она выйдет, ведь уже наступила ночь. Их окно горело. Миша еще раз прошелся, закурил, когда он поднял глаза, то увидел, что свет в их окне погас — она легла с ним спать.

Он постоял, уже безнадежно все-таки надеясь, что она выйдет из подъезда.

Суббота накануне важного события.

Была хорошая погода, ближе к теплomu вечеру, и окно в комнате, в которой тоскливо и скуучающе присутствовала Рита, было распахнуто на «звуковую улицу». Тихий ветер, летающий вдоль улицы, возвращался, как муха, из одного конца в другой. Фотограф, одетый в домашнее, с сигаретой, в тапочках, мягких и точно таких же, какие он выдал Рите, прошел мимо нее. Она сидела откинувшись на диване, сложив, как выживший из ума старичок, руки на животе. Диван был белый, как парадный конь. Глаза у нее были закрыты, веки дрожали.

Фотограф проходит — по Рите проползает медленная фотографова тень. Она с закрытыми глазами чувствует ее, ловит как бы рукой и, поймав на полсекунды, гладит ее на себе.

Вот он уходит. Рита встает, идет к большому столу, отрывает небольшой кусочек бумажки, как бережливый экономный бухгалтер для своих мелких подсчетов. На самом деле на этом скромном клочке она пишет заглавие: «Итоги жизни». Она вздыхает и пишет пункт первый.

1. (И под этим пунктом она пишет сокращенные, но понятно, что имена мужчин или их какие-то специальные обозначения.) М-ша, Ит-ц, Н., Фот., К., М., Перв., Фр., Ит., Б., Гр... и т. д.

2. Папа умер. Я не могла найти в наказании его могилу. Принесла ему нечетное количество цветов, как живому.

3. Мама бедная, ничего не понимает. Жалко маму.

4. Я одна. Что дальше?

5. Деньги. (Тут она пишет малопонятные, но достаточно мелкие цифровые расчеты: $100+252+40$ и т. д. Вывод: ничего. 0.)

Тут на этом месте она задумывается, осматривая вспомненные ею итоги ее двадцатилетней жизни, бросает карандаш и свои «клочковые» расчеты на столе — бумажку шевелит ветер. Входит фотограф. Она поворачивается к нему и быстро говорит:

— Ну, милый, что же ты не спрашиваешь, не говоришь со мной? Я хочу сказать, что мне снился сон про маму, будто мы с ней поднимаемся по крутой лестнице нашего дома. Я иду за ней, мой взгляд все время упирается в ее щиколотку. И понимаешь, тут я замечаю с ужасом, я никогда у нее этого не видела, что на щиколотке у нее татуировка. Какая-то эмблема, похожая на цветок. И тут на моих глазах эта татуировка медленно начинает ползть по ноге, как муха, из стороны в сторону. Меня охватывает такой ужас. Понимаешь, когда что-то грязное происходит с близким человеком, которого любишь. И такая гадость.

Он, проникаясь ее гадливым рассказом, смотрит на нее с сочувствующим лицом, подходит к столу, замечает бумажку и читает ее без спросу. Он тут же начинает считать, сколько мужчин она вписала в свои итоги жизни:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, — говорит он безжалостно вслух.

Она говорит ему:

— А я вообще никогда не была невинной. У меня этого не было с самого рождения. Я это точно знаю. Хочешь знать, как это было? — она смотрит на него: у нее пребелое лицо и малиновый «мертвецки узкий» рот. Ее трясет какая-то неведомая сила изнутри, вырывает на лице неправдивую улыбку. — Это было, когда я отдыхала на море с бабушкой моей, — поясняет она. Уже точно заметно, что ей не стоит верить. Она, кажется, сочиняет. — Я тебе вот что расскажу. Я поссорилась со своей бабушкой накануне вечером и ушла на берег. Было уже темно и ночь, и я легла у самой воды прямо в мелкие камни. И лежала. И ко мне подошел через некоторое время мужчина в черном костюме, в пиджаке. Он сел рядом, ничего не произнося. Он лег рядом, и так мы лежали вместе, смотрели на небо звездное или беззвездное. И вот... Вот так все и произошло. И он потом ушел, я еще полежала в камнях и вернулась домой. И тогда я узнала, что у меня вообще не было невинности.

Она еще рассказывает, не останавливая, не желая останавливать свой монолог. (Он уже сидит в кресле. Курит.)

— Вот грех. Был грех. Кто-нибудь считает свои грехи? Я считаю. Это был первый грех. Он пожимает в ответ плечами.

Он лежит вместе с ней на белом диване. Она говорит ему:

— Я раньше знала, что страшно умирать. Теперь я знаю, что да, умирать страшно, но жить гораздо страшнее.

Она глядяется в него, понял ли он степень ее искренности. Он понял ее, но по-своему. Не так, как она. Она трясет его за воротник свитера и повторяет:

— Когда теперь умирает кто-то молодой, я не жалею его сильно. Ему уже легче. Ему теперь нет надобности и смысла жить и так мучиться. И так страдать и видеть несправедливости, я не могу видеть бедняцких одиноких собак: близость ничейных, значит, незащищенных собак — это мне чувствуется, близость беды, бедности. И даже смерти. У меня горло сразу становится ранимым, я чувствую, как меняется мой взгляд. — Она поднимается на локте и говорит ему так, что ему видно ее шевелящееся горло. — Еще мне жалко стариков, — докладывает она ему про свои тайные боли, — когда они уже перешли самый последний порог и окончательно утратили независимость. Они зависимы от всего, так же, как я: от прохожих, от погоды. Меня пугает, как они осматриваются вокруг, видят что-то очень определенное, свое, не видят меня... Я думаю: вот я такая же, как эта собака или эта старуха, жалкая, пусть и хорошая и для себя в данную минуту счастливая. Но любой посторонний прохожий констатирует сразу ее неуверенный вид... привкус заразной смерти, бедности, несчастий, и прохожий тут же посторонится. Никому не приятно. Правда, есть люди со специальным... не нравящимся мне названием «мазохисты». Да, как ты думаешь, я такая же, да? Ты думаешь, да? — она повторяет, как повторяют молитву.

Он ворочается на диване, двигает бровями. Она говорит очевидные для него вещи. Но она говорит на особенном языке, на котором он не может объясняться. Он гыкает, кхекает. И как решение всего вопроса, закуривает. Она опять продолжает (уже более спокойным голосом, медленным):

— Так что полицам несчастным... я ходить не люблю! Потому что там много всяких людей, собак... Каких-то поражающих скрытых символов общих несчастий... или дурной знак лично на мой счет. И я все это замечаю! Все это кричит со своего места в мою сторону! — Она встает, надевает вместо тапочек туфли и говорит-говорит. — Я все это слышу, но я не хочу этого слышать! Ощущать эту постоянную боль. И если я уж такая изначально чувствительно-врожденная, то мне лучше сидеть в теплом доме, пить чай...

Она потухла. Она успокоилась. Он же, напротив, лежал с испорченным настроением.

Он сказал басом:

— Я думал о смерти, но мне неприятно о ней думать.

Она засмеялась инфантильности его ответа.

Он сказал:

— Я же живу прошлым! Я уже ничего сейчас не делаю. Деньги приходят ко мне за мое хорошее прошлое. В твои годы я не думал такие мысли.

Она сказала ему житейски:

— Просто ты лучше жил, чем я.

— Может быть. Но я не думал вот так. Я хотел что-то...

Она перебила его:

— Лучше гулять тогда в сумерки, когда все собаки попрятались, а старики боятся выходить в ночи! — Она улыбается такому компромиссу. — Горят огни. Каждый шаг об асфальт обладает эхом. Эти звуки мне приятны. А потом — в постель. Потом мне посылаются сны. Таких крайних переживаний я никогда не смогу испытать в жизни. Так что пускай снятся, я согласна. А светлые и хорошие сны выветриваются, как правило, из-за своей ненужности.

Все-таки они не понимали или были не в состоянии друг друга понять. Он явно недоумевал, на него довольно сильно действовало ее тоскливое настроение, но мыслей ее, ее трагического лица он пока не осознавал. Она напоминала ему тоску, которую он испытывал в прошлом. С чем-нибудь в связи — с неприятным чем-нибудь. Он поморщился.

— Я не могу жить один, — признался он, — это точно.

Она постучала каблуком в пол.

— Набойки железные поставлены, — сказала она.

Он посмотрел на ее туфли.

Она сказала:

— А мне приснился сон, будто меня будит мамин звонок. Я иду через двор, занесенный снегом. А это можно проделать только путем перелезания через высокую эмалированную лестницу. И ступени в ней сделаны так же часто, как в моей расческе. Высотой в двадцать этажей, так, что камня нельзя на земле различить, скамейки похожи на узкие мазки с чьих-нибудь картин. Я лезу и думаю почему-то: «Бедный мой папочка, бедный мой мамочка...» У тебя так не бывало? Беспричинная тоска... Я достигла пика высоты, и теперь мне нужно было вниз. Лестница в высоту, в мою верную смерть. Ее еще раскачивало! Я спускалась вдобавок спиной! — Рита улыбается, рассказывая это. — Сердце мое не по-человечески, а по-кошачьи мелко-мелко билось. «Бедный мой папочка, бедный мой мамочка» — я думала и думала только это.

И тут с собой я увидела... я обнаружила свою знакомую. Ее зовут Катя. Она — чрезвычайно мне приятная девушка. Оказывается, ей тоже выпало такое испытание. Я опускаю глаза и вижу, что на ногах у нее надеты высокие старомодные, со шнуровкой, черной кожи ботинки-коньки! С острыми золочеными лезвиями коньки. Простите меня за столько уточнений! Но их нельзя удержать внутри! — говорила Рита, показывая себе в грудь и обращаясь к фотографу на «вы». — Простите!

Он снисходительно усаживается на диване. — Но тут, во сне, она считалась мне врагом, она моя соперница! И я рассматривала ее как впервые. Ее профиль.

Рита смотрит на профиль фотографа.

— Ее выпуклые глаза. И мне хотелось плакать. Это была попытка. Это была мучительная «почти-явь». Я сделала какой-то «финт». Лестнично-расчесные перила полетели у меня перед глазами. Я была на земле, а что было с Катенькой — я не помню. — Рита улыбнулась и серьезно сказала еще одну свою красивую мысль: — Я думаю, есть на свете дьявол. Это он толкает под руку.

Он опять ответил ей что-то не то:

— Я не верю в Бога, хотя меня крестили.

В заключение она сказала ему, оглядываясь через плечо голубиным взглядом с заведенным зрачком:

— Я люблю тебя до гроба и после гроба.

Фотограф вышел. Но когда он вернулся к ней в комнату, в которой покинул ее, она была пуста. На распахнутом окне, на подоконнике, на самом его краю, ему показалось, лежит одна туфля.

Он подбежал к окну и навалился на него, чтобы посмотреть вниз. И нечаянно он скинул туфлю с подоконника, будто и не было вовсе. Он смотрел вниз на мостовую — там шли какие-то люди, все было спокойно и буднично. Риты нигде не было. Тогда он вспомнил, что ему показалось, как оставалась после нее туфля. Но невозможно было разглядеть ее сверху среди проходящих мимо людей.

Он побежал на улицу. Он быстро спустился по лестнице.

Место под самым его окном было чистое. Никакой туфли не было. Он стал оборачиваться вокруг — вдруг ее мог кто-то украсть эту секунду? Вначале он не обратил внимания на грязную старушку, одетую в плащ в такую жаркую погоду. Плащ был весь загажен как будто голубьями. (Она ночевала, видно, в голубятне.) Плащ был резиновый, но ей было ничуть не жарко. Она двигалась медленно, зорко осматривая асфальт у себя под ногами и особенно у стен домов. В руке у нее была сумка когда-то белого цвета, сейчас запачканная и разорванная во многих местах.

Фотографа отвлекло от рассматривания сумки ее лицо — она обернулась к нему. Оно у нее было в болячках, а на лбу — родовой шрам-вздутие с выступающими венами. Она была блаженная. Свою вечную цель, выходя на улицу, она видела в том, чтобы подобрать всякий мусор, особенно бумажки, окурки, коробочки. Она даже специально присела у подвальной сетки около дома, чтобы рукой, тоже в царапинах и болячках, достать белую заметную бумажку-мусор. Она встала и спрятала найденную ею бумажку себе в сумку. И тут фотограф увидел, как из той же сумки каблуком наружу торчит невмещающаяся, только что упавшая и подобранная этой сумасшедшей старушкой Ритина туфля. Он подбежал к ней и, не спрашивая, сунул руку и выдернул ее двумя пальцами за спиной блаженной, которая не умела следить за своей торбочкой с тем, чтобы ее не обокрали. Она ничего не почувствовала и пошла дальше, оглядываясь и пригибаясь к земле.

Едва фотограф выбежал на улицу, Рита вышла из-за шторы, за которую она спряталась. Она, все время посматривая вниз, спустилась, никого не встретив, до первого этажа.

Вот она едет в машине.

Вот она стоит под Мишиными окнами и звонит из телефонной будки.

Вот она сидит у него на кухне, согнувшись, рассматривает свои колени в черных чулках. Миша стоит у окна, привалившись к подоконнику.

— Где я могла порвать чулок? — спрашивает она, засовывает палец в образовавшуюся дырку на коленке из-за спустившейся петли.

Пальцем она начинает разрывать эту дырку, рвет ее со всей силой. Рвет чулок на другой ноге, пока они оба не превращаются в повисшие черные полоски вокруг бледных ног.

Отступление.

Фотография: «Великий Ди Маджио плачет — М. М. нет в живых».

Отрывок из фильма о М. М.: в номере гостиницы стоит телевизор, по нему показывают — М. М. поет президенту «Хэппи бейфдей...».

Это уже финал. М. М. лежит в простынях. Она уже со своей дозой таблеток, но они ее еще не забрали. Она лежит на щеке. Телефонная трубка у нее в руке. Она говорит:

— Передайте моему доктору, что это я... вы узнаете... приятно... передайте... я приду завтра... нет, пусть послезавтра...

Глаза у нее закрываются. Трубка сползает на подушку. К ней входит ее горничная. Она убирается на столе — на нем стоит

большая включенная лампа. М. М. спрашивает:

— Мистер Кеннеди не звонил?

— Нет, — отвечает горничная, уходит.

М. М. уже не может шевельнуться, повернуть голову. Она улыбается с закрытыми глазами. Шевелит пальцами, как будто наигрывает на пианино. Трубка что-то продолжает говорить рядом, она улыбается на эти звуки, что-то хочет сказать, но сил хватает только на одну улыбку, слова получаются беззвучными, она засыпает, хотя сейчас, сию секунду, ее еще можно разбудить.

Хроника настоящей живой Монро.

Похороны М. М.

Есть фотография с таким названием «Великий Ди Маджио плачет — М. М. нет в живых» — на ней идет человек в черном костюме, закрыв лицо руками, потому что он плачет.

Хроника с мисс Монро.

Хроника с мисс Монро.

Миша с Ритой в постели, завернутые в простыню. У Миши — совсем мокрое лицо. Он отодвигается от Риты, берет в руки будильник, поставленный заранее перед кроватью на сиденье стула — низко-низко, так, что у самой подушки слышно его тиканье. Миша смотрит с удовольствием на циферблат, придвинув часы себе прямо к носу, как близорукий, и говорит:

— Целых сорок минут! Мы с тобой целых сорок минут! Как тебе? — он улыбается и отдает ей, как доказательство, часы в руки, она вертит их, зачем-то смотрит им в «спину» — туда, где они заводятся. Слабо улыбается, встает с кровати, волочит за собой простыню. Так начинается ее утро с Мишей. Шторы в комнате плотно сдвинуты и посередине сколоты английской булавкой.

Миша уходит на свои лекции. Хлопает дверь. Собака ложится на чистую постель, как только он уходит, потому что Риту она не слушается и не боится. На кровати она начинает грызть свою белую повязку на раненой ноге, чтобы избавиться от нее.

Рита идет к подаренной Мишей ящерице. Та сидит в трехлитровой банке, поставленной на подоконник. Рита заглядывает в банку. Из банки плохо пахнет, хотя она совершенно прозрачная и пустая, если не считать ящерицы.

Рита в задумчивости, что той опять нужно ловить тараканов и мух, берет банку, прижав ее локтем к боку, выходит в кухню. Там, как ей кажется, большая возможность наловить тараканов. Она ставит банку на кухонный стол, надевает вязаные старые перчатки (других у нее нет, чтобы ловить тараканов, перчатки разного цвета). Открывает духовку в плите, заглядывает туда. Потом отодвигает немного вбок картины со стен — там виден более светлый кусок побелки, но нигде нет тараканов.

Тогда она приглядывается к абажуру на потолке — нет ли там мух. Прислушивается.

О стекло бьется муха. Рита накрывает ее стаканом. Но потом все-таки выпускает ее. Нет ничего грустнее, чем смотреть, как Рита ловит насекомых для ящерицы в полном одиночестве.

Наконец она выпускает ящерицу из банки в темный напольный шкаф. «лови сама» — говорит, снимает перчатки, захлопывает шкаф.

Рита в халате спускается вниз за газетами. Она открывает почтовый ящик. Поднимается на лифте. Встречает в дверях мальчика почтальона, лет пятнадцати. Он останавливается, одновременно и закуривает и выпрямляется и говорит немного срывающимся голосом:

— Вы из этой квартиры, кхм-кхм? — спрашивает предварительно и отдает ей телеграмму. Рита кивает, сжимает на груди халат. Читает на бланке почти вслух, шевеля губами (телеграмма уже распечатана, видно, почтальон тоже знает ее смысл): «Рита, вчера весь день искал твою открытку, которую, помнишь, ты прислала мне однажды? Но ее нигде нет, видно, ее унес тот же ветер, который унес твою любовь ко мне».

Рита поднимает голову, прячет телеграмму в карман. Она, похрустывая телеграммой в кармане, кивает на прощание курящему молодому почтальону, который вызвал лифт. Лифт загудел откуда-то снизу. Рита прошла в квартиру. Захлопнула дверь. Собака заляяла один раз, опять положила голову.

Рита звонит фотографу. Он сразу берет трубку. Она слушает его голос. Бросает трубку. Ее скучное спокойствие уходит, ее охватывает трепет.

Последние сцены.

Пустая прозрачная банка на столе.

Шорохи.

Рита перешагнула через брошенную смятую простыню, полную теней и красиво изогнутую на полу, подошла к шкафу. Выбрала один только ей известный плащ, достала из его кармана бутылку. Она была полна до половины.

На кухне для маскировки все содержимое из бутылки она вылила в заварной чайник. Бутылку спрятала в бачок унитаза — все у

нее было продумано достаточно изобретательно. Она стала разгуливать по коридору, отпивая из чайника, как будто ее мучит жажда. Она заходит в комнату к Мишиной безумной маме.

Говорит ей:

— Смотрите, сколько у вас засохших роз! Их можно заваривать в чай для аромата!..

Мишина мама была одета в полосатый купальный махровый халат. Она сидела в подушках, прислушиваясь к Ритиному голосу. Рита дрожащим от волнения голосом опять поведала ей:

— Вы знаете, вот что я поняла. Умирать страшно — это правильно. Но жить — гораздо страшнее. Вот это точно! У меня шалют нервы, — она ссутулилась. Еще раз отпила из чайника.

— Я пойду погуляю с собакой!..

Мишина мама подняла на прощание свое лицо с таким выражением торжественности, как будто она про себя исполняла гимн Советского Союза.

— Миша! — вдруг позвала Мишина мама, обращаясь к Рите.

— Я здесь! — ответила ей Рита дрогнувшим голосом, сжав рукой ее иссохшую руку.

— Отчего же твои руки так жестки? — спросила старая женщина.

— Я работала в саду... — ответила ей Рита.

На этом, к сожалению, их разговор оборвался!..

Рита в коридоре сняла повязку с ноги черной собаки. Она ей, как теперь казалось немного пьяной Рите, мешала. Собака очень радовалась, что ее ведут гулять. Характер у этой собаки был достаточно предательский — она любила поест, поиграть, погулять — не важно с кем.

— Сейчас, сейчас, — сказала ей Рита.

Она вышла на улицу, чуть-чуть пошатываясь. Собака ее здорово хромала, Рите приходилось сдерживать быстрый шаг. Так они вышли вон со двора в сторону проезжей части.

Фотограф сидел у окна. Перед ним стоял таз. На дне его — чуть воды.

На самом деле он ничего не мог ни есть, ни пить. У него была такая угроза — как будто организм все время что-то отторгает изнутри — для этого перед ним и стоял постоянный таз.

Фотограф сидит, уткнувшись в окно, чуть нависая над белым эмалированным тазом. Мимо его окон проходят все не те люди. Он небрит. Он ждет.

Вот он видит наконец Риту. Как она идет пошатываясь, с хромой собакой. Она поднимает голову, подслеповато смотрит на его окна. Он отшатывается от окна, стыдясь, что она увидит, как он ее ждал.

Рита заходит в подъезд. Медленно снимает перчатки, греет руки, замерзшие от внутреннего волнения, о подъездную батарею. Собака не узнает чужого подъезда, тянет поводок. Рита достает из кармана флакон духов, душитса перед тем, как начать подъем. Они начинают подниматься по ступенькам. Рита помогает хромой собаке подниматься, обхватив ее за бока и подталкивая снизу.

Из-под каблучков у нее вылетают искры.

Она звонит ему в дверь. Он открывает, она улыбается:

— Я пришла, извини, не одна. Не обижайся, такая красивая собака. Ты должен оценить ее, ты же все понимаешь в красоте. Что красиво, что некрасиво. — Она смотрит ему прямо в глаза. Он отступает. Она проходит в квартиру, не останавливаясь, говорит: — Эта собака попала под машину, у нее сломана кость в ноге, но теперь она зажила, осталась только хромота, может, теперь на всю ее жизнь, если не повезет, — она вздыхает. — Ты прислал мне такую телеграмму, ты очень разбираешься в красоте, я не могла не прийти!..

Рита смотрит на него, подняв голову. На губе у нее откуда-то уже появилась болячка — видно, она где-то упала уже, добываясь в пьяном состоянии к нему в гости. Он сказал ей:

— Какая ты красивая с болячкой. Тебе идет!

Она потрогала ее пальцем, пошла кровь. Она засмеялась, облизываясь. Ей было все равно про себя. Она бросила поводок, собака ушла куда-то в комнаты. Она начала врать:

— Какая-то девушка ударила меня утюгом, прямо по затылку, когда я стояла спиной.

Он обнял ее, она положила свою голову ему на плечо, по-собачьи. Он сказал:

— Я помню твои глаза, я помню твой голос, твои руки, твои уши... — У нее заблестели глаза. — Я ждал тебя все это время, я сидел у окна, я ждал, когда ты вернешься, я не мог сам вернуть тебя, мне оставалось только ждать. Я ничего не мог есть, я не мог пить, меня рвало. Я поставил себе таз и сел у окна... Прости меня.

Она замотала головой.

— Я совершенно не могу говорить так, как ты. Мне стыдно. Ты такой красивый, я привязала собаку, когда ловила машину, дерево было такое тонкое, оно гнулось... — Она вздохнула. — Мне надо оправдываться?

Они лежали в постели, а хромая собака стояла рядом с кроватью и лизала голую свесившуюся с кровати Ритину ногу. И ее никак нельзя было отогнать.

Рита встала, трогая свою разбитую припухшую губу, извинительным нерешитель-

ным тоном спросила:

— Я пойду?..

Этим вопросом она нанесла удар в самую душу фотографа.

Он говорит:

— Поживи со мной хотя бы день. И ты будешь моя. Мы же с тобой никогда не жили, ты ничего не понимаешь...

Она мотает головой, отступает, застегивает себе что-то на груди, улыбается, как безумная. Он сильно хватает ее за руку. Тогда она говорит (более или менее решительно):

— Нет, нет, я не останусь, я не могу... может, завтра, потом когда-нибудь... честно...— Она улыбается и отодвигается от него.

Она хлопает себя по ноге, как будто все уже решено между ними, она зовет к себе непослушную собаку. Он опять сжимает Рите руку так, что она вскрикивает. Он отталкивает ее к стене.

— Ну не поить же мне тебя все время, чтобы ты осталась? — спрашивает он.

— Нет, не поить...— Она опять улыбается, кажется, ей даже нравится такая ситуация.— Зря... все зря... но твоя телеграмма такая красивая, скажи, как я могла не приехать? Как? Никак.— Она с жалостью смотрит на него: — Ты сам — как ребенок. Ты моложе всех. Я не буду с тобой жить. Вот. Так. Мне все равно, кто-то должен сказать правду...

Они в последний раз сидят за столом. Опять выпивают, получается, как на прощание.

Собака в коридоре грызет туфлю.

Они чокаются. Она улыбается ему. (Выражение одновременно пронзительно жалкое и отстраненное, жестокое.) На ней уже плащ. Она готова встать и уйти. Она говорит ему чуть заплетающимся языком:

— Ну слушайся меня. Не сопротивляйся. Я говорю так, как надо. Мы еще увидимся! И еще увидимся...

Он опять повторяет:

— Не бросай меня.— Он берет за локоть ее, за другой. Не отпускает, притягивает к себе. Она вырывается.

— Вот и все, все...— Берет со стола ножик, вертит его в руке. Встает, улыбаясь.— Я ухожу...— Она осматривается и произносит красивые немного бессмысленные слова: — Увидимся завтра. И тогда ты поймешь все сам...

Тогда он хватает ее за полу длинного плаща. Притягивает ее. Она просит:

— Не надо, не надо... пожалуйста... Я сейчас воткну в тебя вот этот ножик.

Он усмехается. Тогда она легко тыкает ему ножом в плечо, отпускает рукоятку. Нож, неглубоко вставленный в плечо, держится, не падает. Фотограф правой рукой вынимает этот нож из своего плеча, с силой втыкает его в крышку стола.

— Простите...— тихо произносит Рита. Вот он ее уже не держит. Отпустил.

Сидит с чуть порозовевшим от проступающей крови плечом.

Стук входной двери. Она опять ушла.

Рита возвращается к Мише домой. Ее шатает. Она зовет еще из коридора:

— Миша! Миша!..— Но он еще не пришел.

Рита заходит в их крошечную комнатку. От духоты открывает окно. Раздевается. Заворачивается в три простыни, чистые, крахмальные и хрустящие.

Собака, с грохотом распахнув дверь, прихрамывает к ней.

Рита ложится на плоскую, похожую на ровный белый чистый стол кровать. Лежит головой к окну. Ветер, сильный, вечерний, шевелит ее волосы. Шевелит край прохладных простынь в плечах и в ногах. Что-то похожее с ней уже было. Рита улыбается в сумерках комнаты. Кажется, в комнате — все шелестит, будто она наполнена бумагами, рукописями...

Рита не может заснуть. Она принимает сразу три таблетки, взяв со стола пузырек со снотворным.

Поворачивается на бок.

Выбрасывает подушку из-под головы. Вертится. Совсем не может заснуть.

Принимает еще три таблетки.

Смотрит в окно, приподнявшись на локте.

Принимает еще пять таблеток. Аккуратно закупоривает пузырек с лекарством.

Берет к себе в постель телефон. Говорит фотографу медленным голосом:

— Я не могу заснуть. Сейчас я приняла снотворное, надеюсь, я засну, а завтра мы увидимся... я очень хочу, лишь бы мне заснуть...— Она кладет трубку рядом с телефоном.— Подожди...— Принимает еще несколько таблеток. Ложится на бок, ноги ее затянуты, как в кокон, тремя тугими простынями, Рита улыбается, что-то бессвязно говорит: «...за потерянный солнцем рай...» В заключение она доканчивает таблетки: высыпав их себе в руку, до последней.

Телефон со снятой трубкой валяется с ней на белой плоской кровати.

За окном моросит в ночи. Рита спит.

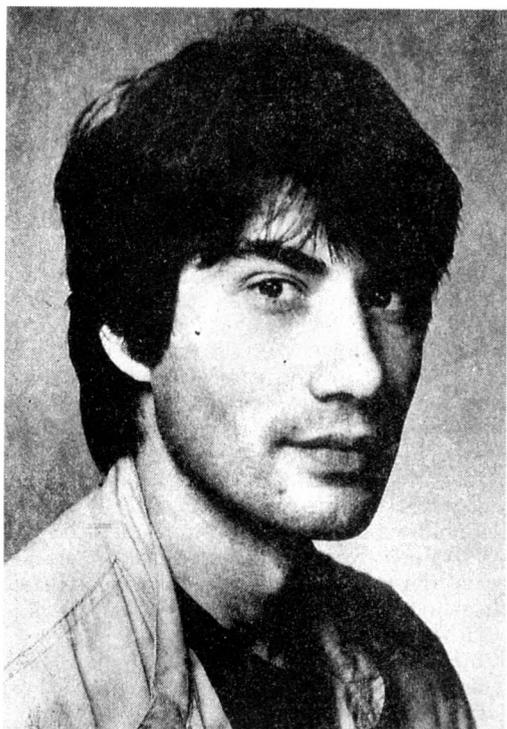
Верно, в этом месте сон переходит границу жизни и нежизни и уводит ее в небытие.

Ветер продолжает шевелить ее холодные волосы на затылке, в челке. Лицо спрятано в тень, в темноту. Она лежит на щеке.

Вытянута правая рука с коротко обстриженными по-детски ногтями — она лежит в очень беззащитной какой-то позе.

Я, автор, выхожу из этой комнаты на улицу. Идет дождь. Смотрю на черную улицу. И только теперь с какой-то отстраненной безнадежностью вдруг понимаю, что Риты нет и уже больше никогда не будет.

Хроника с мисс Монро (?).



Ариф
АЛИЕВ

В ЧИСТОМ ПОЛЕ — ЧЕТЫРЕ ВОЛИ

Забашлённый давешним вечером на люблинском катране голóвник Пёха-талант свернул с Широкой на Грекова и затормозил у выхода из метро «Медведково», под усохшими саженами возле конечной пятьсот третьего, клязьминского экспресса. Час назад Пёха вышел на прилепившиеся к насыпи окружной железной дороги дикие гаражи, отыскал нужный и открыл ворота нашаренным под изоржавевшей ступицей ключом. Пёха рисанул «Жигуль» и остался доволен машиной. «Жигуль» был не новый и не старый, неброского окраса и без шибастых примет. На передке люблинские давальцы оставили плечную дурку, сменные номера, два целлофановых пакетика с документами и кое-какое переодевание. Щерился Пёха сделать известного московского авторитета с кликухой Тугрик, люблинские и фотку Тугрикову запалили, и повадки его, крысятника губастого, подробно прояснили, всё должно было чисто случиться, да ведь жизнь не угадаешь, не думай как влезть, думай как вылезть!

Пёха перегнулся за сиденье и сбарахтал к себе упрятанную до поры, пока на место не приехал, плечную дурку. Расслабляясь, он поерзал на драном жигулевском чехле, заварился пасти. Пасти ему требовалось выходы из метро, подъезжающие машины и, само собой, остановку пятьсот третьего. День выдался ветренный, желающих выехать на клязьминские пляжи наперечет скапливалось

у конечной, пасти было легко. И времени пока еще хватало, поэтому голóвник решил проверить содержимое дурки и надыбал завернутый в бархотную рвань пистолет. Он недолго повозился с пистолетом, поводит ствол, поиграл кистью, примеряя к руке, вставил и вынул обойму, оттянул затвор, проверил туготу предохранительной кнопки, щелкнул, прислушиваясь, спусковым крючком. Всё как заручали, зевка не дает. Фиксатор глушителя в стволе тоже оказался вроде бы в порядке. Пёха заглянул в ствол, для верности прогладил фиксатор пальцем, проверил, нет ли зазубрин: последнее время на всякое нарываешься. А вот самого глушителя на рабочем пистолете, предложенном для дела люблинскими, не было. Не было глушителя! Делать нечего, из курточного потайного чехольчика достал Пёха собственный пистолет и свинтил с него глушитель. Вот только...

Он попытался вспомнить, сколько выстрелов пришлось на эту глушилку, запаской ведь пока не разжился, случай не наклеывался. Выходило...

на Лазаревом за гаражами роспись кинул, верхушечника одного чересчур прыткого достал и по собаке его два выстрела;

на академдачах в Можжинке слепил лишнего, вспоминать не хочется;

на Маломосковском крытке, за складами — там мало дергал, легко, по лежащему;

в Дедовске на «Керамике» едва не наколотся, обойму там менял.

...Выходило никак не меньше тридцати, примерно на столько, кажется, и устанавливался огневой регламент, или как там это умно называется?

Пёха раскрутил глушитель и выныкал на ладонь резиновую начинку. Он сжал, потерял между пальцев потерявшую эластичность резину, порвал на сколько злости хватило кузов, завернул в попавшийся под руку газетный обрывок, выбросил в грязь. Тебе, сынок, еще долбок! Пёха промокнул рукавом кровь с обкусанных губ, до дрожи в кулаках сжал руль и... успокоился, закрутил глушилку и пустую на пистолет напаялил, скопил глазами на часы: скоро!

Вот у одного из пустых экспрессов на кругу объявился водила, открыл кабину и закинул туда сетку с провизией. Пёха напрягся, чтобы не пропустить, когда начнется посадка, и еще раз всмотрелся в лица на остановке, для верности выложил на колено Тугрикову фотку. Но Пёха ошибся, водила загружаться не спешил, кинул сетку и досужим шагом направился к телефонной будке, выбрав ту, что на людном уличном углу, у дверей булочной.

Звался водителем Сергеем Пильщиковым. Был он молод, вполне бесшабашен и в Москве обживался по лимиту. Семей обремениться он не успел, сетку с провизией приготовил, конечно, не для хвостяк общаговских, а для некоего пикантного дельца и направлялся сейчас к телефонной будке, чтобы ловчее это пикантное дельце обустроить.

Пильщиков дождался, когда из булочной выйдет и наткнется на него подходящего возраста девица, и, уцепив ее за локоть, взмолился:

— Милая, помоги дозвониться, у моей подружки — муж ревнивый, зверь, мусульманин, развода не дает, лупцует больно, в кино не отпускает! Упроси, чтоб Веру подозвал. Выручай!

На людном углу девице вроде бы ничего не грозило, она поглядела туда-сюда и согласилась выручить.

Как и ожидал Пильщиков, трубку снял ревнивый муж.

— Здравствуйте, Веру позовите, пожалуйста, — деревянным голосом попросила девица. — Это подруга беспокоит.

И Пильщиков выхватил у девицы трубку. — Веруся, я так много всего закупил, собирайся! — доложился подружке Пильщиков. — Я весь горю! Своему чуречку можешь сказать, что в магазин часа на три уходишь. У меня полная сетка дефицитов, за такой сеткой не меньше трех часов в очередях стоять надо!

Вера предпочитала называть Пильщикова Лизком.

— Да... Да, Лизок... я поняла... Конечно, выйду, Лизок, о чем разговор. Ты в одну очередь встанешь, я в другую, быстрее всего накупим. Да, Лизок, конечно, лучше вдвоем по магазинам ходить, — соглашалась она с тем, что выговаривала ей по телефону предполагаемая мусульманином собеседница.

— Бери такси и приезжай на наш пляжик, денег не жалея, я за рейс попробую левых взять. В ресторанчик забежим, а?! Жду! — И промычав напоследок что-то очень возбужденное, Пильщиков повесил трубку и побежал к автобусу.

И Вера вспорхнула прихорашиваться к зеркалу, но зверь и мусульманин упредил ее и налег грудью на косметику.

— Ты куда, тварь?

— В холодильнике пусто, сожрал все подчистую, кабан вонючий, а мне в очередь валандайся?

— Как выходная суббота, она на полдня в магазин удирается, лошадь страшная!

— Макароны не жрешь? Не жрешь макароны! Мясо жрешь!

— Голодом умру пока что, а ты удивишься у меня, девка, что такое мужская честь! Целый день с глаз не отпущу, даю такое честное слово!

Что же Пёха-талант? Он допасся: на ближнем выходе «Медведкова» засветился-таки долгожданный пиджак. И засветился пиджак-Тугрик не один, а с бабой.

Баба вчера не башлялась. Пёха пас от остановки, до Медведок по уговору — люблинская наводка, если баба прибудная, могли гонца прислать. Просто люблинские вахлаки заподились бабу башлять. Или?! Ни билет из Москвы, ни деньги полностью в кармане у Пёхи не мялись. Запалить решили головника?! Нет, нет, просто... Зачем Тугрику пляж без бабы? Ха! Только так и надо обмысливать неожиданную накладку, другие объяснения вызовут гибельную рассеянность и дрожание рук в самое неподходящее время. Не дай Бог, пиджак поведется!

Прихватив плечную дурку и заперев «Жигули», Пёха двинул к автобусу. Он не стерегся попадаться Тугрику на глаза, вошел в автобус первым и уселся над задним колесом, а Тугрик с бабой устроились на три сиденья впереди.

Пильщиков поехал быстро, приятное возбуждение не уходило, и он лихо закручивал на поворотах. Он пел и в ритм сминал пружины:

— «Я надену ос-та-а-ши, я тягухи на-тя-а-ну, к Селигеру поб-ре-ду да не встрену ни ду-у-ши!»

На автостанции полагалось остановиться, впустить кондуктора и дожждаться, когда тот обилетит пассажиров. Но, притормаживая,

Пильщиков заметил, что все кондукторы заняты, по другим автобусам работают, а диспетчер глаз заговорщицки скорчил, торопит рвануть с необилеченными, машет линейкой из станционного окошка, прогоняет.

Пильщиков обрадовался удаче и пропел на прежний мотив:

— Сегодня нам дис-пет-че-ер за-ра-бо-тать раз-ре-ша-аат! — И выдернул «Икарус» прочь с автостанции.

Город кончился, тряская дорога запетляла, огибая изувеченное строительством поле.

— «Потерял я любовь и девчонку свою, но назло вам ее я найдуу!» — пел Пильщиков, с особенным удовольствием кося глазами на виды селигерской природы и осташковских достопамятностей, развешанные на боковой стенке кабины под назидательным плакатиком «Делай табельные остановки — и с ревизорами все будет о'кейски!».

По дороге Пёха шуранул, страхусь, в дурке и дошуровался: самоструговая его глушилка вовсе развалилась пополам — вытащил наружу Пёха одну верхнюю половинку. Он беззвучно выматерился и с досады пнул мешавшуюся под ногами консервную банку с ветошью. Из банки выпал сломанный шведский ключ, такой сломанный, что Пильщиков брезговал держать в кабине, вместе с ветошью и прочим хламом выставил в салон на колесо.

— Граждане пассажиры, приготовьте деньги за проезд. Стоимость проезда — два рубля! Выход через переднюю дверь! «Потерял я любовь и девчонку свою...»

Чтобы ни один не ушел, Пильщиков не стал открывать переднюю дверь из кабины, а, оббежав автобус, разжал створки вручную. Граждане пассажиры начали безропотно сдавать в протянутую ладонь по два рубля, и так продолжалось, пока очередь не дошла до незаметного прежде гражданина с обостренным чувством социальной справедливости.

— А билеты? — скалясь спросил гражданин и денег в протянутую ладонь не дал.

— На доверии маршрут, некоторым не ясно?

— В прошлый раз кондуктор обилечивал, — не поверил гражданин.

— Зайцев по пятнадцати рублей штрафум! — напомнил Пильщиков, но тут гражданина неожиданно поддержал Тугрик:

— Не мути людям мозги, халявщик, билеты ты отрывать должен! — однако сунул Пильщику пятачку. — Все понимаем, сдачи не надо, не трудись, любезный, спасибочки, приятно домчал. — И, вальяжно обхватив свою подругу, собрался уходить. — Купи себе сухек!

— Все, что нужно, тебе твоя баба оторвет! — находчиво ответил нахалу Пильщиков и затолкал пятачку Тугрику за воротник.

— Повтори, повтори, козлиная зачуханная! — взвыл Тугрик и, пока Пильщиков освобождал руки, распахивая по карманам собранные с пассажиров деньги, успел боднуть его лысиной в грудь, но не сильно.

— Милицию вызову, заяц, хулиган! — разозлился Пильщиков и отпихнул Тугрика локтем в живот.

— Где здесь ближайшее отделение милиции? — включился в разборку гражданин с обостренным чувством социальной справедливости.

На том разборка и завершилась. То ли Тугрикова подруга оказалась такой сноровистой, что смогла оттащить друга за пределы автобусной остановки, то ли сам Тугрик остыл, опомнился и передумал связываться, только они предпочли быстрым шагом смататься в направлении корпусов бывшего санатория ЦК ВЛКСМ «Веселые грачи».

Пёха с грустью осмотрел один за другим виды селигерской природы и осташковских достопамятностей и прошептал:

— Эх, зёма, зёма...

Он вернулся на заднее колесо, положил в плечную дурку сломанный шведский ключ. Пёха-талант позволил себе еще раз рассмотреть знакомые с детства виды на Житный остров и набережную у Знаменского монастыря, но медлить дальше было неосмотрительно. Он сдал разгоряченному разборкой водиле заранее приготовленный двушник и поспешил вслед за пиджаком.

Пильщиков выгреб из карманов деньги и пересчитал без мелочи. Вышло около тридцати рублей, и он снова повеселел. Оставалось взять полотенце и пойти на пляжик, потомиться слегольца в ожидании Веруси.

— «Я надену осташи, я тягухи натяну, к Селигеру побреду, меня больше не ищи!» — запел Пильщиков.

Подстилку с Тугриковой бабой он увидел издалека. Он сошел с лесной тропинки, переделся в ближних кустах и нарочно пробежался мимо, поднял песчаную пыль на подстилку, глубоко нырнул с обрезного берега в воду.

Пильщиков еще не вынырнул, а Тугрик уже объявился на пляже. Его сопровождали катившие сервировочный столик официанты. Тугрик указал официантам место, куда необходимо было поставить столик, и жестом отослал их восвосяи. Оттянуться разными удовольствиями любил, а вот на мотор — всегда жадничал.

Тугрик успокоил обиженную песком даму, песок с нее сдул, заставил обратить внимание на столик, а сам пошел переодеваться. Он было сунулся в раздевалку, но по скрипящейся роже Тугрика даже Пильщикову из воды стало ясно, что именно в раздевалке не понравилось автобусному нахалу и почему он туда с удовольствием наплевал.

Мимо прошел наряд милиции.

— Смотрите, что делается! — обратился к наряду Тугрик. — Уже и здесь все засрало, негде по-человечески отдохнуть.

Милиционеры пошли своей дорогой, а Тугрик скрылся в кустах за раздевалкой.

Пильщиков поехал от холода, побарахтался недолго, не согрелся и выбрался на берег. Лежать мокрым на полотенце оказалось тоже не здорово, он попробовал разогреться гимнастикой, побегал-побегал на ветру, да и схватился за сухое бельё.

Пёха видел, как Тугрик брезгливо шарханул с замусоренной плечи за ближними к раздевалке кустами, обошел заросли крапивы, углубился в лес и наконец-таки нашел приличное для переодевания место у поваленного дерева.

Пёха отработал удар шведским ключом и, стараясь не наступить на сухие ветки, обошел Тугрика слева.

Тугрик снял ботинки, расстегнул ремень на брюках и вдруг боковым зрением заметил крадущегося человека. Не поворачивая головы, он сунул руку в брючный карман, выхватил газовый баллончик, но воспользоваться им не успел.

Пёха приметил, как на мгновение окаменел Тугрик, понял, что раскрыт, кроваясь о сучки, продрался сквозь сушняк и, обрывая короткий визг, ударил.

На лесной дорожке переодеться Пильщикову не получилось, из-за поворота показались какие-то шумные девицы, пришлось забраться в сушняк. Пильщиков устроился на поваленном дереве, снял ботинки и вдруг увидел лежащего поодаль на валежнике Тугрика. У разможенной головы Тугрика валялся сломанный шведский ключ. Ключ был такой сломанный, что Пильщиков брезговал держать его в кабине, вместе с ветошью и прочим хламом выставил в салон, на колесо.

«Бани “Верхние поля”» — тускло высвечивала по вывеске единственная на ней горящая лампочка. Посетители у входа в баню крутились густо, и Пёха мог безопасно курить, дожидаясь вахлака с подельной верхушкой и билетом на поезд до Осташкова.

«Потерял я любовь и девчонку свою, но назло вам ее я найдуу!» — занялся сам собой прилипчивый мотивчик.

«При бане работает кооперативный буфет “Светлячок”. Милости просим!» — шуршало плохо приклеенное к двери объявление.

Возле Пёхи остановились две девицы. Одна

очень-очень упрасивала другую:

— Ну отработаешь за меня вечерок? Сегодня и положняк будет, и подарки.

— Ломает чего-то. Да и на тебя кто-нибудь встал с прошлого раза, начнутся разборки, не люблю, — не соглашалась упрасиваемая девица, теребила прядь распущенных длинных волос.

И Пёха выпустил девицу из виду, потому что из-за помойных баков «Баня» нарисовался наконец-то вахлак.

— Чего зевалом торгуешь? Ха-ха! Шпиль велел сказку просвистеть, маракуюшь? Подгребай к воротам.

Пёха попробовал незаметно для вахлака осмотреться и пожалел, что не сделал этого раньше, на девиц пялился.

— Эх, дружбан, скорей бы домой, в Осташков. Пора круиз законцовывать, обрыдла Москва до изжоги сердечной! — топтался он и тянул время, но уже и надо было на что-то решаться. — Гони верхушку подельную и билет... уговор нарушаешь, билет гони, а Шпилю передай...

Вахлак приметил, что Пёха с места не двинулся и шарится по сторонам, и полез за пазуху, отмахнул испытанный шабер.

— Тебе спички? — спохватился Пёха и сам полез за пазуху. — У меня зажигалочка, большой огонь — для друзей. Или тебе «Беломорцу» курнуть на халявку? — но вытащить ствол не сумел.

До той поры мирно гулявшие на крыльце с вениками в охапку двое жлобов поспрыгивали со ступенек и заломали его с разгоном, и не получилось у Пёхи на равных с ними стыкнуться.

— Заподло ведь, борзота мелкая, при случае обещаю вам качественный замес, — процедил он сквозь зубы и завыл: крутанули ему до предела, до хруста руки: — «Потерял я любовь и девчонку свою...»

Так, с песней, и поволокли его за помойные баки.

Катран содержался в «Светлячке». Не в самом буфете, конечно, в зальчике за посудомойкой, глухой перегородкой отделенном от общей стойки, вход со двора.

Из знакомых Пёхе блатарей на катране сегодня обретались Шпиль и Бельмо, для них он шею вывернул и улыбочку скорчил, когда жлобы в зальчик приволокли.

И упрощенная-таки на вечерок длинноволосяя девица тоже была здесь, и ей Пёха успел улыбнуться.

— Комар-в-жопу всем грузинам! — следом за улыбками приветствовал катран головник, и его приветствие не понравилось Шпилю, потому что Шпиль был грузин.

— Глупой ты дурак! — пробурчал Шпиль.

— Извиняйте, кепку снять не могу!

— Отпустите его, — приказал Шпиль. — Пускай разденет головной убор.

Жлобы Пёху отпустили, но сейчас же обнял его предусмотрительный Бельмо.

— Где ствол?

— У нас,— успокоили Бельмо жлобы, но Бельмо сам уже понял про ствол и ошупывал Пёхины штанины.

— Такие люди — и без выкидух? — удивился он, не найдя и ножа.

— Академик мокрых дел, лишнего не носит,— объяснил Шпиль отсутствие ножа.— Видите, даже не спешу делом интересоваться: там, где Пёха сработал,— без наколки!

— Заподло, Шпиль, при населении интересоваться,— укорил Пёха.— Выдирай из нажопника билет и баши верхушечные, и расстанемся по-хорошему.

За население Пёха держал сидящих за игральным столом трех ему незнакомцев. Играли те в очко, до этого обидного для них слова внимания на Пёху не обращали, даже голов в его сторону от карт не отворачивали.

Обрюзгший очкарик принял от банкмета карты, мелькнул взглядом и, уйдя от игры, устался на Пёху.

Второй игрок, по виду — красавец из сутенеров, принял карты, позволил банкмету:

— Себе...— и процедил для Пёхи: — Кто здесь население, в натуре? Ты не в Бутырвальде, дружанчик-корешок! Ты, как тебя там, Пёха-талант? Разуль зевальник!

— Ты с бодуна лёжки спутал? — подержал сутенера банкмет.

— Ему что диван, что шконка в Бутырках! — загоготал очкарик, сидящий и в самом деле на домашнем диване, а не на тюремной койке.

— Мы разве знакомы? — удивился Пёха.— Кто меня вам представил? Ты, Шпиль? Или ты, Бельмо? Ты хочешь, Шпиль, я среди вас засвечусь? Через лишние языки всех коней запалишь.

— Заткнись! — оборвал его Шпиль.— Сейчас Скальпеля ждем. Просвистишь ему про дело — и сваливай в свой Осташков. Дальше не твоя забота.

— Разве я при деле? — бесполезно дурил Пёха.

— Завязывай аэрибуку мастёрить, всё, всё! — Какого такого Скальпеля мне вешают, я не понимаю.

Шпиль заорал на Пёху по-грузински.

— Кстати, Шпиль, баба Тугрикова не башлялась, прими от меня запрос.

— Ты и ее сделал? — испугался Бельмо.

— Не слушай его, он женщин не трогает.— Шпиль надвинулся на Пёху: — Тебе сказали — погрею, значит, погрею, прокурора бери на слюнявку. И всё, всё! Притухни сразу сейчас, если ты не бикса гунявая!

Пёха понял, что словами никого не пронять, и отошел, куда Бельмо жестом позво-

лил, расслабился возле занавески, отделяющей зальчик от посудомойки.

Три девицы вкатили в зальчик сервировочные столики и принялись над ними гужеваться, приговариваясь разносить, и Пёха опять улыбнулся длинноволосой.

Возле занавески минутно помечталось Пёхе, что глядишь-чем-черт-не-шутит, доберется он-таки назавтра до Осташкова, и не сыграют с ним в жмурки блатари, и обойдется без милицейской наколки.

Интерес к Пёхе поиссяк, игравшие разорвали новые колоды. «В деберц на высадку?» — предложил очкарик, и с ним согласились, начали в деберц, а длинноволосая девчонка разнесла коньяк, как вдруг на улице сильно пнули несколько раз в помойные гонги, и катран на мгновение оцепенел.

Гудение на улице улеглось, и жлобы вышли за дверь, а Бельмо прикрыл салфеткой выложенный на игральный стол Пёхин пистолет и скорчился в боевой стойке, отпрянув от резко распахнувшейся двери.

Шпиль привстал навстречу Скальпелю, и они обнялись.

— Как и всегда, пустой,— удовлетворился ошупыванием Шпиль.

Скальпель осклабился.

— Твои моего телка не пустили, напрягли там в прихожей и не пустили,— пожаловался он и проверил, пнул каблуком уже на засов притворенную входную дверь.

— Все телки за дверью, потому что нечего им в наши дела соваться,— успокоил его Шпиль и под руку подвел к сервировочному столику.— Девочки, угостите гостя... Здесь тебя никто не тронет, дорогой, честью отвечаю.

— Угощай, черт с тобой.

— Закусочки... Коньячок раздобыл твой любимый, албанский.

— Албанский? Бутылку высосу!

Скальпель выпил одну за другой несколько рюмок и подъял с тарелок некоторые закуски.

— Ну вот, славно помянул своего компаньона, Тугрика незабвенного, царство ему...— с трудом обрадовался Шпиль, нервно теребя край топорщащейся на игральном столе салфетки.

Скальпель обмер.

— Пёха, расскажи ему,— ласково попросил Шпиль.

Пёха прочистил горло и вздохнул: окон в зальчике не было.

— Умер Тугрик,— сообщил он.— Как выражаются грузины, пока еще умер. Первый раз в жизни, прикидывайте, Тугрик потерпел заделался, ну надо же, передерганный случай! — И пропел в короткой тишине: «Я надену оста-а-ши, я тягухи натя-а-ну, к Селигеру побре-е-ду...»

Скальпель завыл.

— Не очкуй! Мы к тебе с открытой душой и туго набитым карманом. Дай выход на Сверчка или к Губану в систему. Будем вместе работать!

Скальпель заложил в рот пальцы и облевал сервировочный столик.

— Э-э, ты не понял... Кто тебя травить хочет? Никто не хочет! Нам Тугрик мешал. Мешал! Сам знаешь, весь товар за прошлый месяц мимо нас ушел. Ты не ведись, подумай. Долю свою получишь, все прежнее оставим и даже с горочкой.

Скальпель притянул к себе длинноволосую девчонку.

— Эту хочешь? Дарю, развлекайся, дорогой! — по-своему понял намерение Скальпеля Шпиль.— По рукам ударяем?

Скальпель наматал волосы слабо упирающейся девчонки себе на руку и утащил ее за занавеску.

— Прямо сейчас ее хочет? — еще больше удивился Шпиль.

Присутствующие тоже не поняли, и сутенер хохотнул:

— Нашел время, мог бы и после.

А Пёха брезгливо хмыкнул и отвернулся от занавески.

В посудомойке загремели котлами, упал на кафельный пол противень, что-то гадко заклокотало.

— Бельмо! — коротко приказал Шпиль, и Бельмо шагнул к занавеске, но было поздно.

Из посудомойки появился Скальпель и представил на обозрение катрану отрезанную голову длинноволосой девчонки.

— «Потерял я любовь и девчонку свою, но назло вам ее я найдууу!» — пропел в тишине Пёха.— Арриведерчи, Сверлячок, я привета жду с почтовым переводом! — И прыгнул на выход, уворачиваясь от выкинутой Бельмом ноги, сдернул засов, открыл дверь, но тут же отлетел к игральному столу: жлобы сторожили исправно.

Скальпелю надоело удерживать голову на вытянутой руке, а костюм пачкать кровью не хотелось, и он стал отрывать опутавшие руку волосы.

— Натурально, спалили мой Светлячок. Знать бы, ссуду за полугодие не выплачивал,— сказал, не особо, впрочем, сокрушаясь, банкомет, он же — председатель банного буфета.

— А если на этого козла прыгучего девчонку наколем? — предложил Шпилью обрюзгший очкарик, небрежно обозначая оттянутым мизинцем вальяшуюся у него под ногами Пёхину кепку.

— Как говорится, нетухлый базар! — обрадовался предложению Шпиль.— Пёха, принимай ходку, на зоне греть будем, слово даю! — И сразу переключился на Скальпеля, считая, что с головником решено: —

Ты, слышь, чтоб в последний раз такие вертушки, учти! Прощаю, потому что ты случайно решил меня не уважать, так чувствую!

Скальпель размотал волосы и отфутболил голову за занавеску.

— Уговорили доброго дяденьку.— И пожаловался: — Спать плохо стал последнее время. Врачи рекомендуют тазепам по таблетке три раза в день и купание в хвойно-солевых ваннах. Устал от стрессов, нервы ни к черту.— Он подошел к Пёхе и вытер об него испачканные кровью ладони.— По совести, это тебе, Шпиль, надо было головушку отрезать... Шинковка тупая попалась, перепачкался весь, пока резал, дрись козелья!

Пёха разглядывал испачканную кровью куртку.

— Ты, братан, бери девчонку,— посоветовал Скальпель Пёхе.

— Начинай, Бельмо! — приказал Шпиль, и Бельмо ударил Пёху ногой в грудь, но удар его пришелся на вовремя выставленный блок.

Головник вырубил Бельмо, ткнув коленом в низ живота и, всадив локоть под кадык, расчетливым бодком сшиб с ног красавца из сутенеров. Он уклонился от выскочившего из-за стола председателя банного буфета, обошел его и сломал ему шею ударом ладони сзади, и к Скальпелю дотянулся — вскользь, но с прокрутом достал до глаза кошачьей лапой.

А вот салфеточку сдернуть с игрального стола, дотянуться до испытанного своего ствола — не повезло, подоспевшие из прихожей жлобы упредили отчаянный Пёхин прыжок, разогнали Пёху, кирпичная стена задержала.

Поскуливающий от боли Скальпель уполз в посудомойку, вернулся в зальчик с окровавленной шинковкой и примерился к лежащему у стены Пёхе, заскулил громче.

— Не добивай его, на зоне достанем,— посоветовал увечному Шпиль и скривился, исподволь изображая для публики Скальпелево кровавое увечье, но только жлобы из вежливости хохотнули да очнувшийся Бельмо кашлянул, пытаясь изобразить смех.— Ты, Скальпель, не суепись, на Пёхе Тугрик висит и много еще кто висит, так что девчонку твою он как миленький возьмет!

Скулеж перешел у Скальпеля в гнусное утробное мычание, он перевернул Пёху лицом к свету и ткнул ему шинковкой в глаз.

— На зоне достанем,— повторил Шпиль.

— Итак,— следовательно районной прокуратуры посмотрел на часы,— к одиннадцати тридцати следующего после убийства дня я не только успел предъявить обвинение в совершении предумышленного убийства из хулиганских побуждений,— он потряс листком-бланком обвинения,— подозреваемому ли-

цу — водителю АТП города Москвы Пильщикова С. П., но и от упомянутого лица безмерно утомиться.

Пильщиков рассматривал стоявший на подоконнике кактус с насаженными на колючки сигаретными бычками.

— Если я вас правильно понял, подозреваемый, подписывать протокол вы не будете? — не в первый раз спрашивал следователь и не в первый раз одновременно с вопросом выдвигал верхний ящик стола и выкладывал на стол, стараясь ненароком придать своим действиям вполне прозрачный смысл, толстый том УПК РСФСР с комментариями; он даже открывал первую страницу и вслух вычитывал выходные данные тома: — Издательство «Юридическая литература», Москва, 753 страницы!

Вычитывал, хотя ознакомлять подозреваемых и обвиняемых с выходными данными перед тем, как врезать книгой по лбу, вряд ли было так необходимо.

— Последний раз повторяю: «Юридическая литература», Москва, гарнитура «Гармонд»!

Следователь ухватился за книгу двумя руками и что есть силы врезал Пильщикова по голове.

Пильщиков унял слезы и выперхнул носом кровью.

— За что вы меня бьете?

— Привыкай, убийца!

— Я не убийца. А вот вы... я жалобу напишу, вы почему меня бьете, гад такой?

Следователь стал внимательно рассматривать, быстро ли заживают разбитые на прошлой неделе во время допроса костяшки пальцев на правой руке, и, решив, что медленно, стал костяшки тщательно обсасывать.

— Вам, гражданин Пильщиков С. П., дается разъяснение: подпись фиксирует только факт предъявления обвинения. Ясно? Изложите причины отказа от подписи.

Пильщиков тяжело и часто сглатывал, угнетая слезы, и причины излагать не хотел.

— Ты, может, языком судопроизводства не владеешь, душегуб? Не просекаешь сущность юридической терминологии?

Следователю надоело спрашивать, он отобрал у Пильщикова постановление и подчеркнул, где положено, что «прочтено лично», «содержание предъявленного обвинения разъяснено» и прочую формализацию — по порядку.

— Надеешься, прокурор тебя допросит? — Следователь с шумом засосал разбитый кулак. — Развелось вас, подонков,— и размашисто, наискосок подписал постановление. — Я полагаю, в пресс-хате тебя быстренько убедят! Давить бы вас всех без разговоров... В 435-ю!

— По двери не колошмать, хуже будет,— предупредил Пильщикова, сочувственно его оглядывая, лейтенант из охраны, отпер последнюю раздвижную коридорную решетку и остановил конвоируемого возле камеры. — Ты, парень, подпиши, что просят, а то здорovia лишат... на всю жизнь. — Последние слова были сказаны лейтенантом очень тихо и как будто не Пильщикова вовсе, а кому-то другому, хотя никого рядом не было.

Лейтенант снял засовы, и Пильщиков шагнул в грязь, собравшуюся в углублении у порога. Навстречу новичку вскочили со шконок, как представилось Пильщикова поначалу, двое эпилептиков. Он поначалу и увидел-то два разорванных в крике рта, бельма закатившихся глаз, ничего больше.

— Опи, Опила, Опи! — кричали эпилептики, и в лицо Пильщикова летела пена с их обструпившихся болезнями губ. — Опилок! — разобрал он наконец, орущие просто не трудились произносить окончание.

— Опилок? — переспросил он. — В смысле?

Эпилептики перевели дух, и один из них отвернулся от Пильщикова, прогнусавил другому:

— Срам, он базарит: «В смысле?»

— Ты, Бритва, уже мурлом не щелкай, это Пильщиков, водила автобусный, пассажира фомой замочил по хулиганке.

— Вот-те — нате, болт в томате! Как говорится, и вот он здесь, а морда чья-то в морге!

— Ты, Бритва, в масть сморозил! Ты прикидываешь, он обвинение подписывать не захотел.

— Так он мокруху заделал и в несознанку пошел?

— Опилок, ты в несознанке?

— Да,— поразмыслив недолго, с гордостью подтвердил Пильщиков.

— Бритва, он базарит: «Да»!

Бритва вздохнул, собираясь принять нелегкое решение.

— Хичкок,— негромко позвал он, и Пильщиков заметил третьего обитателя камеры, тот укромно сидел на корточках в углу, опершись о стену спиной и с головой спрятавшись под драным ватником.

Хичкок взвыл от ужаса, но, трясаясь, покорно выпрямился, сбросил с себя ватник и сжался перед Бритвой, безнадежно вереща и поддывая.

— Срам, делай угол,— предложил напарнику Бритва и вломил Хичкоку в лоб чукотский поцелуй.

Срам оказался на месте и встретил отлежавшего к нему Хичкока точным ударом ноги в ветошную задницу. Бритва, в свою очередь, решил Хичкока не останавливать, чуток уклонился, и тот обозначил лицом неровную сизовскую стенку, криво осел на ват-

ник, оставляя на штукатурке кровавый след.
— За что вы его? — вырвалось у Пильщикова.

— За тебя, — объяснил Срам.

— Тебе его жалко, — догадался за Пильщикова Бритва.

— Если — да?

— Садись и пиши. — Бритва галантно указал на стол: из-под стопки аккуратно сложенных чистых листов бумаги торчал колпачок дешевой авторучки.

— Про дачу ложных показаний подпisyвал?

— Нет.

— Пожалей Хичкока, у него жена, дети, мать-старушка, сестра — инвалид второй группы...

— ...хотя и ходячая.

— Ходячая, но — инвалид, иждивенка. Обычное дело, подпиши!

— И как ваш опыт показывает, обычное дело, жалеют Хичкока? — спросил Пильщикова, и его обреченная усмешечка не понравилась Сраму.

— Бритва, этот фраерской самец задает третий вопрос, — пожаловался Срам.

— Борзых, пухлых и ломовых у нас в парашу сбсками макают, — предупредил Пильщикова Бритва.

Пильщиков упрямо замотал головой и сжал кулаки.

— Он русских слов не понимает, — сделал вывод Срам.

— Придется лепкой убеждать, — огорчился Бритва. — Срам, делай угол! — И вцепился Пильщикову ногой в грудь.

Срам поймал Пильщикова, развернул к себе и вцепился двумя пальцами в кадык, удерживая жертву на расстоянии вытянутой руки.

— Бритва, предлагаю целлофаночку! — сказал Срам.

Бритва согласно кивнул и достал из-под нар целлофановый пакет. Вместе со Срамом они натянули пакет Пильщикову на голову, повалили Пильщикова на пол, уселись на него и приготовились ждать, уминая задницами бунтующее тело.

Дневальный перевез Пёху на каталке из палаты бутырской больницы в следственную комнату. Там Пёху уже ожидал старший следователь районной прокуратуры.

— Здравствуйте, Сапёхин, — первым поздоровался следователь. — Ты, я посмотрю, симулянт, на каталке разъезжаешь.

Пёха криво улыбнулся, стараясь не морщить занимающий пол-лица пластырь, и уселся, свесив с каталки ноги.

— Здравствуйте.

— Чтобы в ходе следствия не возникли такие досадные недоразумения, отравляющие

мою и без того несладкую службу, и в особенности отношения с прокурором... — Следователь замаялся, подбирая слова. — Надо нам совместно уточнить некоторые вопросы. Получится разговор, Сапёхин?

— Всегда с открытой душой! — И Пёха сразу начал торговаться — с самой безобидной в его положении статьи Уголовного кодекса. — Пришел я несчастную в состоянии необходимой обороны. Пишите, она меня шинковой капустной ударила в глаз, а я ее — тем же предметом — по шее. — И Пёха в подтверждение своих слов показал на занимающий пол-лица пластырь. — Как ни верти, тяжкое телесное повреждение!

— Нет притирки, — возразил следователь. — Ты ей голову отрезал, а мог бы просто глаз подколоть или, на то пошло, в живот пырнуть. Раз голову отрезал, это уже зверство, на зверство побуждения нужны. И потом неизвестно, может, она сама от тебя оборонялась, а не наоборот. Попробовать пришить тебе заодно попытку изнасилования? Возиться не хочется. К тому же путем поглощения меньшего срока большим...

— Начальник, личность потерпели не учитываете. Про изнасилование этой шалавы ни один суд не поверит, и особенно — про оборону от меня. — Пёха выпятил грудь и поиграл мускулами. — Вообразите, начальник, красивый трезвый мужчина при деньгах и модном прикиде рисуется в буфете «Светлячок» и...

— Ну, положим, для затравки суд твою личность второзаходную учтет. А голову ты несовершеннолетней отрезал.

— На пушку, начальник? — с надеждой спросил Пёха.

— За кого держишь?

— Извините, сорвалось. Так может, я ее в состоянии аффекта? Или нет, лучше, она мне из ревности глаз вышибла, а я ее за это — в состоянии аффекта!

— Из мести?

— Нет, это вы мне до восьми шьете, многовато.

— Ладно, так и быть, пусть будет убийство на почве неприязненных отношений... внезапно возникших?

— Со смягчающими?

— С отягчающими, милый мой, и никак иначе. Согласен? И чтобы без финтов!

— Согласен.

— Еще какой-нибудь эпизод вспомнишь? — Смысла нет, начальник. Ищите, но зря время потеряете, я давно от дел отошел.

— Ладно, завтра постановление принесу. — Следователь вызвал конвойного, и Пёха улегся на каталку. — Ты откуда родом, из Осташкова? — припомнил следователь.

— Осташ, природный.

— Ладно, учтем. Может, в порядке исключения поможем на родине наказание от-

бывать.

— Благодарю, начальник.

На суде Пильщиков одного не мог понять: каким образом разыскали почти что всех пассажиров того злополучного рейса к «Веселым грачам». Кого-то он узнавал сразу, к кому-то долго приглядывался, кого-то не узнавал вовсе, но пассажиры узнавали, подтверждали, показывали — не раздумывая, дружно свидетельствовали, говорили одно и то же, в показаниях друг другу не противоречили, и Пильщиков не слушал их, заткнул уши ладонями.

— Зачитываются по требованию адвоката обвиняемого материала, представленные к распорядительному заседанию суда по делу Пильщикова С. П., 1966 года рождения, ранее не судимого, уроженца Осташковского района Калининской области, временно проживающего в городе Москве. «О механизме получения повреждения Пильщиков заявил, что, вставая утром с койки, упал, вследствие чего получил закрытые переломы ребер, а также сотрясение мозга средней степени тяжести. По жалобе администрацией следственного изолятора проводилась проверка. По результатам проверки вынесено постановление в отказе от возбуждения уголовного дела», — доносился откуда-то издалика властный, безжалостный голос.

Пильщиков стиснул зубы и захрипел, забился о грязные перила судебной клетки.

Пильщиков мытарился, сидя на полу в битком набитой этапной камере. Прервалась на середине зудевшая по радио песенка, и заработал местный радиозвук:

— Внимание! Послушайте сообщение. В камере 435 осужденные Завражнев и Глыбов систематически издевались над заключенным Добродеевым, нанесли ему тяжелые телесные повреждения, повлекшие за собой смерть. Завражнев и Глыбов в настоящее время находятся под следствием. Во всех случаях надругательства и насилия обращайтесь к администрации. Повторяю. Во всех случаях надругательства и насилия обращайтесь к администрации!

Последние радиозвучные слова увязли в общем давёжном хохоте. Пильщиков попытался давиться вместе со всеми, но общее веселье кончилось дикой забавой: некий куражный цыган пинками выгнал из-под нар на середину камеры полуголового паренька с дебильной ухмылкой, в разорванных наподобие юбки трусах и заставил его танцевать ламбаду.

Пильщиков отвернулся к стене и до боли вдавил лоб в грубую штукатурную рыхлатину.

В соседней камере на лучшем месте под окном, у защитой фанерным щитом батареи привольно устроился Пёха.

За столом играли в самодельные карты и на сообщение администрации не отвлеклись, только спиной загораживавший дверной «волчок» шестерка скопился на радиоточку и снова сверзил понурую голову на грудь: знай свое место, стой и не вертись.

На промежуточной станции азиат-конвойный выдернул из камеры спецвагона осужденного — понадобилось подцепить шланг от поданного на пути грузовика-септика к спецвагонной параше. Дернул, чтоб отказа не было:— Эй, кто здесь козел, рви на цырлах! — обиженного из-под нар, давешнего дебильного паренька в разорванных трусах, и удивился, когда обиженного затолкал обратно и вышел к азиату куражный цыган, любитель ламбады.

— Шланги цепляем! — предупредил конвойный цыгана.— Понимаешь, парашу шлангом цепляем. Того чушкá,— конвойный показал под нары,— чушкá давай.

Но цыган усмехнулся, не замечая недоуменных взглядов из камеры.

— Не надо чушкá, на воздух хочу.

Разматывая шланговую катушку к спецвагону, цыган заговорил с азиатом:

— Ты, азия, в отпуск желаете сорваться? — И сразу объяснил, не дожидаясь коверканых матерков: — Когда в Осташкове на перегрузку двинем, одного приятеля тебе вытолкнут из строя. Смотри старайся, не похерь свой отпуск... азия!

— Работать, молчать! — прикрикнул на цыгана конвойный, когда понял, что цыгану нечего больше добавить к сказанному.

Наутро спецвагон отцепили от состава и загнали маневровым тепловозом на дальние пути Осташковского железнодорожного узла.

Осужденных посадили на корточки на асфальтовой площадке у пакгаузов, сбили в пятерки и прогнали на счет.

Фуры — обитые некрашеным железным листом безоконные автобусы — подогнали к границе станции, ближе не смогли подъехать, и строй осужденных от пакгаузов до фур еще надо было гнать через железнодорожные пути.

Сколько ни пытался Пильщиков заглянуть в просветы между вагонами, ни здания вокзала, ни тем более знакомого каждому осташу памятника на привокзальной площади, ни даже кусочка самой площади он не увидел.

Пересчет завершили. Офицеры отдали приказания сержантам, те проверили расстановку конвойных.

По команде: «Этап, встать!» осужденных

подняли, и, шагая не в ногу, строй двинулся на фуры.

— При попытке к бегству оружие применяется без предупреждения! Передним не торопиться, задним не отставать. Из строя не выходить. Шагом марш! — запоздало дали команду удалявшиеся от строя офицеры, они не захотели по путям ботинки мазутом муслить, пошли по тропинке к переезду, в обход.

Азиат-конвойный нетерпеливо передернул затвор, передернул в самом начале движения, опустил предохранитель и положил палец на спусковой крючок.

Как только двинулись, строй потерял прежний пятерочный порядок, и цыган, расталкивая впереди стоящих, протолкался в начало и пристроился позади Пёхи.

Цыган вытолкнул Пёху, когда прыгали с пакаузного пандуса.

Азиат-конвойный еще раньше заметил перемещение цыгана, поэтому вмазал очередь в выпавший из строя ватник раньше других конвойных...

Вмазать-то вмазал очередь азиат, да с первой не погал, от волнения предохранитель на короткие выставил, пока на длинные переводил, дороую секунду и потерял.

И ватник ловок оказался, даром что на локоть упал, а перекатился к стенке пандуса, очередь переждал и только потом с места к строю прыгнул через стенку, совсем немного не долетел, метра два. Здесь бы его и взять на длинную очередь, но азиат второй раз стрелять с прежнего положения поостерегся, запросто мог полстроя положить, если опять неточно. Он пробежал несколько шагов, меняя сектор обстрела, но здесь осужденный из последней, на удачу Пёхе — неполной, шеренги рванул ловкача к себе и в середину незаполненную спрятал, выпрямил, поддержал и прилип к нему, чтобы опять из строя не выбросили. Ловкач и сам опомнился, пальцы в «кошачью лапу» растопырил и вертит единственным глазом во все стороны — попробуй сунься!

А строй с первым же выстрелом замер, осужденные притиснулись друг к другу, сжались, кое-кто на корточки опустился.

Тем временем подоспели офицеры — так замуслились мазутом ботинки, ничего-то не выиграли офицеры своей обходной тропинкой — и положили этап в грязь.

— Лечи! Лечи! Не двигаться! Руки за голову!

— Кто толкнулся, суки? — прошипел Пёха, ватник-ловкач, упираясь подбородком в прирельсовый мазутный натек. — Узнаю... узнаю, лохи позорные...

— Не разговаривать! Не шевелиться! — суетились вокруг строя офицеры и помахи-вали пистолетами.

Начальник конвоя распекал азиата:

— Ты почему «стой!» не орал и вверх не стрелял? Я не понял, чурек ты дубовый? Ты чего, на, добиваешься?

— Попытка побега, — не терялся азиат. — Оружие применяется без предупреждения.

— Где ты попытку увидел, я не понял!

— Этот бежать хотел. — Азиат подошел к Пёхе и пнул его сапогом в бок.

— Споткнулся, начальник, — возразил Пёха вполне миролюбивым тоном. — Обувь скользкая, начальник, проверь подметки. Дело почитай, начальник, я не склонен.

— Молчать! — заорал на Пёху начальник конвоя. — Разберемся. Суток пятнадцать камеры я тебе обещаю. — И пошел вдоль лежащего в грязи этапа самолично расставлять на дистанции конвойных.

Пёхе надоело разговаривать в чьи-то, не видно, ботинки, и он вывернул голову, скосив глаз на своего выручателя. — Откуда родом? — незаметно для озлившегося конвоя ткнул он выручателя локтем.

И Пильщиков вывернул из шапки набок лицо, шербата улыбнулся.

— Местный, километров тридцать отсюда, деревня Жуковка.

— Зёма? — почти обрадовался Пёха. — Первозаходчик, раз домой сидеть отправили. Будет тебе поддержка, будет... — И осекся, пытаясь угадать опухшее, землистого цвета молодое лицо и раскрытый в улыбке рот с обломками зубов. — Водила автобусный! — выдохнул Пёха.

— Угадал. — Пильщиков до крутой боли скособолил поврежденную в СИЗО шею и взгляделся в одноглазого, но не признал.

— После камеры вернись в отряд, будет к тебе, зёма, большой базар.

Пёха дотянулся до регулятора радиоточки, но больше не прибавлялось, а слушать тихо оркестровую пискотно не хотелось, и он выключил радио совсем. Лампа дневного света над дверью перебивала тусклый, но живой свет из окошка. До лампы Пёхе было не добраться, она из дежурки выключалась, а от буйства насельников ПКТ ее защищал частый решетчатый кожух. Пёха занялся ощупыванием нычек в стенных рытвинах, но смог отыскать спичечную головку, больше ничего. Сера безнадежно отсырела, и Пёха ушелбанил находку в дальний угол. Ушелбанил неудачно, спичка на полу осталась, из «волчка» заметно, пришлось подойти и ботинком в щель между половицами затереть.

В коридоре загремели судками. Пёха приложил ухо к внутренней, решетчатой двери и прислушался. Снаружи звякнули подвижной «волчка».

— К столу отошел!

Пёха подчинился, и прапорщик-контролер открыл наружную, цельнометаллическую дверь, а дневальный сунул в раздаточную щель кусок хлеба и кружку кипятку.

— Начальник, граммы проверь, начальник! — потребовал Пёха.

Контролер отодвинул от окошка дневального и встал к решетке, чтобы лучше рассмотреть камерника. Принять решение было нелегко, поэтому контролер смотрел долго: зек незнакомый, можно ошибиться.

— Пайку в руки возьми сначала.

— Начальник, не первую ходку делаю, проверь граммы!

— Принеси, — приказал контролер дневальному.

Дневальный придвинул к решетке столик с весами.

— Взвешивай.

Дневальный положил пайку на весы.

— Плюс-минус пять грамм, убедился?

Пёха убедился. Больше качать права нельзя было даже со скуки.

— Еще раз возбужнешь, запишу в журнал голодовку, — предупредил контролер и закрыл наружную дверь.

Пёха перенес с кормушки на стол свой обед и замер, успокаиваясь перед едой.

После бани отрядники столпились в тесном хозсекторе, примыкающем к банно-прачечному строению, и перекуривали в ожидании, когда с внутренней вышки расщелкнут автоматический замок на калитке, пропустят к отрядному общежитию.

Пильщиков притушили за секторной огородке и слухом провозжал притормозивший за внешней лагерной стеной «Икарус». Где-то там, на воле, была близкая, но невидимая для Пильщикова автобусная остановка, и знакомо шипели открываемые двери.

— Опилоч!

Пильщиков встрепенулся. Позвал его цыган. Пильщиков видел, как тот сговаривался с бригадиром, и на тебе! — про него, оказывается, сговаривался.

Щелкнул и призывно загудел автоматический замок на калитке, и отрядники повалили из банного сектора, снаружи разобрались по пятеркам, построились.

— Пильщиков, останешься дрова колоть, — приказал бригадир.

Бригадир вышел из сектора последним, закрыл за собой калитку и на Пильщикова не оглянулся, привык, что от его приказаний не отговариваются.

— Опилоч! — позвал за собой цыган, и они вошли в предбанник.

— А дрова? — испугался Пильщиков.

Цыган неопределенно хмыкнул.

Они прошли темным коридором мимо раздевалки и очутились в двери банного скла-

да. Цыган вежливо постучал и, выждав приличное время, толкнул Пильщикова внутрь.

Внутри, сидя на цивильном кресле, отхлебывал из кружки горячий чифирь безногий банщик Сердяга.

— Опилоч, по бакланке мокрому заделал, — представил Пильщикова цыган.

Сердяга отставил кружку на примус, и чифирь сразу же забурил.

— Тот самый, хулиган автобусный? — уточнил Сердяга.

— Он, — подтвердил цыган и добавил смешное: — Двенадцать лет тянуть намеревается!

И Сердяга усмехнулся.

— Ну тогда поведай нам честно, зачем под пули полез, хулиган?

— От ментов спасал! — У Пильщикова появилась надежда.

— А кого ты спасал... от ментов?

— Товарища по этапу!

Сердяга обернулся на цыгана.

— Под дурачка косит?

— Проверяли. Пёху он на перегрузке первый раз увидел, в Бутырках они в разных камерах сидели, по делу не стыкались.

— Так чего же ты полез, куда не просили, революционер?

— Отпетушить его, и все дела! — предложил цыган.

— Успеется. Дадим ему альтернативу, — решил Сердяга и приказал Пильщикову: — Подойди поближе. Завтра нарядят тебя на цементный завод, в мельничный цех. Был когда-нибудь в мельничном цеху?

— Да.

— В тот же цех и вырученного тобой... от ментов Пёху-таланта отправят. Дальше продолжать или догадался?

— Продолжать.

— Из мельничного барабана в Пёху должен шарик вылететь.

— Какой шарик?

— А говорит, на заводе был, — обиделся Сердяга. — Цыган, объясни революционеру.

— Барабан здоровый крутится, мельница крутится, глина и шарики железные вперемешку крутятся, глина размальвывается...

— Клинкер, — поправил Сердяга.

— Глинкер размальвывается, так вот... все трясется, трясется, шарики — бжж... иногда вылетают.

— Подберешь с пола шарик и Пёхе в мозги добавишь. Мне доложили, ты специалист мозги выбивать?

— Пассажира монтажкой уделал из побуждений, мне смешно, уделал с одного удара, а даже барахла не раскурочил! — засмеялся цыган.

— Пёху сделаешь, шерсть тебя поддержит. Без обмана, в мужики выйдешь.

— Ну выкашливай! — заторопил цыган.

— Сделаю,— прошептал Пильщиков.

— Цыган, наколи ему гладиатора хулиганского за мой счет.— И Сердяга занялся цифиром, дал понять, что разговор окончен.

— Не хочу я наколок,— заартачился Пильщиков.— Невинный сижу!

— И я невинный.— Цыган прокалил на огне примуса сапожную иглу.— Тебе повезло, я художественно мастерю. Заголяй плечо!

«Внимание! Осужденным второй смены приготовиться к построению на работы, всем построиться побригадно у отрядных общежитий!» — прохрипел по зоне репродуктор.

— Алё, осужденный — окликнул Пильщикова замполит.

Пильщиков повернулся к нему лицом и встал ровно.

— Пыл-шы-коу! — прочитал замполит на куртке.— Бирка меня удовлетворяет, форма одежды также не нарушена... А ты, Пыл-шы-коу, всё жалобы пишешь?

— Так точно.

— Советую мотать срок без жалоб и пытаться твердо встать на путь исправления. Я с твоим личным делом знакомился, приговор у тебя справедливый.— И замполит дружески врезал Пильщикова по плечу, по саднящей со вчерашнего наколке.

От боли Пильщиков боком осел на огородку, но стерпел, не закричал.

— Мать твоя приходила, Пыл-шы-коу, я с ней беседовал, успокоил, как мог... Да что поделаешь? Веди себя хорошо, через полгода свидание разрешим.

Пильщиков закрыл руками лицо.

Утром следующего дня Пильщиков высматривал на зарядке Пёху, но не увидел его. Не видел он его и среди напрягавшей физкультурников отрядной шерсти, скучковавшейся в правом дальнем углу барака, у окна, и в сектор на зарядку не вышедшей.

— Не сегодня, Господи,— взмолился Пильщиков и почти уверился: — Не сегодня! Из-за стены донеслось несколько пулеметных очередей.

— Побег? — громко удивился кто-то глупый.

— Спокойно! — прекратил догадки контролер.— Кино снимают про войну, целый день на Селигере снимать будут.

Неравнодушные перекинулись словом про стрельбу и про кино, но верхнее начальство решило, что осужденным вредно волноваться выстрелами, и противопоставило шуму нравовучения замполита из лагерного репродуктора:

— Осужденный, пойми! Человек со слабой волей не может явиться с повинной и добровольно погасить иск. Явиться с повинной и добровольно погасить иск может только человек с сильной волей! Человек со слабой волей пишет жалобы и юлит перед справедливостью государственного законодательства. Твердо вставший на путь исправления не пишет жалоб и не добивается пересмотра своего дела!

На переключке перед сменой Пильщиков увидел в строю Пёху.

— Мельничный цех! — зачитал из разрядки дежурный офицер.— Сапёхин, Пильщиков.

— Я,— отозвался на Сапёхина Пёхатант.

Нарядчик поставил Пильщикова выгребать за окно разлившуюся по полу клинкерную массу.

— Если оттуда брызнет,— нарядчик показал на горловину слива под потолком,— надо бежать.

— А шары из мельничных барабанов часто вылетают? — спросил Пильщиков.

— Здесь работай, под барабаны не ходи. Норму не сделаешь, определю в ШИЗО.— И ушел.

Пильщиков бросил лопату, спустился под барабаны, выбрал из валявшихся на полу шаров подходящий по размеру и вернулся в сливной отсек.

У окна, спиной к Пильщикову, опираясь на брошенную им лопату, стоял Пёха.

— Я обещался к тебе с большим базаром, зёма?

Пильщиков громыхнул последней ступенькой гнилой металлической лестнички и наступил в клинкерное месиво. Сразу бросать не получалось, как Пильщиков ни примеривался, и он сделал несколько шагов по предательски чавкающей жиже.

Стриженный затылок через незастекленное окно освещался ярким солнечным светом, и Пильщиков даже прищурил глаза.

— Какой срок собрался мотать?

Кожа на затылке дернулась, это Пёха наморщил лоб в ожидании ответа.

— Двенадцать.— Пильщиков занес руку для броска.

— Не вытянешь двенадцать, зёма.

Рука задрожала.

— Ни за что сижу.

— Знаю, поломанный инструмент в салоне держал, на заднем колесе, прикидывал, не позарится никто.— Пёха повернулся к Пильщикову, и тот выщурился на одноглазого, до дрожи обжал в руке шар. — Догадался?

— Так это ты? Ты где глаз посеял?

Пёха выставил вперед ладонь, удерживая Пильщикова от возможного нападения.

— Догадался! Я базарю, зёма, есть нам смысл совместно отчалить с этой неприветливой командировки.

— У меня есть смысл на тебя жалобу накатать.— Пильщиков шагнул к Пёхе.

— Параша это, а не смысл. Пока жалоба туда-сюда сандалится, меня, имею точные сведения, успеют замочить до совершенно неживого трупешника, как выражался на люблинском катране один мой знакомый грузин.— Пёха по-прежнему останавливал Пильщикова ладонью, но теперь улыбался, наблюдая детскую его растерянность.

— Заявлю на трупешника.

— И проверять не будут. Вы посмотрите на него, деловой выискался! Унюхал, понимаешь, про свежего жмурика, прикинул локоть к носу и погнал по бумаге туфту слезновышибательную! Тогда, на перегрузке я тебе поддержку обещал, извини, не устраивается, мочить меня будут в самом скором времечке.

Пильщиков разжал кулак.

— Кто? — не сразу поверил Пёха, исчезла его веселость.— Кто напярят?

— Сердяга, банщик.

— Безногий?! Сволочь ссученная... Плохи наши делишки, Опилок. Ни одного шанса побарахтаться в этой жизни хотя бы еще и денек. Почему Сердяга тебя зарядил, опущенных не нашлось под рукой? Странно.

— Специалист по вышибанию мозгов. Сердяга сказал, сделаю тебя, шерсть поддержи, в мужики выйду.— Пильщиков оголил плечо с гладиатором.— За счет Сердяги.

— Про Тугрика они пока не знают, надо думать, а то бы для почина у тебя самого мозги вышибли. И ты собрался меня убивать? Поверил в гладиатора... Хватит, рвешь со мной?

— Зачем я тебе? Выберемся, в Селигере утопишь?

— С Сердягой останешься? Тогда убивай меня, иди под вышку, чего еще? Решай быстро, жизнь уходит.

— Пошли. Жаль кулака бить дурака,— решился Пильщиков.

Пёха разгреб в углу сливного отсека клинкерную кучу и отомкнул люк вынужденной из ватника железной кривулиной.

— Закроешь за собой.— И спрыгнул вниз.

Следом спрыгнул Пильщиков, и они поползли вдоль обмотанных стекловатой труб.

— В заводоуправление переползаем,— объяснил Пёха.

— Все едино. И за что меня жизнь треплет?

— А я знал, что ты со мной сорвешься, русский человек отходчив.

Натолкнулись на решетку, и Пёха некоторое время возился с навесным замком.

— Сам поймешь, мне кореш надежный нужен: одноглазая рожа моментом засветится на первом же дружиннике. В Москве подколю катран возлюблинский, и спокойно можно на зону возвращаться: берите-вяжите, это я Тугрику-блгарю монтажкой мозги вышиб в порыве справедливой мести за народные слезы, а за девчонку невинную, длинноволосую зазря осудили.

— А я? — с надеждой спросил Пильщиков.

— А ты прикидывай, вяжет нас ментовка. «Ты чего бежал?» Ты сразу: «Сидел ни за что, требую прокурора!» А я: «Хотели жизнь отнять драгоценную всякие там пацаны из шерсти лагерной». Ты подтверждаешь на очной справедливость моих честных показаний, в итогах — за побег нас не раскручивают. Я беру эпизод с Тугриком — надо же какой-нибудь эпизод взять, все равно навесят — и вместо моих восьми смертных с Сердягой получаю я спокойных пять без Сердяги. Тебя с извинениями и компенсацией средней зарплаты отпускают, а я выбиваюсь в твердовставшие и откидываюсь через пару лет условно-досрочно. На воле резко завязываю — куда-кому я теперь одноглазый? И оформляюсь егерем в заповедник: стреляю я прилично. На Селигер оформлюсь, на острова! На островах всегда при тебе дичь, опять же,— рыбалка, буду рыбу багрить-острожить, как в детстве. Тут тебе браконьеры со взятками, туристы с водкой и туристки с... Нилова Пустынь, к Богу совсем-совсем близко...

— Врешь! — дошло до Пильщикова.

— Вру,— легко согласился Пёха.— Сам посуди, зачем нам ментовке попадаться? Рвем с концами! В чистом поле — четыре воли: хоть туда, хоть сюда, хоть иначе.

Пёха открыл замок и выбил решетку.

Ход закончился, и беглецы распрямились в длинном сводчатом коридоре. Пёха щелкнул рубильником и огляделся в стоячей цементной пыли.

— Бегом! — выбрал он направление, и так бежали, несколько раз поворачивая, пока Пёха не остановился у ведущей вверх винтовой лестницы.

Пёха по известным ему приметам убедился, что это именно та самая лестница, и осторожно постучал носком ботинка по опорной трубе.

— Бугор вольный у меня на крючке, лапу с воли принял, наврное, уже поджидает.

И точно, задрезжал железный притвор, и по лестнице в коридор спустился грузный мужчина в вольном безбирочном ватнике. В руках он удерживал вместительный пластиковый мешок и веревку.

— Восемь минут,— сказал сообщник, суетно выкорезивая хитрую гримасу — так он торопил беглецов.

Пёха принял мешок и порылся в содержимом.

— Фонарь достал? — спросил он.

— Обычный. — Вольный бугор протянул обвязанный целлофаном фонарь. — Батарейки запасные в упаковке.

— А часы?

— Денег не хватило.

Пёха зло рыкнул, но делать нечего, пошел к стоящему немного поодаль от лестницы пожарному щиту.

— Помогай! — И вместе с подоспевшим Пильщиковым они отодвинули щит от стены.

Под щитом обнаружилась вгнетенная в бетон решетка.

— Дренажка, — объяснил Пёха для Пильщикова, — вода проточная.

Вольный включил в дренажке свет, и Пильщиков увидел, что действительно, на этот раз придется прыгать в воду.

— Раздевайся.

— Через три минуты свет выключу, — предупредил вольный.

Снятую одежду сунули в мешок, и Пёха крепко затянул мешочную горловину веревкой.

— Я тянуть буду, а ты подталкивай, если о потолок зацепится, — сказал он Пильщикову, спрыгнул в колодец и пропал вместе с мешком.

Пильщиков сел на откинутую решетку, спрыгнул и провалился по пояс в воду.

Вольный звякнул над головой ключами, закрывая замок на решетке, и придвинул на место пожарный щит.

Теперь сверху свет не проникал, а спереди первую лампочку загораживал выпирающий наполовину из воды мешок. Пильщиков подтолкнул мешок за лампочку, и стало светлее.

— Течения почти нет, хорошо, — загудел впереди Пёха. — Радуйся, от течения судороги!

Но Пильщиков радоваться не мог — и так, без течения, было холодно.

Наклон дренажки постепенно увеличивался, и через некоторое время вода дошла беглецам до горла. Так, бредя по горло в воде, и наткнувшись на оконечную, оградительную решетку — в несколько слоев, внахлест наваренные прутья.

— Назад!

Пильщиков притянул мешок на себя. Пёха оттолкнулся от решетки, вернулся на несколько метров назад и пошарил фонарным лучом по своду. В нескольких метрах от решетки бетонный свод обвалился, и через арматурную обвязку проглядывался дикий камень.

Пёха поднял руки над головой и на локоть кольцами наматал веревку.

— Под стеной дыра, нащупай ногой... Я нырну, а ты мешок заталкивай.

— И нырять?

— Мешок утопи и заталкивай под стену, потом жди недолго. Нырять с открытыми глазами, я светить буду. И не возвращайся с полдороги, утонешь... Трави!

Пёха ушел под стену, и Пильщиков травил веревку до натяга, потом утопил мешок и затолкал его ногами под стену.

Вольный бугор разбросал по коридору промасленные тряпки, затер следы, присыпал из ведра цементной пылью и пару раз для предупреждения перещелкнул рубильником.

Мигнул свет. Пильщиков перекрестился и нырнул. Плыл он под водой долго, до звона в ушах. Когда уже ноздрями вырвался воздух, впереди забрезжил свет. Пильщиков рванулся к свету и больно ударился о нависающий над поверхностью воды камень.

— А дальше куда? — удивленно спросил Пильщиков, едва выбарахтался и отдышался.

Вынырнул он, как обнаружилось, в тесной каменной полости. На порожке у воды с трудом умещались Пёха, мешок и... притулившийся в угол гнилой ватник, мумия, дряно с пылью, чтоб тебе на ноже заточать!

— Приплыли! До съема наружной охраны будем здесь кантоваться. — Пёха зубами разгрыз узел на мешке и пристроил в расщелине горловиной наружу. — Переодевайся, — сказал он Пильщикову и посветил в череп гнилому ватнику. — Не повезло ему, он был один.

— Или напарник напоследок прирезал.

— Да вылезай ты! — обиделся Пёха.

Пильщиков подтянулся из воды на каменный порожек.

— И долго... кантоваться?

— Дней десять.

Пильщиков, устраиваясь на порожке, случайно дотронулся до мумии.

— Не тревожь его, а то и так скоро дышать нечем будет.

Вольный бугор прошел под мельничными барабанами в сливной отсек, по гнилой лестничке добрался до горловины слива под потолком и ломом надломил на трубе свежий сварной шов.

В отсек нарастающим потоком полилась горячая студенистая масса, быстро заливая решетку в углу, на люке теплотрассы, через который бежали Пёха и Пильщиков.

Бугор удостоверился, что его действия остались незамеченными, и не спеша пересек мельничный цех, мимо охранного помещения пошел к заводууправлению.

— Слушай, Сапёхин, а если мы в Москву приедем, и сразу нас повяжут? — поинтересовался Пильщикова, посвечивая фонариком и наблюдая, как Пёха гужется над выныканной из мешка жратвой.

— Во-первых, прошу называть меня на воле... скажем, Вовой, особенно в людных местах. Во-вторых — у меня кореш от все-союзного розыска отбрыкивался и прожил в Москве два года, а засветился, когда на родную сторону приехал в глушной городишко Балашов, сошел с поезда — непосредственно у пивточки и повязали!

— Что ты мне про Москву обманываешь? У меня приятель жену в роддом провожал. Приехали они, там говорят, роженица — раздайся, муж — с собой одежду забирай. А дело было зимой — на ней что? Шуба, шапка, ворох шерстяного, и сумки они не взяли с собой по неопытности.

— И?

— Вошел в метро. И как накинудись на него милиционеры: колись, жало, кого ограбил, дыма без огня не бывает, проверьте, ребята, нет ли на шубе кровавых пятен! Он не понимает ничего, вырывается, за шубу хватается, а ему морду набили и сутки в отделении продержали, пока из общежития комендантша не приехала личность устанавливать. Вот тебе — Москва!

— Верхушечников они не пропускают, — подтвердил Пёха.

Пильщикова забился в ознобе.

— А со мной они как? Следовательно кодексом дрался, блатных подначил мордовать.

— Да, клепал я тебя в неприятность, не отрицаю.

— Он не отрицает! На! И за что меня Бог наказывает?

— Надо было пассажиров обилечивать! Решил, понимаешь, рублей сорвать. И еще объясни. Зачем это ты автобус бросил и купаться побежал? Тебя пассажиры по расписанию ждали на остановке, а ты — купаться! Вот и огреб двенадцать лет строгача!

— У меня перерыв был, — Пильщикова покосился на мумию. — Мать жалко, а то бы...

— Мать ему жалко! Вы посмотрите, какой заботливый сын! Сорвался из дому в столицу по бабам лазить и левые сшивать, пассажиров обжуливать!

— От кого слышу? От мокрушника купленного, бессовестного! Собрался честный человек немного отдохнуть, а тут некие Тутрик и Пёха-талаит вылазиют, подложки уголовные.

— Ладно, не травми себя, прежней жизни не вернешь. Ложись и не двигайся, воздуха мало.

— А откуда здесь вообще воздух берется?

— Ну щели есть какие-то наверх, не знаю.

— Вов, мне теперь всю жизнь скрываться?

Пёха выключил фонарик.

— Не загадывай, а то вдруг и сбудется.

В сливной отсек нагнали осужденных, и они разгребали клинкерное, еще дымящееся болото, выбрасывали грязь за окно, протыкали то тут, то там ломами, искали вполне возможные трупы.

Из наружной охраны промзоны прибыл караул без оружия. Солдаты обшаривали захоронки, проверяли мусорные кучи специальными щупами, смотрели сохранность замков и решеток на колодцах, шурували баграми в отстойниках. На лестнице, ведущей к ободу смесительного чана, примостился замполит. Он пристально вглядывался в перемешиваемую полуфабрикатную массу и очень-очень нервничал.

Поздним вечером вторая смена закончила работу и погрузилась в фуры.

Наружная охрана не снялась, как обычно, следом, а осталась на круглосуточно. В караульном помещении горел свет, по промзоне светили прожекторами, на вышках дежурили автоматчики.

И по зоне продолжали шарить патрули с собаками.

Дежурный на пульте Осташковского УВД принял информацию о побеге, на инструктаже эту информацию довели личному составу, и осташковская милиция, получив на руки только что отпечатанные, мокрые еще фотографии совершивших побег, развила напряженный поиск.

Если бы дежурный смог воспарить от своего пульта куда-нибудь повыше колокольни Преображенской церкви — самого, вроде, высокого здания в Осташкове, то он смог бы понять, почему наконец прекратилась весь день досаждавшая стрельба со стороны Кличенского городского парка: киносьемщикам самим наконец надоело, и они потянулись в гостиницу.

Закруглились и производящие стрельбу пиротехники. Один взвалил на плечо пулемет, а другой рассовал по карманам пистолеты. Но если первый поехал напрямиком в гостиницу, то второй попросил остановиться возле универсама.

— Импортные носки взять хочу, — объяснил он, вылезая из автобуса.

— Водка дорогая, — пробурчал его напарник, и автобус уехал.

Пиротехник, как водится, отстоял очередь и выбил чек сначала за две носочные пары, но — жадность обуяла.

— А может, еще носков прикупить, девочки? — спросил он у продавщицы, хотя совсем и не нуждался в продавающихся советах, а просто так спросил, а вдруг не дадут. — И где-то у меня чирок завалился?

Он порылся в карманах и выложил на

прилавок носовой платок, пару пистолетов, мятую пачку «Новости» и несколько битых билетов на автобус. Чирик тоже счастливо отыскался, и на радостях пиротехник не сообразил несуразности в подборе предметов на мирном прилавке галантерейного отдела.

Взяли пиротехника из вращающейся двери, гордости осташковского универмага. Пиротехник совершил принудительное сальто и затормозился об асфальт. На спину ему сел невыносимо толстый милицейский сержант и крутил, крутил, гад, руки, крутил!

— Стволы на землю! — запоздало заорал руководивший задержанием милицейский начальник.

— Кино! — прохрипел задержанный.

— Кино, вино и домино?! — возмутился милицейский начальник. — Закидывайте его в машину, да поживее! — Он утер внутренность фуражки и сообщил по рации на пульт дежурного: — Одного взяли. Отобрано два ствола.

В гостиничном номере другой пиротехник в это самое время заканчивал сборку вычищенного после дневной стрельбы пулемета. Конец сборки совпал у него с высасыванием последних капель портвейна из заначенной для такого случая бутылки.

— «Мало водки, мало водки, мало!» — пропел пиротехник, хотя пил, как отмечалось, портвейн, и выбрался в коридор, потому что захотел добавить сверху на портвейн именно водки. — Милая, устрой бутылочку водяры с умеренной наценкой! — обратился он с вежливой просьбой к дежурной по этажу.

— Нету, — ответила дежурная и увернула лицо от перегара, давая понять, что разговор окончен.

— Брезгуешь?!

Пиротехник сбегал в номер и вернулся с пулеметом.

— Что вы?! — преобразилась дежурная и любезно подала пиротехнику бутылочку. — Извините, я грешным делом подумала, у вас денег нет!

— У меня нет денег, — признался пиротехник.

— Я вам в долг поверила, отдохайте на здоровье!

Через некоторое время в гостиничном коридоре скопилась почти вся осташковская милиция. Оставшиеся снаружи оцепили гостиницу двойным оцепочным кольцом.

— Жаль, не оснастили нас штурмовым щитом, — посетовал начальник ГУВД, зная, что все его будут внимательно слушать. — Я на последней областной конференции ставил вопрос, а мне сказали: «Ни к чему». Сказали: «Ни к чему»! Видите ли, нам в городе штурмовой щит не нужен!

Надо еще отметить, милиция скопилась в

гостиничном коридоре сплошь, в штатском и до поры внимания к себе не привлекала.

Некий смельчак, одевшийся под водителя мусоросборной машины, прокрался к двери указанного дежурной номера и, уняв дыхание, заглянул в замочную скважину. Открылось ему: за столом сидит бандитской и пьяной наружности человек. Человек попиывает водку прямо из горла и набивает патронами пулеметный диск.

— В голове не укладывается! — сокрушался начальник ГУВД. — В ИТУ строгого режима должным образом не налажена охрана осужденных!

Из соседней с бандитским номером двери вышел некто пьяный и, не обращая внимания на скопившихся, отодвинул в сторону приложившегося к замочной скважине водителя мусоросборной машины и постучал.

Пьяному грозили оружием и беззвучно устраивали устрашающие рожи, но только его рассмешили.

— Открывай, мазила, тебя брать пришли! — заорал пьяный в замочную скважину бандитской двери и заразительно хохотнул.

— Брать обоих! — приказал начальник ГУВД.

Пиротехник открыл дверь пьяному гостю и был мастерски обезврежен.

— Кино! — хрипели пиротехник и его пьяный гость.

— Что им всем кино? — не догадывался начальник ГУВД. И пошутил: — В ИТУ кино не показывают, поэтому участились побегии?

— Трех взяли, а информация о побеге только на двоих давалась, — заметил несурязицу одетый под водителя мусоросборной машины.

— Значит, трое у них сбежали, одного не хватились пока, — объяснил несурязицу начальник ГУВД. — А вот мы их удивим!

Пёха включил фонарик и отрезал от буханки два толстых ломтя.

— Холодно, а дышать нечем, — заметил Пильщикова. — А как ты бугра вольного на крючок взял?

— В городе держал у дедка одного захоронку про черный день — золотишко, деньги. Передал адресок бугру, дедок его погрел. Взял бугор лапу — вот тебе и крючок. Слаб человек.

— И много сейчас берут побег устроить?

— Бугор всю захоронку подгрел, на часы не хватило... По-твоему, какие сутки кантуемся?

— Подолгу спали четыре раза. Четвертые, выходит?

— Спать хочется — это воздуха не хватает.

— Под землей время в два раза быстрее

идет, мне бабушка в детстве рассказывала, она в каменоломне от немцев пряталась.

Пёха доел хлеб и прилег. От скуки он ловко поигрывал между пальцев небольшим веревочным отрезком.

— Чего веревку крутишь? — спросил Пильщиков.— Удавить меня собрался?

— Протяни руки,— предложил Пёха,— большие пальцы вместе сожми.

Пильщиков протянул, и Пёха мгновенно обмотал веревкой пальцы.

— Получше наручников. Хочешь, научу?

— Учи,— согласился Пильщиков.— Как говорится, с кем поведешься... Ученик наемного убийцы. Вот так-то!

По глухой приозерной улице шкандыбали двое пьяных. И в мыслях они не держали, что за углом притаился в засаде ПМГ.

Взревел мотор, и осветилась улица. Пьяные бросились бежать к пустырю, подальше от света, от заборов и лающих то тут, то там дворовых собак.

— Стой! — заорали из машины, дважды выстрелили в воздух и помчались вдгон.

Пьяные забежали на середину глубокой лужи и остановились.

— Попробуй возьми! — орали пьяные.

ПМГ остановился на краю лужи, и внутри повеселился. Один из милиционеров достал на ладонь выданные к розыску фотографии Пёхи и Пильщикова, другой осветил ему на ладонь фонариком.

— Выключи! — заорали на того, что осветил, испугались.

Газик, буксуя в луже, добрался-таки до пьяных, но те, затаившись, улеглись по шею в воду.

— Попробуй возьми! Мы вам салон изгадим!

И ведь изгадили, алкаши! Но делать нечего, служба, и вскоре старший наряда, тоже уже грязный и мокрый, поторопился доложить в неразборчиво трещащую рацию:

— Обоих взяли.

Пильщиков включил фонарик и растолкал Пёху.

— У тебя глаза не закатываются?

Пёха повернулся с затекшего бока и ровно, тяжело задыхался.

— А я Чермошню вспомнил, бабушкину деревню.

Пильщиков окунулся в воду по плечи, немного полегчало...

...Пильщиков подтянул на тюремном ватнике португепу, поправил морскую фуражку и, выбираясь с размокшего проселка на Чермошинский пригорок, запел, тревожа с поля грачей:

— «И тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте!»

В Чермошне было безлюдно, только на завалянке подле своей избы сидела бабушка Анна и читала толстую книгу.

— Бабка Анна, внука встречай! — потребовал Пильщиков, и та прикрыла книгой спящее в глаза солнце, присмотрелась.

— Форма на тебе странная, Сереженька, на кораблях служишь?

— На подводных лодках!

— Господи, страшно.

— А то! Давеча в Индийском океане смотрю на прибор, а скорость с лаговой не совпадает, на всплытие-погружение реакция идет неадекватная прибору. Оказалось, в траулерный кошелек попали. При погружении траулер чуть было ко дну не пошел. Стали всплывать. Гидроакустик докладывает мне: «Слышу шумы, над нами — объект!» Я не поверил, приказал всплыть на перископную глубину. Всплыли... под гражданское судно, повредили себе рубку и перископ. Ты, бабка Анна, знаешь, если лодка не опознана, то к ответственности ее не привлечь.

— В открытом море — четыре воли.

— Именно! Поэтому огней не зажигали. Послал я двоих матросов ремонт произвести, одного сразу смыло за борт, и взобраться без посторонней помощи он не может, это понятно. Вылезла спасательная команда, а в темноте ничего не видно. Я все же решился зажечь прожектор, а поздно, обнаружили пустой спасательный пояс, матроса волной выбило. В газетах потом наврали, что один из матросов трусил вылезать на ремонт с одним спасательным поясом, и второй матрос, храбрец и герой, отдал трусу свой пояс, поэтому храброго смыло за борт. Что мы все о плохом, бабка Анна, расскажи лучше, что читаешь. Может, сердце взвеселишь?

— Читаю, внучек, про наш Старицкий карстовый участок. Он протянулся сравнительно узкой полосой вдоль левого берега Волги к югу от города Старицы. Карст представлен разнообразными формами: воронками, суходолами, блюдцами, котловинами. Особенно широко представлены воронки. У деревни Чермошняя суходол протяженностью более полутора километров. В старину неподалеку от деревни добывали известняк. От старых каменоломен сохранились подземные ходы. Осматривать их без опытных проводников рискованно: подземный лабиринт сложен. Про Осташковский карстовый участок также сведения имеются.

— Бабка Анна, а почему одна на солнышке греешься, куда народ пропал из деревни?

— Ты, никак, запомнил, внучек? При немцах мы в заломке спасались-хоронились. Три месяца отсидели, потом товарищи мои устали и наружу выбрались. Одна я не вылезла и одна только жива осталась, но обезно-

жела с тех пор. Пришло горе безотсидное.

— А мне что посоветуешь, вылезти сейчас?

— Ты, бишь, в карстовой полости сейчас находишься? Подожди, потерпи, еще не время, еще вертухан на вышках на ночь не снимаются, вкумекайся. Ложись поспи.

Пильщиков прилег на завалинку, пригрелся на солнце и... уронил голову в ведро с водой...

...очнулся, вырвал голову из воды, сдвинул ладонями виски.

Спала волна милицейской активности по Осташкову. Расслабились патрули, перестали прохаживать под шапки заглядывать и темные очки с носов срывать. И одноглазых в городе немного оказалось, быстро всех изучили, при ненарочных встречах теперь своих одноглазых узнавали и здоровались с ними. Стало спокойнее, точно.

— Мария Захаровна, тебе алыча нужна? — через улицу кричал, нарушая дремоту в припаркованном в тенистом закуте ПМГ, какой-то простоватый ошаш своей знакомой.

— Чай? Я взяла уже! — отвечала глуховатая Мария Захаровна.

Но так просто разойтись было невозможно, и она, опять же — через улицу, делилась известным только ей:

— Вышла в магазин и сразу бегу домой, опасно нынче по улицам шастать.

— За молоком с раннего утра надо заниматься, известное дело.

— Двоих техников киношных у нас на цементном заводе уголовники в бетонные изделия закатали вместе с пулеметами. И убежали. Жуть! А милиция, смотри-тка, дрыхнет по холодку!

— Странные дела, никогда такого не было. Я вот помню...

И разошлись. А в ПМГ прислушивались, пока до пулеметов разговор не дошел, тогда поняли, что Мария Захаровна брешет, и опять задремали.

Пёха сдвинул ладонями голову.

— Серега, мне жизнь вспоминается без разбору, слышь?

Пильщиков не отозвался.

— И детство вспоминается, Серега. Детство вспоминается. Кажись, чехол нам. — И повалился в воду, едва успел сунуть фонарик в расщелину. — Не велит судьба дальше горе волочить...

...На задворках осташковского вокзала Вовина мамаша передела сына и переделалась сама в обычные для пассажиров дальнего следования домашние вещи. Переждав минуту-другую после объявления про укорочен-

ную стоянку скорого поезда, они поспешили смешаться с толпой на перроне и потом, будто опаздывая, попросились в хвостовой вагон и пошли по составу. Мамаша страховала, а Вова бомбил по вагону плохо лежавшее баракло. В тамбуре пропаль уминалась в сиротский сидор, все дела. В тот раз им не повезло: они столкнулись с кодлом гастролеров-погорельцев, попрошайничавших в обгорелых шапках, будто только что с пожара. Особенно свирепствовал горбатый дедок. Били Сапёхиных все, но горбатый бил больше. И это он открыл в тамбуре дверь. Мать разбилась насмерть, а Вову подобрал обходчик и на дрезине докатил до станционного междунка. Горбатого Вова искал долго и смог убить его только через несколько лет. Но к тому времени он достаточно подготовился. Горбатого Пёха ковырял трудно, горбатый был первым...

...Пёха очнулся, нашарил фонарик. Каменную полость будто заволокло туманом. Пёха протер глаза, но туман не пропадал. Пёха смотрел, как сгущается туман, как лопаются на поверхности воды россыпь пузырей болотного газа.

— Серега, спички дай, — прохрипел он, но Пильщиков его не слышал.

Пузыри росли, не лопались, твердели, превращались в головы Пёхиных врагов — Шпиля, Скальпеля, Сердяги, Бельма.

— Попались! — заорал на головы Пёха, нащупал в мешке и выдрогнул коробок, чиркнул спичкой.

Тотчас полыхнуло в полости быстрое газовое пламя, кожа на ненавистных лицах полупалась, и пузыри исчезли.

— Срываемся! — хотел крикнуть Пёха, но вышло — прохрипел. — Чехол, Серега, прикидываешь?! — И столкнул Пильщикова в воду.

Пильщиков глотнул воды и закашлялся.

— Дольше нельзя, угорим. Нырять за мной.

— А мешок? — дурным голосом спросил Пильщиков.

Пёха притянул к себе мешок, порылся в нем и звякнул о камни железной кривулиной.

— Всё. Держись на свет. — И Пёха нырнул, удерживая в руках железку и обернутый в целлофан фонарик.

Пильщиков хотел вздохнуть поглубже, но дрянной воздух в легких не держался. Свет пропал, и Пильщиков отчаянно охнул, ушел под воду, что есть силы оттолкнулся ногами о каменный порожек.

И не управиться Пильщикову одному, если бы Пёха не вытащил его из-под стены в дренажку да не выволок к решетке. На решетке они и повисли, запрокинув головы к сквозившему под сводом дренажки свежему вкусному воздуху.

— День или ночь? — сколько Пёха ни прислушивался, ничего, кроме близко урча-

щей в водовороте воды, не услышал.

— Не могу! — зарычал Пильщиков, затряс решетку, лицом потянулся к свету.

— Мерзнешь, — не удивился Пёха и обнял Пильщикова свободной рукой за шею, успокаивая, прохрипел в ухо: — Надо к люку двигаться, вылезем — погреемся. Сразу вылезем, сейчас ночь, ночь!

— Ночь! — с надеждой повторил Пильщиков, но рук от решетки не отнял.

Пёха попытался оторвать Пильщикова от решетки, но сил не хватало, да и упереться вроде не во что.

Пильщиков обезумел и тряс, тряс решетку.

— Серега, поплыли.

— Оставь меня.

— Нет! — Пёха дотянулся до свода и уперся-таки, оторвал Пильщикова от решетки, помог себе железной кривулиной.

Прихлебывая с потолка воздуху, они поплыли-побрели в темноту дренажки.

Добравшись до колодца, Пёха фонарик и кривулину передал Пильщику, а сам, упираясь спиной и ногами в стены, поднялся к люку. Сверху доносилось мерное уханье.

— Мельницы работают, — сказал он страшное.

— День, — прошептал Пильщиков.

— Кидай! — опомнился Пёха. — Кидай фому!

Пильщиков подкинул кривулину, и Пёха, цепляясь левой рукой за решетку люка, выдолбил в гнилом бетоне колодца четыре углубления для ног. Пильщиков, до крови сдирая ногти, вскарабкался наверх и прилип к стене рядом с Пёхой.

— Вова, сил нет. Я не могу висеть, Вова, я ум-ру!

— Здесь не умрешь. А в воде через час сдохнем, терпи.

Пильщиков не мог терпеть, застонал, задергался.

— Ноги затекут, местами поменяемся. А руки сам меняй, не держись обеими сразу, — посоветовал Пёха и замолчал, закрыл глаза.

Уханье наверху замедлилось и постепенно стихло.

Пильщиков перестал стонать, переменял руки и с надеждой прислушался.

— Вова, они закончили, — сказал он, унимая зубную дрожь. — Вылезаем, Вова!

— Ждем, еще ждем, — выговорил Пёха в гнилой бетон.

Прошло время, Пильщиков поддержал Пёху, и тот просунул в щель между вгнетенными в бетон прутьями железку, налег всем телом, завис, срывая ботинками грибковую слизь. Отлетел, как показалось, со страшным грохотом навесной замок. Беглецы уперлись в стены колодца и навалились спинами на люк, нажали раз, два, внатяжку и урывом, урывом!

Пожарный щит качнулся.

Не соразмерив усилий, Пильщиков свалился вниз, в воду, но и пожарный щит не устоял.

Вон из дренажки, на волю, в тепло! Пёха отжал решетку, подвинул все еще мешающий щит, выволокнул наружу и протянул руку выбирающемуся наверх Пильщику.

Они пробежали коридор, поднялись по винтовой лестнице и оказались у цементной расфасовки. Они прислонились к теплой стене и отдышались.

— Прожекторы не горят, — радостно сказал Пёха, когда смог говорить, — сняли круглосуточную.

— Сняли, — повторил Пильщиков.

— Пойдем через колючку, так безопаснее, ВОХРа не поведется. — И беглецы выбрались из расфасовки, вприползку пересекли дворик заводоуправления, спрятались за весовой, огляделись и перебежали к внутренней изгороди.

Пёха снял куртку, набросил на нижние ряды колючей проволоки вблизи опорного столба, подтянулся и вскарабкался по изоляторам к оконечной лампочной загогулине. Легко оттолкнувшись, он спрыгнул вниз.

Пильщиков до загогулины удачно долез, а спрыгнул плохо, ободрался до крови, но охолодившееся до костей тело наружной боли не чувствовало. Пёха помог подняться Пильщику, и они трюхнули под волоток к загаженному заводским мусором лозиннику.

Они вышли на селигерское низовье и, подставляя спины холодному ночному мокрику, минули каршевище и выбрались наконец на песчаную плешь, наткнулись на туристскую палатку.

Пёха бесшумно высвободил укрытые под тентовой накидкой рюкзаки, собрал с воткнутых вокруг кострища жердей обувь и носки и сделал Пильщику знак, чтобы тот проверил котелки, но Пильщиков и сам догадался уже, сбил крышку, жадно хлебнул недоеденной туристами ухи.

В палатке заворошились, поохали и постонали...

Пёха стерпел, не хлебал из котелка, потому что надо было отойти подальше, а Пильщиков еще и онемевшие руки в золу сунул, дуриком обжегся и потом утробно скулил, дул на отягощенные котелками руки, пока не отошли, спотыкаясь по взбугренной кротами земле, от озера в скрытую со всех сторон логовину. Здесь скинули мокрое, растерлись и переоделись в уворованную туристскую одежду, выпили уху и съели найденные в рюкзаках огурцы и пачку кускового сахара.

А тем временем полог палатки откинулся. Острее стало подспудное беспокойство, охватившее Пильщика от доносящейся в убежище беглецов сладкой музыки любовной игры, и он привстал на колени, осторожно

раздвинул мокрые стебли плакун-травы, на время забывая обдывать обожженные руки.

Из палатки выбралась девушка и, поеживаясь от предутреннего холода, поспешила к озеру. Поблеснуло от воды солнечным зайчиком.

Надо было уходить, но Пильщиков забыл про все, выставил наружу стриженую макушку и даже выплюнул недожеванный сахар.

Пёха не двинулся с места и спокойно доел огурец, хлебом счистил уварок по котелковому ободку.

— На неваляшку сильно тянет? — заинтересовался он, но Пильщиков не ответил, и Пёха продолжил дурость: — Мужиком я займусь, а ты ее попробуй.

— Ты, Вова, совсем озверел, — вяло возмутился Пильщиков.

— Вот он какой! А по-твоему, уговорить обмануть — это хорошо, а силой взять — всегда плохо?

Пильщиков отмахнулся.

Пёха прикинул, что если девушка не заметила пропажи рюкзаков сразу, то и потом вряд ли заметит, и решил не торопиться, позволить Пильщикову развлечение.

— У меня в морге друг работал. Однажды привозят ему на каталке девушку мертвую необычайной красоты и го-лу-ю! У друга желание и возбуждение — просто как у тебя сейчас. Он не выдержал, сбросил на грязный кафельный пол пропахшую трупами спецодежду и туда-сюда, не единожды и с нечеловеческим удовольствием. А мертвая — ожила. Оказалось — летаргический сон.

— Опять врешь! — не выдержал Пильщиков. — Или прочитал где.

— Нет. Они расписались, у них крепкая семья, двое детей, живут они в городе Кириши Ленинградской области, могу адресок дать.

Девушка вернулась в палатку, и Пильщиков спустился в логовину.

Пёха пошарил по карманам доставшейся ему ветровки. Денег не было.

— У тебя?

Пильщиков нашел двадцатикопеечную монету.

— Плохо.

— Иди отбирай, — подначил Пёху Пильщиков, кивая в сторону песчаной плещи.

Пёха посерьезнел. Он оторвал от лагерной куртки бирку и протянул Пильщикову скатанный в трубочку трешник.

— Выйдешь на трассу, голоснешь грузовик до Торжка. С Торжка бесплатно доберешься, электричками.

— А ты?

Пёха закрыл ладонью здоровый глаз.

— Мне надо область менять. Всесоюзный розыск, я полагаю, только к вечеру объявить успеют, а то и вовсе назавтра, а по области нас давно ищут. Возьму на пристани лодку —

и через Селигер. На том берегу в автобус — и безбилетником в Полново, это уже Новгородская область, не Калининская. Там автобусом три часа до Валдая, до железной дороги. Короче, в Москве жди меня на улице Седова, это в Свиблове, магазин...

Пильщиков разглаживал на обожженной ладони мокрый трешник.

— А деньги где возьмешь на поезд?

— Найду... магазин «Овощи — мясо», у ящиков, в час дня.

— Ясно.

— Светает, — заметил Пёха. — Пора тебе на трассу.

Пильщиков полез по склону на звук дребезжащего по трассе грузовика.

— Рюкзак возьми, турист! — предложил Пёха, и Пильщиков вернулся, подхватил полупустой рюкзак. — Повтори, где ты меня ждешь?

— Седова, магазин «Овощи — мясо», у ящиков, в час дня.

— Задержусь на пару дней, переночуй на Яузе в кустах, в подвалы не суйся. К друзьям не ходи, продадут. И веселее на жизнь смотри, воля — это праздник!

— Как у него, такой же праздник, — Пильщиков поддел ботинком сдохшего возле нартовой кучи крота.

Пёха в общем-то не возражал. Они обнялись и расстались.

Утром на кровавый клок одежной ваты вздрогнули патрульные внешней охраны промзоны, до начала первой смены проверяющие сохранность изгороди. Дери вас горой — и еще обнаружили следы ночного перелаз. Да и со двора долой — и с собаками по промзоне разрисовались, проползли по трубам в заводоуправление, отгадали про пожарный щит и дренажную решетку. А про карстовую захоронку — не смогли отгадать.

Из колонны первой смены, бредущей по грязи на работу, заметили оживление под изгородью, все головы смотрели теперь только туда.

Цыган, за эти дни заметно сдавший, один только не смотрел, куда все смотрели, он подставил изможденное переживанием, постаревшее лицо солнцу и зажмурил глаза.

— Перелаз, перелаз открылся! — радостно загудели первые пятерки, и цыган тихо, обреченно завыл.

Вечером в бане собрали сходень, на котором спрашивал Сердяга, цыган отвечал и умолял, а отрядная шерсть молча выслушивала обоих.

— Какие ты, цыганчик, с детских лет счи-

талочки помнишь?

— Не помню... не помню считалочек!

— «Шла кукушка мимо сада,
Поклевала всю рассаду,
И кричала: ку-ку, мак —
Разжимай один кулак!»

И такую же помнишь? Придется тогда заучить. А, цыган?

— Сглупа я, Сердяга, не дай протухнуть!
Под запал бодаешь!

Набегало бычьё на цыгана, крутанули ему запястья.

— Суйте шары! — приказал Сердяга.

Цыган разжал кулаки и принял три дро-
бильных шара.

— Три за что, Сердяга? Дай с одного
протухнуть! — И почуял цыган близкую
смерть, завыл в голос.

— Три через считалочку, вникаешь? И не
торопи слова, мы подпевать будем из окошка!
Цыгана вытолкнули из бани в сектор, а
сами приткнулись к окошкам, стараясь не
задышать толстые одинарные стекла.

С внутренней вышки перещелкнули замок
на калитке, и цыган вышел в межсекторное
пространство, прошел по внутренней огород-
ке за клуб, к тупику перед наружной стеной.

«Запретная зона! Часовой применяет
оружие без предупреждения!» — расплывал-
ся за огородкой грязно-красный щит.

Цыган секунду раздумывал и, решившись,
в два приема перемахнул сваренную из обрез-
ков заводской штамповки огородку, пригнув-
шись, побежал к вышке.

Попка, облажавшийся на перегрузке азиат,
щелкнул тумблером подвешенной к столбу
телефонной трубки и перевел автомат с предо-
хранителя на длинную очередь. Развернул
ложе, скосил глазом, убедился: на длинную.

Первый шар цыган кинул еще на бегу,
размахнулся покруче для банных зрителей, а
кистью незаметно придернул, загасил, и шар
полетел невысоко, лягнул на излете о ниж-
нюю укосину вышки.

— «Шла кукушка мимо сада

Поклевала всю рассаду...» —
начал считать цыган, едва не с размаха,
и остановился у самого края перепаханной
земли, полукругом охватывающей основание
вышки.

— «...Отжимай один кулак!» — в бане счи-
тали честно, не тянули и не юродствовали,
но глаза шурили, не хотели проморгать по-
казную цыганову смерть.

Цыган бросил второй шар.

— «Шла кукушка мимо сада...»

Азиат прицелился и дал очередь.

В двенадцать часов следующего дня Пиль-
щиков болтался на задах свибловского мага-
зина, хотя и знал, что Пёхе так быстро до
Москвы невозможно обернуться, но был до

желудочного омерзения голоден, поэтому и
болтался. Говорят, без надежды, что без
одежды, — и точно, была Пильщикова на по-
луденном солнышке дрожь, как будто он все
еще цеплялся за гнилой бетон дренажного
колодца.

Пильщиков порылся в сваленных у мусорки
ящиках, из съедобного нашел несколько жух-
лых морковок и съел их, а когда в магазине
стали орать про обеденный перерыв, ушел к
Язуе.

Он бродил по тропинкам дикого приуаз-
ского сада с обернутым в газету кирпичом,
но встречались не те и не с тем: мальчишки,
шелупень подростковая, женщина с коляс-
кой, старик-голубятник.

Прошла мимо сумасшедшая старуха с под-
вешенной на шею торбочкой. Старуха, при-
гибаясь к земле, катила за собою тележку
с капустой и в казавшихся ей скользкими
местах посыпала гнилой отпад зачерпнутым
из торбочки песком.

Пильщиков отбросил кирпич в кусты, пере-
шел Язуу по мостику, засветло устроился
на ночлег под забором, на трубе, через кото-
рую заборный заводик сбрасывал в Язуу
теплую воду.

Спозаранок Пильщиков вернулся к знако-
мым ящикам, но на этот раз не отыскалось
и гнилых морковок.

— Грузить не требуется? — спросил он у
толстой тети, перекуривающей у подвального
грузосброса.

Тетя отошла от грузосброса и брезгливо
осмотрела доходягу.

— Сегодня новой продажи не будет, —
объяснила тетя, — можешь не огираться у
нас, уходи.

— Спасибо, — всякий случай поблаго-
дарил Пильщиков и ушел с магазинных за-
дов, прислонился к близлежащему киоску,
как будто ждал табачного привоза.

После обеденного перерыва Пильщиков
оставил киосковую притолоку и побрел куда
глаза глядят.

На следующий день, в двенадцать, когда
от голодной мутоты и беспросветной к себе
жалости Пильщикову совершенно расхоте-
лось жить, у облюбованного им табачного
киоска остановилось такси.

Особую свою примету Пёха залепил рыжим
неброским пластырем, был он одет в рас-
пространенную по Москве куртку и имел на
стриженной голове облегающую жокейскую
шапочку. Он улыбался.

— Сегодня.

Пильщиков все понял и с надеждой
спросил:

— Я с тобой?

— Как хочешь.

Пильщиков облапил Пёху, и тот вдруг поморщился, охнул. Только сейчас Пильщиков заметил, что правая рука у Пёхи забинтована, и он держит ее согнутой, у груди.

— Пустяки, — успокоил Пильщикова Пёха и приказал шоферу: — Трогай! — а сам поплылся в выложенных на заднее сиденье пакетах, протянул Пильщикову полбутылки коньяка и нарезанную толстыми ломтями колбасу.

В дороге молчали, и без того было радостно.

— Вместе пойдём. Здесь нужные люди, если что, без меня с ними стукнешься, — сказал Пёха, когда вышли из такси. — Слизни адресок.

Нужные люди жили в многокомнатной квартире, вызывающе обедненной мебелью и вещами, и было их двое — старикан с козлиной бородкой и ещё один, заметно моложе, тот предстал окаменело в дверном косяке, он был пьяный. Старикан выдал два пистолета с глушилками и стилет с ручкой от консервного ножа.

— Халтура, — сказал Пёха про стилет. Старикан не возражал.

— Документы? — поинтересовался Пёха.

— Вечером. Сфотографироваться вам надо.

— Да. Привет Сердяге передали?

— Звонили в Осташков. Там сегодня-завтра обещались его заземлить.

— На катране какой расклад?

— На катране сегодня Шпиль и Бельмо — с пяти, девочки придут в восемь, общая игра — с девяти.

— Скальпель где?

— У Сиротки, тащится. На катран, кажется, не собирается сегодня.

— Кажется... Проверь!

— Понял. Ты прикидывай, Пёха, с Сердягой — это уже нам на две доли тянет.

— Сочтемся.

Пёха и Пильщиков с нужными людьми не попрощались.

— Ножик для меня? — спросил Пильщиков на лестнице.

— Ствол возьмешь. Пугнешь, если на тебя какой сюрприз вырвется.

— Где вырвется?

— У катрана, конечно. Ты окосел с коньяка, Серега? — Пёха передал Пильщикову пистолет.

— А где у него предохранитель?

— Пластина на рукоятке... Ты не вздумай выстрелить!

Пёха приостановился и заглянул Пильщикову в глаза.

— Или уже до смерти с блатарями?

— Не берешь в ученики?

Пёха горько усмехнулся.

— Но, Вов, а как же ты с одной рукой?

— Да, Серега, пропадешь ты без меня... И со мной, впрочем, тоже.

— Пропаду, — согласился Пильщиков. — Теперь уж точно пропаду.

Такси Пёха остановил на соседней с баней улице, откуда они проходным двором выбрались прямо к помойным бакам «Баня».

— Стой здесь. Что бы ни случилось, внутрь не заходи. Не будет меня дольше пяти минут — уезжай. — И Пёха открыл дверь черного хода. Вытащив петлю внутренней двери, прислушался к доносящейся из зальчика бормоте, ладонью определил для себя предполагаемое место, где могли находиться Шпиль и Бельмо, огибом мизинца приоткрыл дверь, выставил в прощелок ногу и достал пистолет...

Прошла минута. С улицы к бакам вывернул какой-то с воровской взглядкой жлоб, остановился поблизости от Пильщикова и высморкался на землю.

— Мухой отсюда срыгнул, вонючка! — заорал жлоб на Пильщикова и пнул мусорный бак.

— Козлина мутная! — снова возмутился он на Пильщикова, замечая, что тот не сдвинулся с места. — Я не понял! — И видя, что слова на идиота не действуют, взял его ногой на подвздошь.

Пильщиков переломился и упал в мусорную грязь.

Жлоб рассмеялся, еще раз пнул в помойные гонги, но, ему на удивление, на условные звуки никто из катрана не вышел...

Пёха вывернул Шпилю подбородок, вздавил горло и резко, до хруста, в два давка потянул на себя. Шпиль обмяк. Пёха откинул его от себя, дотянулся до валявшейся на полу выкидухи и по рукоятке всадил Шпилю в сердце. Не в силах сразу встать, Пёха откинулся на задрожавшее в последней дерготе тело...

Жлоб вынул из кармана шабер и пригрозил мычащему в грязи Пильщикову:

— Через минуту тебя здесь не вижу! — И вошел в дверь черного хода.

Почти тотчас внутри катрана что-то длинно громыхнуло.

Пильщиков проморгал слезы, достал пистолет, оттянул пластину на рукоятке и, пошатываясь, вошел в катран.

По кафельному полу у посудомоечной занавески перекатывался, суча ногами, Пёха, а жлоб бестолково колотил его шабером, стараясь попадать в живот.

Пильщиков зашел сбоку, заорал и выпустил в жлоба всю обойму.

— Бинт в сумке, — сказал Пёха, выползая из-под навалившегося на него жлоба. — Красиво он меня по кишочкам приласкал!

Пока Пильщиков готовил повязку, Пёха

вприползку достиг раковины, скинул окровавленную куртку, кое-как умылся, вымыл руки. В шкафчике он нашел кургузый плащик из кожзаменителя и накинул его на плечи, завернулся.

Поградили еще время, чтобы собрать гильзы и обтереть дверную ручку, за которую, не подумавши, ухватился Пильщиков.

По двору Пёха прошел ровно, и в такси первое время улыбался, и Пильщиков уже начал успокаиваться, как вдруг Пёха шепнул почти безнадежно:

— Протекает сильно, пора выходить.— И громко, для шофера, с хохотком:— Остановивай, шеф, потянуло к бабе знакомой завалиться, дальше не поедем!— И открыл полу плаща, чтобы Пильщиков вынул у него из кармана деньги.

Когда вылезал, Пёха плащ придерживал, и на сиденье пятен не осталось.

— К Сиротке надо успеть, Скальпель может на игру сорваться,— сказал он Пильщикову.— Пешком придется, здесь недалеко, на бумажке адрес.

Они шли, и Пёха оставлял на асфальте кровавые следы, а Пильщиков боялся, что на них обратит внимание кто-нибудь из прохожих, и оглядывался, как ему казалось, незаметно для прохожих, а крови на асфальт проливалось все больше и больше, и он затянул Пёху на пустовавшую детскую площадку.

— Поехали к тем двоим, с документами, пускай врача ищут! — задышался от жалости к Пёхе Пильщиков.— Владимир, друг, как же так?

— Кто будет из-за меня хату засвечивать? Да и долгов я сделал, не расплатится порезанный... Слушай, Серега, а тебе ведь свобода улыбается. Вези меня, я в сознанку пойду, ты ведь мне друг, Серега! И жлоба твоего на себя возьму, ты не бойся, они не докопаются, я твои пальцы с ручки оттер.

— А если не поверят? Или затянут? Или еще что... опять на того следователя нарвусь? Скальпель тогда и тебя, и меня достанет.

— Поверят сразу, вези, умру я, кишки скурочены.

— Не поверят. Ты выживешь. Сам к Скальпелю пойду, замочу технически, подожди чуток. Какой он на рожу? А, тоже одноглазый, разберемся. Ты посиди, Владимир, посиди, я скоро.

Пильщиков подбежал к подъезду и, прежде чем войти, прочитал прилипанные на дверь объявления. Жильцам предлагалось травить тараканов, врезать форточки, получать талоны, а также сообщать о наличии протечек.

Скальпель долго разглядывал Пильщикова

в глазок и в конце концов приоткрыл дверь на цепочку.

— Протечки имеются? — спросил Пильщиков строгим и равнодушным голосом.— Протечки имеются, восемьдесят пятая квартира?

— Потом зайди,— сказал Скальпель.— Хозяйка в ванной.

— Вы распишитесь, мне без разницы.

— Где мне расписаться? Суй!

— Наверное, сунул! Как же, документ мать?!

— Утомил!

Лязгнула цепочка, дверь приоткрылась, и Пильщиков выстрелил одноглазому в живот и в голову.

Скальпель рванул дверь на себя. Пильщиков оторопел, навел пистолет на закрытую дверь и дважды нажал на спусковой крючок, но пистолет не стрелял.

В отчаянии Пильщиков хотел уже было схватиться за дверную ручку и ворваться в квартиру, как вдруг дверь распахнулась, и на него навалился окровавленный труп Скальпеля.

В беседке, где Пильщиков оставил Пёху, было пусто.

— Владимир! — негромко окликнул Пильщиков, пошел за горку, заглянул в сказочную избушку.

В избушке в луже крови лежал мертвый Сапёхин.

— Как же так, Владимир? — не сразу поверил в непоправимое Пильщиков.— А я теперь как... мне пропадать теперь?

Пильщиков опустился на скамеечку рядом с Пёхой и затрясся в беззвучных рыданиях.

Нужные люди не удивились, что Пильщиков заявился без компаньона.

— Не смог прийти Пёха, дела у него,— сам объяснился Пильщиков.— Очень просил документы забрать и забашлиться на кусок другой. Он скоро придет.

— Ты слышал, Торчок? На кусок-другой забашлиться! — пригласил в разговор старикан своего по-прежнему пьяного напарника.

— С утраца сбачает халявщиков на Рижском крытке, и полный расчет,— прожевал пьяный.

— Так и передать? — тянул время Пильщиков.

— Так и передай, джигит,— ласково подтвердил Коляннич.— И больше тебя не держиваем, скатертью дорожка, лесенкой, стиральной досточкой!

— Покажи документы, если не заподло,— хрипнул Пильщиков.

Старикан кивнул, и Торчок оторвался от дверного косяка, ушел в комнату, вернулся с документами.

— Паспорт, военный билет, выписка, трудовая, справка с последнего места работы. Тебе, джигит, двадцать четыре, ты разведен, но детей не имеется. Цени, как тебя здесь... Иван!

Пильщиков дождался, пока Торчок положит документы на стол, и только потом выстрелил в него, боялся запачкать документы кровью.

Оставшиеся в обойме пули ушли в старикана.

В Осташковской тюремной бане вынимали из петли Сердягу, и замполит с тоской смотрел на радужные круги вокруг тусклого рыжего фонаря под сторожевой вышкой.

Отыскалась под трупом бумажонка, и прапорщик-контролер подал ее замполиту.

— «В моей смерти прошу никого не винить»,— прочитал замполит.— А мне что с того? — вздохнул он.— Лакать теперь валерьяновые капли и «Тверскую горькую» — стаканами!

Некто, еще совсем недавно звавшийся Сергеем Пильщиковым, выбросил пистолет в ка-

наву разрытой теплотрассы, купил у перекупщика на аэровокзале билет и пропал из Москвы, как и сам того страстно возжелал, навсегда, навсегда из Москвы, ведь

В ЧИСТОМ ПОЛЕ — ЧЕТЫРЕ ВОЛИ.

Иван проснулся на утренник. Стараясь не разбудить жену, он встал посмотреть, укрыты ли дети, и подтопил печь. Заплясали по стенам огненные отливы, а вместе с отливами крутанулся в боевом танце наколотый на плече гладиатор. Иван прихлопнул гладиатора ладонью, потоптался еще босыми ногами на потеплевшем печном приступке и вышел во двор.

В церкви на окраине поселка, у занятой грачевыми гнездами роши, вызвонили колокол. Колокол зазвонил чисто, несуетно.

И захлестнула Ивана вспомненная им другая жизнь...

1990 г.





Надежда
КОЖУШАНАЯ

ЖЕНЩИНА НОМЕР ДВА (Примитивная история)

День первый

Майя Абдурахмановна готовилась к выходу. Готовилась долго, столько, сколько потребовалось отдыхающим для того, чтобы приехать, обследовать микроклимат, удивиться ему, пообедать и ждать ее, чуда, хозяйку.

Синяк под глазом был уже не синий — желтый. Майя Абдурахмановна замазала его гримом, старательно стала раскрашивать веки, губы, щеки, подбирая к гриму заодно и выражение лица.

Не оборачиваясь, нажала кнопку магнитофона.

— «Тема смотра-семинара,— сказал магнитофон ее голосом,— привлечение внимания отдыхающих при открытии Дня знакомства». — И следом, сразу, голоса юмористов: Шифрин, Жванецкий, Новикова, собранные на ленту для тщательного изучения современного юмора.

Все было как всегда.

Да, сразу, чтобы не забыть: деревья в доме отдыха «Мечта» были не все зеленые. Там были деревья с красными и синими листьями, а трава и часть кустов — нежно-белого цвета, мягкие, как мох, невиданные.

До «Мечты» оставалось еще около получаса, и за окнами стояла мерзкая поздняя осень, с градом, с ветром.

Феликс Николаевич, не очень молодой и

не очень красивый мужчина, завязал скандал в вагоне-ресторане и никак не мог выпутаться из него. Что кричали ему, слышно не было, но отвечал он бешено и бестолково, как всякий нормальный человек; не мог сдаться и уйти, знал, что смешон, и от этого кричал еще бестолковее:

— А потому что мне вас всех не прокормить!.. Правильно, рубль! Ей рубль, ему рубль!.. Да я тебе миллион дам!.. Потому что вас всех расстрелять! Очень много вас!!!

— Баба... — послышалось из вагона-ресторана.

— А я напишу сейчас — и тебе конец! — опять вернулся и опять взорвался на «бабу» Феликс Николаевич. — Не волнуйся! Вот прямо сейчас и напишу!

Наконец его отпустили, и он побежал к себе в купе, не видя, как меняется за окном погода.

Он нашел свое купе, вбежал и сел за стол «прямо сейчас писать».

— Товарищ пишущий, — сказали ему сзади, — пора раздеваться.

Он оглянулся и оторопел: его соседка по купе, женщина лет сорока пяти с половиной, у которой не было трех передних зубов, но в глазах мелькало что-то лукавое и дьявольское, стояла перед ним в платье тончайшего шелка без бретелек, в слишком крупных драгоценностях, с распущенными волосами. Феликс Николаевич прибрал на ко-

лени пальто и не понимал. Оглянулся на окно: в природе — оттаяло, облака разрежились, солнце засияло на небе, да, началось лето!

— Приехали, Феликс Николаевич,— улыбалась женщина.

Поезд, облитый солнечным теплом и светом, стоял у станции.

Те, кто ехал в «Мечту», вышли из вагонов и растерянно и радостно улыбались, оглядываясь по сторонам.

Женщина без зубов. Феликс Николаевич. Очень пожилая мама с очень красивой девочкой. Грузин в очках. И еще двое мужчин, едва живые от бурно проведенной дороги: один с лицом убийцы, другой — чуть посимпатичнее.

Поезд пошел.

— Здравствуйте, товарищи отдыхающие! — сказал репродуктор.— А мы вас ждем. Очень рады вашему прибытию! — И вслед за приветствием из репродуктора понесся джаз.

— Коля,— улыбнулась женщина без зубов.

Грузин в очках взгляделся в нее, догнал: — Простите, ваше имя Мессалина?

Она ахнула, они обнялись, как друзья, пошли вместе, весело и участливо переговариваясь. Пожилая мама ухмыльнулась на голые плечи Мессалины и, согнув локоть крепче, прижала дочь к себе.

— Как тепло! — удивилась девочка.

— А какие необычные деревья! — подхватила мама.— Это — бук.

— Ну, ребята, рай,— мужики снимали пальто.

— Микроклимат!

— Как интересно!

У входа в дом отдыха стояла тетя Маруся, маленькая, уютная, в белом халате, в каких обычно ходит обслуживающий персонал.

— Тетя Маруся!

Женщина без зубов, грузин в очках и тетя Маруся обнялись.

— Вы же уехали! — удивился грузин.— Опять?

Тетя Маруся взяла у него вещи, пошла к домикам:

— Да я уж отсидела год! — И засмеялась: — За хулиганство. Я как на сто метров отъеду, так и... мстю.

— Милая,— сказал грузин.

— А вы-то как?

— Давид «на коне»,— сказала Мессалина.

— Вы что?! — тетя Маруся страшно обрадовалась.— Ой, сейчас покушаем!

— О-ёй...— грузин засмеялся тоже и приобнял тетю Марусю за плечи.

Над футбольным полем покружился и сел на него вертолет. Высадил остальных отдыхающих, тоже в теплых пальто и шапках. Прилетевшие высаживались, оглядывались, изумлялись. Снимали пальто и не верили:

— Ну надо же!

— А я не верил, вот честное слово!

— Это какой-то рай!

— Вот это микроклимат!

А на вертолетчика смотрели с изумлением, так же, как на зелень: такой он был настоящий и красивый. Хихикали.

Девочка — одна из всех — точно как ее мама на Мессалину — презрительно смотрела на тех, кто изумлялся вертолетчику.

И верблюд был прекрасен. Приезжие стояли около, восхищались.

— А как его зовут? — спросила девочка.

— Пока никак,— сказал Коля диск-жокей. Мессалина посмотрела на него с усмешкой.

— Давайте назовем как-нибудь? — предложил кто-то.

— Давайте! Например, Дружок! Или лучше Рыцарь! — опять смех.— Люкс! Аванс! Кооператив!

— Давайте Милорд! — предложила девочка.

— Давайте!

— Милорд? — удивилась мама.— Какая хорошая кличка! — Она вообще редко отходила от дочери, хвалила ее и радовалась чему-нибудь. Обсуждала и спорила то учительским, то подружечьим тоном.

К могилке тоже подошли. Мессалина положила цветы.

По датам на памятнике было ясно, что ему было двадцать, когда он умер.

— А почему он умер? — спросила девочка.

— Он любил,— ответил Коля диск-жокей.

И девочка внимательно посмотрела на Колю: она еще выбирала, в кого она влюбится.

Обед был роскошен: восемь блюд и ни одного среди них знакомого. На сладкое — ананасы, бананы, кокосы.

— Это что, нас каждый день будут так кормить? — спросил кто-то.

— А увидите,— ответила тетя Маруся, радуясь, что они еще не знают и увидят.

— А как нас будут развлекать? — спросил еще кто-то.

— Сами себя будете развлекать,— ответила другая тетя в халате.— Еще и нас развлечете.

Наконец застучали ложками, замолчали. И первое же превращение удивило и не понравилось.

Грузин в очках, едва притронувшись к еде, запел вдруг во все горло, отбивая ритм костяшками пальцев. Если бы он был женщиной, он плакал бы, так истерично звучала его песня. В полный голос, в ор, как бывает с усталости.

За столами — смотрели.

— Дайте ему что-нибудь,— сказала девочка мама.— Валерьянки.

— Пусты! — махнула рукой тетя Маруся.— Вы кушайте.

— Это от усталости,— пояснила Мессалина, одна не обращавшая внимания на грузина и спокойно евшая суп.

И все дослушали, как поет грузин.

— А правда, что здесь можно сойти с ума? — спросила одна из прилетевших на вертолете.

— Ну прямо! — обиделась тетя Маруся.— Наоборот.

Потом она вела грузина к шалашику, отгороженному в лесу деревянным заборчиком. На поводке — сторожевая собака, в руках — корзинка с едой и бельем.

Скатерка постелена. Стопочка налита.

Грузин поднял стопочку, вздохнул, как ребенок после плача, выпил. Закусил, чмокая, огурчиком. Зевнул.

Тетя Маруся положила в шалаш сена, на сено — чистое белье.

— Красивый заезд,— сказал ей грузин.

— Спи! — засмеялась тетя Маруся.

Он залез в шалаш. Понюхал сено, посмотрел вверх, сквозь дырочки, в небо. Лес. Ветер. Тихо.

— На лед будить? — спросила тетя Маруся, привязывая собаку к деревянному заборчику.

— Я же не умирать приехал. Дома дел — начать и кончить...— глубоко вдохнул еще раз запах сена — и уснул сразу, как умер.

Тетя Маруся запела было колыбельную, но пропеть успела только одну строчку. Увидела, что он спит, улыбнулась и ушла.

Майя Абдурахмановна наконец готова. Она прекрасна. Волосы уложены, в лице подчеркнута краской то, что может оказаться не таким, как у всех.

Она шла по лесу от своего домика к залу развлечений и услышала из зала Черни. Усмехнулась: как всегда.

Черни играла на пианино девочка. Ее с удовольствием выслушали, похлопали, но все равно ждали чего-то главного. Смотрели на Колю, который возился с аппаратурой, улыбался, молча обещая впереди страшно много

интересного.

Майя Абдурахмановна вошла в зал со сцены, кивнула Коле, надела маску — и Коля включил свет.

Отдыхающие не поняли, заговорили, но Коля отбил ритм палками — и вокруг отдыхающих вдруг засветилось сразу несколько Май Абдурахманов! Сложная система зеркал, разработанная ею к смотру, представляла собой невиданное зрелище: где была настоящая Майя Абдурахмановна, было совершенно непонятно.

— Тере! Лабас! Хелло! Салют! Здравеньки булы! Гамарджоба! Добрый вечер! Лаба дена! Как дела, друзья?! — выдала Майя Абдурахмановна.

Коля отбивал каждое приветствие, отдыхающие крутили головами в разные стороны, ахали, не понимали: как это?! И наконец разразились аплодисментами.

— Интересно?! — спросила Майя Абдурахмановна и исчезла.

— Вас приветствует! — объявил Коля и отбил паузу.

Майя Абдурахмановна появилась опять — другая.

— Лауреат четырех конкурсов массовиков-затейников!..

Аплодисменты.

— Майя Абдурахмановна!

Аплодисменты.

Майя Абдурахмановна сбросила маску, поклонилась и искоса посмотрела на Колю.

А он не сдержался и выдал, как обычно:

— По прозвищу «Женщина номер два»!

Отдыхающие удивленно возмутились, а Майя Абдурахмановна, чтобы скрыть раздражение, исчезла из зеркал и ответила Коле голосом артиста Леонова:

— Пасть порву!

Все опять обрадовались, и Коля опять отбил ритм.

Он был очень искусен и в ритме, и в управлении аппаратурой, не скрывал своего искусства и показывал его: делал музыку то громче, то тише, прибавлял то басов, то высоких. И девочка наконец засмотрелась на него.

А полутьма? А цветной свет?

Зажегся другой свет, в центре зала, кокусом. В нем опять стояла Майя Абдурахмановна, теперь уже одна, и все увидели ее такой, какой она была сегодня.

— Однажды я решила проверить: дура я или нет,— сказала она голосом артистки Новиковой.

Началось обычное представление, Коля сложил палки и исчез со сцены: он терпеть не мог ее представлений.

Выждал полторы минуты, любуясь на закат: в микроклимате перед закатом в воздухе происходило какое-то волнение, и поэтому

казалось, что заходило сразу два солнца.

Вернулся за пульт.

Обстановка в зале изменилась: кто-то из отдыхающих попросил слова, и Майя Абдурахмановна вывела его в конус света, где он рассказал:

— Родился я в тысяча девятьсот сорок девятом году. Семья у нас обыкновенная: мать работала сначала на заводе, потом перешла в техникум преподавать. Теперь на пенсии. Отец — инженер. У сестры двое детей. У меня сын... — И ему самому стало вдруг так тоскливо! Он помолчал секунду и крикнул: — И вот сейчас я вдруг подумал: а за что?!

— Тш-ш-ш... — Майя Абдурахмановна обняла его за плечи и отвела на место. — Да, мы должны думать о судьбе, но мы должны находить в ней или светлое, или смешное. Тогда нам самим будет легче. Ведь мы такие разные. Мы очень сложные. Смотрите. — Она опять появилась в зеркалах и покрутилась перед отдыхающими. — Ну, кто здесь я?

Отдыхающие стали угадывать. Тот, кто уже рассказал о себе, стоял у стенки и бился о нее лбом. Не больно. Тот, кто стоял с ним рядом, поднял руку и попросился рассказать тоже.

— Только самое важное! — предупредила Майя Абдурахмановна. — Или смешное. Или исключительное.

Человек задумался и напрягся так, что его стало жалко.

Майя Абдурахмановна сделала знак Коле, и он объявил музыкальную паузу.

Трое отдыхающих начали громко подпевать музыке, и их вежливо вывели на улицу, посадили на две скамеечки друг против друга:

— Поют у нас здесь.

Танцы поехали, изредка прерываемые Майей Абдурахмановной: она была тактична, остроумна, пародировала в основном пародистов и произвела наконец самое приятное впечатление.

Вертолетчик Вовчик, красивый, как микроклимат, танцевал с Мессалиной и только с ней разговаривался.

Поговорить он любил, но зря: он заикался и знал мало слов, поэтому при разговоре вытягивал губы вперед, пучил глаза и брызгал слюной, что могли терпеть только хорошо знакомые ему люди, те, для которых он уже не был загадкой.

— Молодец. Только больше никому не рассказывай, — спокойно, как всегда, попросила Мессалина. — Хорошо?

Вовчик вытянул губы, чтобы ответить, но она ушла на воздух.

Потом Вовчик улетал, а тетя Маруся проводила его. Он пожал плечами, сморщился:

— Н-н-н-некрасивый з-з-заезд...

— Ничо, — сказала тетя Маруся. — Может, кто опаздывает.

Вовчик сел на вертолет, и вертолет, покружившись над полем, улетел в ночь.

А потом, на воздухе, крутили «кино», которое здесь тоже было особенным: кусочки краденых роликов, без звука, на Колин вкус, под которые Коля обычно подкладывал что-нибудь из любимой музыки.

— У нас в школе по субботам тоже дискотека, — сказала девочка.

— Не дискотека, а насмешка, — вставила мама.

— Ну мама! — покраснела девочка, обиженная тем, что ее перебили, как маленькую.

— А я уважаю самостоятельность, — сказал Коля. — Самостоятельность пробует и борется. И очень часто приносит плоды.

Майя Абдурахмановна собирала реквизит вечера.

— Вы гигант, — сказали сзади.

Она обернулась: перед ней стоял Феликс Николаевич и смотрел уважительно.

— На меня в прошлом году, в юбилей, тоже сделали пародию на музыку из «Иисуса Христа», но вы просто профессионал. А зеркала кто придумал?

Майя Абдурахмановна пожалала плечами.

— Здорово, — Феликс Николаевич взялся помочь, перевязал листы бумаги веревочкой, сложил сумку. — Хотя работа, конечно, собачья, наверное... Но в принципе я просто преклоняюсь перед профессионалами. Если серьезно, слишком много пародий появилось в последнее время. Стоит чему-то родиться — тут же пародия. Уже и в жизни ничего не происходит существенного. А по-моему, грустно жить в эпоху пародий. И интерпретаций. И комментариев, кстати... А вы любого можете спародировать?

Он провожал ее до дому, с удовольствием разглядывал лес и небо:

— А вы прямо здесь живете? Прямо в микроклимате? А вы кто по образованию?

— Цирковой акробат.

— Правда? — обрадовался. — Действительно, сплошные чудеса. А почему не в цирке? По возрасту? Ой, извините.

— Съели, — ответила Майя Абдурахмановна.

Он спохватился, потому что лицо ее стало искренно обиженным. Он подумал:

— А программу вам присылают или сами сочиняете?

— То, что буду катать у вас, — мое. А через две недели все брошу и уеду на конкурс.

— Значит, нам повезло. И не повезло. Они остановились у небольшого домика в зелени.

— Спасибо, — Майя Абдурахмановна за-

брала реквизит.

— Вам спасибо,— Феликс Николаевич поклонился.— Будем ждать чудес. У меня друг в Вильносе, говорит: Феликс, жди чудес!.. А я говорю: нам с тобой остался один МОП. МОП — младший обслуживающий персонал. Извините... А почему женщина номер два?

— Видимо, во мне чего-то не хватает,— Майе Абдурахмановне стало неприятно.

— В вас?! — Феликс Николаевич оглядел ее еще раз и еще раз остался доволен.— По-моему, как раз номер один и даже с плюсом! А вообще женщина, которая умеет смеяться,— это уникальная редкость. Я по себе: если меня рассмешат — я все прощаю. Но женщинам обычно это не дано.

Майя Абдурахмановна улыбнулась тоже. Поставила на землю реквизит, отошла на шаг, напряглась и сделала кувырок с места назад с жутким криком «ах!».

Феликс Николаевич ахнул, открыл глаза, рот и сдержал дыхание.

Она взяла вещи с земли и ушла, посмеиваясь.

Вошла в дом, поставила реквизит на пол, расплела косу и, встряхнув волосами, посмотрела в зеркало, потом случайно — в окно и сразу нагнулась ниже и вгляделась.

Феликс Николаевич стоял там же, где она его оставила, и смеялся беззвучно. Набирал воздуха, разгибался — и опять закатывался в хохоте, красный и дурашливый.

Она удивилась и не сдержала снисходительного смешка. Потом рассмеялась довольно: он был очень трогателен.

Те, кто начал петь на вечере знакомства, сидели теперь на улице, на скамеечках, три на три друг против друга, пели, стараясь и вторить, и не фальшивить.

— Какая тоска! — заговорил вдруг в кустах неподалеку от дома Майи один из пьяниц, тот, который не был похож на убийцу.— Тоска по естеству и искренности. Нужда в страсти, достойной книг или даже строк... Может быть, зарифмовать? — Он был один, серьезный и взволнованный, говорил сам с собой или с тем, кого представлял.— Кажется, нельзя даже шелохнуться: от одного движения побежит дрожь по кустам — к песку — по песку — к воде... Разве может быть рифма к «дрожи по песку»? Ну почему же на свете так мало слов?!

Майя Абдурахмановна выслушала его и усмехнулась невесело.

Грузин в лесу храпел на весь микроклимат.

А девочка, дождавшись, когда мама уснула, выскочила из окна корпуса и побежала к клубу, где жил Коля.

Коля знал, что она придет, поэтому стоял одетый и не курил.

Она осторожно постучалась — и сама, сразу, настезь, распахнула дверь. Он стоял перед ней, и надо было бы «принять ее в объятия», потому что она задыхалась от любви и волнения. Но он не дал ей сказать, сказал сам. Строго, как говорят раз и навсегда, на будущее:

— Спасибо, милая. Я ждал. Но у нас никогда ничего не будет. Ты уйдешь. Первый день здесь всегда мой, я знаю. Благодарю тебя,— и, нежно поцеловав руку, заставил ее уйти. И крепко закрыл дверь на замок.

А девочка сидела потом у верблюда и плакала:

— Я же ничего не хотела! Я хотела сказать, что я никогда не встречала!.. Я же ничего не просила! — и рассказывала, каялась, обижалась и мучилась тем, что от нее так сладко и так навсегда отказались.

Коля — негромко — пустил по репродукторам музыку.

Верблюд, оказывается, качал головой в такт музыке. Девочке стало смешно, и она перестала плакать.

А тетя Маруся сидела у могилки на берегу и разговаривала с датами на памятнике:

— Все, сынок, по-старому. Сегодня заезд. Мессалинка опять приехала. Зубы никак не вставит. Давид Шалвович начальник стал. Спит. Верблюда назвали Милордом, как еще при тебе. Футболистов будет человека три, наверное. Красивых нету. И Вовчик улетел. А может, кто опаздывает. Коля говорит: в этот раз обязательно кто-то умрет. Он всегда чувствует. А я никогда не понимаю. Живем. Хлеб жуем.

День кончился.

День второй, длинный

Опять остановился поезд у станции.

— Стоянка десять минут,— объявила проводница.

На этот раз из поезда вышел только один человек, вернее, одна: женщина лет двадцати восьми, привлекательная и даже красивая, не будь она такой уставшей и измученной.

Она перешла мост, так же, как вчерашние отдыхающие, оглядываясь удивленно на де-

ревья и солнце. Дошла до футбольного поля, взмокла и сняла пальто. Постояла немножко, посмотрела на двух женщин и мужчину, которые делали разминку на поле.

— Здравствуете,— сказала в окошечко регистрации. Долго искала и нашла путевку.

— Опоздала? — спросила тетя Маруся. — Как зовут?

— Женя Морозова,— Женя улыбнулась.

Из радиорубки выглянул и внимательно смотрел на Женю Коля. Лицо его менялось: он смотрел и видел.

— Можно, я в город позвоню? — попросила Женя.— Я заплачу.

— В городе живешь и ни разу у нас не была? — тетя Маруся вытащила ей в окошко аппарат.

— Но очень много слышала,— Женя опять улыбнулась дежурно. Набрала номер, добавила, пока номер соединяли.— Я шесть лет вообще нигде не была.

Коля исчез в рубке и включил джаз.

— Алло? — заговорила в трубку Женя.— Мама? Ну все, я приехала. Вот только что... Ну как вы? Как Олечка?.. Маленькая... А Наташа? Она сходила? А как: туго или нормально? Ну слава Богу. Мам, может, вы ко мне приедете? Всего полтора часа. А вечером сразу обратно. Погода чудная... Или вертолетом... Сашу? Давай. Саша? Ну все, я приехала... Да, сразу завела... Да, сейчас сразу и начнем, как обычно... Да, вот я стою, а меня уже...— Помолчала, послушала, крикнула в трубку: — Ну хватит! Я еще только в дверь вошла! Еще не вошла! Дай мне отдохнуть хоть двадцать четыре дня! Уже двадцать три! — бросила трубку, злая и опять некрасивая.

— Муж? — спросила тетя Маруся.

Женя махнула рукой и сморщилась.

— Фига с два! — сказал высокий плотный мужчина с лицом совершенно уверенного в себе идиота.— Чудес не бывает. Сказок тоже. В прошлый раз я обследовал западный склон, сегодня идем на восток,— он склонился над картой.— Если там такой же залсон гор, значит, все реально. Готовы?

С ним шло еще человек тридцать, с рюкзаками, палатками, кто-то из obsługi.

— Встали! — командовал мужчина с лицом идиота.— В цепочку по одному разобрались! Вперед! — и увлеченно пошел впереди, обернувшись и крикнув идущим следом: — Что в горах главное?

— Не дышать! — ответили ему.

Они перешли мост и направились через станцию к склону гор, окруживших дом отдыха с востока.

Женя Морозова переоделась и пошла по маршруту, по которому вчера шли все.

Певцы, с утра рассеявшись на скамейки, пели еще лучше, чем вчера.

Феликс Николаевич в рубашке апаш с коротким рукавом собирал цветы на краю футбольного поля, где бегали мужчина и две женщины. Мужчина учил женщин играть в футбол.

— Куда ты руками?! Это — футбол!

— А вы объясните как следует! — сказала одна женщина.

— И не тыкайте,— добавила вторая, поправляя юбку.

Возле них стоял человек, еще не болеющий, но уже наблюдающий и презрительно усмехающийся: он-то знал, как надо играть.

Женя погладила верблюда.

Нахмурилась на даты на могиле.

Зашла в лес и испугалась, отбежала от шалашика, где спал грузин, потому что собака напряглась и оскалилась.

Мужчина с лицом убийцы не отставал от нее ни на шаг.

В столовой ее несказанно удивили блюда. Она попробовала суп, отложила ложку и захныкала. Тетя Маруся немедленно оказалась рядом, подхватила Женю и повела спать.

— Наташу в садик не берут,— жаловалась Женя.— Написали: «нервновозбудимая»! Ну что: она ребенку игрушку дает и отбирает! Ребенок плачет, она ей пишет: «нервновозбудимая»!

— Смотри,— тетя Маруся взбивала подушку и показывала.— Фен. Маникюр. Трюмо.

Женя уснула.

Феликс Николаевич подкрался к домику Майи Абдурахмановны, положил на подоконник цветы, письмо, стукнул в окно и отбежал.

Майя высунулась из окошка, вздохнула, увидев цветы и письмо, взяла их и скрылась.

Феликс Николаевич тихонько отошел от окна. Ждал.

Пьяница, который вчера мечтал о тоске и любви, сидел на траве неподалеку, босиком, говорил что-то тихое женщине со стрижкой. Рядом, тактично стараясь не слышать беседу, сидела небольшая очередь: мама с дочкой, еще две женщины, мужчина.

Женщина со стрижкой отошла, как будто окрыленная. Мама вскочила и подвела дочку

к пьянице. Он долго молча разглядывал ее.
— Просто интересно проверить: получится из нее музыкант или все-таки стоит заняться языками?

— Я люблю ее,— сказал пьяница.— Сейчас в ней нет еще ничего, кроме женщины: ни страсти, ни опыта, ни философии. Поэтому я люблю ее. Через год я уже не буду так ее любить.

Мама немножко оторопела, но спросила все-таки:

— Нет, но ведь нужно думать о профессии.

Он медленно перевел взгляд на маму и опять сделал паузу.

— Вы — мать. Но зачем вы убиваете ее? Она должна стать вам сестрой, тогда вы обе будете свободны.

Мама, что называется, «обалдела» еще раз, но возражать не стала. Он поклонился, давая маме понять, что разговор окончен. Она отвела девочку недовольная.

К пьянице подошел мужчина.

Тот посмотрел на него внимательно, пристально и расхохотался вдруг во все горло:

— Ой, уйди!!! — и чуть не умер со смеху.

Майя Абдурахмановна вышла к Феликсу Николаевичу:

— Я слушаю.

Он усмехнулся:

— Не пугайтесь. Всего два слова. Я вспомнил главное, но вспомнил только самое смешное: оказывается, мне совершенно некем жить. Не могу же я жить... международным положением. Наверное, вы умная женщина, поэтому я не буду долго разговаривать.— Он замолчал и добавил совсем неожиданно: — Если хотите, я увезу вас с собой.

Майя Абдурахмановна почти не ожидала такого, поэтому молчала, стараясь держать лицо неподвижным.

— Мне не нужен немедленный ответ,— добавил Феликс Николаевич.— Но я хотел бы попросить вас: не кривляйтесь больше. У меня уже был один инфаркт. Я пойду?

Она кивнула: как хотите. И он ушел.

Женя Морозова выпалась быстро: к вечеру. Проснулась совсем другая: помоложе и свежая. Долго удивленно смотрела на себя в трюмо и взялась наряжаться и краситься.

Она вошла в зал развлечений, где были все, кроме Майи Абдурахмановны, и ее увидели, оглянулись и зашептались, очарованные: она была одета во что-то блестящее, шелестящее, фантастическое. Она была свежая и красивая, пришла с удовольствием.

— Добрый вечер! — Коля отбил паузу.— Приветствуем новое лицо: Женя Морозова!!!

Отдыхающие заплодировали. Женя скорчила удивленно-призательное лицо, рассмеялась.

— Двое детей! Строгий муж! Двадцать три дня отдыха! Руководство дома отдыха «Мечта» предлагает назвать сегодняшний вечер «Евгеньевским». Кто за?! Кто против?!

Все были «за», девочка только воздержалась, широко раскрыв глаза на Колю: он вел себя слишком жестоко! А мама девочки, так же широко раскрыв глаза, следила за взглядом дочери.

— Танцы! Танцы! Танцы! — крикнул Коля и пустил красивую, непошлую музыку.

К Жене подбежали двое, она смеялась, удивлялась, терялась.

Ее поставили в конус света, разглядывали, как, наверное, Золушку когда-то. И вообще все было похоже на неправдашный фильм.

Потом она танцевала тоже точно как в кино и рассказывала:

— Да, успела, две дочки! Откуда? От верблюда! Милорда! — и смеялась, и стремительно начала кокетничать.— А сколько мне лет, по-вашему? Двадцать?!.. Правильно, двадцать!

Кавалеры менялись, кавалером стал Феликс Николаевич.

— Вы, наверное, манекенщица? — спросил он.

— Кто?! — Женя засмеялась.— Конечно, манекенщица! Разве не видно?

— Кавалеры меняют дам! — крикнул Коля, и Женю увел следующий кавалер.

— Морозова,— говорила она.— Девичья? Какая разница? Теперь уже Морозова. Конечно, навсегда.. Он вас первый убьет!

Феликс Николаевич отошел от танцующих и прислонился к стене рядом с пьяницей-поэтом, который сидел на полу и, не отрываясь, смотрел на Женю. Они очень похоже смотрели.

Майя Абдурахмановна, одетая строго, вошла в зал со сцены, и Коля, увидев ее и ее наряд, обреченно сложил палки и вырубил музыку.

— Заткнись,— бросила ему Майя Абдурахмановна.

— Пришла! — заплодировал кто-то.— Майя Абдурахмановна! Тише!

Аплодировали азартно.

Она выпшла в конус света и, помолчав, запела вдруг, серьезно, по-настоящему, романс, который, по ее мнению, выражал суть ее ответа Феликсу Николаевичу.

Не успела она закончить первого куплета, как почитатели ее разразились таким неудержимым хохотом, так заплодировали, показывая большие пальцы.

— Ма-ла-дец!!! А я ждал, что она сегодня вытворит! Ма-ла-дец!

Она помолчала, ожидая поддержки от Фе-

ликса Николаевича, но он был занят разглядыванием блестящего, шелестящего, фантастического...

— Танцы продолжают! — Коля незаметно появился за пультом, и о Майе Абдурахмановне на сегодня забыли...

Было темно, но футболисты с поля не расходились.

— Хорошенький дриблинг! — смеялась одна женщина.

— Всем дриблингам... дриблинг! — хотала другая.

— Я что: слепой?! — орал болельщик. — Была рука! Смотри! — и бежал, и показывал.

Им подпевали поющие, совсем уже спешившиеся, бодро, ровно. Остановились передохнуть.

— А еще, — взялся рассказывать один из них. — У нас есть одна знакомая. Сейчас уже старушка, наверное. Одинокая. Она никак не могла выйти замуж. Ей посоветовали уехать на Дальний Восток. А она всю жизнь думала, что женщина не имеет права до свадьбы стать женщиной. Ну и вот. Нашелся мужик, геолог. И она решилась. До. Да. Приготовила ужин, купила шнапсу. Нарядилась. Он пришел. Сели. Выпили. Поцеловались. И как только дошло до дела, что вы думаете?! В ту же секунду забил горячий гейзер. Прямо чуть ли не в окошко. Помоему, это тоже судьба?

— Конечно, — сказали ему и запели дальше.

А в палате, где живут мама с дочкой, — скандал.

— Тебе сказали оставить меня в покое! — кричала девочка. — Уйди, фашистка! Я утону, специально! Ненавижу!

— Ты на него смотрела, — мама с довольным выражением на лице сидела на стуле спиной к выходу. — Если моя дочь станет проституткой — я повешусь.

— Кто тебе дал право меня оскорблять?! — исходилась в крике девочка.

— Иди, — говорила мама. — А я повешусь.

Феликс Николаевич бил кулаком в окно Майи Абдурахмановны:

— Майя! Выйди! Майя!

Майя Абдурахмановна выглянула: рядом с Феликсом Николаевичем стояла Женя Морозова и с интересом смотрела на нее.

— Смотри, какой должна быть женщина! — кричал Феликс Николаевич и целовал Жену руки, плечи, локти. — Глупая. Нервная. Порочная!.. Не ври — порочная!.. Счастье мое!.. А это — Майя. Она очень несчаст-

ный человек. Ее один раз съели. Спроси у нее что-нибудь!

— А вы прямо здесь живете? — спросила Женя, подумав. — Прямо в микроклимате?

И Феликс Николаевич изумился тому, что Женя Морозова оказалась точно, как он, и закатился в веселом хохоте.

Майя Абдурахмановна закрыла окно и совершенно тщетно попыталась найти «отдушину». Ей попались в руки песни Соломона, и она хотела — всерьез! — увлечься песнями.

А Коля крутил на экране что-то краденое, ночью, на черном небе, над землей.

— Если вы думаете, что я буду мстить, — вы ошиблись, — неожиданно появилась за его спиной девочка. — Меня не выпускали, но я пришла, чтобы сказать, что я искренне желаю вам счастья. Вы, наверное, уже рассказали, что я к вам приходила ночью, но мне не важно! — и проч. и т. п., говорила то, что говорят, когда еще любят, еще ждут, когда не уходят.

Феликс Николаевич держал Женю за запястье и не пускал в корпус.

— Я что-нибудь обещала? — спрашивала Женя.

Он молчал, сжимая руку крепче, сильнее, пока она не крикнула от боли и не вырвалась.

— Больно! — на весь лес. — Неужели нельзя?!.. Ты — умный, взрослый, ну не трогайте меня! — пошла вон, в лес. — Ну посмотри, как здесь!.. Феля, миленький, я никогда не нравилась умным мужикам. Поговори... — Она села в мох и погладила лицом белый куст.

— Я люблю тебя, — сказал Феликс Николаевич. — Всем своим больным сердцем.

— Да, — Женя выдохнула и легла на землю. Откинула руки за голову.

— Я преклоняюсь. Так можно любить только перед смертью, наверное. Ты — Бог. С грубыми руками. Которые отстирали пеленки еще двум будущим женщинам. Я не понимаю. Если хочешь — можешь даже умереть. И ты никуда не денешься отсюда. Очень толстые запястья! Это невероятно! — он закрыл лицо руками и засмеялся от восторга.

И они молчали.

На них смотрели из кустов человека четыре отдыхающих в полном восторге от открытия такого!

Все было хорошо, но от воды раздался

вдруг страшный крик:

— Сюда!!! Убивают! Сюда!!

Отдыхающие побежали на крик и увидели драку: дрались два мальчика лет четырнадцати. Третий, уже побитый, побежденный, сидел в кустах и плакал. Все были, очевидно, местные. Дрались остервенело, по-настоящему. Мессалина с распущенными волосами сидела на пригорке и смотрела в сторону.

— Они убьются! — кричал кто-то. — А она смотрит!

— Что же вы смотрите?! — крикнули Мессалине.

— Я? — она обернулась спокойно. — Я жду, кто победит.

И драку досмотрели. Один из мальчиков, отлетев далеко в сторону, отдышался там и, оглянувшись на своего противника, пошел, махнув рукой, побежал, стараясь не заплакать.

А потом Коля опять зажег экран между небом и землей и пустил какой-то еще ролик, что-то фантастическое. Было удивительно красиво, немножко страшно.

— А завтра что? — спросила Женя Морозова.

— Завтра? Дождь.

— Откуда ты знаешь? — Женя засмеялась.

— На седьмой день всегда дождь.

— Как — седьмой? — она повернулась к Феликсу Николаевичу.

— Да, — сказал он.

— Здесь только первый день замечаешь, — сказал Коля. — А потом! — и махнул рукой.

И Женя заплакала. От тоски? От того, что завтра седьмой день? Черт его знает, от чего иногда плачут молодые красивые женщины поздним летом.

Майя Абдурахмановна только-только смыла грим, как в окно опять раздался страшный стук. Она выскочила на улицу: перед ней стоял пьяница-поэт.

— Что? — спросила она. — «Рассказать немножко о себе»?!

— Сука, — сказал он и дал ей пощечину. Хорошую. Такую, что она испугалась, ахнула по-детски:

— Вы что?! — и тут же врезала сдачи, раз, еще, ногтями, с силой отбросила его от себя и ушла, трясясь от ненависти и возбуждения.

Потом она сидела дома и слышала, как он разговаривал в кустах:

— Что это?! Я ударил человека? Господи,

кто дал мне право? Что это?

И стоял потом перед ее окном на коленях и просил:

— Простите меня. Ударьте, выгоните, только скажите, что простили.

— Что вы, ради Бога, — ответила Майя Абдурахмановна и закрыла окно. В зеркало не смотрелась. Она была не то что расстроена, нет, она с досадой была разочарована, как человек, хорошо знающий свои недостатки и пеняющий на себя за то, что опять делает не так, как надо. Она услышала:

— Господи, теперь я чувствую тебя!.. И я понял теперь, что, если я умру, ничего и никогда не изменится в этом мире!.. И я счастлив, что прикоснулся к тебе, Господи.

Однако пора было заняться делом: готовиться к смотру.

Майя Абдурахмановна отвлеклась от пьяницы-поэта и включила магнитофон:

— «Тема смотра-семинара: привлечение внимания отдыхающих при открытии Дня знакомства...» — Перегнала пленку дальше. Поймала Жванецкого, его знаменитое о перестройке.

Некоторое время послушала, «раскололась» на любимую шутку, взяла себя в руки и аккуратно взялась повторять мимикой то, что говорилось с магнитофона. Потом наконец расслабилась. Перегнала пленку на начало Жванецкого. Усталость ушла. Она начала работать, повторяя, заучивая интонацию.

Жест. Вопрос. Улыбка. Жест. Вопрос. Пауза.

Нормально.

Только грузин в лесу храпел уж очень громко. Громче магнитофона.

А с другой стороны дома отдыха кто-то визжал совсем пошло:

— Женечка моя! Женечка!..

— Чего «Женечка», козел? Оля меня зовут!

— Ой, родная, прости, родная!.. Олечка моя, Олечка!

Ночь.

День который-то

Феликс Николаевич и пьяница шли к станции с вещами. Пьяница уезжал. Он был вымотан собственным вдохновением.

Поезд прибыл.

— Стоянка десять минут, — объявила проводница.

— Поеду, — сказал пьяница. — Конечно, я никогда и нигде не знал такого вдохновения, как здесь. Но вдохновение вдохновением, а конец-то один: петля. Поеду. Пить лучше, — и криво улыбнулся.

— Скажи что-нибудь, — Феликс Николаевич

вич был черный от загара, выстрижен под панка.

— Уезжай, — пьяница побледнел.

— У меня на сегодня разговор заказан, старик. Друг в Вильнюсе, у него неприятности, надо помочь.

Они посмотрели друг на друга и обнялись вдруг крепко, навсегда.

Пьяница вошел в поезд. И поезд ушел.

А потом Феликс Николаевич был на почте, говорил с Вильнюсом.

— Гедиминас? Я... А ты как меня узнал? По голосу?.. Я? Я панкую, старик. А ты? «Не твое дело»? Ха-ха-ха! Молодец! Один — ноль... Ты почему мне не звонишь? Потому что у меня телефона нет? А я звоню, потому что я уехал, а ты не знаешь куда. Друг Литве дадут свободу, а я не узнаю... Думаешь, дадут? Кто? Наташа? Наташа открыла кооперативный туалет в пивном баре. Да. Рубль вход. Да, старик, нам слабо... Нет, из науки ушел. Работаю пародистом, старик, — выдал фразу, которая по-английски означала: «Будь счастлив, придурок!», послушал. Посмеялся. Хотел спросить что-то очень конкретное, но подумал и не спросил, сказал только: — А ты почему не меняешься, старик? — и опять расхохотался во все горло.

И повесил трубку.

Ему нужна была поддержка — он ее получил.

Больше поддержки ждть было неоткуда.

Он шел к дому отдыха от почты. В кустах на ковре сидела Мессалина с мальчиком, который победил в драке. Мальчик расчесывал ей волосы и спрашивал: не больно ли?

— Привет! — она улыбнулась Феликсу Николаевичу.

А мальчик обернулся, зверем посмотрел на него и загородил Мессалину плечом: он отвоевал право ухаживать за ней, никто другой не смел теперь смотреть на нее.

Женя Морозова вышла из корпуса в тот день совершенно голая.

Никто из отдыхающих уже ни на что не реагировал: всякое поведение в микроклимате было естественным.

Женя шла по тропочке с девочкой, и та говорила:

— У вас фигура все-таки фантастическая!

— Женька, красавица! — ахнула тетя Маруся. — Иди, молочка дам!

Женя подошла, улыбаясь:

— Вся жизнь мечтаю загореть.

— Что ты! — сказала тетя Маруся. — Такое тело!

— А бывает, что загар не пристает, — сказала одна из футболисток, тоже пившая молоко. — У нас у одной соотрудницы муж каждое лето пытается загореть — и никак. Краснеет и пузырями исходит. Бред! — сплюнула, как мужик, длинным белым плевком и побежала на поле, профессионально помогая бегу согнутыми в локтях руками.

— Каждому свое, — сказал кто-то.

— Суум куикве.

— Пойдемте к берегу?

Женю взяли с двух сторон под локти и пошли к берегу:

— Лето, ах, лето! Лето звонкое, жарче пой!..

— У меня тоже будет две дочки! — сказала Жене девочка. Теперь она безраздельно была влюблена в Женю.

Они остановились на секунду посмотреть на скандал, разыгравшийся на футбольном поле: болельщик в истерике орал и бил кулаками по земле:

— Так не играют, сволочи! Садисты! Вы рады, что у меня остеохондроз, что я сам не могу!

Футболисты пытались успокоить его:

— Это была еще не игра! Это мы тренировались! Это разминка!

— Ненавижу! — орал болельщик.

На пути к берегу были расставлены столы с соками и водами. Теперь уже никто не готовил, не обедал.

Поющие пели поодиночке. Красиво. Соло. Нежно.

Мужчина с лицом убийцы развешивал на деревьях свои фотографии размером метр на два.

Развесил. Сел на травку и смотрел на свое увеличенное лицо. Долго. Умно. И по его выражению лица было ясно, что вот сейчас или через час он что-то поймет о себе.

Коля стоял рядом и объяснял кому-то: — У греков есть такое понятие... Я забыл, как называется: точка абсолютного перехода. Ну знаешь: когда еще не идет и уже не стоит. Может вернуться — а может улететь вперед.. Очень хорошее состояние.

Девочка подбежала к нему, поцеловала в щеку, рассказала:

— Мне так нравится Женя! Она так любит! Кашель прошел! — погладила его по лицу, засмеялась: — А помнишь, как я к тебе прибежала ночью?! Я пошла? — И убежала к берегу, где голая Женя и другие женщины рассаживались перед небольшим занавесом.

Феликс Николаевич влез в окно комнаты, где Майя Абдурахмановна обычно наносила грим. Потрогал баночки, рассмотрел. Выбрал черную и, хихикнув, стал раскрашиваться в негра.

Майя Абдурахмановна была в соседней комнате, готовилась к смотру. Репетировала Шифрина, но на ходулях. Увлеклась подготовкой и вошла в комнату к Феликсу Николаевичу, напугав его внезапным своим появлением.

Он вздрогнул:

— Дура! — и отвернулся краситься дальше.

Женя с женщинами сидела перед занавесом. От корпуса бежала тетя Маруся:

— Женька! Быстро к телефону! Муж звонит!

Женя молчала.

— Женя, иди! — сказали женщины. — Поговори. Женя, ты должна!

— Должна? — обернулась Женя. — Что-то я всю жизнь должна.

— Женька, а если он придет?

Женя помрачнела и устала в землю.

— Тетя Маруся, придумайте что-нибудь! — попросили женщины.

Тетя Маруся покачала головой и пошла обратно.

— Але? — сказала в трубку. — Сейчас не может подойти. Купание. Кто кричит? Это мужчины кричат. У них купание после женщин. Да, отдельно... — послушала. — Очень смешно! — и повесила трубку.

Феликс Николаевич, выкрашенный в негра, на верблюде Милорде, находился позади занавеса. Крикнул:

— Можно?

Женщины заплодировали. Занавес сорвали — и Феликс Николаевич, сделав зверское лицо, закричал почему-то по-индейски.

Женщины ахали и аплодировали. Женя одна сидела неподвижно. Глаза ее наполнились слезами. Она встала и ушла к лесу, где спал грузин.

Феликс Николаевич сидел на верблюде и, широко раскрыв глаза, смотрел на ее удаляющееся тело.

— Как он любит! — сказал кто-то и заплакал.

Женя сидела возле шалашика с грузинком, и собака, осклившись, дергала ртом, готова в любую минуту прыгнуть и разорвать в клочья любого, кто подойдет ближе.

— Ну что же ты спишь! — сказала Женя. — Ведь я состарюсь!

Феликс Николаевич тихо подошел сзади и прислонился к дереву. Он молчал, но Женя знала, что он здесь.

— У каждого по собаке, — сказала она, не оглядываясь.

— Замерзнешь, — сказал он.

Они молчали и смотрели на собаку.

— Мы, манекенщицы, закаленные, — ответила Женя с ненавистью.

— Что я должен сделать? — спросил Феликс Николаевич.

Отдыхающие — всей командой — уже стояли за ними: они очень любили на них смотреть.

— Разбуди его! — крикнула Женя. — Я умру!

Феликс Николаевич помолчал.

— Хорошо, — и пошел к собаке.

— Феля, накинь что-нибудь! Одеядло, на! Искусает! — ему дали одеядло, он замотался в него, пошел.

— Нельзя! — кричал кто-то и опять плакал.

Девочкина мама бежала к дому Майи Абдурахмановны:

— Майя Абдурахмановна, ну скажите им, что же они с ним делают?

Из леса доносился лай, визг, рык.

— Меня этот алкаш назвал фашисткой, — рассказывала мама. — А посмотрите, что они делают с Феликсом Николаевичем! Это я — фашистка!.. Да я когда смотрю, как в кино убивают людей, я думаю: как не стыдно тратить столько денег на то, чтобы снимать убийство! И после этого я — фашистка!!!

Феликс Николаевич в порванном одеяле стоял возле тети Маруси, и она прижигала ему йодом ранку на руке. Собака, так и не дав подойти к шалашу, рычала, совершенно озверев от людского хамства. Грузин спал.

Женя, сопровождаемая женщинами, уехала к домикам. Майя Абдурахмановна молча оглядела ее и получила в ответ Женино: — Жарко!

Майя так же спокойно оглядела всех и сказала тете Марусе коротко и внятно:

— Завтра — на лед, — и ушла.

Тетя Маруся резко выпрямилась, посмотрела вслед Майе и сказала только:

— Стерва!

Майя сама выключила рубильники и нажала кнопку. Мягкая нежная музыка осела на «Мечту».

Через час все спали, мирно, спокойно.

Тетя Маруся сидела у могилки и разговаривала с сыном:

— Завтра на лед. А я подумала-подумала и решила: поеду. Может, смогу. Попробую. Я, сынок, сначала испугалась, а потом подумала: может, смогу. Может, эта сука и знает. Пусть будет.

Ночью, когда все спали, Коля напился и включил экран, висевший между небом и землей, и гнал свой любимый ролик, финал фильма «Забриски-пойнт», тот где все летит к чертям собачьим. Ролик был краденый, без звука, но Коля умело, со знанием дела, комментировал его сам себе, вслух, злобно:

— И все — к матери! Телевизор!.. Ха-ха!.. Книжки!.. К чертям! Холодильник с кирпичами — и на лед!..

Ролик кончился, экран засветился белым светом, и Коля пошел к будке, чтобы выключить его. Сейчас только стало видно, как он хромал: у него был полиомиелит, с рождения. Здесь, в микроклимате, он всегда получал должное sobolezнование и не утомлялся собственным изгойством; отдыхающие могли полюбить его за двадцать четыре дня ровно настолько, чтобы он не успел надоесть своей бедой.

Он услышал, как кто-то пошел к нему, — и убежал, тяжело приволакивая ногу. Скорей. Неудобно, если увидят пьяным.

Он был злой, пьяный.

Лед

Встали в пять, ехали тремя автобусами. В каждом — пол-автобуса людей, пол-автобуса зимних пальто и шапок, удочки, ведра для зимней рыбалки.

Все спали, кроме разбуженного грузина, и никто, кроме него, не видел, как автобусы въехали из лета — в зиму. Как появилась сначала изморозь на стеклах, потом — лед на воде, как посыпался с неба снег.

Грузин с удовольствием выпавшегося человека смотрел в окно и только раз оглянулся на Женю, которая спала, приоткрыв рот, на плече у женщины со стрижкой.

Автобусы стали. Шофер вышел на лед, потрогал ногой, сказал:

— Можно!

Тетя Маруся не поверила. Вышла сама, прошла дальше, нашла темный кусок льда, подпрыгнула на нем изо всех сил — и провалилась. Выкарабкалась, отошла к автобусам:

— Говорила: на Синий Дол надо ехать. Там раньше замерзает, — влезла в автобус и, чувствуя на себе пристальный взгляд грузина, сказала, не оборачиваясь:

— Не тронь меня.

Она стремительно менялась: чем холоднее

становилось вокруг, тем неузнаваемее становилась тетя Маруся. Мрачнела. Шурила глаза. Брезгливо смотрела на спящих отдыхающих, за которыми так любила ухаживать в доме отдыха.

— Ну и чего? — спросил шофер.

— А давай, буди! — приказала тетя Маруся и опять не обернулась на грузина.

Шофер нажал клаксон, автобус загудел, за ним — второй, третий.

Отдыхающие просыпались, смотрели на снег, выходили из автобусов на улицу и залезали обратно: одеться по-зимнему. Ахали, удивлялись, не верили. Разбирали удочки и ведра.

Суета. Смех. Грузин через одевавшихся делал Жене знаки:

— Простите!..

Женя увидела его, услышала, не поверила: он проснулся! Он ее звал!

— Как вас зовут? — спросил грузин.

— Я?.. Женя.

— Женя, посидите здесь? Со мной?

Женя напряглась, не понимая, как себя вести, завернулась в шубу и села напротив. Отдыхающие вышли на лед, кто-то уже сверлил лунку.

Тетя Маруся вышла из автобуса и смотрела на них молча.

— Вы не знаете, почему так рано на лед? — спросил Женю грузин. — Обычно на лед вывозят в предпоследний день, чтобы люди пришли в себя. Как ни отдыхай, а возвращаться придется. Правда, в прошлый раз нам устроили настоящую рыбалку. Все со временем становится примитивнее.

Женя смотрела на него во все глаза, стараясь уловить какой-то скрытый смысл того, что он говорил: ведь она так долго ждала, когда он проснется!

— Сын тети Маруси, — продолжал грузин, — покончил с собой, потому что полюбил красивую замужнюю женщину, много старше него. Поэтому тетя Маруся не выносит красивых женщин, хотя на самом деле она — самая милая из всех женщин, кого я знаю. Видите?

Женя оглянулась. Тетя Маруся подходила к автобусу, в упор глядя на нее.

— Был такой писатель, педагог, — продолжал грузин. — Корчак. Он сказал, что у детей нельзя отнимать ни одного из их прав. Даже права на смерть. Тетя Маруся, конечно, не читала Корчака.

Во взгляде тети Маруси было столько боли и ненависти, что Женя отвернулась. И сразу забыла про тетю Марусю, почувствовала себя униженной и обманутой: она ждала — а он?!

— Хорошо отдохнули? — спросил грузин.

Женя выдала ему презрительный взгляд, и он вдруг понял:

— Ал.. О я чудак! Видимо, что-то проспал? Извините. У меня было очень трудный год,— и смотрел теперь весело и любя, как смотрят на капризных детей. И сказал, как будто цитируя:— «Но он оказался ненастоящим мужчиной».

— Нет,— медленно ответила Женя.

— А какой — настоящий? — поинтересовался грузин.

— Такой, кто не задает идиотских вопросов! — ответила Женя.

— Молодец! — грузин расхохотался с удовольствием.— А на самом деле я просто страшный лодырь, Женечка.

Это было уже оскорблением. Женя резко поднялась, но он строго и серьезно остановил ее:

— Я прошу вас остаться здесь. Пожалуйста. На льду все звереют.

Женя села на место и заплакала.

— Платье,— сказала тетя Маруся.— Пока плачется...

Над футбольным полем покружился и сел на него вертолет.

Вовчик вылез и начал выгружать ящики с картошкой, водкой, закуской. И цветы, очень много цветов. Коля помогал.

— А п-п-почему т-так рано? — заикаясь, спросил Вовчик.

— Майя уезжает,— ответил Коля.— За вторым местом.

— П-п-п-подъехал к-к-к...? — попытался спросить Вовчик.

— П-п-п,— ответил Коля.

Вовчик взял его за пояс, перевернул вверх ногами и поставил обратно. Он очень любил Колю.

Феликс Николаевич стоял на льду, с удовольствием чувствовал, как его охватывает холод, всего, с ног до головы. Он специально скинул шубу и стоял, коченея и трясясь от холода. Вытер лицо снегом, дотронулся до головы, ошупал с удивлением стрижку под панка, выдохнул. Топнул по льду ногой. Засмеялся и пошел дальше, волоча за собой шубу. Подошел к мужчине-футболисту, который успел сделать лунку и сидел теперь перед ней, мрачно думая о чем-то.

— Ключет? — спросил Феликс Николаевич.

— Что?! — тот поднял голову и не понял вопроса.

На самом деле было очень красиво: темный день, белый лед. Люди ходили, устраивались, кто-то зяб и как будто трезвел на глазах. Стало страшно, потому что лед был прозрачным и сквозь него видно было черную воду.

— Мне холодно! — раздался резкий недо-

вольный крик.

Грузин оставил Женю и вышел из автобуса:

— Пойду помогать. Не нужно плакать.

Женя вытерла слезы и сидела, уставившись прямо перед собой: чуда не случилось.

Кто-то закричал, лед треснул в одном месте, в другом, кто-то толкнул кого-то в дыру... Грузин знал, что здесь не больше полуметра до дна, но все-таки торопился. Подхватил тетю Марусю за локоть и силой потащил помогать тем, кто кричал и плакал, проваливаясь...

Автобусы вернулись поздно вечером, после бани. Стол был накрыт по-русски: горячая картошка, кислая капуста, селедка, икра, блины с маслом. Ели много, сильно вздыхали, кто-нибудь начинал смеяться, вспоминая потрясение, перенесенное только что. Просили прощения за грубость, обещали «никогда больше»! Каждый чувствовал в себе необычайный подъем, свежесть, радость, каждому хотелось чего-то последнего перед сном.

Майя Абдурахмановна была в этот вечер блистательна: холодна и профессиональна до упомощрачения.

— Живы?! — спросила она, когда отдыхающие толкались в зале развлечений и еще и еще раз перебирали в памяти случившееся.

Ей зааплодировали, закричали.

— И тетя Маруся вернулась? — спрашивала Майя Абдурахмановна.— Кто утонул? Кто поверил, что везут топить? Кто сопротивлялся? А где ваше ухо, Алла Ефимовна?!

Алла Ефимовна схватилась за ухо, и все засмеялись. Все были возбуждены, нервные, музыка слушалась и воспринималась иначе. У женщин на глазах блестели слезы, у всех. Почему? И все верили Майе Абдурахмановне. Почему? Она властно руководила вечером.

Только Женя Морозова сидела колом: так о многом мечталось и так просто разрешилось в конце концов. Грузин сидел в углу с тетей Марусей и все-таки заглядывался на Женю. Смотреть было приятно, но предпринимать что-то? Они находились в разных стадиях отдыха: он только что выспался, а она уже три раза плакала.

Феликс Николаевич забрел в другую комнату, читальню, где ни разу не был до этого. Там стоял телевизор, покрытый толстым слоем пыли. Он включил его. Изображение работало, но звука не было. Феликс Николаевич покругил ручки — бесполезно. Шла программа «Время». Он переключил на вто-

рую программу и посмотрел, как диктор-переводчик для глухонемых старательно пыталась доложить ему происходящее в мире. Руками и мимикой. Что на самом деле происходило в мире, было все равно не ясно.

Он пошел к танцам — и сразу за ним в другую дверь вошел Вовчик-вертолетчик.

Прошу простить меня, но бывают вещи, которые неудобно описывать словами: так понятны они без слов.

Вошел Вовчик-вертолетчик и увидел Женю.

Она была удивительно красива, честное слово. И находилась как раз в том состоянии, которое древние греки и Коля называли точкой абсолютного перехода. Сейчас она еще могла прийти в себя и, наоборот, могла отдаться властным рукам. Или не отдаваться.

Она встала и медленно пошла на выход по периметру зала, обходя танцующих. Прошла мимо Вовчика, не заметив его, он приподнял руку и едва коснулся ее, пропуская мимо, она быстро и нервно оглянулась на его прикосновение: кто смел?!

И они обменялись взглядами.

Ой, как Вовчик умел смотреть! Извините ради Бога. Если бы можно было снимать фильмы без предварительной записи!

Женя вышла, а Вовчик сел на стул возле входа, расставив ноги, и не торопился идти за Женей.

Женя вернулась и опять осмотрела зал, но уже иначе. Вовчик поднял на нее глаза и коснулся ее локтя, взглядом вежливо пригласив сестру рядом. И она села.

Они сидели рядом и молчали. Он не спрашивал, как ее зовут, не ухаживал. Не кивал головой в такт музыке. Но каждый, кто был в зале, почувствовал, что началось происходить что-то очень главное и красивое.

Феликс Николаевич тоже смотрел и тоже понимал. Женя была права, что молчала и слушалась Вовчика: ведь существует же какой-то неписанный закон, по которому красивые и молодые мужчина и женщина должны быть парой? И это был такой безоговорочный закон, что на них стало неудобно смотреть. Вовчик положил руку на спинку стула, случайно задев Женю локтем, она оглянулась, и он жестом попросил извинить его. И неважно было больше ничего, кроме того, что он молчит и красивый.

Танцы смялись. Все ждали чего-то.

Вошла Майя Абдурахмановна, мельком оглядела зал, поняла, что все как всегда. Сделала Коле знак и объявила мягко, с улыбкой:

— Осталась одна формальность. Но формальность приятная. Мы обязаны выбрать королеву заезда и придумать, как наградить ее за обаяние.

— Майю Абдурахмановну! — крикнул

кто-то, и все засмеялись, но она не обиделась, а сказала только голосом артиста Леонова:

— Моргалы выколю!

Засмеялись опять, но Женю предлагать было почему-то неудобно: она сидела рядом с Вовчиком и была уже не общая.

— Претендентов нет, — сказала Майя Абдурахмановна. — Потому что есть королева. Женя, идите.

И Женя подошла. А Вовчик встал, потому что мужчина должен вставать, если женщина поднимается со стула.

Ей надели на голову что-то очень красивое. Дали цветы. Много. Не миллион, конечно, но очень много, еще. Она обернулась и вызывающе посмотрела на Вовчика.

Кто-то заплакал: какая красавица!

— И в награду за ваше обаяние... Чем можно наградить за обаяние? — Майя Абдурахмановна задумалась. — Вовчик! Вы можете наградить нашу королеву прогулкой над горами? А?

Вовчик коротко развел руками: я готов!

— Идите, Женя! — сказала Майя Абдурахмановна.

И Женя пошла.

— Что же мы стоим? — обратилась Майя Абдурахмановна к отдыхающим. — Пойдемте, проводим? Можно разжечь костер, чтобы им было видно, где сестра! Коля, переведи музыку на улицу!

Отдыхающие кинулись на воздух.

— Нет, ну как продумано! — сказала женщина со стрижкой.

В зале остались только Майя Абдурахмановна и Феликс Николаевич. Она не заметила сначала, что он здесь, поэтому секунду не следила за своим лицом. А он видел ее лицо и потому смотрел так, как будто перед ним был не массовик-затейник, а, например, говорящая гадина.

— От усталости женщины обычно плачут, — сказал он.

Она резко обернулась и — ой как ей захотелось ответить! Но она сдержалась, конечно.

Вертолет взлетел под музыку, тихо, почему-то без обычного гула, только с ветром.

Отдыхающие разошлись к кострам. На поле начался праздник, тихий, сладкий, как приснившаяся оргия.

Феликс Николаевич ушел в свой номер.

В зале развлечения Майя Абдурахмановна была одна, поэтому, когда позвонил из города муж Жени Морозовой, разговаривала с ним она:

— Морозову? Какую? Женю? А ее нет... Откуда же я знаю? А кто ее спрашивает? Муж?.. Ну что же вы, муж: сна-

чала отпускаете жену одну, а потом звоните. Или уж не отпускайте, или не звоните. Пожалуйста,— повесила трубку и пошла домой мимо футбольного поля, где пели, прыгали, кричали. Певцы изображали игру на джазовых инструментах, и это было очень смешно.

Тетя Маруся, счастливая от того, что не стала дрянью на льду, плакала и обнимала грузина:

— А я на кого-нибудь кричала?

— Кричала. И Женьку чуть не убила. Хулиганка. Кулаком — по загревку!.. Ну что это...

Тетя Маруся плакала от счастья, потому что понимала, что он шутит.

Потом она догнала Майю Абдурахмановну и низко поклонилась ей:

— Спасибо вам. Вы меня простите, что я иногда... Все правильно: надо же когда-то... Ты умная. Спасибо тебе,— и чуть не поцеловала руку Майе Абдурахмановне, которую та мягко отняла.

А вокруг футбольного поля, от дерева к дереву, бегала девочка мама, одетая в кино, пела, прикладывая пальчик к щечке, почти совсем как в индийском кино:

Яли-яли яблочки
Зреют арома-атные!
На меня не смотришь ты!
Неприятно мне!

— и пряталась в тень.

Мужчина с лицом убийцы выглядывал из-за дерева, она оглядывалась — он подбегал к ней, спрашивал: «У?» — и делал вид, что сейчас ка-ак поцелует в щечку! Она прикрывала щечку пальчиком и опять убегала.

— Мама! — крикнула девочка с поля. — Марина! Замерзнешь!

— Да ну! — мама махала на нее рукой и опять играла в индийское кино.

Как все садисты, она оказалась чересчур сентиментальна.

А девочке нравилось, что мама бегают и счастлива: сейчас девочка любила всех, кто был рядом. Только на Колю смотреть было неприятно: все-таки урод, а она когда-то... Бог с ним.

А потом грузин сидел с Мессалиной у воды. Она умывалась. Жалкая, мокрая, совсем не молодая.

— Сними,— он показал на сережки.

Она сняла и улыбнулась. Опять было видно, что у нее нет трех передних зубов. Сказала, помолчав:

— Мама так долго мучилась!

Он погладил ее по голове:

— Тебе надо отдохнуть,— и зевнул вдруг.

— А тебе бы все спать.

— Прости,— он приложил руку к сердцу.

— Да знаю,— и она махнула рукой.

Тетя Маруся прощалась с могилкой:

— Поеду я, сынок. Никого на льду не тронула, даже помогала. А чего на них сердиться? Чего они видели? Дом да работа. Как Андреева невестка говорит: родился — получил квартиру — умер, хе-хе... Она скоро второго рождает, поеду. Надо помочь. Таня отекает стала. Ноги, как тумбы. Поеду.

День четырнадцатый и последний

Муж Жени Морозовой приехал утренним поездом, когда дом отдыха еще отсыпался после ночного праздника.

Сидел на травке, курил. Смотрел, как бо-лельщик вышел на поле и пытался разыграть мяч.

— Муж?! — женщины пугались и перешептывались.— А Женька-то где?

— Где?! На вертолете, где...

— Так их так и нет?

Брались под руки, шли к полю, гуляли, закидывая время от времени вопросик:

— Это кто же к нам приехал?

Муж молча смотрел на них, и взгляд его не был приятным.

Феликс Николаевич сложил вещи, нашел в кармане листок.

— «Заявление. Рубль в наше время, конечно, бумажка. Но поведение ваших оживших сволочей...» — он очень долго читал, переворачивал и так и не вспомнил, что же это такое.

Посмотрел на часы. До отъезда оставалось все меньше времени. Хоть на секунду, но меньше. И ему становилось все веселее.

Коля очень внимательно рассмотрел Жениного мужа. Понял. Помрачнел. И пошел к домику Майи Абдурахмановны, морщась от нехороших предчувствий.

С гор спустились люди — те, разумные,— и мужчина с лицом уверенного идиота остановился возле Жениного мужа, пожал ему руку:

— Салют! Ну что: сошли с ума? Ха-ха-ха!!! А мы все выяснили. Все, как я и предполагал: очень плотное окружение горами — вот и весь вам микроклимат. Никакого чуда, естественно, нет! Я про эти чудеса

слышу уже который год. В тот раз все говорили: влюбишься, женишься! И я, козел, двадцать четыре дня ждал, когда я изменюсь и проявлюсь. Фига с два! На кого-то, может, и действует, а мне!.. Не сподобился! — и запел вдруг так же бодро, как разговаривал. — «Наши руки не для скуки, для любви сердца! Для любви сердца, которой нет конца!» — видимо, он был все-таки настоящим идиотом. К сожалению, конечно.

Майя Абдурахмановна готовилась к отъезду. Старательно разглядывала в зеркале свое лицо, взялась накладывать грим, не видя, что через окно на нее внимательно смотрит Коля:

— Восстановление лица по черепу. Профессор Герасимов.

Она в ту же секунду швырнула в него то, что было под рукой, он увернулся, и она крикнула в окно:

— Да ради Бога! На все четыре стороны!.. Только не приходи потом опять!.. Обиженный жестокими людьми!.. — И долго еще не могла успокоиться: целых полминуты.

Где взять сил?!

Феликс Николаевич последний раз взглянул на часы и поднялся, взяв в руки чемодан, пальто. Пора.

Майя Абдурахмановна заперла дверь на ключ и поспешила к станции.

Неожиданно над футбольным полем появился и завис вертолет.

Дом отдыха бросил ложки, вилки, тарелки и поспешил к полю.

Муж Жени Морозовой, знавший, видимо, все, смотрел на вертолет снизу, с оскалом, не двигаясь, почти как Абдулла в «Белом солнце пустыни». На ноги не поднимался. Смешно, но он был очень похож на Вовчика. Старше, конечно, но тоже из таких, кому лучше не разговаривать.

Вертолет завис над полем, раздувая мужу волосы. Ушел в одну сторону, потом — в другую и сел вдруг между мужем и Феликсом Николаевичем, который шел к станции.

Феликс Николаевич остановился — и через минуту получил Женю, которая выпрыгнула из вертолета и стояла, с ужасом глядя на него.

Вертолет поднялся и улетел: Вовчик не был готов к такому продолжению «полетов».

Феликс Николаевич подошел к Жене, испугался: она была совершенно белая от ужаса. Муж поднялся с земли и пошел к ним. Женя вскрикнула.

Феликс Николаевич думал только секунду: — Пошли, — и повел ее к станции, плохо понимая, что будет и что надо делать.

Женя пошла, потом быстрее, прижимала руки к груди, спрашивала обычновенным голосом:

— Он давно?

— С утра.

Они прошли мимо Майи Абдурахмановны, которая постаралась не заметить их.

— У нас кончился бензин, — говорила Женя. — Мы были вынуждены ночевать в горах. Что ты знаешь?! — закричала. — Что ты вообще знаешь?! Он меня вытащил! — кивнула назад, на мужа, и пошла еще быстрее.

— Не кричи, — Феликс Николаевич нервничал: Женя была униженно жалка сейчас.

Муж шел спокойно, засунув руки в карманы пальто, которое так и не снял в микроклимате.

— Поезд! — крикнула Женя.

Они увидели состав, который медленно двигался по последнему пути. И помчались через мост.

Муж шел, не торопясь.

— Почему я должна бежать?! — кричала Женя. Упала и поднялась.

Феликс Николаевич выронил пальто и силой толкал Женю в открытую дверь вагона.

— Куда?! — орала проводница и отпихивала Женю.

— Помогите! — крикнул Феликс Николаевич мужику, стоящему в тамбуре за проводницей.

— Давай! — немедленно отозвался мужик и, оттолкнув проводницу, рывком втащил Женю в тамбур.

Феликс Николаевич выдохнул, Женя упала на пол, отползла в глубь тамбура... и поезд остановился.

— Совсем сдурила! — проводница вышла на перрон. — Стоянка десять минут.

— В смысле? — спросил Феликс Николаевич.

— Приехали «в смысле!» — проводница рассерженно отошла от него. — Пить надо меньше.

— Так ты что: вы останавливались? — спросил Феликс Николаевич мужика, который помогал влезать в вагон.

— Ну да.

— И ты знал, что вы останавливаетесь?

— Фу, ё... — растерялся мужик.

— А чего ж ты помогал? — радовался Феликс Николаевич.

— Так ты орешь!

Феликс Николаевич расхохотался счастли-

во и объяснил Жене:

— Они останавливались! А он помогал! — и с удовольствием хлопнул мужика по плечу.

Мужик возмутился и задышал пока без слов.

— Инстинкт сострадания! — Феликс Николаевич выглянул на перрон.

Женин муж перешел мост и спускался теперь к ним по лестнице.

Феликс Николаевич посмотрел на Женю.

— Нет, они лезут, а я что должен: под колеса толкать?! — разразился наконец мужик.

Феликс Николаевич коснулся Жениной щеки, его рука дрожала немножко:

— Ну что, «судьба»?

Она придумала вдруг и обняла его руку своей:

— Феля!.. Скажи ему, его зовут Саша... Скажи, что я его очень люблю! Только пусть он придет завтра!

Лица Феликса Николаевича не было видно, но он, кажется, улыбался.

— Деньги есть? — Он дал ей денег, оглянулся на мужа. Толкнул Женю вглубь и вышел навстречу мужу.

И опять встретил Майю Абдурахмановну, которая постаралась не заметить его. И ему стало совсем весело.

Женя шла по вагонам, долго, упрямо, глядя прямо перед собой.

Майя Абдурахмановна вошла в свое купе и раскладывала вещи по полкам.

— Они что: с ума сошли? — сказал кто-то, глядяывая на перрон.

Женин муж уже порвал на Феликсе Николаевиче рубашку, потому что тот сначала не пускал его к Жене, а потом завелся сам, по-настоящему: он любил, когда его толкают. А может быть, ему стало неприятно, что его толкает какой-то сопляк.

Они толкались долго, смешно, их разглядывали.

Женя дошла до первого вагона и остановилась в тамбуре, приходя в себя.

Когда поезд тронулся, Морозов был еще на перроне, потому что Феликс Николаевич одной рукой держал его, другой — обнимал столб. Держал свирепо, хотя вряд ли обдумывал, зачем он это делает.

Муж рывком отцепил его от столба, и Феликс Николаевич полетел в поезд, оступился и попал в промежуток между вагонами, а поезд уже шел, и его затащило вниз. Проводница закричала, как будто затащило ее, кто-то дернул стоп-кран.

Вещи Майи Абдурахмановны полетели на пол, она стукнулась лбом о полку.

Поезд резко, со свистом стал, люди выскакивали на перрон.

— В сторону! В сторону! — кричал кто-то.

Майя Абдурахмановна тоже вышла из ва-

гона, а Женя Морозова проталкивалась вперед — и не получалось, потому что народу на перроне оказалось сразу очень много, все старались увидеть и ужаснуться, но, как всегда, в первые секунды осознания беды, и испытывали растерянность и некоторый восторг даже... потому что оказались очевидцами настоящей гибели... ужаса не получалось, кто-то улыбался от растерянности... и солнце, мягкое, нежное сентябрьское солнце смотрело сверху...

— Гуд бай, беби! Ай лав ю! — пел во всю мощь репродуктор. Майя Абдурахмановна не любила негритянский джаз, поэтому Коля специально поставил ей его на прощание.

Смотр

— А где Майка? — спросила Клавдия Ивановна, маленькая, не больше ребенка, с огромной головой, массивичка, которая запросто считалась бы уродом, если бы не была так умна и уважаема.

Одна она курила на глазах, ее рассматривали, изумлялись ей, запоминали движения и выражения, которыми она «работала». А она называла всех Майками, Надьками, Машками, дурами, идиотками и, извините, еще каким-то словом, от которого все отмахивались и на которое отвечали: «А ты кто?»

— Сейчас посмотрю, — ответила Танюша, самая молоденькая массивичка, и побежала искать Майю Абдурахмановну.

Фильм в этот момент кончился, из зала высыпали массивички. Все — разные, но все какие-то одинаковые. Их было около сорока.

— Да, это, конечно, уже не Феллини, — говорили они. Не говорили — констатировали с грустью. Им приходилось быть жестокими, чтобы быть справедливыми и объективными.

Лица — сосредоточенные.

— Ариведерчи, Рома! — напомнила одна, и вторая ностальгически вздохнула:

— Да!.. Но — нет.

Танюша бегала по комнатам и туалетам, разыскивая Майю. Брючный костюм Танюши был из того же, из чего было платье Жени Морозовой: шелестящее, блестящее...

Она шла по коридору и слышала обрывки разговоров:

— ...а я собираюсь следить за собой в конце концов!

— Господи, как я истосковалась!

— ...я же не знала, что он гомосексуалист! Ты знаешь, что со мной было, когда я узнала?! Меня рвало полтора дня! Вырвет, я успокаиваюсь, — и тут же, немедленно, перед глазами эта рожа: «В нашем учреждении!» И я моментально к унитазу — брэк!.. И так полтора дня!

— ...это Мишутка такой большой? Мой

котеночек, мое счастье!

— Дети, куда вас, дети!

— А как вам эти «выборы»?

— Нет-нет, только не про страну! Я — отдыхаю!

— Господи, ну почему всего три дня?

Танюша подбежала к телефону, телефон был один, у него была очередь, и женщина, разговаривавшая, перечисляла в трубку:

— «Полет над гнездом кукушки», «Вся эта чепуха», «Корабль плывет», «Барашек...» не вижу, какой-то... Не говори: рай!

Танюша зашла в туалет, откуда вырвались клубы дыма: женщины накуривались до одурения, тайком, выходили со слезящимися глазами. Майи не было.

Танюша догадалась наконец заглянуть в зал показа и сразу увидела Майю Абдурахмановну: она стояла на сцене, с зеркалами, и кланялась под вялые хлопки жюри.

— Тьфу! — сказала Танюша и побежала к Клавдии Ивановне. — Она показывается!

— Тьфу! — сказала Клавдия Ивановна.

— Кто? — спросили рядом.

— Наша «номер два».

— Она в ужасном состоянии, — пресекала всякую возможность смеяться Клавдия Ивановна; ее поняли, послушались и немедленно посострадали:

— Вообще это, конечно, ужасно! Как специально!

— Что она работает? — спросила Клавдия Ивановна.

— Зеркала.

— Прекрасная выдумка, — сказала Клавдия Ивановна, как будто продиктовала, и ее опять послушались. — Танька, твой! — хихикнула Клавдия Ивановна, и все обернулись на московского лектора, которого облепили массовички.

— А скажите нам какую-нибудь тайну!

— Для нас человек такого ранга, как вы, из Москвы!

Лектор — он был один мужчина из всех — развел руками и все-таки придумал:

— Ну хорошо. Последнее. Как вы считаете: в чем высший пилотаж профессионализма при привлечении внимания отдыхающих в первый день знакомства?

— Не знаю! — растерялись массовички.

— Высший пилотаж, — заговорил лектор так, как будто открывал «самое-самое», — это оставление чувства голода по себе. Тоски, так сказать. Берегите себя. Не продавайтесь в первую секунду. Подала — но не выдала. Намекнула — и оставила. Пообещала — и забыла об обещании. Но не мне же учить женщин, не правда ли? — И все видели, что он косит глаза на Танюшу в ее блестящем и фантастическом.

За ним записывали, его слова обдумывали. Показывали глазами, как он прав!

И очень его хотели.

— А вы сами бываете в домах отдыха?

— К сожалению и стыду! — он развел руками.

— И не стыдно! — сказал кто-то.

И все засмеялись.

— Простите, я хотел бы посмотреть победителя, — извинился лектор и вошел в зал, выпустив Майю Абдурахмановну.

— Майка! — крикнула Клавдия Ивановна, и Майя Абдурахмановна пошла к ней.

— Если ты сейчас зареветь, — предупредила Клавдия Ивановна, — я тебя кастрирую. Если однажды в жизни ты при мне поспеешь зареветь!..

У Майи Абдурахмановны на лбу сияла огромная шишка, которую не прикрыть было даже челкой, специально для этого выстриженной. Клавдия Ивановна бесцеремонно подняла челку и осмотрела шишку. Майя отвернулась и поняла, что сейчас действительно заплачет.

— Я ее кастрирую, — сказала Клавдия Ивановна. — Ты первый год работаешь?! Или у тебя первая смерть? Или ты будешь мне устраивать?! Три дня на все про все, а я должна искать ее по клозетам!

Майя отвернулась и быстро-быстро заплакала.

— Ее второе место не устраивает, — объяснила окружающим Клавдия Ивановна. — Меня — дескать устраивает, а ее — второе не устраивает!

— У нас верблюда забирают! — сказала Майя Абдурахмановна, чтобы как-то оправдать слезы.

— Кто?!

— Ну — кто?!

— Для кого?! — изумилась Клавдия Ивановна.

— «Для кого»?! — крикнула Майя Абдурахмановна. — Для «номер один»!

— Таня, уйди, я ей скажу, кто она есть! — приказала Клавдия Ивановна. Подумала и повернулась к Майе: — Ты меня знаешь? Я задала вопрос: ты меня знаешь? Мы с вами встречались?

Майя махнула рукой и обняла ее за плечо.

— Майка! Майка! — стучала ее по спине Клавдия Ивановна. — Если ты будешь нюнить, ты будешь не майка, а бюстгальтер! Может быть, они еще и микроклимат заберут?! — и сделала губами так, как будто действительно выругалась. — Ладно. Слушайте сюда. Тебе нужен верблюд? Вот как тебе нужен верблюд, так он у тебя и будет. Алло?

— Она же победила! — плакала Майя Абдурахмановна.

— Действительно, ей только верблюда не хватало, — сказала Клавдия Ивановна.

Из зала вышла Женщина Номер Один. Ее вел лектор, чрезвычайно взволнован-

ный ее мастерством и профессионализмом.

Женщина Номер Один была ростом под два метра, в латах, с железным гульфиком и забралом, немножко горбатая. Но лектор был совершенно искренен.

— «Привлечение внимания...— процедила сквозь зубы Клавдия Ивановна,— в первый день знакомства...»

— Она гений,— сказала Танюша.

Потом человек десять собрались в номере и, честно говоря, напились. Не в доску, конечно, потому что ждали лектора в гости. А пока — разговаривали. Пели.

— Ну и где твой лектор? — спрашивали Танюшу в промежутках между песнями.

Та была еще неопытна в женских гулянках, поэтому разволновалась и разговаривалась всерьез:

— Может быть, я и не права, но ведь я начала сходить с ума!

— Если мне кто-нибудь скажет еще одно слово о работе!..— заявила Клавдия Ивановна.

— Ровно двадцать четыре дня! — продолжала Танюша, вскочив на ноги и шелестя перед носом Майи Абдурахмановны своим шелестящим, блестящим, фантастическим. — Каждый заезд!.. Они все время выдают себя не за того, кто они есть, они придумывают себе имена, привычки, они истерикуют, как будто они никогда не жили по-настоящему или просто по-другому!.. Они врут! Они пьют! Они... прелюбодействуют! А я-то нормальная! Я все это вижу! И после этого он мне заявляет, что раз они все так похожи, значит, «в этом есть какой-то человеческий закон!» — и Танюша замолчала, возмущенно оглядывая присутствующих дам.

Все отметили про себя, что говорит она хорошо, искренне, так, что можно даже не слушать слова: почти как Белла Ахмадулина.

— Таньке больше не наливать,— приказала Клавдия Ивановна.

— Но сначала,— продолжала Танюша,— в первый год, я совершенно искренне пыталась им служить! СЛУЖИТЬ! Во мне было что-то... Майя Абдурахмановна, как сказал ваш погибший: «Инстинкт сострадания!» Какие слова, Боже! Но я уже не могу благоговеть перед ними, понимаете? Не могу!

— Сядь и возьми с полки пирожок,— закончила Клавдия Ивановна.— Под форточку ее посадите, сейчас лектор придет.

— Боюсь, что лектору уже хорошо,— значительно сказал кто-то.

— Его Танюшка позвала, а он не идет. Танюша замерла под форточкой столбом. Майя Абдурахмановна почувствовала дурноту и вышла вон.

И сразу увидела лектора.

Он вылетел только что из другой комнаты, с выпученными глазами. Увидел — и не уви-

дел Майю Абдурахмановну. Выдохнул сигаретный дым. Ему надо было бы сообразить, в какую сторону идти, но он не мог вспомнить, что именно ему надо сообразить, и поэтому не сообразил вообще ничего. Даже того, что не весь одет и в руках у него — женская туфелька мужского размера, из которой он только что попил шампанского.

Майя Абдурахмановна успокоилась: слава Богу, все как всегда.

Она вернулась в комнату, где Танюша, красная, ярая, кричала на кого-то:

— Да какое право вы имеете так говорить о Данелии?! Вы кто?! Вы кто такая?!

Надо было бы спасти праздник, но сил не было совсем. И не до праздника было.

Клавдия Ивановна всегда была в форме. Она погасила сигарету и запела романс — тот самый, которым так упивалась Майя Абдурахмановна, когда погибший просил ее о любви. Начала и сразу предупредила:

— Бюстгальтер, молчи, у тебя слуха нет.

«Бюстгальтер» замолчала. Клавдия пела красиво, правильно, хорошо, но все-таки почувствовала, что «бюстгальтеру» нехорошо. Вспомнила. Не переставая петь, достала из сумочки лист бумаги и протянула его Майе.

Та спросила кивком «что?», посмотрела и прочла:

— «Заявление. В связи с тяжелым состоянием Майи... из-за происшедшей в доме отдыха “Мечта” смерти... просим вернуть дому отдыха “Мечта” отобранного верблюда Боцмана». И тридцать восемь подписей.

— Клава! — сказала Майя Абдурахмановна.

Клава показала лицом «отстань», пела, распелась вдруг и превратилась в хорошую русскую бабу, добрую и беспомощную. Совсем немолдую и несчастливую.

Романс выслушали и хорошо, по-доброму вздохнули.

— И вот так всю жизнь! — сказал кто-то.— Три дня отдыха — и обратно...

— Да вы все дуры,— сказала Танюша.— Знаете, как лектора брать? Смотри.— Скромно вздохнула и сделала глазами круть-верть.

— Танька, я сохну! — кричали массовички.

Праздник, кажется, восстанавливался.

В дверь постучали. В номере стало тихо.

— Да,— сказала Клавдия Ивановна.

— Простите,— в комнату заглянул очень симпатичный мужчина.— Майя Абдурахмановна не у вас?.. Майя Абдурахмановна! — увидел и влез в комнату.— Простите, вас нельзя на минуту?

— Как женщину? — спросил кто-то.

— Нет. Извините. К сожалению.

— А то женщины у нас в другом но-

мере,— значительно сказал кто-то.

— Я слушаю,— Майя вышла в коридор.

— Простите, ради Бога! — он прижал руки к груди. Он был очень обаятелен.— Мы вас засняли, но звукооператор, как выяснилось, заперол звук. Мы вам бесконечно благодарны, но если бы вы смогли переписать! Звукооператоры со мной...

— Операторы — мужчины? — спросили из комнаты.

— Да,— улыбнулся режиссер.

Тишина.

— Хорошо, что я проверил, совершенно случайно. Мы должны пустить ваш материал в завтрашний выпуск, и если бы я не проверил и не нашел вас!..— и он мотнул головой, обозначая конец света.

— Как же я буду? — думала она.

— Мы запишем и подложим. Буквально начало выступления. Изображение прекрасное, а звук — пас. И времени совершенно нет.

В комнате запели «Лезгинку».

— Ну давайте попробуем,— мягко согласилась Майя Абдурахмановна.

...Ее посадили в «уазик» и вдруг куда-то повезли. Была ночь, зима. «Уазик» закружился вокруг какого-то памятника.

— Черт,— говорил шофер и все равно никак не мог выехать.

Получалась какая-то метафора.

— Заносы,— объяснил режиссер. И, чтобы не молчать, спросил:— Говорят, у вас кто-то умер? А на вас это как-то отразится?

— Не дай Бог! — ответила Майя.— Если меня оттуда вышлют!.. У меня аллергия на любовь другой климат.

— Не дай Бог,— подхватил режиссер.

Нет, метафоры не получилось: «уазик» выбрался на прямую и помчался в ночь.

Майя Абдурахмановна увидела вдруг, что звукооператоры огромные, много выше нее! Они вышли. Майя заволоновалась.

— А мы куда? — спросила весело и обаятельно.

— Очень поздно,— объяснил режиссер.— Мы отехали, чтобы не было домов. Поглубже. Чтобы никого не тревожить. У вас такой голосина! — и засмеялся.

Они шли, и ей вдруг стало так страшно, так жутко, до вопля! Она поняла, что ее ведут убивать. Она резко остановилась и сказала им всем:

— Дальше я не пойду.

Режиссер огляделся:

— Здесь? Прекрасно. Резо, дай звук.

Какой-то там Резо — один из грузин — настроил звук, и Майя поняла, что переборщица: ее никто не собирался убивать, правда. Она тихо, незаметно для них, успокоилась и спросила:

— А что говорить?

— Ваше выступление, буквально минуты

полторы-две. Мы запишем и подложим.

Она стояла среди мужчин.

Ей надо было победить их. Не подпуская к себе, но раз и навсегда. Она усмехнулась про себя. Победить мужчин можно только мастерством.

— Можно? — спросил режиссер.

— Я попробую.

Режиссер — по надобности — уже уважал, но эти две колонны, звукооператоры, совершенно ее не замечали.

— Тере, лабас,— сказала она. Замолчала. Сосредоточилась. Вдруг стало легко и свободно.— Можно еще раз?

— Сколько вам угодно! — режиссер прижал руку к сердцу.

И Майя Абдурахмановна разразилась монологом. Сначала было трудно, потом, с неба, спустилось вдохновение, потому что грузины вдруг прислушались. Посмотрели.

Тот, кто был повыше, спросил что-то про Майю у второго.

— Ара,— ответил тот, что по-грузински означало «нет».

Он сам удивлялся.

Первый помолчал и спросил опять, тихо.

— Ара,— подумав, ответил второй. И они опять в упор смотрели на Майю.

— Тере, лабас, лаба дена, хелло, добрый вечер, здоровеньки булы, салам алейкум, друзья! — говорила она в пространство.

Первый грузин задумался уже серьезно и уже совсем нашел и задал вопрос.

— Ара! — ответил второй и даже засмеялся, и они уже не могли оторваться от Майи Абдурахмановны.

А она говорила, спрашивала, корила, даже симпровизировала: «сыграла на саксофоне!»

Как полегчало, как задышала ночь!

Вокруг стояли настоящие мужчины и — раз и навсегда — были покорены ею. Они никогда больше не посмеют считать ее женщиной, как все!

Монолог ее был о любви к людям, которую она испытывает всякий раз, входя в этот зал. И неважно, какой они национальности, счастливы ли, молоды или стары, пол, социальная принадлежность, количество детей или разводов — нет никаких границ между людьми, нет никаких областей, по которым можно было бы расфасовать: тех — сюда, этих — в другую область. Есть только человек, страстный, красивый, не всегда счастливый в своей единственной жизни...

К чести Майи Абдурахмановны надо сказать, что она ни разу не сделала им головой, как Танюша. Она имела это в виду, но — не сделала. И может быть, поэтому победила опять, и голос ее звучал мощно, властно. Щедро.

1989 г.



Элио
ПЕТРИ

Уго
ПИРРО

СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ ГРАЖДАНИНА ВНЕ ВСЯКИХ ПОДОЗРЕНИЙ

*Каким бы он нам ни казался, он
слуга Закона, а значит, причастен
к Закону, значит, суду человече-
скому не подлежит.*

Франц Кафка

Сцена I.
Набережная Тибра. День.

Время послеобеденного отдыха в летний воскресный день. Пустынная, залитая ярким солнцем набережная Тибра. По асфальту мостовой неслышно, словно с выключенным мотором, скользит белая спортивная «альфа». За рулем — мужчина лет сорока с лишним в светло-сером костюме. Лица его еще почти не различить. «Альфа» останавливается у полупустой автомобильной стоянки.

Из машины выходит сидевший за рулем мужчина. Это Убийца. Бесшумно захлопывает за собой дверцу. Озирается, словно желая убедиться, что вокруг действительно ни души.

Убийца слегка волочущимся шагом удаляется; ища хоть чуточку тени, он жметя к стенам домов.

Дойдя до ограды синагоги, он останавливается и оттуда принимается наблюдать за стоящим напротив особнячком в стиле модерн начала этого века. Все жалюзи

на окнах особнячка опущены.

Взгляд его привлекают две украшающие фасад здания лепные женские фигуры — Справедливости и Науки.

Машиналным движением Убийца вытирает с лица пот. В нем нетрудно угадать государственного чиновника, достигшего в своей карьере определенных успехов, но на манере одеваться еще лежит неизгладимый отпечаток служебной рутины. Единственную живую, если не кричащую, ноту в его одежду вносит резко выделяющийся на белой сорочке голубой галстук.

Убийца медленно переходит пустынную маленькую площадь; в отдалении по набережной сонно скользит одинокая машина, бредут редкие прохожие.

Он вытаскивает из кармана ключ, вставляет его в замочную скважину калитки в чугунной ограде перед особнячком модерн и распахивает калитку. Затем осторожно прикрывает ее за собой, спокойно, не спеша пересекает садик, входит в парадное и поднимается по лестнице.

Сцена II.

Квартира Аугусты. День.

Он подходит к двери квартиры Аугусты. В руке у него уже наготове другой ключ, которым он отпирает дверь. Воровато оглядываясь, входит в переднюю.

Стараясь не шуметь, Убийца проходит по обставленным в экзотическом духе комнатам.

В спальне, улыбаясь, его ожидает Аугуста.

Она полураздета — отчасти из-за жары, отчасти из-за бесстыдства, которое сейчас к тому же как нельзя лучше оправдывают жара и неурочное дневное время. Комната погружена в полумрак. Они стоят друг перед другом — судя по их виду, происходящее их весьма забавляет, они словно продолжают какую-то давно начатую ими игру

Аугуста спрашивает:

— Ну а на этот раз как ты меня убьешь?

Убийца отвечает:

— Перережу тебе горло...

Аугуста обнимает его.

Сцена III.

Спальня в квартире Аугусты. День.

В полумраке Убийца раздевается размеренными, аккуратными движениями чиновника-бюрократа, наблюдая за Аугустой, которая лежит на постели, углубившись в детективный роман. Она чуть прикрыта большим куском тонкой черной ткани.

Убийца снимает брюки и тщательно, стараясь не нарушить складки, вешает их на

спинку стула. Поверх он так же аккуратно вешает пиджак, рубашку и галстук.

Оставшись в одних трусах, Убийца садится на край постели, по-прежнему не сводя пристального взгляда с Аугусты. Женщина, захлопнув книгу, подвигается, освобождая ему место, и отбрасывает черное покрывало.

Но Убийца не торопится, он протягивает руку к пиджаку и достает из кармана маленькую записную книжечку. Находит меж страничек, плотно заполненных именами и телефонами, конвертик с лезвием безопасной бритвы и движениями, еще более размеренными и точными, не спеша разворачивает его. Затем, зажав лезвие в зубах, ложится в постель, несколькими рывками подтягивает покрывало и укутывает им себя и Аугусту с головой.

Под черной тканью происходит какая-то возня, слышится тяжелое, хриплое дыхание. Все это весьма похоже на любовные игры. Но вот возня прекращается, и одно из двух тел замирает.

Несколько мгновений оно остается каменно застывшим, потом постепенно напряжение его покидает, оно обмякает и со стоном откидывается на постель.

Убийца, не поворачиваясь лицом, встает с постели и накидывает на тело Аугусты черное покрывало. Кашляет.

Потом размеренными шагами направляется к двери ванной.

Сцена IV.

Ванная комната. День.

Струи воды яростно бьют из душа, с силой обрушиваясь на Убийцу, хлещут его, словно стегая в наказание, как кнут. С его тела постепенно исчезают все следы крови его жертвы.

Сцена V.

Комнаты в квартире Аугусты. День.

Убийца вытирается, расхаживая по пустой квартире. Потом принимается стирать полотенцем отпечатки пальцев, которые он мог оставить на ручках дверей, мебели, кранах, на разных предметах.

В движениях Убийцы есть нечто маниакальное. Он долго ходит по квартире, вспоминая одно за другим бесчисленное множество мест, где бы он мог проходить и до чего дотрагиваться.

Закончив эту работу, он чувствует себя совсем уставшим.

Он открывает дверцы бара. Внимательно изучает этикетки бутылок. Он останавливает свой выбор на настойке ферне, наполняет бокал, не только действуя при этом без перчаток, но даже стараясь, чтобы отпечатки

его пальцев как можно отчетливее остались и на бутылке, и на бокале.

С бокалом в руке Убийца подходит к окну и из-за занавески наблюдает за медленным пробуждением квартала после полуночной снесты.

Вдруг Убийца быстро отходит от окна и валится на диван. Недопитый бокал он ставит на пол у своих ног. Кажется, он задремал.

Сцена VI.

Комнаты в квартире Аугусты. День.

Легкий ветерок играет занавесками на окнах. Убийца одевается с такой же методичной аккуратностью, как раздевался. Такое впечатление, что он предварительно обдумывает каждое свое движение.

Узел галстука он завязывает перед окном, выходящим на маленькую площадь у синагоги. Его взгляд задерживается на украшающих портик храма мраморных скрижалях с заповедями на древнееврейском. Внизу, на площади, у входа в храм толпится кучка пришедших на богослужение верующих. Он отходит от окна.

Возвращается в спальню, склоняется над постелью. С сосредоточенным видом шарит в складках покрывала. Находит бритвенное лезвие. Затем направляется к комоду, резким движением открывает один из ящиков, вынимает из него драгоценности и часть их, не глядя, сует в карман пиджака. Потом берет толстую пачку десятитысячных ассигнаций и разбрасывает их поверх содержимого ящика. Затем внимание его вновь привлекает Аугуста. Он вытаскивает из-под простыни руку женщины и, держа ее палец с длинным, остро отточенным ногтем, выдирает им нитку из своего галстука — так, чтобы нитка осталась под ногтем. Распрямляется. Пристально глядит на пятно крови на полу у изножья постели. Инстинктивно закрывает пятно ногой.

Потом выходит из комнаты и, стараясь не ступать на одну ногу, направляется в коридор; здесь его походка становится решительной — после каждого шага он оставляет за собой красноватые следы, отчетливо очерчивающие форму и размер его ботинка. Останавливается. Подходит к телефону, стоящему на полу рядом с грудой книг. Садится. Снимает трубку. С невозмутимым видом набирает номер. Почти сразу же в ответ раздается хриплый голос. Но Убийца тотчас прерывает своего собеседника четким, резким голосом, и его слова звучат скорее как приказ, чем сообщение:

— Алло! Алло! Главное полицейское управление? Да что вы там делаете? Почему не отвечаете? Заснули? Произошло преступление. Да, произошло преступление. Темпио,

дом один. Да не дель Темпо*, идиот, а дель Темпио*. Да, дом один. Аугуста Терци, квартира номер один. Вы поняли? Записали? Повторите.

Вешает трубку. Вновь выходит в коридор и идет к ванной. По пути открывает холодильник и достает две бутылки французского шампанского. Прижимая к себе бутылки, направляется к входной двери. Прежде чем выйти из квартиры, какое-то мгновение прислушивается. По телу его словно пробегает озноб. Он быстро распахивает дверь и выходит на лестницу.

Сцена VIII.

Особнячок, в котором живет Аугуста. День.

С двумя бутылками шампанского под мышкой Убийца спускается по лестнице, переступает порог парадного, выходит в садик и направляется к воротам.

Но у калитки маячит какая-то фигура — кто-то там возится с замком.

Убийца секунду колеблется. Однако берет себя в руки и приближается к воротам.

Не успевает он подойти, как калитка перед ним распахивается, и с улицы во двор входит юноша лет двадцати с пышной шевелюрой и небрежно повязанным на шее фуляровым шарфом. Юноша, не ожидавший появления Убийцы, не может скрыть удивления, но потом улыбается и уступает ему дорогу.

Паче. Прошу вас!

Убийца. Пожалуйста...

Паче. Прошу!

Убийца, который и не думает как-то скрываться или бежать, пользуется любезностью юноши и выходит на улицу. Он слышит, как за его спиной захлопывается калитка.

Сцена IX.

Городские улицы и улица, на которой находится полицейское управление. Вторая половина дня.

«Альфа» стремительно несется по улицам Рима, пока не влетает в подземный гараж под большим зданием, на вывеске которого явственно можно различить слово «Полиция».

Убийца выходит из машины, по-прежнему держа в руках бутылки шампанского. Несколько чиновников и полицейских, стоящих кучкой и о чем-то болтающих, приветствуют его:

— Поздравляем, доктор**... Поздравляем!..

* «Темпио» (ит.) — храм, «темпо» — время. (Прим. пер.)

** Форма обращения к лицу, имеющему высшее образование или занимающему важную должность. (Прим. пер.)

Убийца жестами отвечает на приветствия и поздравления. Затем стремительно кидается к лифту, дверцы которого готовы захлопнуться.

Убийца. Эй, минутку, минутку, подождите...

Чиновник, находящийся в кабине, останавливает уже было тронувшийся лифт. Убийца входит в кабину. Чиновник также приносит ему свои поздравления:

— Поздравляю, доктор. Наконец-то мы дождались... Нельзя было так дальше работать, без четкого курса. Нужен был именно такой человек, как вы.

Дверцы кабины закрываются, и лифт уходит вверх.

Сцена X.

Канцелярии и помещения полицейского управления. Вечер.

В холле перед отделом убийств дверцы лифта открываются. Убийца и чиновник выходят из кабины.

Убийца. Политическая обстановка для нас благоприятна, доктор. У меня имеются на этот счет свои соображения, вам не нужно ни о чем беспокоиться. До свидания!

Чиновник. До свидания!

Дежурные полицейские, сидящие у входа в зал ожидания, вскакивают и по-военному отдают Убийце честь.

Убийца. А ну, дежурный, организуй-ка десятка полтора стаканов!

Дежурный. Сию минуту, доктор.

Убийца быстрым шагом идет по коридору. Какой-то полицейский с листком бумаги в руках догоняет его, собираясь доложить о чем-то срочном. Это бригадир Билья, мужчина лет сорока с лишним, примитивный и подозрительный.

Билья. Доктор!

Убийца. Ну в чем дело? Что тебе?

Билья. Добрый вечер, доктор. Убийство!

Убийца берет листок, который протягивает ему Билья, и читает:

— Улица дель Темпо, один.

Билья. Темпио.

Убийца. Синьора Аугуста Терци. В котором часу звонили по телефону?

Билья. Минут десять-двадцать тому назад...

Убийца останавливается у двери, на которой написано: «Начальник отдела убийств». Билья распахивает перед ним дверь. Убийца строго смотрит на него и спрашивает:

— Десять или двадцать?

Билья. Не знаю, они не указали время.

Убийца, не ожидая ответа, входит в кабинет. Ставит шампанское на письменный стол. Билья с прищипленным видом идет за ним.

Убийца вновь устремляет пристальный взгляд на Билью.

Убийца. Необходима точность, надо быть точными.

Билья. Мы проверили улицы и имена... а сейчас я уже собрался туда ехать...

Убийца просматривает лежащие у него на столе документы, открывает газеты.

Убийца. Из-за вашего легкомыслия и нерадения подозреваемые лица получают возможность создать себе алиби. Вы еще в этом сами убедитесь, когда меня здесь не будет.

Его внимание вдруг приковывает один из газетных заголовков.

Убийца. Полицейский агент стрелял... И кто же это?

Билья. Этого мы не знаем.

Убийца поднимает глаза от газеты и устремляет взгляд на Билью. Потом, подмигивая ему, как сообщнику, говорит:

— У него, конечно, выпал из рук пистолет и случайно выстрелил...

Билья, не растерявшись, без капли смущения отвечает:

— Это наиболее вероятная версия.

Убийца улыбается:

— Ну поезжай на улицу дель Темпио, поезжай...

Билья уходит. Убийца поглаживает карман, чтобы удостовериться, что драгоценности на месте.

Сцена XI.

Канцелярии и помещения полицейского управления. Вечер.

Убийца шагает по внутреннему коридору, соединяющему все кабинеты и канцелярии отдела убийств. Двери распахиваются одна за другой. Все чиновники при виде него вскакивают, приветствуют, поздравляют и идут вслед за ним, проходя через множество служебных помещений. Вскоре за спиной Убийцы образуется целая свита — шумное, по-праздничному веселое шествие. Все прибывающие чиновники без конца приносят свои поздравления.

Свита во главе с Убийцей пересекает зал ожидания. Здесь своей очереди ждут несколько человек, вызванных на допрос.

Убийца. Веселей, веселей! Ну что за похоронный вид, что за унылые лица... Ну прошу вас... Синьора, успокойтесь, ваш сын отделается какими-нибудь десятью годами...

Женщина. Доктор, но он же ничего не сделал, он невиновен... доктор, если бы вы занялись этим делом сами... его жена, бедняжка, останется совсем одна...

Распахивается дверь еще одной комнаты. Свита продолжает все увеличиваться.

Убийца. Меня это теперь уже не касается. Я уже с этим покончил! Эй, Ла Мантилья, Ло Кашио, Манджарачине, Дель Ре — идемте, идемте скорей, все, все сюда! Наконец-то вы избавились от этого кровопийцы, а? Идемте же, идемте.

Полицейские что-то ему отвечают, в коридоре стоит гул веселых, возбужденных голосов.

Теперь шестивие направляется к кабинету, где сидит Панунцио — унтер-офицер отдела убийств. Эта комната служит приемной перед кабинетом доктора Мангани, заместителя Убийцы, начальника отдела убийств. Убийца. Панунцио! Па... Ну же, Панунцио! Одну из этих бутылок мы попросим открыть доктора Панунцио.

Полицейские одобрительно гудят.

Убийца. На, держи.

Панунцио. Поздравляю вас, доктор. Самые лучшие, сердечные пожелания.

Убийца. Торуюцо, Торуюцо! Идем со мной!

Панунцио кидается в кабинет своего начальника и зовет его:

— Доктор Мангани, доктор Мангани!

Мангани появляется на пороге своего кабинета. Подходит к Убийце и заключает его в объятия.

Мангани. Поздравляю, очень рад за тебя. Конечно, мне будет не так-то легко заменить тебя на твоём посту.

Убийца. Ну что ты говоришь. Перестань. Да давайте же сюда стаканы! Ну что ты говоришь!

Вокруг продолжают громко перешептываться полицейские. Их возбужденные голоса сливаются в неясный шум.

Убийца. Ну где же доктор Панунцио? Куда он делся?

Полицейский. Он там, там...

Убийца. Ах вот он где!

Панунцио. Я здесь, доктор. В самом низу!

Все привычно отпускают шутки и остроты относительно низкого роста Панунцио.

Мангани. Вот и наш Панунцио. Ну заходите, заходите.

Все входят в кабинет Мангани, где тот только что вел вопрос арестованного.

Убийца. Ну что, вам удалось или нет заставить этого Пройетти сознаться?

Мангани. Он продолжает настаивать, что это было самоубийство... причем запирается... очень ловко!

Между тем дежурный обносит всех стаканами, а другой полицейский откупоривает бутылку, которую ему дал Убийца.

Убийца протягивает стакан с шампанским допрашиваемому и говорит ему:

— Ну давай, пей и скорей сознавайся, потом выпьешь еще, от шампанского у тебя прояснится в голове.

Он чуть ли не насильно сует стакан в руки арестованному, так что почти все шампанское проливается тому на грудь.

Арестованный. Да нечему и проясняться. Я ни в чем не виноват. Она сама покончила с собой, назло мне, чтобы у меня были неприятности! Или же потеряла равновесие,

может, у нее закружилась голова, откуда я знаю.

Мангани. Это ты ее выкинул из окна.

Арестованный. Нет, я спал... лежал в постели, как вы меня застали, когда пришли...

Допрашиваемый перебирает все возможные аргументы, постепенно возбуждаясь, вскакивает со стула и кричит:

— Да, да, я спал! А кроме того, у меня характер вспыльчивый, я мог эту стерву зарезать, задушить!

Убийца толкает его в грудь, заставляя вновь сесть, и одновременно протягивает стакан.

Убийца. Пей, невинный, пей. Пей, да пей же. Здесь у нас все невинные. Здесь у нас если и есть кто виновный, так это один только я. (Смеется.)

Полицейские тоже смеются. Арестованный не решается взять шампанское из рук Убийцы, но тот с силой сует ему стакан.

Мангани поднимает свой бокал. Прочищает горло и произносит тост:

— Тише. Одну минутку. Не из подхалимства, не из желания польстить начальнику, который является вместе с тем моим самым близким другом, я хочу сейчас сказать тебе, что никто и никогда более чем ты не заслуживал этого повышения. За все эти годы из ста двух убийств, которые прошли через наши руки, только десять остались нераскрытыми и преступники не понесли наказания, и я уверен в том, что в этот тяжелый момент политический отдел под твоим руководством достигнет в своей работе той же эффективности, что и отдел убийств. И с пожеланием, чтобы ты добился таких же триумфальных успехов и на новом посту, я поднимаю свой бокал и пью за твоё здоровье и твою замечательную карьеру!

Полицейские (хором). Поздравляем, доктор!

Все, словно священнодействуя, подносят к губам стаканы с шампанским, в том числе и арестованный.

Убийца пьет с жесткой усмешкой. Не успели полицейские осушить свои стаканы, как он, переводя пристальный взгляд с одного на другого, говорит:

— Ну а теперь хватит лизать зад!

В ответ раздаётся общий смех.

Убийца. Карнавал окончен!

Улыбки постепенно сходят с губ присутствующих, и лица их принимают унылое, горькое выражение.

Из-за кадра звучит голос:

— Адрес подтвержден. Улица дель Темпио, дом один.

Убийца. Поехали... Подтверждено: дель Темпио, один! Мангани, Панунцио, живее, я вас догоню.

Все расходятся по своим кабинетам. Убийца поспешно возвращается к себе.

Сцена XII.

Ночной город.

Полицейская «пантера» с включенной сиреной несется на безумной скорости к дому, где совершено преступление. У подъезда, несмотря на поздний час, толпятся жильцы, фоторепортеры, газетные хроникеры, полицейские, случайные прохожие, привлеченные происшествием. Перед домом посреди мостовой кое-как брошены несколько полицейских машин. Среди них — санитарный автомобиль в ожидании ужасного груза.

Из «пантеры» стремительно выскакивает Убийца, навстречу которому тотчас же бросаются журналисты и фотографы. Убийца расталкивает их и направляется к калитке. Однако одному из репортеров, который знаком с ним лучше, чем остальные, удается догнать его. Еле поспевая за ним, он на ходу спрашивает:

— Послушай! Ты мне что-нибудь скажешь?

Убийца на мгновение замедляет шаг и коротко бросает:

— Это муж. Муж.

Репортер. Хорошо, великолепно.

Убийца скрывается в парадном.

Сцена XIII.

Квартира Аугусты. Ночь.

Убийца, поднявшись по лестнице, входит в квартиру. Его встречает Билья. В углу гостиной Мангани перелистывает какой-то альбом. Убийца и Билья подходят к Мангани. Убийца спрашивает:

— Что это?

Мангани. Альбом с вырезками из уголовной хроники. Гляди, есть даже твоя фотография.

Убийца наклоняется и смотрит. Выпрямившись, обращается к Билье:

— Где она?

Билья. Там.

Они направляются в спальню. Здесь, как и во всей квартире, полицейские эксперты — подчиненные Убийцы — погружены в свою работу: стараясь ничего не пропустить, они тщательно исследуют следы, осматривают все предметы, мебель, замеряют расстояния. Фотограф, щелкая аппаратом, все фиксирует на пленку. Сидящий в углу полицейский врач что-то пишет в записной книжке.

Убийца останавливается у постели. Делает знак одному из сыщиков.

Убийца. Откиньте покрывало.

Полицейский, священнодействуя, откидывает закрывающее труп покрывало. Убийца на мгновение застывает неподвижно, глядя на убитую. Потом, выйдя из оцепенения, медленно обходит вокруг постели. Подходит к комоду. Билья, по-прежнему неотступно следующий за ним, докладывает:

— Шкатулка для драгоценностей пуста.

Убийца. А это что?

Билья. Триста тысяч лир наличными.

Убийца, как можно судить по его виду, старается все тщательно рассмотреть и во все вникнуть. Билья за его спиной набирается смелости и решается изложить свои соображения по этому делу:

— Разврат, даннунцианство! Мы обыскали всю квартиру, и нам не удалось найти и следа какого-нибудь нижнего белья, нет даже трусиков!

Убийца. Какое безобразие!

Билья. Они вместе лежали в постели, занимались любовью...

Расхаживая по комнате, они возвращаются к изножью постели. Убийца останавливается и вновь бросает взгляд на покойницу. Затем обращается к сидящему неподалеку врачу:

— Доктор, обнаружены следы оргазма? Врач. На первый взгляд — нет.

Убийца. Закройте ее.

Убийца и Билья переходят в гостиную. Там Панунцио снимает отпечатки пальцев, оставленные на шкафчике бара. Убийца делает ему знак и говорит:

— Дай-ка эту бутылку и вон тот стакан.

Панунцио исполняет приказание. Берет бутылку ферне, стакан и, обернув носовым платком, подает Убийце. Тот хватает бутылку рукой, без платка, откупоривает пробку, наливает настойку в стакан и выпивает залпом. Билья глядит на него с изумлением. Убийца. А соседи, кто-нибудь что-нибудь видел, что-нибудь знает?

Билья. Сейчас как раз составляют список жильцов. Вы что, плохо себя чувствуете?

Убийца отставляет стакан.

Потом тянет руку к узлу галстука, ослабляя его, словно он его душит. Нестерпимо яркая лазурь галстука сияет поистине ослепительно.

Убийца. Кто живет рядом? Что за соседи? Билья. Знаменитый хирург, человек вне всяких подозрений.

Убийца. А квартира куплена на чье имя?

Билья. На ее, на имя убитой.

Убийца. В таком случае, кто ее унаследует, муж?

Билья. Они три года как разъехались. Убийца. Задержите его, допросите.

В комнату входит Мангани и садится рядом с Убийцей. Вид у него слегка растерянный. Протягивая своему коллеге и начальнику пачку фотографий, он говорит:

— Погляди-ка на эти фото. Жертва снималась в позах, как на фотографиях уголовной хроники.

Перед зрителем, словно он смотрит их вместе с Убийцей, проходят некоторые фотоснимки, изображающие полунагую Аугусту в позах жертв различных преступлений — странных, нелепых, непостижимых позах, в

которых к элементу жуткого умело и намеренно примешана эротика.

Мангани. Тут их целая коллекция. По-моему, это дело рук дилетанта, даже чуточку наивного, инфантильного. А ты что об этом думаешь?

Сцена XIV.

Квартира Убийцы. День.

Убийца тащит Аугусту за руку в спальню. Бросает ее на постель. Раздевает. Заставляет принимать позы, изображающие мертвую. В руке у Убийцы фотоаппарат. Он щелкает им с лихорадочной быстротой. Каждая новая подробность их возбуждает и доводит до болезненного удовольствия. Игра эта происходит во все убыстряющемся темпе. **Убийца.** Раскинсья на постели, повернись, я покажу тебе, в каком виде мы нашли проститутку из Кочча-ди-Морто. Вот так, так! Теперь иди сюда.

Аугуста. Куда? Ах! Куда? Ну ладно, хорошо. *(Смеется.)*

Убийца берет ее за руку. Волочит в ванную. Аугуста ложится на белый кафельный пол.

Убийца. Немецкая стюардесса вертела любовь с турком во время межконтинентального перелета. Мы нашли ее тело в уборной на аэродроме Фьюмичино. Она была задушена. Не шевелись, не шевелись! Что еще хочешь?

Аугуста. Изобразим эту молодую, подававшую надежды певицу.

Они бегут в гостиную. Убийца хватает граммофонные пластинки и усыпает ими недвижимое тело распростертой на полу женщины.

Убийца. Да, да, именно так. Квартал Парриоли, шестьдесят седьмой год. Молодая эстрадная певица-«крикунья» была зверски изнасилована и убита, а тело ее сплошь покрыто долгоиграющими пластинками. Только полифоническая и священная музыка — эротико-мистическое преступление. **Убийца,** бывший семинарист, был задержан спустя всего несколько минут в соседнем баре в то время, как, стоя словно зачарованный у музыкального автомата, слушал голос своей жертвы.

Аугуста *(поет на какой-то мотив).* Это был не семинарист, а органист, идиот!

Убийца. Не двигайся, не двигайся!

Аугуста. А теперь изобразим ту юную революционерку, помнишь? Эй, полегче, свинья!

Убийца толкает Аугусту так, что она падает в кресло. Взяв коробку бумажных носовых платков, высыпает все ее содержимое на сидящую в кресле женщину.

Убийца. Ну как же, конечно, помню. Юная девушка революционных взглядов в Тренто.

Ее задушил профессор факультета социологии десятитысячными ассигнациями, а потом, уже мертвую, изнасиловал. Не шевелись, не шевелись, ноги шире... вот так... Не двигайся... Готово!

Улыбающийся, усталый, но все еще возбужденный, Убийца садится подле женщины. **Аугуста.** А на вас это действует, когда вы находите их в таком виде?

Убийца. Ну как тебе сказать... Иногда действует. Однажды я очень возбудился из-за одной подробности. Знаешь... Одно приспособление...

Аугуста — вся любопытство.

Убийца *(смущенно хихикая).* Ах нет, нет, я стесняюсь тебе это сказать.

Сцена XV.

Квартира Аугусты. Ночь.

Убийца возвращает Мангани пачку фотографий. Направляется к выходу. В коридоре двое полицейских исследуют кровавые следы, оставленные мужским ботинком. Медленными шагами он проходит почти вплотную мимо них. Потом убыстряет шаги. В самом конце коридора его догоняет Билья.

Билья. Доктор!

Убийца. Ну что?

Билья. По-моему, это дурак, каких мало...

Убийца. Кто?

Билья. Убийца.

Убийца, уязвленный, резко останавливается и спрашивает:

— И почему же ты считаешь его дураком?

Билья. Он не только дурак, но к тому же еще легкомысленный и самонадеянный тип. Он симулирует ограбление, захватив драгоценности, но оставляет в комодке триста тысяч лир наличными! А потом этот пижон одевается, моется, вертится перед зеркалом, пользуется французским мылом жертвы... Надевает ботинки и ступает в кровь, оставляя по всей квартире свои следы, которые для нас весьма ценная улика. По-моему, это какой-то кретин. Разве не так?

Они дошли до входной двери и стоят на пороге. **Убийца** отвечает:

— Да, это кретин. Желаю вам, чтобы им оказался ее муж... в таком случае вы скорее избавитесь от этого дела! Торопитесь, торопитесь!

Сцена XVI.

Лестница в доме Аугусты. Ночь.

Убийца выходит из квартиры Аугусты. Останавливается на лестничной площадке. Задрав голову, озирается вокруг. На верхних площадках, сквозь перила, видит жильцов, собравшихся обсудить происшествие: женщины в домашних халатах, мужчины уже в пижамах, тут же вперемешку с ведущими расследование полицейскими играют де-

тишки. Внимание Убийцы привлекает кто-то на площадке одного из верхних этажей: перевесившись через перила, человек этот смотрит вниз. Убийца медленно поднимается по лестнице. Проходит за спинами людей. Останавливается на несколько ступенек до площадки третьего этажа. Тут, опершись на перила, стоит юноша, с которым Убийца после преступления столкнулся в воротах. Юноша глядит вниз с равнодушным видом. По-видимому, он его не замечает.

Убийца какое-то мгновение, кажущееся, однако, довольно долгим, внимательно его разглядывает. Потом все так же не спеша спускается по лестнице и выходит из подъезда.

Сцена XVII.

Улица перед домом Аугусты. Ночь.

Убийца выходит из ворот, направляясь к ожидающей его полицейской машине. И на этот раз он подвергается нападению журналистов, фотографов, толпы любопытных. Однако полицейским агентам удается сдержать их натиск.

Быстрым шагом Убийца удаляется. Только репортеру, с которым мы уже познакомились, удается подойти к нему. Они останавливаются возле «пантеры». Журналист спрашивает:

— Ну так что?

Убийца. Голая.

Репортер. Она была изнасилована?

Убийца. Нет. Эта женщина сперва занималась любовью по собственной воле, потом ее убили. Короче говоря, каких-либо следов насилия в квартире не обнаружено.

Репортер с лихорадочной поспешностью записывает информацию, представляемую ему Убийцей, который тщательно выбирает слова, будто диктует статью:

— Ну давай, пиши. В квартире царит атмосфера секса, чувственного наслаждения, болезненная, даннунцианская. И везде — кровь, кровь, кровь. Выходи, да выходи же, я сам поведу машину.

Шофер-полицейский вылезает из машины. Убийца быстро занимает его место. Репортер просовывает голову в окно автомобиля и говорит:

— Слушай, говорят, она была прекрасно сложена, это правда?

Убийца. И бархатная кожа, как у настоящей куртизанки этой нашей столицы эпохи упадка Римской империи. Вот одна деталь, которая особенно возмутит твоих потребителей левых взглядов: во всей квартире нет и следа нижнего белья.

Репортер. Фетишизм?

Убийца. Да какой там фетишизм. Просто эта женщина его никогда не носила.

Репортер. Потрясающе! Я дам это в заголовки...

Убийца. Послушай, Патане, окажи мне любезность, прошу тебя: напирай побольше на мужа. Сделай мне одолжение.

Репортер. Хорошо, хорошо. Будь спокоен.

Убийца включает зажигание, и «пантера», взяв с места так резко, что только скрипят покрышки, стремительно уносится прочь.

Сцена XVIII.

Квартира Убийцы. Ночь.

Убийца въезжает на «пантере» в гараж своего дома.

Вызывает лифт. Заходит в кабину. Останавливает лифт на третьем этаже у своей квартиры. Отпирает ключом дверь. Входит в переднюю, быстро проходит через гостиную в комнату, приспособленную им под фотолaborаторию. Останавливается у стола, берет коробку с фотобумагой, вынимает ее содержимое, вытаскивает из карманов пиджака драгоценности, кладет их в коробку, тщательно закрывает коробку и ставит ее так, чтобы она не бросалась в глаза.

Затем идет в спальню. Войдя, снимает пиджак и бросает его на постель. Глаза его в полумраке комнаты горят безумным, лихорадочным блеском, тело сотрясает сильный, неудержимый озноб. Неожиданно начинает громко звонить стоящий на тумбочке возле постели телефон.

Сцена XIX.

Квартира Аугусты. Воспоминания.

Вот она, вновь ожившая Аугуста, возлежащая на своей необъятной постели. Вместо одеяла ее покрывает множество газет и детективных романов. С одной из раскрытых газет на нее смотрит фотография, на которой запечатлен Убийца в тот момент, когда он входит в полицейское управление, ведя за собой преступника в наручниках. Прижимая трубку щекой к плечу, Аугуста разговаривает по телефону:

— Доктор, доктор. Комиссар. Я говорю со знаменитым, могущественным начальником отдела убийств? Да нет, вы меня не знаете, ведь я не вожусь с полицейскими. (Смеется.) Кто я такая? Я могла бы быть воровкой, убийцей-маньжкой! Одной из тех тридцати непойманых убийц, которые свободно гуляют по городу... Как меня зовут? А это ты сам узнай, раз ты такой ловкий и такой знаменитый сыщик, что даже позируешь перед фотографиями и даешь интервью журналистам. Кстати, постарайся немножко поухудеть.

Аугуста вешает трубку. Но сразу вновь набирает тот же номер.

Аугуста испускает в трубку придушенный крик и начинает фантазировать:

— Комиссар! Помогите, помогите! Кто-то вошел в мою квартиру. Они угрожают мне уже много месяцев: письма, анонимные телефонные звонки. Этот неизвестный хочет овладеть мною, изнасиловать! Вот он! Он без штанов. *(Смеется.)* Какой ужас! А я здесь совершенно одна, нагая, умру после того, как надо мною гнусно надругаются... Это моя судьба... Помогите!

Дает отбой. Кончив ломать комедию, она улыбается в трубку, словно хочет, чтобы по проводу дошел отзвук испытываемого ею детского удовольствия. Но тотчас же опять набирает номер и продолжает:

— Это вы, комиссар? Знаете, что я вам скажу? Даже то, чему мне пришлось подвергнуться по воле этого грубого насильника, оказывается, имеет свои положительные стороны. Мне нравятся сильные люди, сильные мужчины.

В памяти Убийцы постепенно все ярче оживают воспоминания об этих странных, капризных звонках Аугусты, и перед его мысленным взором проносятся ряд отрывочных сцен, причем образ ее самой предстает в одном неизменном виде: в виде «постельной женщины», растрепанной, полуодетой, бесстыдной, для которой постель это не только ложе, но и дом, лавка, церковь.

Аугуста. Вы всегда ходите в темном, всегда в трауре. *(Смеется.)* Послушайте, не обольщайтесь, физически вы меня не интересуете, уж слишком вы похожи на «среднего итальянца», слишком волосаты. И надо думать, сильно потеете. Я уверена, что от вас исходит запах сапожной ваксы, не так ли? Как от всех полицейских, признайтесь... Полицейский, подобно священнику, всегда набит разными тайнами. Меня волнует и привлекает не ваше тело, а именно то, что происходит у вас в голове. Я поклонница полиции, кандидатка в полицейские осведомители. Чего бы я только не отдала за то, чтобы вы меня допросили...

Аугуста слушает ответ своего собеседника, который на противоположном конце провода отвешивает нечто такое, что ему удается шокировать даже ее. Лицо у Аугусты темнеет, и она вдруг начинает кричать в трубку:

— Такие вещи ты говори своей сестре, она у тебя наверняка потаскуха!..

И с яростью вешает трубку.

Сцена XX.

Квартира Аугусты. Воспоминания.

При помощи поделного ключа или отмычки Убийца, стоящий на лестничной площадке перед квартирой Аугусты, открывает входную дверь и проскальзывает в квартиру.

В комнатах темно. Убийца нарочно двигает стул, производя подозрительный шум. Раздается голос Аугусты:

— Кто там?

Убийца. Полиция.

Убийца продолжает производить таинственные, как в фильме ужасов, шумы и стуки. Он передвигает вещи, стараясь, чтобы они как можно более зловеще скрипели.

Затем Убийца чуть приоткрывает дверь и в узкую щелочку изучает спальню Аугусты. Женщина, как всегда, валяется на постели. Вокруг нее, как обычно, детективные романы, иллюстрированные журналы, газеты с огромными чернеющими заголовками, бутылочки пива и кока-колы, недопитые бокалы, грязные чашки.

Она держит перед собой на коленях маленький включенный телевизор: передают матч бокса. Убийца медленно входит в комнату.

Теперь Аугуста со своей постели может видеть его во весь рост. Вид у него чуть комичный, ибо во всем его поведении чувствуется также и плохо скрытое волнение, причина которого, несомненно, в его робости.

Аугуста холодно на него смотрит и говорит:

— А кто мог быть другой? Или вор, или полицейский.

Убийца садится напротив женщины. Так как он всеми силами старается скрыть свое волнение, тон его становится агрессивным. Он спрашивает:

— Кто тут был?

Аугуста. Мужчина...

Убийца встает. Принимается расхаживать взад-вперед по комнате, лениво, словно нехотя, ко всему приглядываясь и принюхиваясь, как и полагается сыщику. Переставляет и перекладывает вещи, открывает и закрывает ящики, стараясь, чтобы ничто не укрылось от его взгляда.

Убийца. Кто вы такая? Каковы ваши намерения? Зачем вы мне звонили? Скажу вам сразу же: я не трачу денег на женщин. Аугуста *(со вздохом)*. Очень мило!

Убийца. Вам нужно было звонить не в отдел убийств, а в полицию нравов.

Аугуста. Но за кого вы меня принимаете...

Убийца. Какова ваша цель?

Аугуста. Просто развлечься.

Убийца вновь садится перед Аугустой. Вытащив из кармана пиджака сложенный листок, он протягивает его женщине и спрашивает:

— А со всеми этими миллионерами вы как познакомились? Тоже по телефону?

Аугуста с меланхоличным видом просматривает список и говорит:

— Смотрите, какой вы молодец... Черт возьми, вот это полицейский!.. Но все же тут вкралась одна ошибка... в шестьдесят

шестом году я жила одна... одна, как собака. Убийца опять поднимается со стула. Неуверенными движениями снимает пиджак. С дурацким смехом сворачивается калачиком на постели рядом с Аугустой, которая, однако, по-прежнему смотрит на него с нескрываемой холодностью.

Сцена XXI.

Полицейское управление. День.

В просторном зале полицейского управления собралось несколько сот полицейских агентов. Все они в штатском. Стройными рядами они сидят перед большим столом, на котором установлен микрофон. В одну из дверей в зал торопливо входит Убийца в сопровождении своих ближайших сотрудников по политическому отделу.

Раздается команда:

— Встать!

По рядам пробегает шепоток, и все агенты как один поднимаются со своих мест.

Убийца подходит к столу.

— А, Торуццо! Как поживаешь? Как дела? Господа, я надеюсь, вы оцените это наше нововведение — всем вместе собраться здесь. Так сказать, на американский манер. Прежде чем начать, я хочу сказать, что для работы того рода, что нас ожидает, нас мало... Нас должно быть больше, гораздо больше. Садитесь.

Подчиненные по команде садятся. Убийца начинает свою речь:

— С сегодняшнего дня я принимаю на себя руководство политическим отделом. Вы, наверно, все знаете, что еще до вчерашнего дня я занимался убийствами, причем с известным успехом. И не случайно, что в переживаемый ныне момент выбор как на руководителя политического отдела пал именно на меня.

Напряженные, восхищенные и почтительные лица полицейских агентов, старых и молодых, которые видят в Убийце образец для подражания, своего вождя.

Убийца. Это решение было принято в силу того, что различия между уголовными преступлениями и преступлениями политическими все более стираются... обнаруживают тенденцию даже совсем исчезнуть. Хорошо запомните следующее: под каждым уголовником может скрываться мятежник, подрывной элемент, под каждым мятежником может скрываться уголовник.

Стоя за столом, Убийца сопровождает свои слова размеренными и энергичными жестами.

— В городе, охрана коего нам доверена, подрывные и преступные элементы уже раскинули свои невидимые сети, разорвать,

уничтожить которые надлежит именно нам. Есть ли разница между нападением банды грабителей на какой-нибудь банк и организованным, узаконенным, легальным мятежом? Никакой! Оба эти действия, хотя и различными средствами, преследуют одну и ту же цель, а именно — свержение существующего социального строя. Шесть тысяч зарегистрированных проституток. Увеличение на двадцать процентов числа забастовок и занятия бастующими общественных и частных зданий и предприятий. Две тысячи уже известных нам домов свиданий. В течение одного лишь года тридцать демонстративных покушений на государственную собственность. Двести случаев расстреливания малолетних за год. Пятьдесят тысяч учащихся средних школ, принимавших участие в демонстрациях на улицах города. Увеличение на тридцать процентов количества ограблений и нападений на банки. Десять тысяч новых личных дел, заведенных полицией на подрывные элементы, — то есть рост на десять тысяч человек рядов мятежников. Шестьсот зарегистрированных гомосексуалистов. Более семидесяти различных групп бунтующей молодежи, которые действуют вне парламентской оппозиции. Увеличение на пятьдесят процентов числа злостных банкротств и опротестованных векселей. Неисчислимо множество политических журналов, призывающих к мятежу. Так называемые свободы со всех сторон угрожают традиционным властям, государственным органам; свободу хотят использовать для того, чтобы сделать каждого гражданина судьей, чтобы помешать нам свободно выполнять наши священные обязанности. Мы стоим на страже закона, и мы хотим, чтобы он не менялся, оставался таким, как высечен в веках. Народ — это несовершеннолетний, город — болен. Лечить и воспитывать — не наше дело, это задача других. Наш же долг — подавлять. Подавление — вот наша вакцина! Подавление — это цивилизация!

Окончание речи Убийцы зал встречает настоящей овацией. Некоторые энтузиасты из числа полицейских в восторге вскакивают со своих мест. Агенты рукоплещут, громкими криками выражают одобрение, бросаются навстречу своему начальнику, который тем временем сошел с трибуны и направился к выходу. Убийца с робкой улыбкой бормочет:

— Да это вы аплодируете не мне, я тут ни при чем... Я не знаю... по мере своих скромных сил... За работу, за работу.

Рукоплескания провожают его до самого выхода и долго гремят еще вслед. Убийца со своим политическим штабом поспешно удаляется по длинному коридору.

Сцена XXII.

Архив политического отдела. День.

Длинные коридоры, стены которых уставлены шкафами с полками, гнущимися под тяжестью тысяч толстенных папок. Убийца смело углубляется в лабиринт между шкафами, чтобы познакомиться с арсеналом средств, которыми располагает вверенный ему отдел. Впереди него идет Канес, один из его помощников, являющийся своего рода жрецом этого храма. Канес говорит, указывая на шкафы:

— В этой стороне «дела», заведенные на коммунистов. Потом идут бывшие партизаны, а за ними — троцкисты, маоисты и так далее — до анархистов.

Убийца. А правительственные партии?

Канес. Очи вот здесь. Тут у нас различные католические течения, а дальше — социал-демократы и все прочие — вплоть до партий правой оппозиции.

Убийца внимательно все разглядывает. Канес. Вполне естественно, по мере дальнейшего прогресса техники эти досье будут уничтожены. Все материалы уместятся в двух маленьких комнатах. Прошу вас, в эту сторону...

Они проходят в глубь коридора и приближаются к комнате, в которой установлено машинное оборудование.

Убийца (с хитрым видом). Канес, идите сюда, идите сюда. Мне хотелось бы взглянуть на «личные дела» моих бывших коллег по отделу убийств. Просто так, шутки ради...

Канес. Разумеется...

Вход в комнату охраняет полицейский в белом халате, который при виде Убийцы и Канеса застывает по стойке «смирно».

Канес. Все сведения, содержащиеся в шестидесяти тысячах досье, хранящихся там в архиве, мы передаем сюда. Вот это настоящий прогресс...

Говоря это, Канес ласково поглаживает электронную вычислительную машину словно живое существо.

Убийца. Давайте попробуем.

Канес. Хорошо, давайте попробуем.

Убийца. Предположим, что убийство Терци имеет политическую подоплеку.

Канес. Вы помните точный адрес?

Убийца. Улица дель Темпио, один.

Полицейский в белом халате. Какой район?

Убийца. Центр.

Полицейский, раскрыв один из шкафов, достает перфорированную карточку. Протягивает Канесу, который опускает ее в машину. Канес. В таком случае спросим у компьютера, проживают ли на этой улице индивидуумы, опасные в социальном и политическом отношении.

Убийца. Как это делается?

Канес. Вот так.

Канес принимается манипулировать ручками компьютера. Комната наполняется какими-то странными звуками. В машине начинают вращаться катушки с лентой, приходит в движение самопишущее устройство. Убийца в восхищении восклицает:

— Смотрите, что делается! Будто в Америке! Это же настоящая революция!

После короткой скрытой работы из машины выскакивает карточка, которую Канес некоторое время тщательно изучает. Потом он говорит:

— На улице дель Темпио, дом один, имеется наш старый знакомый: личность опасная, социальная и политически.

Убийца становится рядом с Канесом и, глядя в опечатанный на карточке машинописный текст, не может удержаться от восклицания:

— А! Паче Антонио.

Не скрывая своего интереса, он берет карточку из рук Канеса и читает:

— «Родился в Равенне 24 марта 1946 года, студент химического факультета, член факультетского студенческого совета. Подъёмной элемент. Бурный темперамент. Фанатичен. Опасен».

Тем временем в комнате гаснет свет, и на висящем на стене экране одно за другим появляются черно-белые изображения Антонио Паче — мы сразу же узнаем юношу, которого Убийца встретил в воротах после совершенного им преступления.

Сперва мы видим полицейские фотографии Антонио Паче.

Затем его отпечатки пальцев.

Диапозитивы, на которых Паче запечатлен в действии. Среди них снимок, на котором Паче сфотографирован в тот момент, когда водружает черное знамя анархии на каком-то общественном здании.

Убийца. А его телефон под контролем?

Канес. Ну разумеется, доктор, еще с мая шестьдесят восьмого года.

Убийца. Лицо настоящего преступника! Так и просится за решетку. Ну об этом уж я позабочусь.

Сцена XXIII.

Приемная в полицейском управлении. День.

Убийца сидит в кресле в огромной приемной перед кабинетом начальника полиции. Неожиданно распахивается дверь. К Убийце подходит унтер-офицер и приглашает:

— Прошу вас, доктор, войдите.

Из кабинета начальника полиции в этот момент выходит какой-то высший церковный чин, чуть не столкнувшись с ним в дверях. Убийца склоняется в почтительном поклоне и хочет поцеловать ему руку. Любезно уклонившись, священнослужитель проходит мимо. Тогда Убийца, весь так и излу-

чая служебное рвение, переступает порог кабинета.

Убийца. Привет.

Шеф. Привет...

Сцена XXIV.

Кабинет начальника полиции. День.

Комната обставлена в казенном духе. Единственное отступление — это «гвоздь» обстановки — застекленный шкаф с множеством различных археологических находок. Убийца садится на стул перед огромным письменным столом шефа. Тот, опускаясь в кресло чуть раньше него, обращается к нему фамильярным тоном, протягивая коробку с сигарами:

— Хочешь сигару?

Убийца. Спасибо.

Шеф. Ну хорошо. Ты доволен?

Убийца ерзает на стуле, словно сидит на раскаленных углях, но отвечает довольно агрессивно:

— Доволен ли я... В 1917 году при Капоретто* вся ответственность пала на генерала Кадорну. Этот левоцентристский блок, пришедший к власти в этом году, может оказаться вторым Капоретто для тех, кто нами правит.

Шеф слушает его со вниманием.

Убийца (*продолжает*). В стране напряженная обстановка, весьма напряженная. Я был бы куда спокойнее, если бы находящийся в моем распоряжении личный состав был многочисленнее. Короче говоря, мне нужна еще сотня человек и дополнительные денежные фонды для более щедрой оплаты осведомителей.

Шеф. Я поговорю об этом с министром.

Голос Убийцы теперь начинает звучать вкрадчиво и слащаво, он говорит тоном соощника:

— Мне хотелось бы... Мне очень хотелось бы... Послушай...

Шеф. Ну слушаю. Говори.

Убийца. Мне хотелось бы снять три квартиры в каком-нибудь приличном, тихом квартале... Например, в Прати... для моих осведомителей... потому что мне хочется установить с ними более тесные, более... конфиденциальные контакты...

Шеф делает заметки в своей записной книжке и отвечает:

— Согласен. Однако официально я ничего об этом не знаю.

Убийца. Мой отдел подготовил еще один список в шестьсот тридцать деятелей, чтобы незамедлительно установить контроль над их телефонами. Я не знаю, должен ли я испра-

шивать на это какое-то разрешение... как ты полагаешь... я, право, не знаю.

Шеф. Смотри сам. У тебя есть еще что-нибудь?

Шеф устремляет на Убийцу пытливым взглядом, однако тот не смущаясь его выдерживает и говорит:

— Ах, да... насчет той женщины, которую убили три дня назад.

Шеф. Это ты о ком? О Терци?

Убийца. Вот именно, об Аугусте Терци.

Шеф. Красивая женщина. Я видел фотографии.

Убийца с комичным тщеславием не скрывает своего удовлетворения этими словами начальника и продолжает:

— Я... я был с ней знаком. Да, знаешь, у меня была с ней связь.

Слова начальника свидетельствуют о его полной мужской солидарности:

— Ну и как? Хороша она была?

Убийца, смущенно ухмыляясь, отвечает:

— Ну... в общем, ничего... Так вот, я хотел спросить у тебя, считаешь ли ты необходимым поставить об этом обстоятельстве в известность проводящих следствие коллег. Я просто не знаю. Не знаю. А ты как думаешь?

Шеф молча глядит на него. Заставляет ждать своего ответа. Убийца бесстрастно ожидает. Вдруг начальник поднимается, и это означает, что он отпускает своего подчиненного. Тот направляется к двери. Они прощаются с дружеской фамильярностью.

Шеф. Ну пока.

Убийца. Пока.

Шеф. Пока.

Убийца. Пока. Я, знаешь ли, не знаю...

Но прежде чем Убийца успеет закрыть за собой дверь, начальник произносит ободряющие слова:

— По-моему... это сделал муж. Гм... Пока!

Сцена XXV.

Политический отдел. Кабинет начальника отдела. День.

Убийца изучает лежащие перед ним папки. Делает заметки в записной книжке. Раздается стук в дверь, и входит дежурный.

Убийца. Пусть войдет Панунцио.

Входит Панунцио, один из работников отдела убийств, и говорит:

— Добрый день, доктор! Я принес вам на память групповую фотографию нашего достославного отдела убийств.

Убийца жестом приглашает Панунцио подойти ближе. Когда агент уже у самого его стола, Убийца берет лежащие перед ним папки, словно хочет навести на столе порядок, и кладет их так, чтобы Панунцио не мог не увидеть верхней — личного дела с его фамилией на обложке. Затем Убийца

* В этой битве итальянская армия была наголову разбита австрийцами. (*Прим. пер.*)

откидывает голову на спинку кресла и, уставившись в потолок, застывает с отсутствующим видом. Он ждет.

Панунцио смотрит на папку.

После короткого, но от того не менее затруднительного и нервнивающего молчания Панунцио прочищает горло и, не в силах скрыть волнение, начинает говорить:

— Да, я знаю, у меня двоюродный брат — коммунист, секретарь одного профсоюза. Но что я могу поделать? Дома он у меня никогда не бывает. А кроме того, я вообще его никогда и в глаза не видел...

Убийца молчит. Теперь он вперил взгляд в полицейского и смотрит на него строго и в то же время явно забавляясь.

Панунцио, задыхаясь от волнения, продолжает:

— Более того... ну да... сказать по правде... мы с ним видимся, но один раз в год, на Рождество...

Убийца продолжает молчать, и стоящий перед ним Панунцио совсем теряется. Глаза у него начинают подозрительно блестеть. Панунцио. Доктор, мне осталось до пенсии всего два года: Не переводите меня никуда из Рима. У меня двое детей, они учатся, я должен следить за ними, во всех отношениях...

Убийца смотрит на Панунцио, потом вдруг на губах его появляется еле заметная обнадеживающая улыбка, и он спрашивает:

— Как идет расследование убийства Терци?

Панунцио чуть приободряется и с невольным видом сообщника спешит выложить все новости:

— Мы напали на верный след... под ногтем у жертвы эксперты из научного отдела: нашли голубую шелковую нитку... она, по-видимому, вырвана из галстука...

В глазах Убийцы вспыхивает хитрый огонек. Он спрашивает:

— Но разве убийца действовал не нагишом?

Панунцио. Да, нагишом.

Убийца. Так, значит, по-вашему, он был голый, но при галстуке?

Панунцио в восхищении восклицает:

— Ах да, конечно... совершенно правильно... Никто до этого не додумался...

Убийца (*укоризненно*). Панунцио!.. Ах, Панунцио!..

И сопровождает свои слова выразительным жестом, словно говоря: «Ну разве же так можно...»

И довольный тем, что дал Панунцио новую пищу для ума, Убийца в знак прощания поднимается со своего места и направляется к двери. Панунцио идет за ним следом. На пороге Убийца задает ему еще один вопрос:

— А мужа вы уже допросили?

Панунцио. Да, доктор. Его начали допрашивать еще вчера ночью.

Убийца распахивает дверь. Когда Панунцио делает шаг, чтобы выйти из комнаты, он его останавливает новым вопросом:

— А что отпечатки пальцев?

Панунцио. Ни одного интересного отпечатка. Обнаружены только ваши, доктор.

Убийца. Мои?.. (*Громко кричит.*) Мои?!

Панунцио в полной растерянности отвечает:

— Ну да... на одной из дверных ручек...

Все тем же насмешливо-укоризненным тоном Убийца произносит:

— Панунцио!..

Сцена XXVI.

Полицейское управление. День.

В большой комнате Панунцио демонстрирует Убийце увеличенные дактилоскопические снимки, которые свисают с потолка или укреплены зацепами на протянутых вдоль стен шнурах. Это отпечатки пальцев Убийцы, оставленные им в квартире Терци. Комментируя, Панунцио своим тоном явно стремится показать, что всем этим отпечаткам он находит вполне естественное объяснение. Убийца молча следует за ним.

Панунцио. И еще на кофейной чашечке, доктор. Вам, как видно, захотелось пить. А это на душе... Ну в ванную-то заходили мы все и, если помните, в том числе и доктор Мангани... И затем на кухне... Вот, вот они — это, значит, на кухне. И вот еще на кухне. И вот еще на кухне, но в кухню мы тоже заходили все, а вы все так же рассеянно, наверное, за что-нибудь схватились без соблюдения предосторожностей... И потом еще на телефоне... Где же они? Ах, вот здесь, значит, на телефоне... на телефоне. Но ведь вы, несомненно, в тот вечер звонили по телефону... наверняка звонили... ну конечно же, я прекрасно помню, как вы звонили!.. И, кроме того, на бокале... ну да, на ликерной рюмке. Помните, вы в тот вечер вдруг себя плохо почувствовали? И выпили рюмочку ферне. Я еще сам вам наливал, вспоминаете? У меня даже имеется об этом запись в моем блокноте...

Сцена XXVII.

Помещения для допросов. День.

Посреди пустой унылой комнаты сидит мужчина лет тридцати. Это муж Аугусты. Вокруг сидят и стоят четверо следователей, которые, суетясь и жестикулируя, по очереди осыпают его всеми возможными обвинениями. Тон их предельно груб и презрителен. Это Мангани, Билья и два других агента из отдела убийств. Мужчина морально раздавлен. Плачет. Ход допроса передается через мощные динамики.

Мангани поворачивает к себе лицо допрашиваемого и резко выпрямляется. Муж Аугусты начинает всхлипывать. Дверь в глубине комнаты открывается, и незаметно входит Убийца. Он медленно приближается.

Мангани. Ну, благородный господин или дама, уж не знаю, как тебя и называть, соблаговолишь ты нам сказать или нет, когда ты начал заниматься гомосексуализмом? До или после того, как ты разъехался с Аугустой Терци? А?

Билья. Почему жена прогнала тебя из дому?

Мангани. Потому что он все раздаривал своим друзьям. Он сорил деньгами в садах и скверах...

Полицейские хохочут. Муж Аугусты кричит:

— Это все не так просто, вы не должны говорить о ней в таком тоне... я любил ее...

Мангани замечает Убийцу. Он встает и, делая несколько шагов ему навстречу, говорит:

— Добрый вечер. Мы близки к цели. Он уже готов. Еще два-три вопроса в моей манере, и он наверняка расколется. *(Смеется.)*

Мангани продолжает допрос. Убийца, наблюдая, еще несколько секунд остается в комнате, потом направляется к другой двери.

Мангани. Ну ты, как тебя там, художник, волосатик, педик, будешь ты отвечать или нет? Говори!

Билья. Это в твоих же интересах!.. Мы все равно все о тебе знаем!

Мангани. Все понятно и вполне логично! Ты всем известный педераст, а она была красотка... вот ты ее и убил.

Муж Аугусты. Неправда! Я требую адвоката, требую защитника... моего адвоката!

Мангани. Ну успокойся, успокойся. Может, ты думаешь, что мы живем в Америке?.. Хорошо... Как только у нас изменят уголовный кодекс, я пришло тебе адвоката.

Убийца входит в небольшую комнату — нечто вроде приемной или передней, где находятся трое других полицейских, которые наблюдают за происходящим при помощи используемого в полиции ложного зеркала, позволяющего все видеть, оставаясь самим незамеченными. У всех троих такой вид, словно они просто зрители, заинтересованные каким-то зрелищем. Убийца, молча подойдя к «зеркалу», присоединяется к ним.

Мангани. Ты же артист, художник... чуткий человек... постарайся нам помочь. Он сейчас успокоится и сам все нам расскажет. Ну, начнем с самого начала. Значит, в воскресенье, когда была убита твоя жена Аугуста Терци, в котором часу ты вернулся из Фреджене? А?

Муж Аугусты. Я вам уже говорил.

Мангани. Так повтори.

Муж Аугусты. В четыре часа.

Мангани. И что ты делал потом?

Муж Аугусты. Я взял машину и поехал по шоссе в сторону Рима. Я попал в пробку... Огромная толпа, тысячи людей и машин... *(Усмехается.)* Что-то невероятное... Я знаю, это может показаться неправдоподобным, но...

В комнате с «зеркалом» один из полицейских в штатском, обращаясь к Убийце, восклицает:

— Да за кого этот подонок нас принимает!

Убийца вновь поворачивается к «зеркалу». Допрос продолжается.

Полицейский. Теперь уже и пробки на дорогах становятся алиби! Слишком просто!

Допрашиваемый в отчаянии вскакивает и кричит:

— Я вам сказал все, что знал, — о ней, о себе, обо всех!

Его силой заставляют опуститься на стул. Мангани встает и продолжает допрос спокойным тоном:

— Ах, ах, ах! Нет, ты сказал нам далеко не все или, если хочешь, отнюдь не по своей воле. В том, что для своей карьеры ты использовал твою несчастную жену, ты бы никогда сам не сознался, если бы об этом нам не рассказал один из твоих коллег.

Муж Аугусты уже даже и не пытается защищаться. Его трясут, бьют. Вдруг заставляют подняться и оставляют стоять.

Мангани. Давай поспорим, что ты у меня живо проснешься!

Теперь перед глазами Убийцы уже не реальная и жестокая сцена допроса мужа Аугусты. Это зрелище сменяется в «зеркале» воспоминанием об одном вечере, проведенном им с Аугустой у нее дома, в ее постели... Эти зрительные образы смутно вырисовываются где-то вдалеке, в туманной дымке...

Но постепенно изображение становится яснее, приближается, постель увеличивается в размерах, и на ней мы различаем полураздетых Аугусту и Убийцу.

Сцена XXVIII.

Квартира Аугусты. День.

У женщины в руках книжка в яркой желтой обложке. Убийца молча лежит рядом с ней. Аугуста глядит на него, потом протягивает руку и трясет его за плечо.

Убийца издает стон:

— Оставь меня в покое!

Аугуста. Ну допроси меня. Давай чем-нибудь займемся. Не спи!

Убийца открывает глаза и устремляет на нее усталый взгляд. Аугуста, капризно теребя его, продолжает:

— Мне так нравится, когда ты меня допрашиваешь. Ты такой подозрительный, недоверчивый!.. Совсем как мой отец... Ну давай же, допрашивай... да, да, допроси меня.

Убийца неожиданно вскакивает и вслед за собой стаскивает Аугусту с постели. Звонко шлепнув ее по спине, он заставляет ее упасть на колени.

Убийца. Живее! Для начала слезай с кровати, слезай! На колени и не смей наклоняться! Стой прямо!

Аугуста подчиняется, захваченная ею же придуманной игрой. Она наблюдает за расхаживающим перед ней Убийцей.

Он нервно ходит взад-вперед по комнате. Время от времени останавливается, бросает пристальный взгляд на Аугусту, потом снова принимается расхаживать туда-сюда по комнате.

Аугуста. А, я уже поняла. Молчание всегда пугает.

Убийца, по-видимому, входит в азарт от игры, предложенной ему Аугустой. Кроме того, это для него также и случай предстать перед ней в выгодном свете. Он кричит:

— Стой прямо! Теперь постарайся представить себе, что тебя ждут долгие часы страшных мучений. Жесткие допросы, обман, ловушки, шантаж — все что угодно. Постарайся вспомнить все, о чем ты в своей жизни пыталась забыть. Постарайся воскресить в памяти самые постыдные, позорные случаи в твоей жизни. И не забывай, что я могу узнать про тебя абсолютно все. Ибо государство предоставляет в мое распоряжение все средства, чтобы стала известна вся подноготная любого человека. Стой прямо! *(Отвешивает ей оплеуху.)* И я хочу заставить тебя поверить, что я все о тебе знаю и таким образом заставлю сработать в тебе механизм комплекса вины...

Аугусту охватывает один из столь частых приступов гнева, во время которых становится ясно, что хозяйкой положения неизменно остается она и проявляется ее власть над Убийцей. Она прерывает его и говорит:

— Ну, мне наскучили эти разговоры. Давай, допрашивай. Задавай вопросы! Да, да! Ах!

Убийца накидывается на нее. Хватает за ухо и начинает его выкручивать. Лицо Аугусты искажает гримаса боли.

Убийца. Значит, ты хочешь, чтобы я задавал тебе вопросы, допрашивал тебя. В таком случае говори, говори же, говори! Расскажи мне самое тайное, самое постыдное... Говори. Только если ты во всем сознаешься, во всех своих слабостях, во всех своих мелких повседневных прегрешениях... Ты сможешь рассчитывать на мое прощение и мое покровительство.

Убийца разжал тиски. Аугуста, пытаясь унять боль, массирует ухо и говорит:

— Понимаю. Вы держитесь так, как ведут себя с детьми.

Удивленный Убийца глядит на нее как-то по-новому, а затем начинает пространно излагать свои взгляды, особенно распаляясь, когда незаметно переходит к разъяснению имеющихся у него также и воспитательных задач.

В своем болезненном стремлении казаться в глазах женщины значительным, уверенным в себе человеком Убийца даже чуточку смешон. Он продолжает:

— Но перед лицом законных властей все люди чувствуют себя вновь немножко детьми. В общем, передо мной, который олицетворяет власть... стой прямо... воплощает закон... да стой же прямо. Да, закон. Все законы, как известные, так и никому неизвестные... Арестованный чувствует себя вновь немножко ребенком, а я становлюсь отцом, беспрекословным, не подлежащим критике образцом для подражания. Мое лицо становится для него ликом божьим. Олицетворением совести. Это театральные спектакль, рассчитанный на то, чтобы задеть самые глубокие душевные струны, самые тайные чувства... Нет, нет. Не перебивай меня. Я просто хочу объяснить тебе свой образ мыслей, ибо... ты что думаешь? Ведь это именно та основа, на которой зиждется законная власть. Университетские профессора, гм... лидеры политических партий, налоговые инспекторы, начальники станций...

Берет лежащие на одном из столиков завядшие цветы и начинает украшать ими лицо Аугусты, говоря при этом:

— Вот так, держи эти цветы, сейчас я тебе покажу, как мы нашли потаскуху из Мандрионе.

Женщина ложится. Лицо и тело ее усыпаны увядшими цветами. На губах — презрительная и злобешая улыбка.

Убийца. Знаешь? А потом дело кончается тем, что мы, полицейские, приобретаем сходство с преступниками. Перенимаем у них манеру разговора, привычки. Иногда даже жесты.

Аугуста вдруг становится ласковой. Она по-матерински гладит его по голове и говорит:

— Ты... ты совсем как ребенок, ты больше всех мужчин, что я знала, похож на ребенка.

Ее слова вызывают у Убийцы вспышку совершенно неожиданной ярости. Он вдруг вскакивает и носком ботинка с жесткостью матерого преступника пинает женщину в лицо и кричит:

— Вот этого ты не должна была говорить, не должна была называть меня ребенком. Не должна была, поняла? Это все другие —

дети, но только не я. Поняла?

Сцена XXIX.

Комнаты для допроса. День.

Теперь в «зеркале» вновь группка следователей, продолжающих допрос. Муж Аугусты уже совсем без сил.

Мангани. А что было потом? И перестань нам, пожалуйста, вкручивать насчет этой пробки на шоссе.

Муж Аугусты. Я... но ведь это правда...

Мангани. Послушай, мы тебя оставим одного, и ты поразмыслишь в одиночестве. Хорошоенько продумай все, что ты должен сказать и что должен делать. Идет? А мы уходим. Уходим.

Следователи, несколько неудовлетворенные, выходят в комнатку с «зеркалом» и располагаются там наблюдать за своей добычей, предоставленной самой себе. По ту сторону «зеркала» муж Аугусты всем телом сотрясается от беззвучных рыданий.

Убийца стоит у кофейного автомата. С чашечкой в руке он оборачивается к Мангани и говорит ему:

— Мангани, ты слишком много орешь, слишком много орешь.

Мангани. Спасибо... Значит, по-твоему, я слишком много ору? Но у кого я научился? У тебя!

И, когда Убийца входит в комнату для допроса, добавляет:

— Он начинает слишком во все влезать! И чего только он путается под ногами? Почему не занимается своей работой? Еще вздумал насмеяться!

Один из агентов. Вы совершенно правы, доктор.

Билья. Да это просто один из способов помешать расследованию.

Убийца садится перед мужем Аугусты. Тот смотрит на него без всякого выражения, глаза его мокры от слез. Убийца очень мягко спрашивает его:

— Хотите глоточек кофе? Если я не ошибаюсь, это вы обставляли квартиру Морони?

Муж Аугусты. Да!..

Убийца. Вы нашли интересные решения. Это стиль модерн, не правда ли?

После короткой паузы продолжает:

— Синьор Терци, когда вы видели в последний раз бедную синьору Аугусту?

Муж Аугусты. За три дня до смерти. Знаете, она шантажировала меня. Мне часто звонил по телефону, не называясь, какой-то мужчина. Это был он.

Убийца. Кто — он?

Муж Аугусты. Тот, кто жил с моей женой. Они с ним были заодно. Это он звонил мне и говорил тоном человека, привыкшего командовать, распоряжаться.

Убийца. А зачем ей было вас шантажировать?

Муж пожимает плечами, потом утирает слезы и говорит:

— Им нравилось меня мучить, унижать. Это их забавляло.

Убийца. В чем же, в сущности, состоял этот шантаж?

Муж Аугусты. Знаете, однажды он позвонил мне и сказал, что велел зарегистрировать меня в полиции как гомосексуалиста. Как вам это нравится? Я думаю, что он занимает какой-то важный пост. Какой-нибудь крупный военный... или чиновник налогового управления... почему я знаю. Аугусте нравилось иметь влиятельных поклонников.

Убийца. Фамилия, как зовут этого...

Муж Аугусты. Фамилии его я не знаю, потому что если бы я знал, я не находился бы здесь. Думаю, что убийца именно он... да, у меня словно такое предчувствие...

Убийца. Может быть, вы просто позабыли его фамилию? Вспомните...

Муж Аугусты. Нет! Я никогда и не знал ее.

Убийца встает, подходит к нему и жмет ему руку. Муж чувствует себя несколько приободренным этим разговором с Убийцей. В глазах его светится глубокая признательность. Он благодарит:

— Спасибо!

Убийца закрывает за собой дверь комнатки с «зеркалом». Поворачивается к Мангани и остальным следователям, кинувшимся ему навстречу.

Мангани. Ну что?

Убийца. По-моему, он невиновен.

И подражает походке педераста. Полицейские смеются. Убийца повторяет:

— По-моему, он невиновен!

Эта последняя фраза, произнесенная на сей раз совершенно серьезным и притом весьма властным тоном, заставляет всех присутствующих замереть неподвижно, как изваяния. Убийца выходит из комнат для допросов.

Сцена XXX.

Квартира Убийцы. Вечер.

Крутятся катушки на большом магнитофоне. Звучит голос Убийцы:

— В воскресенье, двадцать четвертого августа, в четыре часа дня я убил синьору Аугусту Терци. Это убийство я совершил хладнокровно и предумышленно. У меня имеется единственное смягчающее вину обстоятельство: жертва систематически надо мной насмеялась.

Голос Убийцы громкими раскатами разносится по комнате, а сам он сидит в кресле и слушает свою исповедь.

— Я повсюду оставил следы и улики, но не для того, чтобы сбить с толку следствие,

а для того, чтобы доказать...

Магнитофон замолкает. Убийца сидит не шевелясь и говорит громким голосом, повторяя, словно эхо, последнюю фразу, воспроизведенную магнитофоном:

— Чтобы доказать... чтобы доказать... не для того, чтобы сбить с толку следствие, а для того, чтобы доказать... чтобы доказать... чтобы доказать... чтобы доказать... то, что я стою выше всяких подозрений.

Резким движением Убийца поднимается, подходит к магнитофону, берет в руки микрофон. Нажимает кнопку воспроизведения и продолжает запись:

— Однако... Однако... Однако, когда ты вместо себя отправляешь за решетку невиновного, твоя непогрешимость остается недоказанной.

Сцена XXXI.

Почта. Ночь.

Убийца входит в здание центрального почтамта.

Становится в очередь к одному из окошечек.

Когда подходит его очередь, отправляет заказной бандеролью пакет, содержащий драгоценности, свой ботинок, лезвие безопасной бритвы и фотографии. На пакете адрес полиции.

Служащий. Один килограмм и двести граммов. Девятьсот лир.

Убийца протягивает деньги.

Служащий. Вы хотите послать эту бандероль именно в Центральное управление полиции?

Убийца. Там же написано. Разве вы не видите?

Отойдя от окошечка, Убийца входит в кабину телефона-автомата. Плотно закрывает за собой дверь. Снимает трубку и, поглядев на часы, набирает номер.

Убийца. Алло! Я хотел бы поговорить с Патане из отдела хроники.

Телефонистка. Одну минутку.

Убийца. Алло, Патане?

Убийца изменяет голос, прибегая кроме того к классическому средству — говорит сквозь положенный на микрофон трубки носовой платок.

Репортер. Хроника слушает... Алло! Кто говорит? Что это еще за шутки?! Слушай, ты напрасно меняешь голос, я все равно тебя сразу же узнал!

Убийца. Своей фамилии я тебе назвать не могу, потому что твой телефон подслушивает полиция. Алло! Алло! В отдел убийств пришел по почте пакет с драгоценностями жертвы, Аугусты Терци. Там еще ботинок убийцы и бритвенное лезвие. Это окончательно снимает всякое подозрение с мужа.

Убийца вешает трубку. Выходит из кабины. Аккуратно складывает платок.

Сцена XXXII.

Кабинет начальника политического отдела полиции. День.

Сидя вокруг стола, Убийца и его ближайшие сотрудники внимательно изучают некоторые статистические данные.

Первый чиновник. В 1948 году полицией были стерты со стен домов две тысячи надписей, прославлявших Сталина.

Второй чиновник. И тысяча надписей «Да здравствует Тольятти!».

Первый чиновник. В 1956 году количество надписей, посвященных Сталину, резко сократилось. Всего сто.

Убийца. А посвященных Тольятти?

Второй чиновник. Число их оставалось на прежнем уровне.

Первый чиновник. В прошлом году число надписей «Да здравствует Мао!» достигло трех тысяч, а «Да здравствует Хо Ши Мин!» — десяти тысяч. Че Гевара — тысяча. Маркузе — одиннадцать надписей, в том числе и «да здравствует» и «долгой».

Третий чиновник. А вот новый факт! Мы заметили пару надписей, прославляющих некоего Сада.

Убийца. Оставьте. Это маркиз.

Канес. Что это они там делают?

До того Канес встал из-за стола и, подойдя к окну, заметил во дворе полицейского управления двух молодых людей. Один из них — Антонио Паче. Юноши озираются вокруг, словно что-то ищут. Убийца выглядывает в окно. Оборачивается. Приказывает Канесу:

— Ну-ка, пригляди за ними. Узнай, что им нужно. Проверь, есть ли документы, куда идут.

Канес выходит. Появление этих молодых людей нервирует Убийцу, который тут же дает выход своему волнению, раздражаясь бурной тирадой:

— Юноши, молодые люди, которые пишут на стенах! Молодежь — студенты, молодые рабочие, — которые бродят по ночам по улицам, рассуждают о революции по телефону, в университетских аудиториях, в заводских цехах. Расходуют целые тонны красной краски, чтобы оскорблять нас. Уж я-то знаю, что здесь было бы нужно! Нечто совсем иное, чем десяток маляров, которые, замазывая известные надписи, пытаются этим сдержать волну, подрывающую самые устои власти...

Возвращается Канес и докладывает:

— Этот Паче отправился в отдел убийств.

Убийца. С кем он там говорит?

Канес. С Мангани.

Убийца продолжает свою инвективу. Он почти кричит:

— Наши молодые коллеги должны вернуться в учебные заведения. Они должны проникнуть в университеты, на предприятия, отрастить себе бороды, длинные волосы. Пусть наденут испачканные машинным маслом комбинезоны. Мы должны обо всем знать. Мы должны все контролировать. Если будет необходимо, мы должны использовать для этого даже собственных сыновей!

Сцена XXXIII.

Зал подслушивания телефонов. День.

Убийца входит в огромный зал — это центр по подслушиванию телефонных разговоров, снабженный десятками записывающих устройств.

Множество полицейских сосредоточенно слушают записи, имеющие отношение к тем следственным делам, что они ведут.

Убийца заглядывает в одну из боковых комнат, предназначенную для этих целей, и обращается к дежурному сержанту. Тот, увидев его, приветствует:

— Добрый день, доктор.

Убийца. Запись разговоров Антонио Паче!
Сержант. Сию минуту.

Пока дежурный разыскивает кассету с записью телефонных разговоров Антонио Паче, в зал поспешными шагами входят Мангани, Билья и Панунцио. Они чуть не сталкиваются с Убийцей, но не остановившись проходят дальше. У всех троих в руках газеты, которыми они возбужденно размахивают. Мангани приказывает:

— Дело Терци!

Убийца. Что случилось?

Мангани. Новости! И притом важные, я потом тебе сообщу...

Возвращается сержант с магнитофонной записью. Протягивает Убийце книжечку наподобие квитанционной и говорит:

— Пожалуйста, доктор, распишитесь. Благодарю вас.

Пока Убийца расписывается в получении, дежурный устанавливает кассету с лентой и включает магнитофон. Из динамика раздаются два юношеских голоса. Убийца усаживается на стул.

Голос юноши. Антонио, я тебя разыскивал целый день. Где ты пропадал?

Голос Антонио Паче. В полиции.

Голос юноши. В политическом отделе? Что они, опять начинают цепляться?

Голос Паче. Да нет... в отделе убийств.

Голос юноши. Почему?

Голос Паче. Из-за истории с той женщиной, которую убили в моем доме.

Голос юноши. Им что, удалось тебя впутать?

Голос Паче. Они пытаются узнать, видели ли что-нибудь соседи.

Голос юноши. Что же ты им рассказал?
Голос Паче. И ты еще меня спрашиваешь? Конечно, ничего.

Голос юноши. Да ну? Даже не сказал, что спал с ней?

Убийца, не в силах сдержаться, шепчет:

— Стерва!!!

Голос Паче. Перестань! Разве ты не знаешь, что наши телефоны под контролем? Более того, раз уж это так, то мне даже захотелось поговорить с дежурным сержантом, который нас сейчас подслушивает. Товарищ сержант, ведь ты выполняешь неблагодарную задачу: при помощи незаконных средств шпионишь за зарождением итальянской революции...

Убийца и сержант не могут скрыть своего удивления от поворота, который неожиданно принимает разговор.

— ...ведь ты тоже эксплуатируемый, ты тоже сын своего народа. Присоединяйся к нам или по крайней мере потребуй прибавки жалованья!

Убийца. Выключите! Выключите!

Дежурный выключает магнитофон. Убийца собирается уйти, но сержант его останавливает:

— Одну минуточку, доктор.

Убийца. Что вы хотите?

Сержант. Мысли, конечно, предсудительные, вызывающие омерзение... за исключением этой последней фразы. Подумайте только, доктор, после тридцати лет службы нам платят здесь всего лишь сто сорок тысяч лир в месяц.

Убийца. Что вы там несете?

Сержант. Я торгую книгами в рассрочку, доктор. Даже более того...

Убийца. Какое мне дело до ваших книг в рассрочку! Я подам на вас рапорт.

Сержант. Ну что вы, доктор!..

Убийца переходит в главный зал. В воздухе перекрещиваются десятки телефонных разговоров, в которые внимательно вслушиваются, словно просеивая, стоящие кучками следователи.

Слышатся какие-то щелчки, сигналы, шум акустических помех, обрывки разговоров:

— Хорошо, в таком случае следует заявить левым, что сейчас не время...

— Дорогой, это значит, что ты меня никогда больше не увидишь...

— Операция «Коммунистов — в правительство»? Да она, дорогой доктор, уже давно началась...

— Простите, но разве вы не читали передовой в «Пополо»?

— А американцы, по-вашему, что скажут?

— Они слишком поглощены созданием оси Пекин — Вашингтон...

Из динамика одного из магнитофонов доносится последняя часть разговора, который Убийца имел с репортером Патане.

Голос Убийцы. ... В отдел убийств пришел по почте пакет с драгоценностями жертвы, Аугусты Терци. Там еще ботинок убийцы и бритвенное лезвие. Это окончательно снимает всякое подозрение с мужа.

Мангани смотрит на подошедшего к нему Убийцу. Рядом стоят Билья и Панунцио. Мангани останавливает магнитофон и, обращаясь к Убийце, спрашивает:

— Послушай... тебе никого не напоминает?..

Голос Убийцы. ... ботинок убийцы и бритвенное лезвие...

Убийца. Один из них — Патане.

Мангани. Да. А другой?

Убийца. Вы действительно получили этот пакет?

Мангани вытаскивает из кармана пиджака вечернюю газету, протягивает ее Убийце. Мангани. Да, мы его получили, а вдобавок сообщение об этом появилось в газете за час до того!

Билья. Значит, это не может быть муж, так как он сидит у нас.

Мангани качает головой и говорит:

— Но это может быть какой-нибудь сообщник мужа.

Билья собирается с духом, желая высказать все, что думает по этому поводу, а так как он человек робкий, то выпаливает это разом, причем довольно агрессивным тоном:

— Я считаю, что муж Терци полностью невиновен. И его следовало бы отпустить.

Мангани, не допуская вмешательства подчиненного, его одергивает:

— Старший сержант! За это дело отвечаю я! И муж убитой останется за решеткой.

Билья. Ну хорошо...

Мангани. И без всяких «ну», Билья.

Билья, с трудом сдерживаясь, выходит из зала подслушивания, бормоча:

— Хорошо, хорошо, пусть сидит себе за решеткой!

Мангани подходит к Убийце и что-то говорит ему с невольным видом сообщника. Однако тот отвечает:

— Можешь ты понять или нет? Муж невиновен.

Мангани. Но нам ведь выгодно держать мужа под арестом, по крайней мере до тех пор, пока газеты не успокоятся и не позабудут об этом деле. Разве не так?

Убийца. Ты — чиновник, бюрократ. Ты боишься газет, общественного мнения.

Убийца удаляется. Воздух пронизан сотнями приглушенных фраз, которые сливаются воедино, в общий бессвязный, безумный монолог города.

Сцена XXXIV.

Политический отдел. День.

Билья нервно прохаживается по просторному двору полицейского управления. Он ходит под окнами нового кабинета Убийцы. Непрерывно зажигает и гасит сигарету. Возвратясь в свой кабинет, Убийца замечает торчащего под окнами Билью. Он не спеша распахивает окно, высовывается и отеческим тоном говорит ему:

— Да не обращай внимания... Не огорчайся...

Билья. Этот тип остается таким, какими были чиновники во времена владычества Бурбонов... точно в королевстве Обеих Сицилий... Он думает только о том, как бы ему выказать себя в выгодном свете перед министерством и перед газетами.

Убийца. Этот тип — старая портянка, которую скоро неминуемо выкинут на помойку. Не обращай внимания.

Убийца захлопывает окно. Уходит в глубь комнаты и садится за письменный стол. Как раз в эту минуту в кабинет входит репортер Патане. Садится.

Убийца перебирает бумаги, не обращая на журналиста внимания. Потом спрашивает:

— Что тебе надо?

Репортер. Вот это да! Он еще спрашивает! А что мне теперь ему сказать?

Убийца. Кому?

Репортер. Да Мангани.

Убийца. Насчет чего?

Репортер. Он выпытывает у меня, знаю ли я человека, который сообщил мне по телефону о бандероли с драгоценностями.

Убийца устремляет на своего собеседника свирепый взгляд и говорит:

— И об этом, значит, ты пришел спрашивать меня?

Репортер. Да ведь звонил-то мне ты!

Убийца. Но подумай сам. Как же я мог тебе звонить, если бандероль с драгоценностями тогда еще не пришла в полицейское управление?

Журналист сбит с толку поведением Убийцы. Он вновь повторяет:

— Но ведь звонил мне ты!

Убийца раздраженно кричит:

— Прекрати ходить и болтать, что я тебе звоню по телефону!

Патане испуган столь яростной реакцией Убийцы и растерянно бормочет:

— Да я не...

Убийца резко поднимается и подталкивает его к двери, продолжая кричать:

— Я никогда тебе не звоню по телефону. Я тебе покровительствую, и тебе следует быть осторожнее!

Журналист удаляется по коридору. Убийца изливает свой гнев на стоящий рядом кофейный автомат. Журналист сталкивается с Бильей, и они здороваются.

Убийца. Уберут отсюда или нет этот автомат? Вам, Мистико, следует находиться на

своем рабочем месте, работать! Вы тоже, пожалуйста, убирайтесь отсюда. Уходите!

Билья направляется в кабинет Убийцы. Тот, заметив его, поджидает на пороге.

Билья. Разрешите, доктор? Я хотел бы попросить у вас совета.

Билья взволнован, весь напряжен, как струна, и Убийца держится с ним ласково и заботливо. Берет его под ручку, и они вместе входят в кабинет. Направляются к письменному столу, садятся. Убийца выглядит усталым. Он говорит:

— Ну что у тебя стряслось, что еще? А? Идем, идем со мной. Если мы на нашей работе не будем помогать друг другу... Опять что-нибудь новое? В этом городе убивают не только шлюх. Тут убивают порядок, социальное равновесие. За последние двадцать четыре часа три случая незаконного занятия зданий: бездомные заселили новый дом, бастующие студенты заняли университет, учителя — школу. Учителя!.. Итальянцы в течение полугода бастовали восемьдесят один миллион часов... Нет ли у тебя таблетки от головной боли?

Билья отрицательно качает головой и вдруг спрашивает заговорщическим тоном:

— Доктор, вы уверены в невинности мужа Терци?

Убийца. Конечно, уверен...

Билья. В таком случае существует единственное средство доказать, что муж Терци невиновен.

Убийца всем своим видом показывает, что этот вопрос его ни чуточки не интересует. Он отвечает односложно, небрежно и нехотя, чуть ли не борясь с зевотой. Билья продолжает:

— Это средство — найти нынешнего владельца голубого галстука.

Убийца. Да-да... его надо найти.

Билья. Этот голубой галстук был на нем в тот день, когда он совершил преступление. Где он его купил?

Убийца. У Ченчи, возле Пантеона.

Билья. В этом магазине продано два таких галстука. Один из них купили вы, но вы не в счет, а другой, по словам хозяина, насколько ему помнится, купила какая-то дама.

Убийца. Аугуста Терци.

Билья. А из этого следует, что жертва подарила галстук своему убийце.

Убийца. Ну да, жертва подарила галстук своему убийце.

Билья. Учитывая их отношения, пожалуй, я исключил бы, что галстук предназначался в подарок ее мужу.

Убийца. Мне это кажется логичным. Вот и исключи. Так чем же я могу тебе быть полезен? Чем могу тебе помочь, а? Не знаю... Может, хочешь мой голубой галстук? Можешь пойти ко мне домой, скажи, чтобы тебе его дали. Там у меня приходящая прислуга,

утром ты ее наверняка застанешь. Так есть у тебя что-нибудь от головной боли?

Билья. Значит, я в самом деле могу зайти к вам домой?

И Билья изумленно смотрит на Убийцу. Тот не отвечает. Потом с тем же отсутствующим видом говорит:

— Нет, ты только подумай, что это такое: три незаконных занятия зданий в течение одних суток — студенты, бездомные и учителя! Учителя!

Билья. Я могу идти?

Убийца. И знаешь, что я тебе скажу? Лично я всему этому предпочитаю убийства.

Билья. Так, значит, если мне понадобится, я действительно могу зайти к вам домой за этим галстуком?

Убийца молча глядит вслед выходящему из его кабинета Билье. Оставшись один, он обхватывает голову руками. Он устал, обессилен долгим нервным напряжением, вызванным собственными же противоречивыми действиями.

Его мысли возвращаются в квартиру Аугусты, в ее спальню, где вечно царит некоторый беспорядок, к огромной постели, на которой раскинулась Аугуста, и насмехается, как всегда, насмехается над ним.

Сцена XXXV.

Квартира Аугусты. День.

Убийца в одних трусах в ванной комнате. Он натягивает майку, на ногах у него уже ботинки. Бросаются в глаза его короткие черные носки. Аугуста, подводя перед зеркалом глаза, говорит:

— Да не носи ты эту майку, не бойся, все равно твоя мамочка об этом никогда не узнает... А кроме того, смени магазин, где ты покупаешь рубашки. Ты похож на швейцарского офицанта.носишь короткие черные носки, как священник или семинарист или тот, кто ты, впрочем, и есть, — как полицейский.

Под саркастическим взглядом женщины Убийца чувствует себя все более неудобно. Протягивает руку за брюками.

Аугуста. У тебя нет более светлого костюма? Что-нибудь повеселее? Более обычного? Убийца. Нет.

Он спешит натянуть и застегнуть брюки, словно надеясь, что в них он вновь обретет уверенность.

Аугуста продолжает:

— Когда люди на улице встречают человека, одетого так, как ты, они сторонятся... потому что сразу видят, что это полицейский... от тебя за версту несет затхлым запахом казармы, архива, полицейского карцера... От попов хоть пахнет ладаном... Вам власти должны были бы выдавать бесплатно какой-нибудь дезодорант...

Убийца тянется за висящим на спинке стула черным галстуком, но женщина, опережая его, ловко выхватывает галстук у него из рук. Молниеносно взмахнув ножницами, она безжалостно режет галстук пополам.

Убийца вырывает у нее то, что осталось от его галстука; скорее возмущенный, чем огорченный, он шипит:

— Я тебя бы убил... собственными руками. Аугуста. Подумаешь, тоже мне храбрец! Ведь ты сам и вел бы расследование, кто бы на тебя подумал...

Сцена XXXVI.

Здание полицейского управления. Городские улицы. День.

Убийца выходит из внушительного подъезда полицейского управления. Часовые по военному отдают ему честь.

Он торопливо садится в стоящую неподалеку на стоянке машину. Озирается, словно боится, что за ним следят. Автомобиль удаляется.

Теперь мы вновь видим Убийцу: стараясь казаться как можно менее заметным за рулем своей машины, он за чем-то наблюдает на одной из улиц в центре города. При этом он яростно грызет ногти.

Неподалеку от него — витрина магазина предметов мужского туалета.

Вдруг Убийца стряхивает с себя оцепенение.

Перед витриной остановился бедно одетый мужчина лет пятидесяти с лишним. С вождением он разглядывает целую гирлянду развешанных на первом плане ярко-голубых галстуков.

Убийца выходит из машины, предварительно надев черные очки и повязав на шею голубой фуляр. Встав рядом с мужчиной, он в высшей степени почтительно обращается к нему:

— Извините, не могли бы вы оказать мне одну любезность?

Мужчина. Пожалуйста...

Убийца. Я, знаете ли, хочу попросить вас зайти купить для меня все голубые галстуки... вот эти, видите, которые выставлены в витрине.

Убийца указывает на выставленные за стеклом галстуки. Мужчина удивленно смотрит на него и спрашивает:

— А почему, простите, вы не можете сами войти в магазин и купить их?

Убийца. Нет, не могу. Если пойду я, то хозяин примет меня за конкурента и заломит втридорога. Прошу вас, окажите мне эту любезность.

Мужчина. Но купить их все, наверное, будет стоить уйму денег, пятьдесят — шестьдесят тысяч лир...

Убийца. Да, пожалуй, не меньше... Ну не знаю, глядите сами.

Убийца достает из бумажника деньги и протягивает их мужчине. Тот говорит:

— Но удовлетворите мое любопытство. Для чего вам столько одинаковых голубых галстуков?

Убийца. Для того... дело в том, что я театральный импрессарио... да-да, эстрадного ансамбля...

Мужчина. А, понимаю.

Убийца. Наше ревью называется «Пятьдесят голубых галстуков для пятидесяти куколок!».

Мужчина. Хорошо. Bravo!

Убийца. Окажите мне эту услугу, я буду вас ждать вот там.

Мужчина. Хорошо. Где?

Убийца. Под портиком.

Убийца удаляется. Мужчина, вздыхая и что-то бормоча себе под нос, входит в магазин.

Не проходит и нескольких минут, как он вновь появляется на пороге магазина с пакетом в руках. Озирается и, заметив Убийцу, спешит перейти площадь и направляется в его сторону. Убийца, нервно расхаживая взад-вперед под портиком, торопит его:

— Ну живее, живее!

Мужчина. Иду, иду...

Он подходит к Убийце, протягивает ему купку и сдачу. Слегка запыхавшись, говорит:

— Ох! Держите деньги, тут четыре тысячи лир, это... это сдача. Послушайте, вот это номер! Просто умора: они меня приняли за агента из полицейского управления и поэтому сделали скидку, причем уступили немало... Один из приказчиков даже назвал меня старшиной. Ну ладно, вот они, сосчитайте, тут двадцать пять штук.

Убийца. Чем вы занимаетесь?

Мужчина. Что?

Убийца. Чем вы занимаетесь? Профессия?

Он спрашивает это таким суровым, инквизиторским тоном, что мужчина, купивший ему галстуки, растерявшись от неожиданности, отвечает испуганно:

— Я? Да я... по специальности водопроводчик. Однако...

Убийца. Ах водопроводчик!

Мужчина. Однако работаю только тогда, когда сам хочу.

Убийца. А за кого вы голосуете на выборах?

Мужчина не в силах скрыть своего возмущения этим допросом. На губах Убийцы играет презрительная, циничная улыбка.

Мужчина. То есть как это за кого голосую? А вам какое до этого дело?

Убийца. Нет! Вы мне скажите, за кого голосуете.

Мужчина. Да за того, за кого мне нравится. Что это еще за вопросы?.. При чем это.

Убийца. Из этих галстуков один возьму я,

а остальные двадцать четыре останутся у вас.

С этими словами он берет из пакета один из голубых галстуков. Улыбается.

Мужчина. Как же так? Что это все значит? Эй! Вы должны, уважаемый синьор, объяснить мне, в чем дело, потому что я...

Убийца. Сейчас я вам все объясню. Вы должны немедленно явиться с этими двадцатью четырьмя галстуками в Главное полицейское управление, в отдел убийств, потому что я вовсе не эстрадный антрепренер, а... убийца.

Произнеся это слово, Убийца настолько понижает голос, что собеседник не совсем его понимает и переспрашивает:

— Как вы сказали?

Убийца. Убийца, убийца. Вы газеты читаете или нет? Помните женщину, которая была убита на улице дель Темпио? Так вот, ее убил я.

Мужчина. Ну хватит вам, перестаньте... Такой приличный человек, как вы... Просто вам вздумалось надо мной подшутить...

Убийцу так забавляет реакция его собеседника, который никак не решается ему поверить, что он не может сдерживать смех. Он говорит:

— Да я и не думаю шутить. Вы попали в неприятную историю.

Мужчина. Какую еще неприятную историю? Имеете в виду: я ничего не сделал, и запомните это хорошенько!

Убийца. Помолчите минутку. Всякий — сейчас я вам объясню эту механику, — кто соприкасается с убийцей, уже одним этим навлекает на себя неприятности. Бегите скорее в полицейское управление, подробно там меня опишите, расскажите как можно детальнее о часе, месте, всех обстоятельствах нашей встречи. Пожалуйста, хорошенько на меня поглядите и все запомните, чтобы потом описать. Да смотрите же. Не каждый день случается увидеть в двух десятках сантиметров от себя физиономию убийцы. Мысленно проверьте себя. Постарайтесь запомнить, какая у меня прическа, есть усы или нет, как я одет, ношу ли я галстук.

Мужчина слушает Убийцу словно загипнотизированный его словами. Потом говорит:

— Ну в общем... Позвольте мне хотя бы на минутку зайти домой, попрощаться с женой, увидеть сына.

Убийца. Прекратите валять дурака. Немедленно идите в полицейское управление, в полицейское управление.

Убийца стремительно удаляется. Мужчина пытается догнать его. Роняет на мостовую галстуки. Кричит вслед:

— Ну как же так! Дайте мне время хотя бы немножко побриться!

Убийца. Не валяйте дурака! Прекратите! Исполняйте свой гражданский долг. Ну идите же, идите.

Мужчина зовет его во весь голос, но Убийца уже исчезает в толпе.

Мужчина. Погодите! Одну минутку! Послушайте!

Убийца кричит ему в ответ:

— Идите в полицейское управление!

Мужчина. Послушайте... Синьор!

Убийца, прежде чем окончательно исчезнуть, повторяет:

— Идите в полицейское управление!

Мужчина. Обождите... Идите сюда...

Но того уже и след простыл. Мужчина растерянно озирается вокруг, потом наклоняется и начинает собирать упавшие на землю галстуки.

Сцена XXXVII.

Улицы Рима. День.

Автомобиль Убийцы несется по улице на большой скорости, обгоняя другие машины.

Убийца тормозит у светофора. Расстегивает воротничок рубашки и ослабляет узел темного галстука, который он уже успел повязать вместо украшавшего его шею фулярового шарфа.

На светофоре — зеленый свет.

Машина Убийцы срывается с места. Не оставляя руля, Убийца прячет галстук, что у него был на шее, в карман пиджака.

Другой светофор — красный. Машина останавливается. Убийца, смотрясь в зеркальце на лобовом стекле, вывязывает узел голубого галстука — того, что он вытащил из пакета у перепугавшегося бедолаги. Машина трогается и мчится дальше.

Навстречу ей мчится, преграждая дорогу и стремительно увеличиваясь в размере, еще один светофор. Слышится серебристый смех Аугусты.

Теперь в машине рядом с Убийцей — Аугуста. Волосы ее развеваются на ветру. Возбужденная скоростью и придуманной ею игрой, она кричит:

— Давай! Поезжай на красный! Что для тебя закон, разве тебе есть до него дело!
Убийца. Ну Аугуста, дорогая, не надо, ну что ты меня заставляешь делать! Ну Аугуста...
Аугуста. Давай, давай! Поезжай на красный, поезжай на красный!..

Убийца. Ну что ты, дорогая, хочешь заставить меня сделать... Ну перестань, Аугуста, я же не ребенок. Неужели ты хочешь, чтобы я ехал на крас...
Аугуста. Да!

Убийца. Чтобы я ехал на красный свет?
Аугуста. Давай, ведь ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Я в этом не сомневаюсь.

Убийца. Смотри, я и впрямь могу это сделать... И впрямь могу это сделать, Аугуста.

Они уже под самым светофором. На нем вспыхивает красный свет.

Аугуста. Давай, давай! Поехали!

Убийца. Берегись, я способен на все. Понимаешь? Еду на красный! Еду!

Автомобиль Убийцы пронесится на красный свет. Раздается пронзительный свисток регулировщика.

Машина замедляет ход и останавливается с правой стороны проезжей части улицы. К ней тотчас бросается регулировщик.

Аугуста. Bravo!

Убийца. Ну вот, видела?

Аугуста. Сейчас, когда подбежит регулировщик, смелее, сразу ткни ему в нос свое служебное удостоверение.

Убийца. Конечно, конечно...

Аугуста. Покажи... Покажи ему, что ты важное начальство... Пусть дрожит... Погрубее с ним, погрубее.

Регулировщик. Ваши водительские права!

Убийца предъявляет ему служебное удостоверение и говорит:

— По делам службы... Пожалуйста, не задерживайте.

Регулировщик. Прошу прощения, доктор, извините.

И застывает, держа руку под козырек. Машина вновь срывается с места и мчится дальше. Аугуста, заливаясь смехом, говорит **Убийце**:

— Уверяю тебя, ты абсолютно спокойно можешь совершить любое преступление!

Сцена XXXVIII.

Пляж. День.

Аугуста плещется в море у самого берега. Вдруг она вскакивает, падает, поднимается, бежит, спотыкается, кричит. Она разыгрывает, что за ней кто-то гонится и ее убивает. С берега ее фотографирует **Убийца**, возбужденно щелкающий фотоаппаратом. Он в одежде.

Аугуста (кричит). Ах нет! Нет! Не надо!

Аугуста выходит из воды. Бежит к разостланному на песке полотенцу и растягивается на нем. Хохочет. **Убийца** идет за ней. Грудь женщины бурно вздымается.

Убийца. Молодец. Ты напомнила мне обезглавленную из Кастель-Гандольфо.

Аугуста. Ты сумел бы убить меня на этом пляже так, чтобы тебя не схватили? Задачу можно сформулировать так: как полицейскому удастся незаметно совершить убийство на переполненном пляже.

Убийца погружается в размышление, обдумывая задачу, поставленную перед ним Аугустой. Мысленно готова предумышленное убийство, он, однако, не перестает щелкать фотоаппаратом, снимая то одно, то другое. После некоторого раздумья говорит:

— Что касается меня, то меня видели сторож на автомобильной стоянке, контролер, проверяющий билеты у входа на пляж,

женщина, открывавшая нам кабинки, а кроме того, и соседи по кабинке. На первый взгляд опаснее всех кажется сторож на стоянке...

Аугуста. Да ну что ты! Сторож с автомобильной стоянки, дающий показания против такой важной шишки, как ты... маловероятно! Для того чтобы тебя арестовали, ты должен поставить под преступлением свою подпись: имя и фамилию. Если этого не будет, кто на тебя подумает? Ну живее, придумай хорошенькое преступленище, да поинтересней. **Убийца.** Аугуста, не толкай меня нарушать закон. Ведь это было бы так легко при моем положении! Гм! Я отрезал бы тебе голову, хорошенько бы ее зяптал или даже, пожалуй, нет, лучше я бросил бы ее в море. На корм рыбам...

Аугуста поворачивается и с удивлением смотрит на него. Тон и голос **Убийцы** таковы, словно он говорит о любви, во взгляде горит болезненная страсть. Он продолжает:

— Твое тело нашла бы после заката солнца в кабине какая-нибудь из уборщиц. Судья, вызванный из Латины, увидел бы тебя только на следующий день уже в состоянии сильного разложения. (Смеется.)

Женщина, словно не желая слушать эти жуткие, пугающие ее подробности, хватается пригоршню песка и затыкает рот **Убийце**. Потом стремительно вскакивает и убегает. Ошарашенный, он выплевывает песок и борочет:

— Ну что ты делаешь? Дура! Ну что...

Потом поднимается и отправляется разыскивать Аугусту. Но женщина исчезла. Он идет в душевую. К кабинкам. Ищет ее среди купающихся.

Убийца. Аугуста, Аугуста! Хватит шутить! Где ты? Иди сюда! Аугуста!

Потом направляется к «семейным» кабинетам. Останавливается и заглядывает внутрь сквозь стекла окон. В одной из них сидят и разговаривают двое юношей и две девушки. **Убийца** ворчит:

— Следовало бы добиться декрета о сносе этих борделей... Аугуста!

Одна из девушек. Что ему надо, что он высматривает?

Другая девушка. Мерзкий слизняк...

Убийца продолжает свои поиски. Подходит к другому окну. К третьему. Останавливается. Возвращается назад. Сквозь запотевшее стекло различает Аугусту, позабывшую обо всем на свете в объятиях какого-то юноши. В этом юноше **Убийца** узнает Паче.

Сцена XXXIX.

Квартира **Убийцы**. День.

Убийца открывает ключом дверь своей квартиры.

Анита. Наденьте тапки, доктор.

Вся мебель составлена, такое впечатление,

что здесь только что произошло землетрясение. Однако это всего лишь генеральная уборка квартиры в самом разгаре, и занимается ею приходящая прислуга Анита. Женщина ползает по полу и трет его тряпкой. Убийца натягивает на ботинки матерчатые тапки и направляется в спальню.

Анита. Ах да, сегодня утром приходил этот парень, что с вами вместе работает, такой молодой, неаполитанец... как его фамилия...

Убийца. Кто? Биля?

Анита. Вот-вот, Биля...

Метнув в сторону «доктора» долгий пронзительный взгляд, Анита вновь принимается скрести пол.

Убийца. И что ему было надо?

Анита. Право, не знаю. Он спрашивал какой-то галстук... Но я ему, конечно, не дала.

Убийца не в силах справиться с охватившим его волнением. Наконец, взяв себя в руки, спрашивает:

— Каким же образом вы могли его дать, если он у меня на шее?

Анита продолжает свою работу. Не поднимая головы, отвечает:

— Значит, у вас их два. Потому что второй я видела вчера засунутым в ваши кеды.

Убийца, поняв, что в своей самонадеянности хватил через край, не пытается ее опровергать.

Анита продолжает:

— Представьте себе, он хотел еще посмотреть ваши ботинки. Я сразу поняла, что это за тип, сует нос куда не следует. Приставал ко мне с разными вопросами, хотел все выспросить.

Убийца. Что же его интересовало?

Анита. Принимали ли вы у себя когда-нибудь женщин.

Убийца. Ага, а что еще?

Анита. Есть ли у вас невеста.

Убийца. И это все?

Анита. Что вы делаете по воскресеньям...

Убийца прерывает женщину. Берет ее за руку и выталкивает за дверь, в гостиную, говоря:

— Иди, пожалуйста, туда, мне надо поработать.

Анита. Но, доктор, мне же надо кончить...

Убийца. Хорошо, после, после.

Закрывает за ней дверь. Зайдя в спальню, подходит к большому стенному шкафу. Распахивает его. Достает из шкафа свои кеды, в которых занимается гимнастикой. Вытаскивает из одного голубой галстук. Идет в уборную.

Садится на унитаз и принимается тщательно уничтожать этот галстук, который был на нем в день преступления: лезвием бритвы он разрезает его на маленькие кусочки, бросает их в унитаз и спускает воду.

Сцена XL.

Полицейское управление. День.

Убийца идет по коридорам отдела убийств. Встречая своих бывших сотрудников, здоровается с ними:

— Здравствуйте, добрый день, как дела? Привет трудящимся отрасли убийств...

Полицейские приветствуют его в ответ. Один из них говорит:

— Счастливой вам жизни, доктор, в политическом отделе.

Убийца решительным шагом направляется к одному из кабинетов. С силой распахивает дверь. Входит.

В комнате трое: Мангани — он сидит за письменным столом; Биля и мужчина, купивший галстуки, — перед ним. На столе разложены в ряд двадцать четыре голубых галстука. Все трое удивлены приходом Убийцы. А он, войдя в комнату, вынимает из кармана еще один голубой галстук — тот, которым он заменил свой прежний, служивший уликой, — и бросает его поверх уже лежащих на столе. Потом, смерив обоих полицейских пренебрежительным взглядом и игнорируя присутствие мужчины, покупавшего галстуки, говорит:

— Добрый день! Чтобы не затруднять вас, я сам принес вам свой галстук!

Не попрощавшись, направляется к двери, на пороге оборачивается и, все с таким же презрительным видом глядя на их растерянные лица, спрашивает:

— Ну в чем дело?

Закрыв с собой дверь, делает несколько шагов по коридору, но очень медленно, словно ожидая, что его окликнут. Подходит к кофейному автомату. Опускает пятьдесят лир. Ждет. В эту минуту раздаются крики. Двое агентов тащат по коридору какого-то человека в наручниках.

Полицейский. Идем, идем, не брыкайся, спокойнее!

Убийца. Что он сделал?

В это время из своего кабинета появляется Мангани, подходит к Убийце и отвечает:

— Убийство.

Арестованный. Я бы его еще раз убил! Еще раз убил! *(Всхлипывает.)*

Мангани. Он зарезал своего хозяина. Извини, ты не мог бы зайти на минутку? Тут пришел один тип... извини, конечно, чепуха... наверное, какой-то фантазер, маньяк.

Они идут по коридору к кабинету Мангани. **Убийца.** Да объясни мне на милость, что тут у вас сегодня происходит?

Мангани пропускает его вперед. Закрывает за собой дверь. Какое-то мгновение все молчат. Мангани тем временем занимает свое место за столом. Биля растерянно таращит глаза. Мужчину, купившего галстуки, от вол-

нения бьет как в лихорадке.

Мангани, машинально переключая галстуки, указывает на него и говорит:

— Знаешь... вот этот господин хотел бы тебя кое о чем спросить.

Убийца. Кто он такой?

Убийца устремляет твердый, пристальный взгляд на беднягу, который смотрит на него со все более испуганным видом. Потом спрашивает его:

— Ну так что же?

Под взглядом Убийцы мужчина еще больше теряется. Он замирает, как кролик перед удавом, и дрожащим голосом произносит:

— Вы меня уж извините... извините, доктор, но должно быть... да что я говорю «должно быть»... наверняка я ошибся.

Убийца. К чему же относилась ваша ошибка?

Мужчина. Видите ли... я, наверное, обознался... Принял вас за другого... вот и все.

Убийца. Да, но за кого же?

Мангани в смущении пытается вмешаться, чтобы объяснить в чем дело:

— Ему сначала показалось, что он тебя узнал. Знаешь, он говорит, что сегодня утром какой-то господин, довольно странный тип, дал ему деньги, чтобы он купил все эти галстуки. А после этого он ему сказал, что он убийца Аугусты Терци... и...

Мужчина. Какой-то сумасшедший...

Убийца. Не мешай ему! Пусть расскажет сам.

Мангани. Ну, говорите.

Мужчина. Спасибо. Гм... так вот, дело было, значит, так. Я встретил, значит, этого человека, который велел мне немедленно отправиться в полицейское управление, причем бегом.

Убийца. Да кто же это был?

Мужчина вытирает выступивший у него на лбу пот. Он выглядит совсем разбитым. Через силу отвечает:

— А кто его знает! Какой-то полоумный. Наверное, один из этих... эстрадных импресарио... а может, кинематографист... и я, конечно, попался на удочку; однако он сам предупредил, что меня ждут неприятности.

Убийца. А чем вы занимаетесь?

Мужчина. Я? Да я... я занимаюсь...

Мангани. Слесарь.

Мужчина возмущенно приподнимается, словно задето его достоинство.

Мангани. Спокойно, спокойно...

Мужчина. Я водопроводчик.

Убийца. Водопроводчик? Вы — слесарь.

Мужчина. Как вам угодно.

Убийца. Нет, вы скажите, скажите, что вы слесарь.

Мужчина. Да, да, я слесарь, хорошо...

Убийца. Как вы сказали?

Мужчина. Как вы совершенно верно говорили, я действительно слесарь.

Убийца. Вам не о чем беспокоиться...

Мужчина. А... вы... вы мне это обещаете?

Убийца. Вы должны успокоиться...

Мужчина. Благодарю вас.

Убийца. Вы ведь гражданин...

Мужчина. А... да-да... спасибо.

Убийца. А наш долг — уважать права граждан...

Мужчина. Верно, верно... спасибо, доктор...

Убийца. А вы, Мангани, на минутку, пожалуйста, выйдите со мной.

Мангани. Да-да, сейчас.

Они выходят в коридор. Убийца оставил дверь открытой. Оглядываясь вокруг и с явным намерением привлечь внимание, начинает кричать:

— Это еще что за шутки? Что это означает? Нет, Мангани, ты уж мне признайся, ведь это ты подстроил как очную ставку?! Не так ли?

Мангани напуган. Опасаясь за последствия, он пытается успокоить Убийцу:

— Нет, нет... Слесарь явился сам.

Убийца. Без всяких гарантий процедурного характера!..

Из дверей кабинетов высовываются головы множества сотрудников, наблюдающих за разыгравшейся сценой.

Мангани. Это все Билья. Я тут ни при чем.

Убийца. Мангани, я плюю на тебя. Ты у меня отсюда вылетишь! Берегись, Мангани, берегись!

Мангани. Возвращайтесь на свои места, живее! Что вы тут делаете? За работу, за работу!

Мужчина, купивший галстуки, слыша эти крики и догадываясь, что происходит, устремляется в коридор. Билья тщетно пытается его удержать. Он кричит:

— Доктор, доктор, не надо ссориться... это моя вина... Это я все напутал... у меня стало плохо со зрением...

Мангани. А вы заткнитесь!

Мужчина. Это же все так... так естественно... Это же не может быть он... потому что... тем более что... на нем синий костюм... а тот, другой, был в кремовом.

Мангани. Вы идиот, кретин! Билья, сделай мне удовольствие, убери его отсюда!

Билья уводит мужчину. Убийца тем временем удаляется по коридору. Мангани бежит за ним следом. Догоняет его и с подхалимским видом берет под руку, говоря:

— ...Знаешь, что я сделаю?..

Убийца. Отпусти мою руку.

Мангани. Послушай, знаешь, что я сделаю? Я задержу их обоих — и мужа Терци, и этого кретина, слесаря, с его галстуками. А на это что ты скажешь?

Убийца. Ты делай то, что входит в твои обязанности, а я буду делать то, что должен я.

Убийца смотрит на него с нескрываемым презрением и быстрыми шагами уходит. Мангани провожает его взглядом, потом возвращается по коридору, направляясь к свое-

му кабинету с угрожающим видом. Он говорит:

— Ну теперь, дорогой мой слесарь, вы мне скажете правду, ибо вы замешаны в этом деле, и я с вами не собираюсь церемониться!

Сцена XLI.

Кабинет Убийцы. День.

Убийца входит в свой кабинет. С порога он дает нагоняй нескольким агентам в штатском, прохладжающимся возле кофейного автомата в коридоре:

— Эй, Мистико, я тебя выкину отсюда, и ты у меня будешь ходить собирать информацию на площади Навона. Когда же уберут отсюда эту машину! Я занят, меня ни для кого нет!

Войдя, направляется к письменному столу. Садится. Решительно нажимает кнопку селектора. Выждав мгновение, говорит:

— Извини... извини, комендаторе*... Ты один?

Начальник полиции. Да.

Убийца. Гм... да нет, я хотел только спросить... давал ли ты разрешение на проведение некоторых уточнений, касающихся меня лично в связи с делом Терци?

Короткая пауза, после которой в селекторе вновь раздается низкий голос «комендаторе», чарующий и вкрадчивый, как пение скрипки:

— Я затребую у дежурного по управлению подробный доклад. А потом мы с тобой обсудим этот вопрос сегодня вечером за ужином.

Убийца ударяет ладонью по столу и говорит:

— Нет, нет, извини, но этого мне недостаточно. Я требую, чтобы была проведена проверка работы всех сотрудников отдела убийств. Здесь у меня в отделе имеется целый пороховой склад, и он каждую минуту может взорваться. И если он взорвется, выйдет наружу все о их методах, о их служебной и личной жизни. Здесь у меня в кабинете собрано про них всех более чем достаточно, и ты это знаешь.

Шеф. Хорошо, но на твой страх и риск.

Убийца. Разумеется!

Убийца выключает селектор. Выходит из комнаты.

Сцена XLII.

Зал телефонного подслушивания. День.

Убийца быстрыми шагами входит в зал телефонного подслушивания. В руках у него кожаная папка. В зале у стендов с под-

слушивающими устройствами толпятся следователи.

Убийца направляется к архиву магнитофонных записей и, подойдя к дежурному сержанту, говорит:

— Праттико, мне нужно взять три записи. Для политического отдела.

Сержант. По приказу начальника полиции не могу ничего выдать.

Убийца. А когда получен этот приказ?

Сержант. Этого я не могу сказать.

Убийца и дежурный возвращаются обратно в зал. Вокруг них в воздухе носятся обрывки разговоров, фразы, вырванные из политических бесед, но также и сугубо личного характера.

Убийца. Этот приказ письменный или по телефону?

Сержант. Доктор, не настаивайте.

Убийца. Ну ладно, но разве для вас имеет какое-нибудь значение, возьму я на пару часов эти три ленты или нет?!

Сержант. Имеет... да еще какое! Ведь я лишюсь места, доктор...

Убийца. Но здесь все мы заботимся о своей служебной карьере.

Сержант. Вот именно, я хотя и маленький человек, но тоже забочусь... Что поделаешь... Не стоит настаивать.

Убийца. Я просто прошу вас помочь... помогите мне. И я вам буду за это благодарен.

Сержант. Ну не знаю... идемте...

Вдруг воздух сотрясает глухой взрыв, от которого дрожат стекла. Все присутствующие вскакивают. Затем раздается второй взрыв. Оглушающий грохот взрывов смешивается с хором испуганных голосов, отдельными выкриками, обрывками телефонных разговоров, шумом поднявшейся беготни. Все беспорядочно толкаются, паника нарастает.

Сержант. Мать родная, да это бомбы!

Убийца вместе с несколькими служащими и дежурными полицейскими бежит к тому месту, где произошли взрывы.

Служащий. Дайте пройти! Вот там, там, доктор. Внизу, внизу.

Убийца. Не подходить, всем оставаться на своих местах! Где это было?

Служащий. В вентиляционной трубе, доктор. Это там рвануло!

Другой служащий. Это бомбы!

Добежав до основания вентиляционной трубы, Убийца останавливается и кричит:

— Прошу вас, прошу вас! Только дежурные агенты. Остальные возвращайтесь на свои места... назад... также и вы, пожалуйста... уходите отсюда... пожалуйста, осторожно, осторожно... здесь дело серьезное.

Уже подоспели несколько полицейских. Они отсесняют всех назад. Место взрывов окутано дымом. Все вокруг усыпано осколками стекол. На земле — остатки двух пле-

* Почетный гражданский титул, официально упраздненный, но оставшийся как форма обращения к важным лицам. (Прим. пер.)

теных сумок, в которых лежали бомбы. Они еще дымятся.

Первый полицейский. Вот здесь, здесь. Идите сюда, доктор, это здесь, идите сюда... с этой стороны.

Убийца. Дайте пройти.

Второй полицейский. Дайте пройти.

Убийца. Не трогайте. Ничего не трогайте. Прошу вас, ничего не трогайте. На этот раз мы с ними разделаемся!

Сцена XLIII.

Двор полицейского управления.

Полицейские в форме выстроились у места взрыва, окружив площадку перед основанием вентиляционной трубы. В центре ее Убийца со всем руководством возглавляемого им политического отдела в полном составе ожидает прибытия начальства. Начальник полиции и другие высшие чиновники не заставляют себя ждать. Они поспешно спускаются по лестнице, ведущей к вентиляционной трубе. Их сопровождает Канес. Как только они начинают спускаться, он кричит вниз:

— Вот они, идут!

Начальство подходит к месту взрыва. Дорогу им расчищает Убийца. Начальник полиции и сопровождающие его лица останавливаются и молча созерцают место, где взорвались бомбы.

Убийца. Теперь хватит! Это неслыханно! Я получил сейчас донесение: в восемнадцать тридцать взорвались еще две бомбы. Одна — в «Америкэн Экспресс», другая — во Дворце правосудия. По моему скромному мнению, мы должны действовать, причем решительно. Мы всех их знаем, всех до одного, как облупленных. Мы должны продемонстрировать свою твердость и решительность. Это терпеть более невозможно.

Шеф с решительным выражением лица слушает слова Убийцы. Его ответ еще более решителен:

— Карт-бланш! Вам всем. Мысль ясна?

Чиновники. Да, ясна, абсолютно ясна.

Шеф. Вот так!

Начальство уходит. Убийца, прокладывая дорогу, кричит:

— Дайте пройти. Пожалуйста, дайте пройти! Расступитесь!

Сцена XLIV.

Полицейское управление. День.

С полдюжины полицейских автофургонов, набитых молодежью, — по-видимому, арестованными в ходе облава в различных кварталах города — медленно въезжают в ворота полицейского управления и останавливаются посреди двора. Арестованные юноши и девушки поют «Интернационал». Конвойные

полицейские открывают дверцы фургонов.

Молодые люди быстро один за другим вылезают из фургонов. Оглядываются вокруг; вид у них презрительный. Поднимают правую руку со сжатым кулаком, продолжая петь. Полицейские, грубо подталкивая в спины, гонят их через двор в большую зарешеченную камеру. Операцией руководит стоящий в окружении полицейских чиновников Убийца.

С мрачным, напряженным лицом смотрит он на проходящих перед ним арестованных юношей и девушек. Внезапно напряжение его еще больше возрастает. От группы молодежи отделяется какой-то юноша. Делает несколько шагов в сторону Убийцы. Останавливается. Смотри на него с вызывающим видом, окликает:

— Доктор!

Убийца застигнут врасплох. На мгновение он от удивления лишается дара речи и молча глядит на юношу. Потом, поборов растерянность, заталкивает его обратно в ряды арестованных. На помощь ему бросаются другие полицейские.

Убийца. Что еще понадобилось этому типу? Чего тебе надо? Иди, иди! Иди со своими товарищами. Пошевеливайся!

Молодежь скандирует:

— Хо-хо-хо-Ши-Мин!

Уже идя в толпе других арестованных, Паче продолжает оглядываться и, прежде чем окончательно среди них затеряться, вновь окликает:

— Доктор!

Молодежь. Кастро, Мао, Хо Ши Мин! Кастро, Мао, Хо Ши Мин!

Убийца. Ну иди, иди, пожалуйста, как еще я должен объяснять... Комиссар, ведите их быстрее. Ну живее, живее! И проверьте всех их по картотеке.

Полицейский. Вперед, вперед! Проходите.

Молодых людей загоняют в большую общую камеру. Изнутри продолжают доноситься лозунги и пение. Снаружи полицейские задвигают металлическую решетку. Все полицейские заметно нервничают.

Полицейский. Живей, живей!

Канес. Быстро, быстро!

Канес подходит к Убийце, который уже удаляется со двора, и говорит:

— Они все у нас в руках, надо с ними за все рассчитаться!

Убийца. Сдержанность, пока что сдержанность с печатью. Среди всех этих сколько наших осведомителей?

Канес. Пятеро.

Убийца. До ночи оставим их всех вместе.

Отдав это последнее распоряжение, Убийца стремительно удаляется. Он идет к воротам.

Сцена XLV.

Городские улицы. День.

Еще не придя в себя после напряжения последних часов, Убийца нервным шагом направляется к садику, занимающему часть площади перед зданием полицейского управления. Опустившись на садовую скамейку, переводит дыхание, оглядывается вокруг: ему кажется, что какой-то сидящий на соседней скамейке человек настойчиво глядит на него с загадочным выражением лица. Объятый беспокойством, Убийца угрожающе нахмуривается и, со своей скамейки, накидывается на него, спрашивая грубым, начальственным тоном:

— Что вам надо? Нет, вы скажите, чего вы от меня хотите? Чего вы на меня устались?!

Мужчина в изумлении бормочет:

— Я? Да я ничего не вижу, я почти совсем слепой. Да, да, представьте себе. Ни на кого я не смотрю.

Убийца. Занимайтесь своим делом!

Убийца поднимается со скамейки, подходит к виднеющейся в нескольких шагах от него телефонной кабине. Входит в нее со вздохом облегчения. Плотно закрывает за собой дверь.

Сцена XLVI.

Квартира Аугусты. Вечер. Воспоминания.

В погруженной в полумрак квартире Аугусты настойчиво звонит телефон. Наконец из глубины квартиры, из темноты, медленно возникает вся в белом Аугуста; она похожа на эктоплазму, которая сгущается, становится все более плотной по мере того, как она приближается к телефону. Она садится, ленивым жестом снимает трубку, с видом, выражающим досаду и скуку, спрашивает:

— Да?.. Алло!

Из телефонной трубки несется ни на чей другой не похожий голос Убийцы. Хотя он и столь своеобразен, но тон его весьма неприятен: настойчивый, поспешный. Слов не разобрать, но можно понять, что он многословен и говорит весьма горячо и напористо. Аугуста отвечает ему холодно, отчужденно, с нескрываемой скукой:

— Ну что... говори... Да... я спешу... говори же... Нет, я в халате... одна... да, одна...

Аугуста пытается сдержать обрушившиеся на нее потоки слов:

— О!.. Что это такое?.. Сцена ревности по телефону?

Убийца вновь что-то говорит, на этот раз с раздражением. Аугуста опять его перебивает:

— Почему бы тебе не сделать одну вещь? Возьми под контроль мой телефон. Установи за мной слежку или же поставь телевизи-

онную камеру мне под одеяло. У тебя ведь в распоряжении полтысячи человек, не так ли? Прикажи им следить за мной, и тогда ты будешь знать, с кем я встречаюсь и что делаю.

С удовлетворенным видом Аугуста резко вешает трубку, проводит рукой по щеке, зевает.

...Убийца как вихрь врывается в квартиру Аугусты, охваченный яростью и волнением. В руке у него письмо. Он читает его с саркастическим выражением лица. Аугуста, лежа на подушках, ест одну за другой шоколадные конфеты. Вдруг застывает неподвижно. Она скорее удивлена, чем испугана.

Убийца. Я думаю, что настало время порвать нашу связь, не так ли?

Аугуста. Убирайся!

Убийца. Аугуста, это прощальное письмо, достойное бульварного романа, ты воткни себе между ног. Но что ты делаешь? Убегаешь?

Аугуста вскакивает. Бежит в спальню. Хочет укрыться от него за постелью. Убийца бросается вслед за ней и, остановившись по другую сторону постели, говорит:

— Послушай, я вовсе не собираюсь устраивать тебе сцену ревности. Ты, Аугуста, по мне, можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Но я хочу обо всем знать, ты должна мне все говорить, я хочу все это видеть. Мы должны быть с тобой общниками.

Тон его по-прежнему агрессивен и настойчив. Вне себя от ярости, он продолжает:

— Аугуста, ты не можешь ставить меня в такое положение. Я человек, пользующийся уважением. Я кое-что собой представляю, я представитель власти. Ты, Аугуста, должна была бы целовать землю, по которой я ступаю. Понимаешь? Стерва! Кто такой этот Паче? Стерва!

Тоном, исполненным сарказма, Аугуста отвечает:

— Если ты хочешь знать, то это юноша, мой друг, который живет как раз надо мной. Молодой, красивый и вдобавок революционер!

Убийца в ярости перелезает через постель, хватая женщину и начинает трясти. Кричит, замахивается, чтобы ударить ее:

— Ах революционер?! Вот я тебе сейчас врежу! Сейчас ты у меня получишь!

Оправившись от первого испуга, Аугуста оказывает ему самое решительное и грубое сопротивление, выдающее ее простонародное происхождение. Она яростно вырывается, толкает его на постель, хватая в охапку лежащие рядом на тумбочке книги и начинает швырять ими в него. Убийца изумлен и испуган. Детским движением он пытается заслонить лицо.

Аугуста. Не пускай в ход руки, дурак! Ты тут не у себя в главном управлении, а у меня в доме. Убирайся! Я тебе не один из этих несчастных, над которыми вы издеваетесь, понял?

Убийца. Что ты делаешь? Негодяйка! Что ты делаешь?

Аугуста. Довольно я тебя терпела.

Убийца. Но... но...

Аугуста. Ты занимаешься любовью, как маленький мальчик, хотя, впрочем, ты и есть ребенок... Кем ты себя вообразил?

Убийца. Не ори так, идиотка!

Аугуста. Ты, наверное, еще ходишь под себя в кроватьку! Ты ничтожество, полное ничтожество!

Убийца. Но послушай, я же пошутил...

Аугуста. Ты сексуально неподготовлен, необразован. Понимаешь?

Убийца. Не тронь меня... убери руки...

Аугуста. Ты совершенно несведущ.

Убийца раздавлен. С ним делается самый настоящий истерический припадок. **Аугуста** торжествует победу.

Убийца. Не трогай меня. Убери руки. **Аугуста,** не трогай меня... убери руки... убери руки! Не трогай...

Аугуста. Ты сущий ребенок, ребенок, маленький мальчик...

Сцена XLVII.

Полицейское управление. День.

Убийца идет по верхнему двору полицейского управления. Здесь стоят в ряд полицейские фургоны, в которых привезли арестованных, и еще находятся сотни полицейских в полном боевом снаряжении.

Убийца. Сидите, сидите, не вставайте! Какой красивый закат!

Полицейские. Мы уже шестнадцать часов на ногах!

Убийца. Еще чуточку терпения, и мы вас отправим по казармам.

Полицейские. Доктор, мы устали.

Убийца входит в узкий проход, связывающий верхний двор непосредственно с подвальными этажами, где находятся камеры. Около камер его ожидает **Канес**. Он говорит:

— Доктор, у всех них те же фамилии, что были у их отцов-антифашистов тридцать лет назад.

Убийца. Революция — это как сифилис. Она сидит у них в крови.

Сцена XLVIII.

Полицейское управление — коридоры, общая камера. День.

Следуя за **Канесом** и другими агентами, **Убийца** проходит по узкому подземному коридору, ведущему к камерам. Вместе с **Канесом** останавливается у одной из дверей,

снабженной «глазком». Из камеры несется страшный шум. **Убийца** и **Канес** наблюдают через «глазок».

В камере арестованные юные революционеры — их тут почти сотня — ссорятся между собой. Они осыпают друг друга самыми обидными, ранящими, как нож, оскорблениями, ибо их разделяют какие-то порой даже незаметные для мало посвященных разногласия в политических взглядах. Молодые люди раскололись на множество мелких враждебных групп. Атмосфера постепенно сгущается, камера начинает напоминать ад в миниатюре, в котором мечутся эти арестованные юноши. Стараясь уязвить друг друга, они кричат:

— Сталинисты!

— Троцкисты!

— Коммунистические шпионы!

— Хозяйские прихвостни!

Кто-то из арестованных декламирует цитатник Мао Цзэдуна, некоторые поют анархистские песни.

Убийца находит глазами **Паче**, а рядом с ним юношу по фамилии **Лингуа** — парня с длинными редкими усами, который шумит больше всех. Он наблюдает за ними внимательно и заинтересованно, словно энтомолог. Стоящий рядом **Канес** смеется. **Лингуа**, повернувшись к двери, кричит:

— **Убийцы, фашисты! Убийцы, прихвостни русских, вот кто вы, прислужники русского империализма, сталинисты!**

Ему вторит **Паче**:

— **Фашисты... фашисты! Долой Сталина!**

Канес. Видите, доктор, они не могут объединиться даже в тюрьме, за два часа они уже успели расколоться на четыре группы, это словно цепная реакция. Наше счастье, что они разобщены, не то для нас это было бы куда опасней.

Убийца продолжает изучать поведение **Паче** и **Лингуа**. Потом обращается к **Канесу**:

— Я хочу допросить **Антонио Паче**, он у них вожак. Но сперва приведи ко мне того, что стоит рядом с ним, видишь, того усатого, который орет больше всех.

Лингуа поворачивает голову к двери и, заметив, что кто-то подглядывает в «глазок», перестает выкрикивать лозунги, немедленно переключившись, поднимает руку со сжатым кулаком и кричит в направлении двери:

— **Хозяйские прихвостни, хозяйские прихвостни!**

Сцена XLIX.

Главное полицейское управление. День.

Студент **Альберто Лингуа** стоит на коленях посреди камеры, служащей для допросов. Он устал, совсем без сил. **Убийца** курит и со скучающим видом расхаживает взад-вперед по камере. Заметив, что **Лингуа**, желая дать

немного отдохнуть коленям, опирается ладонями о пол, он останавливается перед ним и говорит:

— Убери, убери руки. Ведь вес тела должен приходиться на колени. Ты же не лошадь, чтобы стоять на четырех ногах.

Лингуа не отвечает, только опускает глаза. Убийца с довольным видом подходит к письменному столу и берет большой графин с водой. С графином в руках возвращается к арестованному и продолжает:

— Ты гражданин демократического государства, а не лошадь! Ты не лошадь! Ну так что ты предпочитаешь? Выпить еще один литр соленой воды или же оставаться на коленях? Я, право, не знаю, что ты предпочитаешь... Решай сам...

Лингуа смотрит на Убийцу, он не знает, что выбрать, потом наконец протягивает руку, берет графин, подносит к губам и начинает пить. Зажмуривается, лицо его выражает отвращение, он еле сдерживает тошноту. Большими глотками он пьет соленую воду, а Убийца еще больше наклоняет графин, чтобы он пил быстрее и выпил все до конца. Но Лингуа больше не может и отрицательно качает головой.

Убийца. Если ты решишь подняться с коленей, то должен выпить все до последней капли. Если ты этого хочешь, то пей до конца. До конца! Ах не можешь... Тогда становись обратно на колени, тогда мог и вообще не пить!

Лингуа стоит на коленях, рот его полуоткрыт, видно, что он умирает от жажды. Убийца относит графин обратно на стол. Вновь принимается расхаживать по камере, приговаривая:

— Ведь через десять минут ты мог бы уйти отсюда, власть напиток свежей, чистой воды! Ах студент... О прозрачные, свежие, чистые струи...

Подойдя к юноше, продолжает:

— Я не хочу, чтобы ты шел под суд. Мы ведь не гэпзу, мы не эсэсовцы, мы полиция демократического государства. Мы очень рады, когда можем помочь гражданину избежать тяжкого приговора.

Вновь принимается расхаживать. Лингуа не может больше стоять на коленях и опять упирается руками в пол. Убийца продолжает:

— А кроме того, ты так молод, совсем мальчик, какой мне интерес губить тебя. Стой прямо! Ты волен быть кем тебе угодно: марксистом, анархистом, «ситуационалистом»... Мао, Лин Бяо. Ты можешь читать китайский цитатник, ты можешь делать все что пожелаешь! Но ты не скотина, ты гражданин демократического государства, и я должен уважать твои права (*Срывается на крик.*), но разве террористические акты,

взрывы, бомбы, разве все это, черт побери, похоже на демократию? Если ты мне скажешь, чьих рук дело взрывы в полицейском управлении и в «Америкэн Экспресс», ты поступишь как настоящий последовательный демократ. Понимаешь? Я знаю, что это не ты, но убежден, что тебе известно имя человека, который это сделал.

Лингуа, тяжело дыша, просит:

— Дайте глоток воды...

Убийца не отвечает. Он подходит к студенту. Вдруг перейдя на ласковый тон, говорит:

— Мы вовсе не собираемся заставлять тебя доносить, мы только хотим, чтобы ты вел себя как настоящий демократ. Потому что, понимаешь... ну давай рассуждать как современные, передовые люди: что такое, в сущности, представляет собой эта демократия? Давай скажем об этом прямо! Это преддверие социализма. Я, например, и сам на выборах голосую за социалистов... Не бойся. Я твой исповедник. В этой комнате все сознались. Тебе ничто не грозит. Я нем как могила! Все это здание словно одна большая могила...

Наступает короткая пауза. Убийца, охваченный яростью, накидывается на юношу. Осыпая его ударами, кричит:

— Ты скажешь или нет правду, ты скажешь мне или нет правду?! Скажешь ты мне наконец или нет это имя, признаешься, что это сделал Паче? Паче, Паче, это он подложил бомбу в тот день, когда приходил в полицейское управление?!

Глаза арестованного наполняются слезами, ему не сдержаться, но он стыдится плакать. Всхлипывая, он шепчет:

— Да... да...

Убийца. А изготовил ее он сам?

Лицо юноши искажается от боли и сдерживаемых рыданий. Он утвердительно кивает. Убийца кричит стоящему за дверью полицейскому:

— Эй, Маттоне, приведи-ка мне Антонио Паче. С этим все!

В камеру входят двое агентов, помогают избитому студенту подняться и уводят его. Убийца самым сердечным тоном говорит ему:

— Ну вставай, вставай. Допрос окончен, ты свободен и, если тебе что-нибудь понадобится, знаешь, что ты должен сделать? Позвони мне по телефону.

Лингуа в то время, как его уводят, сотрясаясь от рыданий, бормочет:

— Я не хотел... Я не хотел...

Убийца провожает его до дверей. Оставшись один, делает несколько шагов по камере. Берет стул. Относит его в дальний угол. Садится. Ждет. На пороге появляются Канес и Маттоне — они привели Антонио Паче.

Убийца. Канес, Маттоне, оставьте нас наедине, пойдите выпейте кофе. Оставьте меня наедине с «товарищем»!

Паче вталкивают в комнату, и дверь за ним закрывается. Сидя в дальнем углу камеры, Убийца хлещет его, словно хлыстом, своими словами:

— Твой приятель выдал тебя. Из тюрьмы не выходят с дипломом о высшем образовании. Из нее можно выйти самое большое грабителем банков.

Паче держится в высшей степени самоуверенно. С нескрываемо насмешливым видом он прерывает Убийцу:

— Паче Антонио, родился в Равенне в 1946 году, бывший студент-химик, анархист-индивидуалист, в 1968 году был приговорен к трем месяцам тюремного заключения за сопротивление полиции.

Убийца явно ошарашен. Встает со стула. Направляется к студенту и, подойдя к нему вплотную, впивается в него взглядом. Паче совершенно спокойно выдерживает его взгляд.

Убийца. Ну чего кричишь? Ну чего ты кричишь? Ты знаешь, кто я такой?

Паче. По-моему, ты любовник дамы, что жила подо мной. Той, которую зарезали.

Убийца. Кто и когда?

Паче. По-моему, эту женщину убил ты в воскресенье двадцать четвертого августа, во второй половине дня.

Убийца. В котором часу?

Паче. По-моему, ты мог ее убить между пятью и семью часами, то есть часом, когда мы с тобой, как ты помнишь, столкнулись в воротах.

Убийца. Раз для тебя все так ясно, пойдя донеси на меня.

Студент вызывающе улыбается — он, можно сказать, старается во всем подражать допрашивающему его полицейскому, копируя даже его мимику, и говорит:

— Тебе этого хотелось бы? А?

Убийца, сознавая ужас своего положения, начинает терять самообладание. Он осыпает юношу яростными ударами, отбрасывает его к стене, крича:

— Донеси на меня! Донеси.

Паче. Где ты есть, там ты и останешься. Это поистине прелестно: преступник, который руководит репрессиями.

Убийца. Донеси на меня, донеси... ты должен на меня донести... ты должен это сделать!

Паче. Это поистине прелестно... это просто великолепно...

Убийца в полном отчаянии. В его голосе появляются плачущие, скулящие нотки:

— Я совершил ошибку, но хочу за нее заплатить, понимаешь? И не кричи, перестань кричать...

Паче. Выполняй свою работу, донеси на меня ты!

Паче удается вырваться из рук Убийцы. Оставив его стоять посреди комнаты, он идет к двери. Начинает колотить в нее кулаками.

Убийца. Ты должен на меня донести... потому что я человек, который...

Паче. Откройте! А накануне следующего нашего выступления я тебе позвоню по телефону... Ты у меня в руках, понял?

Убийца. Ну что ты делаешь? Ну иди же сюда, перестань ребячиться, давай все хорошенько обсудим, не надо нервничать, выходить из себя...

Паче. Я хочу уйти, выпустите меня!

Дверь открывается. На пороге появляется Канес. Он ошалело, ничего не понимая, глядит на Убийцу, который стоит уткнувшись головой в стену и что-то жалобно бормочет. Канес хочет задержать юношу и приказывает ему:

— Стой! Иди сюда.

Но Убийца говорит:

— Нет, нет, все в порядке. Он ни при чем. Отпустите его, отпустите. Он ни при чем. Отпустите.

Оставшись один, Убийца не сдерживает слез. Плача, он медленно подходит к письменному столу. Выдвигает ящик. Достает из него конверт и лист бумаги. Ищет перо. Принимается писать, бормоча себе под нос:

— Понимаете? Студент. Говорит: ты у меня в руках. Понимаете? Ты у меня в руках... Понимаете?

Сцена L.

Полицейское управление. День.

В унылой приемной отдела убийств сидят вдоль стен на скамьях подозрительного вида личности, ожидающие своей очереди на допрос.

На пороге ведущей в коридор открытой двери появляется Убийца. Держится он с необычной скромностью и нерешительностью. Он смущенно и очень нервно вертит в руках какой-то конверт.

Приход этого нового посетителя, по-видимому, вызывает удивление у большинства присутствующих, которым, несомненно, приходилось в свое время иметь с ним дело.

Убийца все столь же нерешительной походкой направляется к одной из скамеек и опускается на нее. Сидящие на ней с краю две женщины, которые, очевидно, его не знают, обращаются к нему.

Первая женщина. Вас тоже вызвали по делу об убийстве Ботта?

Убийца. Нет, я здесь по делу об убийстве Терци.

Вторая женщина. Ах! Это той очень красивой дамы, которой перерезали горло лезвием безопасной бритвы?

Убийца утвердительно кивает. Остальные присутствующие шокированы столь неумест-

ными вопросами женщины, которая здесь явно новичок и не знает, как себя следует вести. Особенно почтительно глядит на Убийцу некий тип с бандитской физиономией по имени Паллотелла. Повернувшись к женщинам, он угрожающе шипит:

— Эй вы, заткнитесь!

Вторая женщина. Вот еще...

Паллотелла. Я сказал, заткнитесь...

И с подобострастной улыбкой здоровается с Убийцей:

— Добрый день, доктор.

Убийца. Ах, это ты! Как поживаешь?..

Паллотелла. Я-то прекрасно, лучше всех.

Открывается дверь, и появившийся в ее проеме Билья грубым и презрительным тоном вызывает:

— Эй, Паллотелла!

Паллотелла, по-военному вытянувшись, четко отвечает:

— Я!

Билья. Твоя очередь. Заходи.

Убийца встает со скамьи. Жестом останавливает Паллотеллу. Направляется к двери и говорит ему:

— Подожди. Пойду я.

Билья. Паллотте, ты идешь или нет?

Билья замечает Убийцу только тогда, когда тот уже в нескольких шагах от двери. Остолбнев от удивления, глотает слюну. Отходит в сторону, пропуская Убийцу. Тот приказывает:

— Закрой дверь.

С поникшей головой Убийца входит в кабинет Мангани. Билья осторожно притворяет за ним дверь, сам оставшись в приемной.

Сидящий за письменным столом Мангани погружен в изучение какого-то досье. Убийца останавливается у двери. Не поднимая головы, Мангани говорит:

— Ну-ка подожди, Паллотелла, подойти сюда. Ах ты, сукин сын, грязный сводник, вот ты кто такой. Грязный сводник. Сутнер, негодяй, сукин сын.

Убийца подходит к столу. Останавливается. Наконец Мангани поднимает глаза на вошедшего и застывает неподвижно от ужаса и изумления. Убийца устремляет на него презрительный взгляд и говорит:

— Мелкий чиновник, жалкий шпик. Тебе никогда не понять до конца значения моего поступка, моего самопожертвования, посредством которого я стремлюсь утвердить во всей ее чистоте идею власти. Да разве ты способен...

Убийца кладет перед ним на стол конверт. **Мангани.** Да скажи ради святой мадонны, что я такое сделал?

Убийца. Убийцу Аугусты Терци передаю твои руки я. С этой минуты я предоставляю себя в полное распоряжение правосудия. Когда захотите допросить меня, вы найдете меня дома.

И проговорив это, Убийца направляется к двери, а Мангани хватая конверт, открывает его и принимается лихорадочно читать письмо. Убийца выходит из комнаты.

Покинув кабинет Мангани, он медленно бредет к выходу. Здесь он чуть ли не нос к носу сталкивается с мужчиной, которому он велел купить галстуки, идущим по коридору в сопровождении полицейского. Мужчина, однако, его не замечает, и Убийца, отойдя в сторонку, наблюдает за ним. Тот ковыляет, придерживая рукой сползающие брюки.

Полицейский. Знаете, иногда такие вещи случаются...

Мужчина. Да, но не должны бы случаться. **Полицейский.** Да вы не волнуйтесь, вот увидите, что еще до вечера спокойно вернетесь к себе домой.

Мужчина. Хорошо бы...

Полицейский. Нет-нет, пожалуйста, в эту сторону!..

Убийца, в то время как мужчина и конвоирующий его агент сворачивают в боковой коридор, решает обратить на себя внимание бедняги. Несколько шагов он идет за ним следом. Потом легонько дотрагивается до плеча. Мужчина оборачивается, и на лице его появляется выражение безумного ужаса. **Убийца.** Эй, послушайте! С сегодняшнего дня вы можете меня спокойно узнавать.

Мужчина. Ах! Нет... нет... я не... я вас не знаю, нет, нет, я вас не знаю, я никого не знаю... я не... помогите, помогите! Караул!

Придерживая руками падающие без ремня брюки, мужчина, спотыкаясь, мчится по коридору. Убийца смотрит ему вслед — во взгляде его удовлетворение и насмешка.

Полицейский. Стойте!.. Идите сюда...

Мужчина. Я не... помогите... я... ах, ах!

Преследуемый полицейским, он убегает по коридору. Мангани, с письмом в руках, с убитым видом выходит из своего кабинета. Увидев Убийцу, он подходит к нему и говорит:

— Ну что ты наделал? Что ты наделал? Как же ты не подумал о нас, своих коллегах?

Убийца. Исполняйте свой долг!

Сцена LI.

Гараж в доме Убийцы. Вечер.

Автомобиль Убийцы тормозит, въехав в гараж в его доме.

Убийца выходит из машины и направляется к своему подъезду.

Сцена LIП.

Квартира Убийцы. Вечер.

Убийца отпирает дверь своей квартиры и входит. Закрывает за собой дверь.

Но сразу же передумывает. Открывает дверь и оставляет ее полуприкрытой. Разговаривая сам с собой, бормочет:

— Статья двести сорок семь: случаи, при которых возможно оставление под домашним арестом.

Он проходит по длинному коридору через всю квартиру, выглядывает на балкон и бросает взгляд вниз, на улицу. Внизу, облокотясь на машину, стоит Билья и курит сигарету. У него такой вид, словно он кого-то поджидает. Убийца входит в спальню, продолжая говорить сам с собой:

— Когда обстоятельства дела и моральные качества арестованного это позволяют... прокурор республики... или судья... могут постановить... посредством мотивированного письменного решения... что вместо того, чтобы находиться в тюрьме... арестованное лицо... остается... временно... в состоянии ареста... в своем жилище...

Во время этого монолога он расшнуровывает ботинки. Потом расстегивает пряжку пояса на брюках. Из стенового шкафа достает небольшой чемоданчик. Засовывает в него пиджаму, туалетные принадлежности. По всему видно, что он собирается в тюрьму. Берет толстую книгу — уголовный кодекс — и кладет ее в чемодан вместе с фотографией родителей и бутылкой виски. Потом ложится на постель в ожидании того, что будет дальше.

Лежа, в последний раз любовно обводит взором стены своего жилища. Взгляд его останавливается на дипломах, завоеванных им в тяжелых битвах в годы ученья: диплом об окончании начальной школы, диплом о неполном среднем образовании, диплом об окончании полного курса гимназии, университетский диплом об окончании юридического факультета. Фотографии, запечатлевшие различные официальные и торжественные случаи. Вдруг он вздрагивает, услышав стук в дверь.

На пороге спальни вырастает Билья и говорит со сладкой, чуточку заговорщической улыбкой:

— Доктор, они все там... идемте...

Убийца с послушным видом поднимается с постели. Ему приходится поддерживать рукой брюки. Вслед за Бильей он идет по коридору.

Билья и Убийца входят в гостиную. Посреди комнаты в кресле сидит шеф. По бокам и позади него расположились полукругом по меньшей мере с десяток ответственных полицейских чиновников. Среди них Мангани, Панунцио и Канес.

Все это господра примерно одного возраста — между пятьюдесятью и шестьюдесятью. Они в темных костюмах, начищенных до ослепительного блеска ботинках, аккурат-

но подстриженные и причесанные, с золотыми кольцами на пальцах, в слегка затемненных, дымчатых очках.

Убийца делает несколько шагов и останавливается. Отвешивает поклон, приветствуя это столь внушительное, импозантное собрание. С выражением лица, как у просящего прощения нашалившего мальчишки, он говорит:

— Господа, ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Мне очень жаль, что я доставил беспокойство стольким важным лицам.

Шеф, то есть самый главный из всех этих загадочных субъектов, поднимается с кресла. Подходит вплотную к Убийце. Смотрит на него с таким видом, словно хочет сказать: «Ну что ты натворил?», а затем, отечески журуя, двумя пальцами легонько тянет его за ухо. Потом наступает очередь Панунцио. Тот быстро сует в рот Убийце горсть соли. Начальник вновь опускается в кресло. Панунцио. Ешь, ешь.

Убийца не сопротивляется. Лицо его, обсыпанное солью, которую держит перед ним на ладони Панунцио, искажает гримаса отвращения.

Мангани. Где ты находился, дорогой коллега, с трех часов дня до семи вечера в тот день, когда произошло убийство синьоры Аугусты Терци? А?

Убийца. Ваше превосходительство, господа! Я был там, у нее, ибо убил ее я.

Шеф. Можешь ли ты доказать, что действительно находился у нее в квартире?

Убийца. Ваше превосходительство, я вынужден сообщить вам весьма неприятную вещь, против меня имеется свидетель. К сожалению, студент Антонио Паче, известный бунтовщик, видел, как я выходил из дома.

Мангани с горячностью перебивает его:

— Неправда! У студента Антонио Паче железное алиби. В тот день его не было в Риме. Я сам допрашивал его, дорогой коллега, в течение многих часов подряд, причем по моему методу!

Убийца. Ваше превосходительство, кровавые следы, обнаруженные в квартире Аугусты Терци, хотя я не собираюсь вмешиваться в ведущее следствие, они все же принадлежат мне и оставлены моим левым ботинком...

Сказав это, Убийца снимает левый ботинок и протягивает его шефу. Тот рассматривает ботинок, вертит в руках и показывает остальным. Каждый из присутствующих проверяет его размер, прикладывая к подошве своего ботинка, и все показывают жестами, что улика эта бесосновательна.

Шеф. Но, друг мой, существуют тысячи ботинок того же размера и того же фасона.

Канес. На мне точно такая же пара!

Другой полицейский. И на мне тоже.

Убийца. Возможно и так, но я повсюду в квартире оставил отпечатки своих пальцев. Даже на кранах душа, ибо, господа, ваше превосходительство, после того, что я совершил, я принял душ.

Шеф. Странно... На кранах... на бокале, на ручках дверей найдены дактилоскопические отпечатки кого угодно... только не твои...

Убийца (*с горячностью*). Хорошо, но голубая нитка, которая была обнаружена под ногтем жертвы, ведь она вырвана из моего галстука.

Шеф. В таком случае дай нам этот галстук, из которого вырвана нитка...

Убийца. Я его уничтожил.

Мангани. А почему?

Убийца. Потому что в тот момент душа моя раздиралась надвое — между желанием сознаться и пустить вас по моим следам и желанием... использовать свою маленькую власть для того, чтобы скрыть собственную виновность.

Шеф. Раздвоение. Раздвоение личности. Типичный невроз.

Убийца. Во всяком случае болезнь, приобретенная в результате постоянного и продолжительного отправления власти. Профессиональное заболевание; скажем, заболевание, общее для многих видных деятелей, которые стоят у руля жизни нашего маленького общества.

Это утверждение вызывает явное несогласие и неодобрение со стороны шефа и всех присутствующих.

Шеф. Что касается меня, то я себя чувствую прекрасно.

Другой чиновник. Хватит психологии. Нам нужны улики, чтобы доказать вашу виновность, доктор. Не пустые слова, а факты, факты!

Убийца. Хорошо, хорошо, а двадцать пять голубых галстуков, которые я велел купить этому несчастному идиоту, которого мы арестовали...

Мангани. Он тебя не опознал. Нет, это неправда.

Убийца. Конечно, но между нами, в своем кругу, мы можем об этом сказать прямо. Он отрицал, что узнал меня, от страха, так как понял, кто я такой, то есть что я полицейский.

Шеф возмущенно перебивает его:

— Да что ты себе позволяешь? Как ты смеешь высказывать такие предположения, такие инсинуации, оскорбительные для всех нас, твоих коллег, для нашего корпуса, для всего нашего строя!

Мангани. Перейдем к конкретным фактам... Мотивы преступления? А? Каковы могли быть у тебя мотивы?

Убийца несколько секунд молчит. Потом начинает говорить страстно, горячо — так, как другой доказывал бы свою невиновность:

— Она насмеялась надо мной! Насмеялась надо мной и над устоями нашего общества... Над устоями, а следовательно, над всеми вами, господа, над...

Шеф. Это мотив не слишком убедительный. **Убийца.** Прошу прощения, ваше превосходительство, извините, господа, но речь идет о сугубо личном вопросе... Можно вас на минуточку... один маленький секрет, ваше превосходительство...

Шеф поднимается с кресла. Подходит к **Убийце** и с нескрываемым интересом слушает то, что тот сообщает ему полголоса:

— Рядом с ней с каждым днем все больше и больше проявлялась моя инфантильность, моя некомпетентность как мужчины...

Шеф. Ерунда. Маловероятно. Научная фантастика.

И возвращается на свое место.

Убийца. Раз так, ладно: я убил ее из ревности.

Мангани. Да ты не был с ней даже знаком.

Шеф. Давай попробуй это доказать. Ведь она не была твоей любовницей. Никто вас никогда не видел вместе.

Канес. Нужны доказательства!

Чиновники (*хором*). Нужны доказательства... нужны доказательства.

Убийца. Одну минутку, господа, одну минутку, я сейчас принесу доказательство своей виновности. Сию секунду, господа. Я сейчас же к вам вернусь.

Шеф утвердительно кивает.

Убийца стремительно выходит из комнаты.

Входит в спальню. Шарит в ящике. Достает пачку фотографий. Внезапно его торпливые движения замедляются, и он застывает как вкопанный.

Уютно устроившись в одном из кресел, окруженная странным, нездешним сиянием, сидит Аугуста. Она говорит ему тихим голосом, тоном, от которого у него по спине бегут мурашки.

— Ты убил бесполезного человека. Все равно меня кто-нибудь убил бы. Рано или поздно мне было суждено так умереть. Делай то, что тебе велят, подумай о своих коллегах, подумай о своей карьере.

Убийца стряхивает с себя оцепенение, охватившее его при этом жутком видении, и выходит из комнаты, захватив фотографии.

Он возвращается в гостиную и раздает фотографии всем этим пришедшим к нему загадочным личностям, которые передают их друг другу с довольно равнодушным видом, проявляя интерес лишь из вежливости или по долгу службы. Видя это, **Убийца** пытается разгечь их любопытство, разрекламировать фотографии, сообщив все связанные с ними подробности:

— Ваше превосходительство, господа. Эти

снимки являются доказательством того, что жертва фотографировалась тут, в этой квартире. Прошу вас, сравните обстановку, паркет. Вот здесь жертва демонстрирует некоторые из своих эротических наклонностей, которые по-даннунциански сливаются воедино с фактами уголовной хроники... что я использовал для своего хобби... своей всем известной мании фотографа-любителя...

Фотографии доходят до шефа, который, не устояв их взглядом, рвет в мелкие клочья, пуская обрывки по воздуху. Потом шеф, показывая всем видом, что это ему глубоко наскучило, поднимается с кресла и говорит:

— Какая гадость, какой позор, до чего мы дошли!

Затем направляется в сопровождении остальных загадочных личностей в столовую, где накрыт стол а ля фуршет. Пирожные. Крепкие напитки. Бокалы. Полицейские чиновники закусывают, наливают в бокалы вино и ликеры.

Мангани. Ах! Просто руки опускаются, это же совсем незрелый человек. Я всегда говорил, что он лишен корпоративного духа, духа товарищества. И вот чем это кончилось!

Чиновники. Ваше здоровье! Будем здоровы! Прозит! Пер аспера ад астра! Сурсум корда!*

В гостиной остались лишь Билья и Панунцио. Из столовой доносятся шум голосов, взрывы смеха. Оба полицейских с угрожающим видом приближаются к Убийце, который, пятясь, говорит:

— Я подтверждаю свою версию происшедшего. Я напишу памятную записку!

Билья наносит ему удар в солнечное сплетение. Убийца падает и, ползая на четвереньках, пытается спастись от пинков, которыми осыпают его Билья и присоединившийся к нему Панунцио.

Испуская жалобные стоны, Убийца кричит:

— Нет, нет! Только не ниже пояса! Ах, ах, ах! Не надо! Я сделаю все, что вы хотите.

Билья с порога столовой негромко созывает всех присутствующих, которые возвращаются в гостиную, дожидывая на ходу пирожные и допивая коньяк и виски.

Мангани. Ну слава Богу, слава Богу, он согласен.

Шеф подходит к Убийце и говорит:

— Ну молодец, молодец, сынок.

Убийца издает жалобный стон.

Шеф. Ты хочешь нам что-то сказать? Молодец!

Убийца. Я признаюсь в своей невинности...

Мангани, протягивая Убийце, чтобы он подписал, какой-то документ, говорит:

— Bravo! Вот здесь поставь подпись, и все будет в полном порядке.

Все присутствующие, не скрывая своего удовлетворения, направляются к выходу. Но прежде чем уйти, каждый из них с отеческой фамильярностью прощается с Убийцей: кто треплет его по щеке, кто дружески хлопает по плечу, кто, как сообщник, подмигивает — словом, демонстрирует свое вновь обретенное к нему доверие.

Убийца. Господа, коллеги, однако не будем забывать о том, что один из наших врагов на свободе и он в курсе дела. И он может использовать это не только против меня, но против всех нас, против власти, против Бога!

Шеф с порога отвечает ему со всей решительностью:

— Да, это еще открытый счет.

...Убийца просыпается. В гостиной нет никаких следов присутствия посторонних, в столовой царит порядок, стол не накрыт, ничто не свидетельствует о том, что тут было так много гостей, которые ему только что привиделись и заставили его так сильно переволноваться. Он ждет.

Видит из окна, как на улице у его дома останавливаются две черные роскошные машины. Из одной выскакивает шофер и бросается отворять дверцу. Первым вылезает Мангани, а потом, поддерживаемый под руки им и шофером, шеф.

Убийца торопливо пытается привести себя в приличный вид — хватает и завязывает галстук, приглаживает волосы, натягивает пиджак: он готов принять у себя — теперь уже в действительности, наяву — своего шефа.

© 1970 by Tindalo

Перевод Георгия Богемского

* Через тернии к звездам! Выше голову! (лат.)
(Прим. пер.)



**Александр
ЧЕЧУЛИН**

«ЛЕНФИЛЬМ», ПЯТИДЕСЯТЫЕ...

*И нас хотя расстрелы не косили,
Но жили мы, поднять не смея
глаз.*

*Мы тоже дети страшных лет
России —*

*Безвременье вливало водку в нас:
Владимир Высоцкий*

«Ленфильм» 1957 года, куда я приехал после окончания ВГИКа, был довольно странным учреждением, состоявшим из нескольких разнокалиберных построек, сосредоточенных на небольшом участке в центре Петроградского района Ленинграда.

В главном здании студии до революции помещалось солидное увеселительное заведение «Сад-Аквариум». Основу его составлял зал с колоннами, облицованными розовым мрамором; в зале находился аквариум, в котором, по рассказам старожилов, плавали обнаженные девушки на любой вкус. Владелец ресторана, изысканный гурман, закупил винные подвалы старинного Бенедиктинского монастыря, и особо уважаемые гости имели возможность приобрести бутылку бенедиктина четырехсотлетней давности за

четыреста рублей — по одному рублю за год.

Во время революции в зале ресторана стоял на постое воинский отряд, и солдаты с помощью штыков упражнялись на колоннах в наскальной живописи, выбивая на розовом мраморе в основном одно и то же слово, состоящее из трех букв.

Теперь в зале ресторана помещался павильон под номером один. По периметру павильона на втором этаже шли кабинеты с выходом на балкон ресторана. В эти кабинеты разгулявшиеся купчишки приглашали девушек, плавающих в аквариуме, поили их шампанским и бенедиктином. Потом отдельные кабинеты были переоборудованы в помещения для съемочных групп, и канцелярская обстановка сменила некогда роскошную обстановку эпохи декаданса и упадка. Длин-

ный узкий и запутанный коридор с многочисленными поворотами соединял эти кабинеты. На поворотах этого лабиринта стояли тумбы, обтянутые красной материей. Назначение их было непонятно, пока мне не объяснили, что до двадцатого съезда партии на них красовались гипсовые и бронзовые бюсты И. В. Сталина.

Великий вождь любил кино. Вероятно, этим можно объяснить, что в тридцатые годы кино пострадало меньше других искусств. Сталин ценил специалистов и справедливо полагал, что трудно контролировать человека, который остается один на один с листом бумаги или холстом, натянутым на подрамник. Но создать фильм без камеры, пленки, лаборатории невозможно, а конечный результат всегда подлежал неминусовому контролю, который осуществлял он лично. Поэтому он отечески журил ошибающихся, щедро награждал талантливых и способных. Ну а строптивые (если они были) просто лишались работы и уходили в небытие. Уничтожать их физически не было необходимости, ведь они были лишены средств выразить себя. Ленфильмовский эпос до сих пор полон легенд о том, как Сталин принимал картины, как режиссеры падали в обморок в ожидании сурового приговора, а Сталин, польщенный их слабостью, награждал их орденами Ленина и премиями собственного имени.

Теперь тумбы тоскливо стояли на поворотах коридора, лишённые почетного груза. Может быть, они ожидали нового кумира, но так и не дождавшись, постепенно исчезли, оставив легкий след ностальгии у носителей орденов и премий. Ностальгия по тем временам, когда за тебя все решало начальство, а ты должен был верить, исполнять и ждать заслуженной награды, не исчезла до сих пор. И теперь, спустя много лет, когда я возвращаюсь после ночной съемки и иду пустынным коридором, мне чудятся в углах застывшие в ожидании тумбы, тумбы моей кинематографической молодости.

Однажды вахтер, стоявший на месте швейцара в сильно облупившемся, а когда-то роскошном вестибюле «Ленфильма», поминал меня пальцем. Вахтер был одет в офицерскую морскую шинель и фуражку с «капустой» на козырьке. Когда-то он был капитаном второго ранга, лихим командиром соединения торпедных катеров, но был уволен в отставку Хрущевым и подрабатывал к пенсии, работая вахтером. Он подозревал меня к себе и, дружески улыбаясь, спросил:

— Ты знаешь, что здесь было до революции?

Не дожидаясь ответа, вахтер радостно сообщил:

— Бардак.

После задумчивой паузы он добавил:

— И ты знаешь, мне кажется, он попал в надежные руки...

Кроме главного здания на территории «Ленфильма» было несколько двухэтажных домишек, в которых размещались цеха. Неказистые снаружи, они поражали чистотой и порядком внутри. Цехом-лабораторией руководил Алексей Моисеевич Вал — высокий, красивый, немного суровый мужчина, в которого были влюблены почти все работницы его цеха. А он использовал их любовь в интересах производства, и порядок был, как в отличном гареме с идеальным евнухом. До сих пор этот цех является лучшей лабораторией страны потому, что вышколенные А. М. Валом работницы сумели воспитать из современных девушек честных и ответственных специалистов.

А. М. Вал кончил печально. Как и все замечательные специалисты, он получал зарплату, на которую можно было не умереть с голоду, но не больше. Во время очередной кампании его обвинили в том, что он ездит отдыхать по блатным путевкам (которые ему доставали благодарные кинооператоры), обедает в ресторанах, написал про него кучу статей, опозорили перед всей страной, посадили и сломали морально. Это сделали с человеком, который создал лучшую лабораторию страны. В это же время страну грабили и разворовывали как угодно. Но за воровство в особо крупных размерах обычно давали звание Героя Социалистического Труда. Примеров тому не счесть, хотя, несомненно, были и исключения.

В костюмерном цехе висели гусарские и кавалергардские мундиры, стояли витрины, набитые настоящими орденами. В реквизите были прекрасные мебельные гарнитуры из карельской березы и красного дерева, масса посуды, хрустала. Увы, все это исчезло не без помощи активных «хозяйственников». После того как они становились совсем нестерпимы в своей наглости и воровстве, их обычно переводили на другую работу, часто с повышением. Вместе с ними исчезали уникальные ордена и сервизы, списывались, «сжигались» мебельные гарнитуры, «уничтожались» американские летные комбинезоны, в которых я потом встречал их на зимних рыбалках. В одну из инвентаризаций порезали и сожгли несколько тысяч шинелей времен первой мировой войны: для «хозяйственников» они не представляли ни малейшей ценности. Задомно исчезли мундиры кавалергардов, представлявшие немалую ценность. После картины «Жаворонок» разрезали автогенном и сдали в металлолом танк Т-34. Но зато студия выполнила тогда план по сдаче металлолома.

Один из заместителей директора по хозяйственной части, требовавший экономии и строгой отчетности во всем, прославился тем,

что вывез со студии целый автомобиль гагачьего пуха. Он заплатил по три рубля шестьдесят копеек за килограмм совершенно нового пуха как за списанный. Когда шофер привез ему домой полный автомобиль пуха, он его взвесил, и оказалось, что не хватает двухсот граммов. Шофер был обвинен в воровстве. Скандал был шумный. В результате заместитель директора вынужден был покинуть «Ленфильм». Через год, покупая по благу краску для своего облезлого автомобиля, я встретил его, когда он выносил дефицитную краску через черный ход. Вид у него был довольный и преуспевающий. Выяснилось, что он начальник одной из торговых баз. База эта находилась в номенклатуре обкома. Впрочем, как и «Ленфильм».

Несмотря на обилие жулья на «Ленфильме» продолжали котироваться такие старомодные понятия, как честность, порядочность и профессионализм. Эталоном в этом смысле считался Андрей Николаевич Москвин — легендарный оператор, один из основоположников советской операторской школы, человек, которого все или любили (таких было большинство), или ненавидели и боялись.

Андрей Николаевич, красивый, седой человек в очках, исправлявших, казалось, все возможные недостатки зрения, существующие на свете, одетый в элегантный шелковый пыльник с огромным масляным пятном на спине, ходил по студии, заложив руки за спину, отвечал на приветствия начальства легким кивком головы и уважительно пожимал руки осветителям, пиротехникам, плотникам и механикам, которые, по его мнению, являлись мастерами своего дела.

Пожал он руку и мне, когда я еще был студентом-практикантом. Меня познакомили с ним в цехе съемочной техники. До сих пор я расцениваю это рукопожатие как прикосновение к легенде, ибо прошло много лет со дня смерти Андрея Николаевича, умерло много его сверстников, но ни о ком не вспоминают так, как о нем. Вспоминают не только его коллеги, но все, кто когда-либо встречался с ним на съемках. Я знал много прекрасных женщин, глаза которых затуманивались, когда они говорили о Москвине.

В то время на студии проходили бесчисленные худсоветы. Объединений не было, и каждый фильм обсуждался как минимум трижды: при запуске в производство, при сдаче на двух пленках, при сдаче на одной пленке. Для поощрения членов худсовета была введена плата — сто рублей за каждое выступление. Поэтому, если член худсовета выступал регулярно, в конце месяца набегала кругленькая сумма, иногда превышавшая зарплату. Многие выступавшие начинали свое выступление фразой: «Я сценария не читал, но тем не менее выскажусь».

Москвин добросовестно посещал все худсоветы, но почти никогда не выступал, хотя последние годы с деньгами дела у него обстояли неважно. Вероятно, он понимал бессмысленность публичных выступлений, но когда ему было что сказать, он дожидался конца худсовета, отводил режиссера или оператора в сторону и говорил им дельные вещи бесплатно.

Но однажды Москвин не выдержал. Обсуждали фильм «Ссора в Лукашах», на котором я работал вторым оператором. Картина была поставлена по обычному колхозному сценарию. Ставил ее хороший, милый человек М. Руф — в прошлом офицер-разведчик. Так как Руф был человеком безобидным, то он представлял легкую добычу для трупоедов, которые боялись гавкнуть на «признанных» режиссеров, даже когда те делали несусветное дерьмо. Картину подвергли беспощадному разносу, перекидывая Максима Руфа от одного критика к другому, как это делают в милиции, заставляя искать «пятый угол». Критики были в полном восторге от того, что могли показать остроумие своего ума. Некоторые начали высказываться уже по второму разу, когда директор студии обратился к Москвину:

— Андрей Николаевич, а какое ваше мнение?

Москвин встал и, поблескивая очками, обвел взглядом распалившихся критиков и раздавленного режиссера.

— Меня огорчает то, что вы, — сказал он и обвел рукой затихший худсовет, — посадив огуречную рассаду, удивляетесь, что у вас не выросли ананасы.

Он прошел вдоль стола, ободряюще похлопал по плечу бедного М. Руфа и вышел.

Аутодафе не состоялось, фильм приняли без дальнейших издевательств, рассудив, что по этому сценарию ничего другого и снять было нельзя. После этого я заметил, что многие члены худсовета до и после своих выступлений осторожно косятся на Москвина, скромно сидящего в углу огромного дивана из карельской березы. Диван, как и письменный стол и кресла, был взят из реквизита. Благодаря тому что многие годы этот гарнитур украшал кабинет директора студии, он сохранился до сих пор. До революции он украшал кабинет начальника жандармерии.

Однажды, проходя мимо мебельного склада, я увидел, как вытаскивают на улицу диван и два кресла, обитые кожей. Кожа местами потерялась, но мебель выглядела вполне прилично. Ее собирались сжечь, так как на мебельном складе для нее не хватало места. С помощью ассистентов я перетащил гарнитур в свою кабину, где он прослужил мне верой и правдой двадцать пять лет. Никогда в жизни я не сидел в таких удобных креслах, и хотя мои друзья проковыряли солидные дыр-

ки в кожаных подлокотниках, выковыривая оттуда прекрасный конский волос на поводки для удочек, я отказывался заменить этот гарнитур на любой другой. Таким образом я спас гарнитур, который запечатлен Бродским на картине «Ленин в Смольном». Надеюсь, что хоть теперь он послужит кинематографу и будет сохранен для благодарных потомков.

Андрей Николаевич Москвин воспитал многих операторов. Одни из них непосредственно работали с ним, на других он оказывал влияние косвенно. На меня он оказал именно такое влияние.

Однажды я шел по коридору и за спиной услышал оклик:

— Чечулин.

Я остановился и обернулся. Ко мне не торопясь приближался Москвин. Руки его по обыкновению были за спиной под неизменным пыльником, приподнимая полы пыльника наподобие петушиного хвоста.

— Мне тут одна задрыга с хвостом о вас говорила, — сказал он, глядя на меня сквозь толстые стекла очков серыми, насмешливыми глазами.

Задрыгой была девушка-режиссер, очень хорошенькая, с длинным хвостом черных волос, предлагавшая мне снимать ее первый фильм.

— Да, Андрей Николаевич, — сказал я.

— Задрыга говорила, что вы боитесь снимать ее фильм.

— Я не боюсь, — сказал я, — мне сценарий не нравится, он плохой.

— Хороших сценариев не бывает, — сказал Москвин. — И запомните, юноша, оператор — это та блядь, которая обязана удовлетворить любого клиента, а если клиент импотент, сделать из него мужчину. Это любителю может нравиться — не нравится, а вы профессионал и работаете в кинематографе, где вашего мнения никто не спрашивает и спрашивать не будет. Возможно, вам повезет, и у вас будут приличные клиенты — один или два — не больше, которых вы полюбите. С остальными нужно просто профессионально работать и добиваться результата, да так незаметно, чтобы они думали, что это их достижение, что это они такие замечательные самцы. По возможности это нужно делать экономно, без особой траты душевных сил. Если проститутка будет влюбляться в каждого клиента, она сойдет с круга в первый же год. Понятно?

Андрей Николаевич работал со многими хорошими режиссерами, но, как он говорил своему ученику Д. Д. Месхиеву, влюблен был только в одного клиента — Эйзенштейна. Месхиев рассказывал, что Андрей Николаевич всегда с восхищением говорил об Эйзенштейне, в то время как остальных режиссеров, вошедших в историю советского и мирового кино, одаривал насмешливыми кличка-

ми. Перед смертью он завещал, чтобы в гроб положили старую, потертую шапку, которую когда-то подарил ему Эйзенштейн.

Я никогда не видел столько плачущих людей, как на похоронах Москвина. Вереница «Икарусов» не вмещалась на площади перед кладбищем в городе Пушкине, где были похоронены родственники Андрея Николаевича. Такое количество цветов я увидел потом только на могиле погибшего Машерова в Белоруссии. В тот момент, когда устанавливали фанерный обелиск со звездой, толпа, окружавшая могилу, заволновалась. Сквозь толпу протискивались ленфильмовские плотники, они с трудом тащили на плечах огромный крест. Отмахиваясь от распорядителей похорон, они упрямо твердили:

— Андрей Николаевич завещал крест поставить.

Несомненно, Москвин был фигурой, которая произвела на меня наибольшее впечатление, хотя я работал с такими замечательными режиссерами, как Хейфиц, Козинцев, наблюдал режиссеров А. Г. Иванова, Ф. М. Эрмлера, А. В. Ивановского и многих других. Вероятно, это объясняется не только художественной одаренностью, но и обаянием человеческой личности. Этим обаянием Москвин, несомненно, превосходил всех на студии «Ленфильм». Подобно М. И. Ромму и Л. В. Кулешову, он был человеком порядочным во всех отношениях. Это «старомодное» понятие имеет для меня решающее значение до сих пор.

Я не придерживаюсь мнения, что таланту можно простить все. Даже большому таланту нельзя простить подлость, предательство и холуйство. Впрочем, по-настоящему талантливые люди, как правило, лишены этих качеств. Гений — это посланец Бога на Земле. Злых гениев не бывает. Бывают стечения обстоятельств, при которых посредственность возводится людьми в ранг гения. Но, к счастью, история все ставит на свои места. Правда, иногда человеческой жизни не хватает, чтобы дожить до торжества справедливости.

Обе свои производственные практики я проходил на «Ленфильме». Поэтому при распределении у меня не было никаких сложностей. С «Ленфильма» пришел вызов на мое имя, и я сразу очутился на второй (а по мнению многих — первой) студии страны.

Последнюю практику я проходил у операторов М. С. Магида и Л. Е. Сокольского, которые снимали фильм «Дело Румянцева» по сценарию Ю. Германа, режиссером был И. Е. Хейфиц. Во время практики мне удалось снять несколько пейзажей, которые вошли в картину и короткометражный фильм о съемках картины. Фильм впоследствии показали по телевидению, и он как раз пришелся к

пятидесятилетию Иосифа Ефимовича Хейфица.

Отношения с операторами у меня сложились наилучшие. Поэтому само собой разумеется, что после окончания ВГИКа я буду работать под их руководством. Первая практика мне многое дала. И. Е. Хейфиц всегда приходил на съемку абсолютно готовым, с листом бумаги, на котором были обозначены все точки съемки и количество кадров, которые необходимо снять за смену. Магид и Сокольский четко разделяли обязанности, пока Михаил Соломонович Магид репетировал мизансцену с режиссером, Лев Евгеньевич Сокольский быстро и споро ставил свет. Конфликты возникали только с актером Лукьяновым, который не всегда хотел укладываться в режиссерскую концепцию Хейфица. Остальные актеры боготворили режиссера, все шло быстро и спокойно.

После съемок я провожал своих шефов домой. По дороге они дружески наставляли меня. Лев Евгеньевич внушал мне такую мысль.

— Саша, — говорил он, — вы знаете, каким основным качеством должен обладать оператор? — После паузы он говорил: — Не снимать... не снимать ни в коем случае, если не соблюдены все условия, необходимые для съемки.

Михаил Соломонович читал мне лекции в основном из области морали и нравственности. Он обладал умом едким и ироничным. И поэтому, когда спустя полгода, уже во ВГИКе, я узнал, что выпустили из тюрьмы и реабилитировали оператора Шифрина, я был поражен и растерян.

Шифрин был приговорен к двадцати пяти годам за антисоветскую деятельность так же, как мой отец. Когда Шифрина выпустили, ему дали почитать дело, так как он, отсидев десять лет, все еще не понимал, за что его посадили. Из дела Шифрин узнал, что посажен по доносу Магида. Он якобы рассказал какой-то антисоветский анекдот в компании операторов, в которой находились Москвин и Магид. Москвин на всех допросах категорически утверждал, что Шифрин честный человек и хороший специалист. Он не разделил судьбу Шифрина, вероятно, только потому, что был крупнейшим специалистом и снял несколько фильмов, которые любил И. В. Сталин.

Я никак не мог понять, зачем Магид сделал это. Сейчас я понимаю, что он сделал это из страха, что донесет кто-нибудь другой, и тогда карающая десница правосудия настигнет и его. Это он хорошо знал, так как во время войны был членом военного трибунала и понимал, как беспощадно карают людей, вовремя не донесших. Кроме гадливости я испытывал невольное чувство жалости к М. С. Магиду.

К тому времени когда я приехал на «Ленфильм», почти все отвернулись от М. С. Магида. Когда я встретил его в вестибюле «Ленфильма» и увидел его затравленный взгляд, мне было трудно подойти к нему и пожать ему руку, но я сделал это и никогда не жалел о своем поступке после того, как увидел его глаза. До конца своих дней М. С. Магид нес тяжкий крест предательства. Я думаю, что он поплатился за свой поступок не меньше, чем Шифрин, который вышел из лагеря очень больным, но не потерявшим чувства юмора, не обозлившимся человеком. Через несколько лет Шифрин умер. На его могиле произнесли много речей, и в каждой упоминалось имя Магида.

Михаил Соломонович несколько дней после похорон не появлялся на студии. А когда появился, выглядел он хуже, чем Шифрин, лежавший в гробу со спокойным, умиротворенным лицом. Да, все-таки Бог — великий драматург. Через несколько дней после смерти Шифрина скончался и Магид. Я не пошел на его похороны.

Прошло более тридцати лет, как я впервые пришел на студию, а мне кажется, что это было вчера, что я такой же оболдуй, каким был тридцать лет назад. Я вспоминаю, каким приходил на съемку И. Е. Хейфиц — в черной кожаной куртке, в серой кепке и серых брюках, как он усаживался в кресло, и вокруг воцарялась почтительная тишина. Он вежливо разговаривал с актерами и членами группы и казался мне образцом ума и респектабельности. Хейфиц говорил о «пафосе расстования» в съемочной группе, он придумывал важные «хейфицовские» детали, вдумчиво и серьезно работал с актерами, с отеческой снисходительностью слушал мятежные речи тех, кому казались тесными рамки роли. Он всегда знал точно, что он хочет сказать тем или иным эпизодом. В то время Хейфицу было столько же, сколько мне сегодня.

Совсем иным был Г. М. Козинцев: нервным, подвижным, язвительным. Вероятно, Козинцев тоже знал, что хочет сказать, но в отличие от Хейфица не знал, как это сделать. Пока был жив Москвин, Козинцев полностью доверял ему воплощение своих идей. Но после смерти Москвина все усложнилось. И на съемках «Гамлета» бедный Ионас Грицюс вместе со вторым режиссером И. Шапиро по несколько раз меняли мизансцены заранее отрепетированных сцен, потому что Козинцев в истерике выбегал из павильона. Он не знал, как надо, но он знал, как не надо. И теперь я понимаю, что чем крупнее художник, тем менее прямолинейен подход к истине, тем мучительнее поиск выразительных средств.

Мало того, разве может кто-нибудь однозначно сформулировать идею такого произведения, как «Гамлет»? Когда Козинцев спросил меня, как я отношусь к сценарию, который мне дали прочитать (накануне меня приказным порядком назначили вторым оператором на этот фильм), я совершенно искренне ответил, что, на мой взгляд, это лучший из сценариев, посвященных разоблачению эпохи культа личности. Услышав такое, Козинцев испуганно замахал руками и закричал:

— Господь с вами, Саша,— это ведь Шекспир, Шекспир!..

С тех пор он избегал меня, как черт ладана. Но я и сейчас убежден, что в этом своем фильме Козинцев подсознательно старался выразить свое отношение к тому времени, которое ему пришлось прожить в ожидании и страхе. В этом, на мой взгляд, главное достоинство козинцевского «Гамлета», этим он отличается от остальных рассудочно-холодных экранизаций великой пьесы великого драматурга.

Третьим китом довоенного «Ленфильма», с которым мне пришлось работать, был Александр Викторович Ивановский, постановщик самых кассовых довоенных фильмов «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится». В те времена платили определенную часть с проката фильма его создателям. Это продолжалось до тех пор, пока начальником кино не сделали бывшего начальника милиции города Тамбова по фамилии Дукельский. Бравый милиционер быстро навел порядок в кинематографе, и с тех пор средняя зарплата режиссеров и операторов не намного отличается от зарплаты милиционеров. Но до назначения Дукельского Александр Викторович сумел пожить «шикарно». Он жил в окружении роскоши и прекрасных женщин, создавая музыкальные фильмы-сказки, на которые валом шел зритель, осатаневший от быта, коммунальных квартир, профсоюзных и партийных собраний, трудового энтузиазма и прочих прелестей довоенной жизни, которые сейчас вызывают слезы ностальгии у бывших следователей-чekiстов и персональных пенсионеров — начальников лагерей.

Но теперь Александр Викторович ходил без работы, так как народ после двадцатого съезда не нуждался в утешительных сказках. Старик он был добрый и хороший, поэтому его из жалости назначили сопостановщиком на кинокартину «Мистер Икс». Александр Викторович дремал в режиссерском кресле. Иногда он вскидывал голову и спрашивал оператора Буркина:

— Владимир Александрович, мы можем снимать?

— Да,— отвечал Буркин.

— Как это прекрасно,— говорил Александр Викторович. Голова его падала на грудь, и раздавался легкий храп, который не очень мешал съемке, так как к тому времени уже не писали чистовую фонограмму.

Александр Викторович оживлялся по привычке, когда видел хорошенькую женщину. Ему было уже давно за семьдесят, но тут глаза его загорались, и он говорил женщине комплименты, от которых она расцветала, как роза. Говорят, развратная молодость дает знать себя в старости. Возможно, так оно и есть, но в преклонном возрасте Александр Викторович сохранил большую ясность ума, чем многие критики, которые вели нравственный образ жизни.

Я вспоминаю просмотр и обсуждение работы Ю. Я. Райзмана «А если это любовь?..». Картина вызвала резкие нападки некоторых партийных и кинематографических начальников и сочувствие у всех приличных людей. На обсуждении Райзман рассеянно слушал выступления критиков, которые сожалели, что такой домострой существует в наших светлых, новых кварталах (картина снималась в новостройках шестидесятых годов). Выступавшие повторяли одно и то же, противопоставляя новые, светлые кварталы темным старорежимным инстинктам, засевающим в душах учителей и родителей.

Неожиданно встал Александр Викторович. Дребезжащим старческим голосом он сказал:

— Эти ужасные дома-казармы, эти кварталы, которые напоминают концлагерь. Только в этой обстановке и может процветать мещанство, которое показал режиссер. Жить в них — это же страшно! Это общество муравьев, которое только и может руководствоваться законами домостроя, потому что оно не видит вокруг себя ничего прекрасного.

Критики зашумели сочувственно — дескать, что с него взять — старческий маразм. И один только Юлий Яковлевич Райзман вдруг впервые радостно и изумленно улыбнулся, потому что коллега угадал его мысли.

На худсоветках Александр Викторович мирно дремал в своем кресле, но в тех случаях, когда намечалась общая линия, в основном направленная на разгром режиссера, и дело принимало угрожающий характер, Александр Викторович просыпался и говорил совершенно невольно общему мнению свои соображения. Ошеломленный худсовет замирал, потому что Александр Викторович высказывал всегда мнение отличное от мнений признанных лидеров. Высказавшись, Александр Викторович ронял голову на грудь, и раздавался легкий домашний храп. Дальнейшее заседание происходило вполголоса, и некоторые оппоненты Александра Викторовича признавали, что они несколько перегну-

ли палку.

Ивановский был из породы русской либеральной интеллигенции. К сожалению, почти полностью уничтоженной.

С Александром Гавриловичем Ивановым, четвертым китом или слоном довоенного «Ленфильма», мне не пришлось работать вместе, но я с глубокой симпатией и благодарностью вспоминаю его. В отличие от Александра Викторовича он не был рафинированным интеллигентом. Это был боевой офицер, награжденный еще в гражданской войне орденом Боевого Красного Знамени. Могучий, кряжистый, с бритым черепом питекантропа, сутулившийся, как горилла, он тем не менее был добрейшим и честнейшим человеком. Пожалуй, этими качествами он превосходил всех тогдашних режиссеров «Ленфильма».

Александр Гаврилович был типичным представителем партии большевиков, тех людей, которые сделали революцию и искренне в нее верили. За свою жизнь он не научился кривить душой и заниматься интригами. Вероятно, поэтому он и выжил, так как, по мнению доносчиков и интриганов, не представлял опасности. До глубокой старости он сохранил замечательное детское качество — способность удивляться. Благодаря этому спас многих молодых режиссеров и операторов, заранее приговоренных мафией на заклятие.

Мафия на «Ленфильме» существовала всегда. Она была невидима и неуловима, благодаря ей люди получали или не получали работу. Талантливые, но неугодные мафии люди заранее обрекались на заклятие: выдержав их много лет без работы, им затем предлагали заранее обреченные сценарии, в то время как угодные мафии режиссеры, делая даже серые, никому не нужные фильмы, окружались атмосферой гениальности, им пелись дифирамбы на худсоветах и предоставлялись лучшие сценарии, лучшие работники, лучшие сметы.

Такие люди, как Александр Гаврилович и Александр Викторович, в силу своей честности иногда наносили удары по планам мафии, не подозревая об этом, и мафия, трусливо поджав хвост, на время отползала в сторону, распространяя ядовитые слухи о выживших из ума маразматиках. Александр Гаврилович дважды спас меня и моих режиссеров в то время, как нас хотели угробить на лучших, на мой взгляд, наших картинах «Республика ШКИД» и «Мертвый сезон».

До сих пор не могу забыть худсовета, на котором обсуждался материал фильма «Мертвый сезон». Все выступавшие (я подчеркиваю — все) говорили о том, что картина

не удалась и ее нужно закрыть. Александр Гаврилович слушал все выступления с мрачным лицом, и я с ужасом ждал того момента, когда очередь дойдет до него. К этому времени нам уже начинало казаться, что мы и в самом деле сделали очень плохую и вредную картину. Последним выступал представитель Ленинградского КГБ (впоследствии уволенный из органов за взятки). Он сказал, что картина художественно бесполезна, но самое главное, она искажает образы советских чекистов, она скучна, неинтересна и не нужна советскому народу. Заключение было почти директивным, и худсовет приготовился поставить крест на истраченных деньгах, а заодно и на наших судьбах.

И тут поднялся Александр Гаврилович. На лице его было написано искреннее изумление.

— Неужели вам было не интересно смотреть картину? — спросил он, обращаясь к членам худсовета. — Как можно быть таким нелюбопытным? По-моему, это замечательная картина, и облик чекиста она не искажает. Если бы все чекисты были похожи на героя, у нас не было бы тридцать седьмого и сорок восьмого года.

Представитель КГБ, до этого вальяжный и уверенный в себе мужчина, вдруг съезжился напоподобие проколотого воздушного шарика.

— Я считаю, — продолжал Александр Гаврилович, — что это одна из лучших картин «Ленфильма», говорить о ее закрытии преступно. — Он демонстративно подал руку Савве Кулишу — режиссеру картины и этим рукопожатием извлек бедного Савелия из потустороннего мира на свет божий.

На большом худсовете картину поддержал Г. М. Козинцев, и руководство приняло решение картину пока не закрывать, а отправить в Москву, а там пусть решают. В Москве картину посмотрели не чиновники из КГБ, а настоящие разведчики: Абель, Лонсдейл и другие. Они горячо поддержали картину, заявив, что это единственный хороший фильм о разведке, который они видели за всю жизнь у нас и за границей. Мы были спасены, но я с ужасом думал, что было бы, если бы Александр Гаврилович не присутствовал на худсовете.

Фридрих Маркович Эрмлер, пришедший в кинематограф из ЧК, сделал картину «Великий гражданин», прославившую его на весь Союз. «Бесстрашный чекист» (так называли его тогда) пользовался особой любовью И. В. Сталина. После двадцатого съезда партии он утратил свое «бесстрашие» и сразу постарел на много лет. Теперь он любил разыгрывать из себя «старого, боль-

ного, мудрого еврея» и не расставался с четками. Иногда он просил проводить его домой и, перебирая четки, рассказывал, как он, старый коммунист, целовал в Ватикане руку папе Пию XII — самому антикоммунистическому папе за всю историю папства.

Представить себе еврея-коммуниста-чекиста, любимца Сталина, целующего руку самого реакционного из пап, было невозможно. И мне казалось, что Фридрих Маркович гордится этим фактом своей биографии больше, чем фильмом «Великий гражданин», созданным по горячим следам убийства Сергея Мироновича Кирова и поднявшим массы на борьбу с троцкистско-зиновьевским блоком и бухаринской оппозицией.

Вероятно, Фридриху Марковичу доставляло тихую радость думать о том, что бы сделал И. В. Сталин, узнай он о проступке своего любимца. Может быть, он, как бывший слушатель семинарии, понял и простил бы преклонение перед культом католической веры, а может быть... При этом Фридрих Маркович вздрагивал всем телом, и по лицу его разливалось тихое блаженство. Этого не случилось, нет, не случилось, и теперь он может спокойно рассказывать об этом вместо того, чтобы многие ночи просыпаться в холодном поту, видя во сне протянутую для поцелуя руку папы. Одна любовь к политике не оставляла «старого, бедного еврея», как он любил себя называть теперь.

Незадолго до смерти Фридрих Маркович снял фильм «Перед судом истории». В нем в качестве главного героя был занят известный монархист, принимавший отречение Николая II В. В. Шульгин. Почти девяностолетний Шульгин вел разговор с Историком. Историка изображал артист, который, по мнению начальства, своим благородным видом, интеллигентностью и патриотизмом должен был с легкостью положить на обе лопатки Шульгина и всенародно обнажить его реакционно-монархическое естество.

Однако произошло обратное. Пока Историк произносил нравоучительно-обличительные речи, Шульгин очень искренне на них реагировал, доказывая свою правоту или с горечью признавая свои ошибки. Мы видели человека, искренне заблуждавшегося, но все свои поступки совершавшего во имя счастья России. На этом фоне Историк терялся окончательно и напоминал человека, у которого единственным признаком культуры служит оставленный в сторону мизинец руки, которая держит рюмку.

Вероятно, Фридрих Маркович понимал, что разоблачение Шульгина не состоялось, и поэтому он периодически ложился в больницу. Съемки останавливались. Шульгина тоже клали в больницу. Лежа в разных палатах, они беспокоились о здоровье друг друга. Особенно трогательно было, что старый мо-

нархист-антисемит Шульгин беспокоился о здоровье коммуниста-еврея Эрмлера. Шульгин очень боялся, что Фридрих Маркович умрет, не доведя дело до конца.

Фильм был закончен. На мой взгляд, это был лучший фильм Эрмлера, во всяком случае, наиболее честный. Жаль, что он прошел со значительно меньшим успехом, чем «Великий гражданин».

Всю ночь я не спал. Вот уже полгода, как я не работаю. За тридцать лет это случается со мной второй раз. Первый раз это случилось после поездки в Финляндию и разговора в райкоме партии. Тогда я использовал свои накопленные шесть отпусков, а потом, когда деньги и отпуска кончились, а кормить семью было нечем, я снова взялся за работу и начал наверстывать упущенное, утешая себя тем, что я — «наемный убийца».

Но «наемные убийцы» тоже стареют, им все труднее совершать преступления за кусок хлеба. Кроме того, со временем «наемные убийцы» приобретают опыт и достоинство «профессионалов», им все труднее найти работу, потому что их сверстники-режиссеры снимают все реже, а подрастающее поколение подыскивает себе помощников помоложе и посговорчивее.

Мне повезло, что я родился в семье, где все мои предки и родственники во главу угла ставили «дело». Личное достоинство заключалось в том, чтобы служить честно и добросовестно «делу», а не вышестоящему начальству. Наверное, поэтому мои родственники не достигли очень высоких постов, хотя много трудились и порой (довольно часто) попадали в немилость к власти имущим за неумение гнуть хребет и подкакивать.

Не научился гнуть хребет и я. Вероятно, теперь уже и не научусь: к старости позвоночник окостенеет. Поэтому всю ночь я лежал и думал, что мне делать дальше. Рисковать с утра до ночи в поисках клиента по студии, как это делают вышедшие в тираж шлюхи на Московском вокзале, или сидеть дома и готовить обеды?

Может быть, переменить работу, забыть этот кинематограф, стать шофером такси или председателем кооператива? Я бы с удовольствием планировал ограбление банков или ювелирных магазинов, особенно если делать это в хорошей компании Роберта Редфорда или Пола Ньюмена. Но любая попытка прожить за чужой счет связана с насилием над кем-нибудь. А это мне противно с детства. Я всегда ненавидел сообщества людей, которых связывало насилие. Вероятно, отсюда мое отвращение ко всем политическим партиям, кроме, пожалуй, либераль-

ной. Но именно эта партия и пользуется наименьшим сочувствием людей. Их обзывают, как правило, «гнилыми» либералами. На протяжении моей жизни даже «убийца» было менее унижительным определением, чем «либерал».

У меня есть друзья, которых я люблю, и которые, как мне казалось, любят меня. Но я уже столкнулся с несколькими случаями предательства, когда «друзья» вдруг при встрече со мной отводят глаза и даже делают вид, что мы незнакомы. Мне жалко их, я стараюсь уйти, чтобы им не пришлось оправдываться и говорить лишние и бесполезные слова, но мне грустно. Может быть, прав был тот человек, который сказал: «Избави меня, Господи, от друзей, а с врагами я сам расправлюсь»? Может быть, он был и прав, но мне жалко его — он был таким одиноким.

Я любил и люблю кино за то, что оно иногда дает возможность прожить два часа в мире, вымышленном Художниками. В мире, которого, возможно, и нет, но Художник его таким видит и стремится поделиться этим миром с другими.

Мне всегда был интересен Хемингуэй. И тогда, когда во всех квартирах висели его портреты. И сейчас, когда этих портретов почти ни у кого нет, а при упоминании его имени бывшие восторженные почитатели презрительно морщат носы — не моден.

Мне больно читать нынешние высказывания современных американских интеллектуалов о Хемингуэе-хвастуне, Хемингуэе-показушнике, Хемингуэе — неверном друге, Хемингуэе-романтике (в плохом смысле этого слова).

Впервые я столкнулся с творчеством этого замечательного писателя в 1947 году. Я отдыхал в Репино в доме отдыха «Сталинец», который размещался в здании бывшего публичного дома поселка Куоккола. Дом был уютный. С большой гостиной внизу. Наверху было когда-то шестнадцать спален, где шестнадцать девочек принимали клиентов. Теперь в каждой спальне стояло четыре койки, на которых храпели и стонали, видя порочные сны, навеянные атмосферой этого дома, работники металлического завода имени И. В. Сталина.

В гостиной стоял шкаф, забытый старыми журналами «Интернациональная литература». Я полюбил этот журнал еще в эвакуации, поэтому выбирал уцелевшие экземпляры и читал их по ночам под аккомпанемент храпа соседей. Тогда-то я впервые и прочитал «Иметь или не иметь». Лежа без сна, я вспоминал Гарри Моргана, умирающего среди убитых им кубинцев. Всю жизнь человек старался прожить честно, но жизнь не дала ему такой возможности. Чтобы выжить, он должен был все время нарушать

законы, кроме одного закона — личной чести.

Мне кажется, это применимо и к самому Хемингуэю. «Самое главное — это писать правдиво». Многие мои друзья обижались на Хемингуэя за то, что он так написал о Скотте Фицджеральде, хотя Скотт хорошо к нему относился всю жизнь. «Это предательство», — говорили мои друзья. Это не предательство. Хемингуэй описал Фицджеральда и его жену Зельду такими, какими он их увидел. Но Хемингуэй не печатал своего сочинения, пока был жив Фицджеральд и пока был жив он сам. Впервые «Праздник, который всегда с тобой» был опубликован женой Хемингуэя после его смерти.

Я не Хемингуэй. Я никогда не зарабатывал денег с помощью пера, да и не думаю, что когда-нибудь заработаю. Во всяком случае, пока это не входит в мои планы. Но так как у меня сейчас куча времени, а водка дорога, да и здоровье не позволяет пить ее столько, сколько я пил раньше, мне остается, чтобы не повеситься от безделья, только размышлять, как размышлял раненный в живот Гарри Морган, лежа на дне своей лодки. Размышлять и вспоминать.

Я не хочу врать. Ложь унижает искусство так же, как унижает подробное тоскливое бытописание. Жизнь — это драматургия, и каждый человек является главным драматургом своей жизни (правда, не надо забывать, что за всем наблюдает Создатель, и он иногда вносит гениальные поправки в Драматургию жизни).

Я написал о том, что мне было дорого, — о своих родственниках. Мне кажется, я ни в чем не соврал и, надеюсь, ничем их не обидел. Теперь я буду писать о своей жизни — о работе и о том, что связано с ней. Там, где я буду писать о людях, которых невозможно обидеть потому, что такими они были, я буду называть их полные имена. В других случаях я буду эти имена менять, и всякое совпадение прошу считать случайным. Да простят мне мои друзья.

Еще на четвертом курсе я влюбился. Любовь моя жила в Ленинграде, и я «зайцем» ездил из Москвы в Ленинград, перебегая ночью из вагона в вагон, дабы избежать встречи с контролерами. Я приезжал на один день и в воскресенье вечером уезжал обратно в Москву, чтобы успеть на лекции.

Любовь вставала поздно, по воскресеньям она любила поспать, и я, не заходя домой, болтался под ее окнами до тех пор, пока в них не зажегся свет. Потом я сидел в ее комнате и отогревался чаем, наблюдая, как

она, зевая, слоняется в халатике по комнате. Я норовил схватить ее в объятия, когда она проходила мимо меня, но Любовь с милым капризным стоном «Ну Саша...» выскальзывала из объятий и направлялась к телефону. Затем начинались длинные переговоры с подругами. Любовь училась в техническом вузе. Судя по всему, дела у нее с науками обстояли неважно, потому что, как правило, по воскресеньям вместо того, чтобы проводить время на диване в моих объятиях, она спешила к подругам решать эпюры. До сих пор я испытываю к этому слову необъяснимую ненависть. Все мои друзья не сговариваясь прозвали ее Эпюрой. Пожалуй, и я буду называть ее так.

Эпюра была красивая, стройная девушка с огромными карими глазами и с необыкновенно длинными косами, спускавшимися ниже колен. Ее идеалом мужчины был Вячеслав Тихонов. Она без конца смотрела картину «Дело было в Пенькове», только со мной она посмотрела ее раз семь. Легко понять, как я возненавидел будущего Штирлица. К сожалению, мне пришлось встретиться с Тихоновым только один раз на пробах кинокартины «Мертвый сезон». Душевные раны еще не зажили, и я со стыдом вспоминаю свою радость от того, что на главную роль его не утвердили.

Эпюра принадлежала к тому типу женщин, которые всю жизнь ждут Принца. Обычно это женщины очень красивые и неглупые, но обладающие скорее литературным, чем естественным темпераментом. Они способны временно потерять голову, но очнувшись, они сравнивают объект, из-за которого они потеряли голову, с тем идеальным Принцем, которого ждут. В чью пользу оказывается сравнение — понятно. Потом они, как правило, выходят замуж за первого попавшегося человека, влюбившегося в остатки былой красоты, и, как правило, делают его несчастным на всю жизнь. В ожидании Принца они тем не менее позволяют себе небольшие шалости, ведь душой они все равно верны Принцу. Поэтому они обычно держат про запас несколько поклонников — а вдруг Принц явится не скоро. Вероятно, я был одним из поклонников, оставленных про запас. Это было удобно еще и потому, что появлялся я редко.

С началом работы на «Ленфильме» я стал встречаться с Эпюрой чаще. Но работы было много (я работал ассистентом оператора), а это значит — приходиться раньше всех и уходить последним. Эпюра очень любила театр, который я терпеть не мог, но из-за любви к ней доставал билеты на дефицитные спектакли, в основном в Марининский театр.

Каждый раз, когда должен был состояться мой поход в театр, у меня объявляли вечер-

ную съемку. Эпюра ехала в театр одна, а я в парадном костюме переводил фокус, заряжал камеру и руководил пожарными и поливочными машинами — почему-то мы все время имитировали на съемках дождь. После съемки администраторы сажали меня в пожарную машину, и я с колоколами громкого боя мчался к Кировскому театру, но, как правило, опаздывал к началу последнего акта. Поэтому я смотрел балеты «Раймонда» и «Спартак» с галерки, а Эпюра сидела во втором ряду партера. Зато, возвращаясь с ней из театра, мы шли пустынными улицами и каналами, и мне дозволялось целовать ее, правда, каждый раз она говорила мне: «Ну Саша!», реабилитируя себя в глазах Принца. В общем, я зря терял драгоценное время, пренебрегая призывными взглядами хороших монтажниц, гримерш и статисток из массовки.

По службе мне часто приходилось уезжать в экспедиции, но разлука только укрепляла мою любовь к Эпюре. Мне трудно описать те чувства, какие я испытывал, когда однажды с работы позвонил ей, и она сказала, что сегодня вечером она будет заниматься эпюрами, а я, возвращаясь домой, вдруг увидел, как она, счастливая и улыбающаяся, под руку с высоким молодым человеком останавливает такси. Молодой человек был отчасти похож на будущего Штирлица.

Я занял наблюдательную позицию в подъезде напротив парадной дома Эпюры. Я ждал долго — часа три или четыре. Наконец в половине первого ночи они появились и остановились около парадной. Потом она положила ему руку на плечо и пошла к двери. Он постоял несколько секунд, глядя на закрывшуюся дверь, и пошел за ней. Дверь захлопнулась.

Я ворвался в парадную. Они стояли за дверью и не сразу сообразили, что произошло. Я ударил парня в челюсть изо всех сил, но он устоял, хотя, видимо, пребывал в нокдауне. Она бросилась между нами, но я отшвырнул ее. Это было ужасно. Парень постепенно приходил в себя, и, наверное, мне пришлось бы плохо, потому что он был выше и мощнее меня. Эпюра бросилась к нему, а я, заплакав от стыда и обиды, повернулся и пошел к выходу.

Через две недели она позвонила и сказала, что хочет видеть меня, и я пошел к ней, хотя понимал, что этого делать не нужно. И все началось снова — глупая, бессмысленная игра, в которой я играл унижительную роль запасного игрока, с которым можно провести время в ожидании Принца.

Эта игра продолжалась долго, почти семь лет, пока однажды, после возвращения из Арктики, услышав предложение Эпюры провести время «платонически», я не одел на

Эпюру пальто, вывел в переднюю, открыл дверь на лестницу и дал коленкой под зад. Это было совсем не по-джентльменски, но необходимо, как необходимо удаление большого зуба, который нельзя вылечить.

Параллельно с романом шла моя работа на «Ленфильме». М. С. Магид, с которым я должен был продолжать работать на картине «Дорогой мой человек» — эпохальной картине «Ленфильма», через второго оператора Эдика Розовского сделал мне замечание в том, что я недостаточно активен.

В то время он со Львом Евгеньевичем Сокольским заканчивал картину «Поддубенские частушки», на которой Эдик Розовский и я вели параллельные съемки пейзажей и уличных сцен. Сначала после окончания съемок я приехал в павильон и наблюдал за их работой. Надо сказать, зрелище было невеселое. В павильоне были выстроены коровники с настоящими коровами, которые гадилы больше, чем на природе. На живописных задниках выстроились опушки леса. Артистки ленинградских театров в пейзажных костюмах Веницианова изображали счастливую современную колхозную жизнь. Постепенно меня начинало мутить от сочетания сиропа с запахом коровьего говна. Помощников в павильоне у Михаила Соломоновича и Льва Евгеньевича было хоть отбавляй. Реально я никакой пользы принести не мог. Поэтому я незаметно смылся, чтобы сыграть в покер или ехать к Эпюре. Своим ревнивым взглядом Михаил Соломонович заметил мое непочтительное отношение к их работе и высказал свое неодобрение через Эдика.

— Надо больше проявлять усердия, старик, — сказал Эдик, — а то ведь он не возьмет тебя на «Дорогого человека».

Попасть на картину к И. Е. Хейфицу считалось большим счастьем: ожидалась экспедиция в Калининград и Крым. Мои коллеги завидовали мне — считалось, что, работая под присмотром мастеров, можно легко сделать карьеру.

— Эдик, — сказал я, — но там же нечего делать в павильоне, какого черта я буду в нем торчать?

— Надо, — сказал Эдик, — надо, или...

— На службу не напрашивайся, — сказал я, — от службы не отказывайся...

— Как знаешь, — сказал Эдик, — я тебя предупредил.

Надо сказать, что я обозлился. Я могу работать, если это нужно, сколько угодно, даже без выходных (это я доказал своей последующей жизнью в кино), но «делать вид», что я работаю, не научился. Кроме того, по семейным традициям считалось, что создавать видимость работы — «дурной тон».

Работу надо делать легко и весело, а не смотреть по-собачьи в глаза начальству и изображать при этом смертельную усталость.

Должен сказать, что существовал ряд групп на «Ленфильме», в которых выше всего ценилась личная преданность «шефу», а рабочие качества ставились уже на второе место. По этому же принципу работал и административный аппарат. Поэтому, когда я пошел в отдел кадров и попросил после окончания «Поддубенских частушек» перевести меня на другую картину, это вызвало шок у начальника отдела кадров.

— Вы же идете на «Дорогого человека!» — со священным ужасом сказал он.

— Нет, — сказал я. — Мне бы что-нибудь попроще.

Отныне Михаил Соломонович Магид и Лев Евгеньевич Сокольский соблюдали со мной «пафос расстояния», что по системе И. Е. Хейфица означало чрезмерную вежливость, скрывающую истинное отношение джентльмена к плебею.

Я попал на работу в самую захудалую группу «Ленфильма» под названием «Всего дороже». Режиссеры этой картины — Музыкант и Селектор — не пользовались славой метров, и ленфильмовская мафия соблюдала по отношению к ним «пафос расстояния». Эти два милых суматошных еврея поверили, что должны наступить серьезные изменения в общественной жизни после двадцатого съезда партии. Поэтому они взялись за сценарий о колхозной жизни, от которого отказались мудрые метры, и решили создать картину в духе неореализма, то есть правдивую.

Поэтому, сняв картину за полгода, они уже год с лишним переснимали ее заново. Деньги были израсходованы, сроки давно истекли, все приличные работники разбежались, и мафия сладострастно направила меня туда в качестве ассистента оператора, хотя обычно выпускники ВГИКа работали исполняющими обязанности второго оператора.

Если «именитые» группы Хейфица, Козинцева и других были укомплектованы полностью, и кроме главного оператора там работали как минимум один-два вторых и два-четыре ассистента, супермеханик, дольщик, то здесь был один оператор — Е. Кирпичев, а я выполнял обязанности всех остальных. Я заряжал кассеты, получал на базе девяносто килограммов «Супер Перво», привозил его в павильон, помогал ставить свет, переводил фокус, в общем, трудился за троих. Никто не сковывал мою самостоятельность и инициативу, никто не требовал от меня чинопочитания и ханжески угодливого выражения лица.

Мой новый шеф Женя Кирпичев (он просил называть его Женей, хотя был в два

раза старше меня, поэтому я даже не запомнил его отчества) был молчаливый честнейший человек со скрытым чувством юмора. Кинематографическая жизнь его не удалась. Он не вписывался в рамки мафии. Женя почти всю жизнь проработал вторым оператором, но выслуживался и исповедовал те же старомодные принципы, что и я, поэтому мы быстро нашли общий язык, и Женя безоговорочно доверял мне и помогал, делясь своим солидным производственным опытом.

Режиссеры с неистовым темпераментом обсуждали, как испортить то, что они сняли раньше, но снять так, чтобы это наверняка устроило начальство. Видя, что спор затягивается, Женя кивал мне на камеру, за которую я с удовольствием садился, а сам исчезал из павильона. Через десять минут он появлялся взбодренный, с повеселевшим взглядом, от него пахло мускатным орехом. Как я случайно выяснил после, Женя шел в столовую против «Ленфильма» и залпом выпивал стакан водки: это помогало ему переносить бессмысленность и унижительность работы, которую он делал, переснимая хорошие эпизоды в угоду начальству. Надо сказать, что он ни разу не приглашал меня выпить, видимо, зная, как пагубна эта привычка. Он берег меня.

Вообще во времена культа личности, а затем во времена «застоя» алкоголь помогал людям забыться. И почти все хорошие операторы, которых я знал, да и не только операторы, были замечательными пьяницами. Как правило, они были люди очень здоровые физически и нравственно, поэтому редко становились алкоголиками. Пьянство в кинематографе тех времен было почетным и благородным занятием. Не пили три категории людей: карьеристы, диссиденты и больные. Впрочем, пьянство охватило всю страну, не только кинематограф.

Напившись, люди забывали о своем весьма нелегком прошлом, нелегком настоящем и уж совсем туманном будущем. Коллективизация, тридцать седьмой—тридцать девятый годы, война, «железный занавес», борьба с евреями, борьба с диссидентами... На этом пути был короткий отрезок надежды, который возник после двадцатого съезда партии. Но и эта хрупкая надежда постепенно потухла под натиском бюрократии и коррупции.

Пьянство поощрялось сверху так же, как сейчас порицается. Иногда, когда я вижу километровые очереди, я думаю, что их создают все те же люди, которые раньше заваливали магазины водкой. Вероятно, им доставляет удовольствие делать людей скотами.

В конце пятидесятых и в шестидесятых годах спиртное продавалось на студии, но, 160

ей-богу, пьяных попадалось значительно меньше, чем сейчас.

Я до сих пор с уважением отношусь к выпивке. Всю жизнь она подбадривала меня, сводила с хорошими людьми, помогала преодолевать скотские условия жизни, спасала меня от болезней, морозов, промозглой сырости и, главное, не мешала работать. Я всегда придерживался правила: если водка мешает работе — бросай работу. Важно — не сделаться ее рабом. Но быть рабом нельзя ни при каких обстоятельствах. Я не думаю, что раб женщины, раб собственности или раб идеологии лучше алкоголика. Все рабы равны. На моих глазах спилось несколько моих друзей, но я, к сожалению, ничем не мог им помочь — они стали рабами, а раб не нуждается в свободе — он боится ее.

Но еще большее количество моих друзей-пьяниц как были, так и остались замечательными людьми и художниками, и я горжусь знакомством с ними.

Человек злой, ограниченный, завистливый и просто неумный не может быть хорошим собутыльником. Все дерьмо, которое он тщательно прячет под респектабельностью, вылезает наружу после первой же рюмки, и тогда становится ясным «кто есть кто». Как правило, такие люди больше всего ненавидят пьяниц, потому что не могут сами ими стать и сознают свое ничтожество. Такие люди особенно опасны у Власти в нашей стране, а именно они больше всего стремятся к Власти, чтобы прикрыть свой комплекс неполноценности каким-нибудь высоким официальным титулом.

Одна моя знакомая актриса рассказывала мне, как ее папаша был замечательным пьяницей, пока не стал большим начальником в Сибири. Папаша пил в одной компании с другим, ныне очень известным своей антиалкогольной программой человеком. Они «трескали» водку в ужасающих количествах. Однажды, принимая первомайский парад трудящихся и приветствуя колонны, папаша очень рассердился, что какая-то колонна не ответила на его приветствие. Зайдя за щит, прикрывавший обкомовский буфет на трибуне, папаша дернул стакан и потребовал немедленного расследования причин, по которым колонна не ответила на его приветствие. Он был разъярен, он увидел в этом происки против советской власти и против него лично. Выяснилось, что колонна состояла сплошь из глухонемых.

— После этого, — говорила актриса, — папаша стал «трескать» еще больше. Его вынуждены были перевести начальником в КГБ. В это время его собутыльник, который и в подметки папаше не годился, пошел на повышение. В КГБ папаша начал

пить смертельно, и мать каждый раз отбирала у него пистолет, так как он все время пытался кого-нибудь расстрелять. А его коллеги по пьянкам стремительно делали карьеру. Когда я вижу его мужественное лицо по телевизору и он призывает к всеобщей беспощадной борьбе с пьянством, я понимаю, что у него есть личные основания для таких призывов. Но я-то помню, как они с папашей трескали водку.

— А что стало с папашей? — спросил я.

— Папаша допился до того, что стал работать по специальности — инженером-мостовиком. Потом женился и завел в шестьдесят лет сына. Папаша оказался хорошим инженером. Это тот случай, когда пьянство сделало из потенциального негодяя хорошего специалиста. Подумать только: если бы папаша «завязал», он бы добрался до Кремля и там бы натворил делов со своим бывшим собутыльником.

Пьянство в те годы стало моим основным занятием после работы. Платоническая любовь к Эпюре стояла у меня поперек горла, мой молодой организм бунтовал и требовал выхода, и единственным способом смирить его было напиться. Под влиянием алкоголя я вступал в кратковременные половые связи, но каждый раз, просыпаясь в чужой постели с чужой женщиной, испытывал чувство стыда и вины перед Эпюрой, хотя никогда не получал от нее и половины той ласки и нежности, которую получал от своих кратковременных партнерш. Теперь я испытываю чувство вины перед ними, перед их бескорыстием и женственностью. Правда, я никого из них не обидел, но мог бы доставить им и себе больше радости, если бы не противоестественная страсть к Эпюре и не ложное понимание чувства долга.

Нравственный максимализм был присущ всем моим родственникам, и думаю, он не принес им много радости в жизни. Впрочем, я не уверен, что люди, у которых этот максимализм отсутствует, намного счастливее. Легко достижимая цель, как правило, не приносит большой радости, хотя, должен сказать, трудно достижимая цель приносит радости еще меньше, если потом она оказывается ложной.

Любимая поговорка Эпюры была «Что имеем — то не ценим, потеряв же, горько плачем». Я всем своим существом противился этой концепции и всегда ценил прелесть своих кратковременных партнерш, но никогда не плакал, теряя их. Таким образом я потерял много достойных женщин. Но не жалею, что порвал с Эпюрой. Не следовало бы только давать ей пинка под зад — это

некрасиво, но в тот момент я не мог поступить иначе.

Вобщем, вспоминая прошлое, я не о многом жалею. Вероятно, в нынешней ситуации я поступил бы так же. Я всегда поступал, как эгоист, а мое Эго мало в чем изменилось. Это говорит об отсутствии гибкости и нежизненности моей позиции, но я всегда предпочитал гордость — холуйству, а наличие нравственных принципов — материальному успеху. Иногда я жалею, что грешил недостаточно: молодость прошла, и теперь грешить мешает возраст. Это повергает меня в печаль. Видимо, слишком много времени и сил я отдал выпивке вместо того, чтобы, скажем, тратить их на работу и женщин. Но, с другой стороны, я и пил потому, что не мог все силы истратить на работу и женщин.

Легче всего сказать — время было такое. Однако всегда, в любые времена перед человеком будет стоять Выбор.

Лучше всех, на мой взгляд, сказал об этом Р. Бернс в надписи на Алтаре Независимости:

Кто независим, прям и горд,
В борьбе решителен и тверд,
Кому равно претит судьба
Рабовладельца и раба,
Кому единый приговор —
Своей же совести укор,
Тому, чья сила — правда,
Открой, Алтарь, свои врата.

Не знаю, обладаю ли я этими качествами, но мне всегда претила судьба рабовладельца и раба.

Почти три года я проработал на «Ленфильме» в качестве ассистента и второго оператора. После фильма «Всего дороже» я попал на кинокартину «Мистер Икс», где оператором был Владимир Александрович Бурыкин, которого я помнил еще по ВГИКУ (он защищал диплом в тот год, когда я поступал в институт).

Бурыкин был баловень судьбы. Высок, красив, остроумен, имел отца генерала. Все женщины «Ленфильма» были влюблены в него. Но Бурыкин любил только одну женщину — свою соученицу по ВГИКу, режиссершу. Они поженились будучи студентами, и в дальнейшем мне редко приходилось видеть такие красивые супружеские пары. В силу своих замечательных природных данных и «аристократического» происхождения Бурыкин был начисто лишен комплекса неполноценности, который, как известно, является основным движущим фактором карьериста.

Володя был добр, щедр, искренен, относился ко мне скорее как товарищ, хотя в работе я соблюдал «пафос расстояния» и ста-

рался не злоупотреблять таким расположением. Жена Володи продолжала учиться во ВГИКе в то время, как он уже третий год работал на «Ленфильме». Именно она первая нанесла удар по комплексу «полноценности» Бурыкина, который он мужественно перенес, но с тех пор в поисках нравственной компенсации потянулся к бутылке и как всякий русский человек не знал в этом меры.

После съемок мы продолжали общение за столом. Там я впервые услышал от Володи стихи запрещенных в то время поэтов: Корнилова, Слуцкого, Уткина и других. Благодаря Володе я познакомился со многими его друзьями, замечательными операторами и настоящими мужчинами Д. Месхиевым, И. Слабеничем, С. Вронским и Г. Калатозовым, к которым сохранил любовь и привязанность на всю жизнь.

Это были замечательные ребята, готовые ради друга отдать последнюю рубашку, не способные на подлость и предательство. Благодаря им операторы как «клан» сохранили свое достоинство во времена «застоя» и «культы личности». Все они были отличные работники-профессионалы и замечательные гуляки. Умные женщины-актрисы первыми подмечали это и становились их любовницами, пренебрегая, зачастую в ущерб своей карьере, режиссерами-постановщиками. В то время режиссеры были связаны в выборе темы начальниками и редакторами, операторы же чувствовали себя «свободными наемными убийцами», без которых не могли обойтись «вшивые» идеологи. Так же, как не могли при всем желании обойтись без Капицы, Ландау, Иоффе и других физиков, имевших собственное мнение. Поэтому хорошие операторы, как правило, всегда находились в работе, тогда как такие выдающиеся режиссеры, как Тарковский, Йоселиани, снимали один фильм в пять—десять лет.

Когда ВГИКу исполнилось пятьдесят лет и почти все вгиковцы съехались на юбилей в Москву, только операторы организовали единый стол. Мы скинулись. На каждого пришло по бутылке коньяку и бутылке шампанского. Во главе стола сидел глава операторского факультета ВГИКа Анатолий Дмитриевич Головня. Когда-то он был профессиональным гулякой. Теперь ему было семьдесят лет. На его груди сиял новенький орден Ленина. Анатолий Дмитриевич потребовал, чтобы ему налили полный чайный стакан коньяку. Со стороны можно было подумать, что это стакан с чаем. Он встал и произнес свой последний тост.

— Ребята, — сказал он, — когда-нибудь этот шарик взорвется к чертовой матери. Я хочу выпить за то, чтобы один из вас успел снять это.

И я уверен, что один из людей моей профессии сделает это, хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы это произошло. Не наша задача — предупреждать события, но наш долг — фиксировать их и доносить до грядущих поколений, если они, конечно, грядут.

Я всегда гордился своей профессией, потому, что она давала иллюзию независимости от «идеологии». Хотя понимаю, что хорошо снимаешь фашистский фильм, ты так или иначе проповедуешь идеологию фашизма. Но я всегда старался не связываться с фильмами, которые не соответствовали моим понятиям о чести, даже если они сулили немедленные экономические или идеологические выгоды.

Спустя много лет один сценарист, который был очень популярен в эпоху, теперь называемую эпохой застоя, предложил мне снять по его сценарию картину в качестве режиссера.

— Старик, — сказал он, — звание будет обеспечено, кроме того, выбирай, что бы ты хотел получить — квартиру или машину?

Я тогда жил в квартире очаровательной женщины. У меня был новый «ВАЗ-21-02».

Сценарий был слабый, но ничего противоречащего моим убеждениям я в нем не увидел. В ту пору мой средний заработок как оператора составлял тысячу рублей. Я снимал в год две-три картины. Они вполне соответствовали духу времени, то есть никого не обижали. По моей линии там было все в порядке, а иногда мне даже удавалось провести мысль, которая вызывала некоторое беспокойство начальства. Так, например, одну картину задержали на полгода за то, что в ней было показано, как мы уничтожаем природу. В других картинах при всем внешнем благополучии было видно, что люди бьются, как мухи об стекло, чтобы доказать прописные истины, известные еще со времен Библии. Все это вызывало осторожное отношение начальства. Поэтому (особенно после разговора в райкоме в связи с поездкой в Финляндию) я никаких наград и поощрений не получал. Предложение получить звание выглядело заманчивым.

Но я знал, что в качестве режиссера мне придется долгое время общаться с редакторами и начальниками (этой привилегии как оператор я был лишен). Я хорошо относился к сценаристу. Он был настоящий литератор, но жизнь заставила его писать то, что «нужно» для того, чтобы прокормить семью, и он делал это, наступая на горло собственной песне, пока постепенно и незаметно для себя не задушил ее полностью.

— Старик, — сказал я. — Как и ты, я работаю для денег. На кой черт мне твое звание?

Как оператор я сниму за это время три картины и заработаю в два раза больше. Если ты гарантируешь мне тысячу рублей в месяц, я готов снимать в качестве режиссера, но за меньшую сумму менять свою благородную профессию я не согласен.

Он задумался, а потом сказал:

— Я не могу тебе гарантировать деньги, но я гарантирую тебе звание — это во многих отношениях дороже денег, если уметь им пользоваться.

Вероятно, так оно и было, но нелюбовь к общению с редакторами и начальниками взяла верх. Я отказался — это стоило мне впоследствии зарубежных поездок, но я не жалею об этом.

Все это предстояло в будущем, а в первое время на «Ленфильме» я получал как ассистент высшей категории тысячу двести рублей (старыми) и мечтал стать главным оператором. Не из-за денег. Дружеские отношения с Бурыкиным делали мою работу в качестве второго оператора приятной, но я жаждал самостоятельности. Некоторую самостоятельность мне предоставил Сергей Васильевич Иванов, к которому я попал после работы с Бурыкиным.

Сергей Васильевич Иванов — невысокий седой мужчина с приятным улыбчивым лицом — был один из самых снимающих операторов «Ленфильма». Он снял более тридцати картин, был лауреатом Сталинской (ныне — Государственной) премии, заслуженным деятелем и даже одно время партгоргом. В общем, он был добрым и деловым человеком, понявшим, в какую эпоху он живет, и определившим наиболее выгодную позицию — плыть по течению, не пытаясь его преодолеть, а тем более — перегнуть. Испытывая некоторую усталость от работы, Сергей Васильевич передоверил большую часть

мне. Я с радостью за это ухватился. Энергии тогда у меня было хоть отбавляй, но Сергей Васильевич мудро сдерживал мой энтузиазм и как партгорг предупреждал и защищал меня от необдуманных поступков, которые могли бы доставить мне много неприятностей даже в период «оттепели».

Я работал с ним на картинах «Ссора в Лукашах» и «Пестрые рассказы». Вспоминаю его с благодарностью, хотя он и был типичным образцом эпохи «застоя».

Говоря с пренебрежением о той эпохе, нынешние граждане почему-то забывают, что она возникла не случайно, а была подготовлена всей историей нашей послереволюционной жизни. Это была эпоха глубокого выдоха, состояние покоя после учащенного дыхания, вызванного ужасом многочисленных репрессий, войны, политических безумств, торжества безграмотности и наглости. Утомленный народ на долго застыл в спячке и духовном расслаблении, давая дорогу ловким посредственностям, которых такой сон вполне устраивал.

Получить самостоятельную работу на «Ленфильме» тогда было практически невозможно, количество операторов в три раза превышало количество картин. Молодому специалисту надо было проработать много лет, чтобы завоевать право на свою постановку. Поэтому я обрадовался, получив предложение снять фильм в Туркмении. Предложение сделал Гена Полока, с которым мы учились во ВГИКе и встречались на обедах у Льва Владимировича Кулешова.

За два дня я оформил перевод на киностудию «Туркменфильм» и выехал в Москву, где меня ждал Полока.

1990 г.

Наследие

Дмитрий Мережковский

ПРОРОК РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Достоевский умер в феврале 1881 года, едва не дожив до первоапрельского покушения, подтвердившего самые тягостные его пророчества. С того взрыва на набережной ход перевоплощений в жизнь его пророчеств лихорадочно убыстрился. В этом году исполнилось 110 лет со дня смерти писателя и провидца, 30 октября исполнится 170 лет со дня его рождения. Этот год принадлежит ему, однако говорить о юбилеях не хочется, ибо каждый год в России принадлежит Достоевскому. Не зря во все времена разные политические группы в полемических схватках привлекали в авторитетные союзники мысль Достоевского.

Мережковский писал свою статью после горячечно-кровавого пятого года. Следующий год начался выступлением на общественной арене открытых политических партий и созывом Первой Думы. Россия жила надеждами на обновление...

28 января 1906 года исполнится 25 лет со дня смерти Достоевского.

Вещам предзнаменованием кажется то, что он умер накануне 1 марта, первого громового удара той грозы, которая надвигалась на нас четверть века, и что первые поминки по нем справляются среди разразившейся наконец бури.

Он ведь и сам носил в себе начало этой бури, начало бесконечного движения, несмотря на то, что хотел быть или казаться оплотом бесконечной неподвижности; он был революцией, которая притворилась реакцией.

«Будущая самостоятельная русская идея у нас еще не родилась, а только чревата ею земля ужасно и в страшных муках готовится родить ее», — писал он в своем предсмертном дневнике.

Сам Достоевский — первый вопль этих мук рождения.

«Вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездною», — писал он еще раньше, в 1878 году. От

этой бездны он и отворачивался, и пятился, и цеплялся судорожно за скользкие края обрыва, за мнимые твердыни прошлого — православие, самодержавие, народность. Но если бы он увидел то, что мы сейчас видим, — понял ли бы, что православие, самодержавие, народность, как он их разумел, не три твердыни, а три провала в неизбежных путях России к будущему? Она пошла туда, куда он звал, к тому, что он считал истиной. И вот плоды этой истины. Россия уже не «колеблется», а падает в бездну. Самодержавие рушится. Православие в большем «параличе», нежели когда-либо. И русской народности поставлен вопрос уже не о первенстве, а о самом существовании среди других европейских народов.

На чью же сторону стал бы Достоевский, на сторону революции или реакции? Неужели и теперь не почувствовал бы дыхания уст Божьих в этой буре свободы? Неужели и теперь не отрекся бы от своей великой лжи для своей великой истины?

Достоевский — пророк русской революции. Но как это часто бывает с пророками, от него был скрыт истинный смысл его же собственных пророчеств.

Существует непримиримое противоречие между внешнею оболочкою и внутренним существом Достоевского. Извне — мертвая скорлупа временной лжи; внутри — живое ядро вечной истины. Надо разбить скорлупу, чтобы вынуть ядро. Это оказалось не по зубам русской критике. Но у русской революции достаточно крепкие зубы: разбивая многое из того, что представлялось несокрушимо твердым, она разбила и политическую ложь Достоевского. И вот перед нами три осколка, три грани этой лжи: «самодержавие», «православие», «народность». А за ними — нетленное ядро истины, лучезарное семя новой жизни, то малое горчичное зерно, из которого вырастет великое дерево будущего: эта истина — пророчество о Св. Духе и о Св. Плоти, о Церкви и Царстве Грядущего Господа.

Может быть, правда, которую я хочу сказать о Достоевском, на этой юбилейной тризне, покажется жестокой. Но я люблю его достаточно благоговейной любовью, чтобы сказать о нем всю правду. Он — самый родной и близкий из всех русских и всемирных писателей не мне одному. Он дал нам всем, ученикам своим, величайшее благо, какое может дать человек че-

ловеку: открыл нам путь ко Христу Грядущему. И вместе с тем, он же, Достоевский, едва не сделал нам величайшего зла, какое может сделать человек человеку,— едва не соблазнил нас соблазном Антихриста, впрочем, не по своей вине, ибо единственный путь ко Христу Грядущему — ближе всех путей к Антихристу. Мы одолеем соблазн, но, зная по собственному опыту всю его силу, мы должны предостеречь тех, кто идет за ним по тому же пути.

Не мы судим Достоевского, сама история совершает свой страшный суд над ним, так же как над всей Россией. Но мы, которые любили его, которые погибли с ним, чтобы с ним спастись, не покинем его на этом страшном суде: будем с ним осуждены или с ним оправданы. Суд над ним — над нами суд. Мы не обвинители, даже не свидетели — мы сообщники Достоевского.

Доныне казалось, что у него два лица — Великого Инквизитора, предтечи Антихриста, и старца Зосимы, предтечи Христа. И никто не мог решить, иногда сам Достоевский не знал, какое из этих двух лиц подлинное, где лицо и где личина. Мы уже знаем. Но чтобы увидеть лицо, надо снять личину. Я это и хочу сделать.

Только Достоевским можно обличить Достоевского, только Достоевским можно оправдать Достоевского. С ним я против него, с ним я за него. То, что я делаю, он сделал бы сам.

I

Однажды в детстве, будучи совсем один в ясный предосенний день на опушке леса, он услышал над собой, среди глубокой тишины, громкий крик: «Волк бежит!» и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал в поле, прямо на пашущего мужика Марeya; разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другой за его рукав. Тот успокоил его: «Что ты, что ты?.. какой волк?.. Померещилось... Уж я тебя волку не дам... Христос с тобой!» И мужик перекрестил мальчика «с почти материнскою улыбкою пальцами, запачканными в земле».

В этом воспоминании прообразована вся религиозная жизнь Достоевского. Маленький Федя вырос и сделался великим писателем. Вместе с Федей вырос и мужик Марей в великий «народ-богоносец». Но таинственная связь между ними осталась неразрывной. С тех пор часто слышал Достоевский страшный крик: «Волк бежит! Зверь идет! Антихрист идет!» — и каждый раз кидался к мужику Марeyо, вне себя от испуга. И тот защищал его и успокаивал «с почти материнскою улыбкою»: «Уж я те-

бя волку не дам! Христос с тобой!» И крестил. Это и было истинное крещение Достоевского — не в церкви, а в поле, не святой водою, а святой землею.

В чем же, собственно, сила мужика Марeya, спасающая от «волка», от Зверя-Антихриста? В святой Божьей земле, в сырой земле-матери, которая там, на последней черте горизонта, соединяется со святым Божиим небом. «Христианин — крестьянин», — объясняет сам Достоевский. В этом последнем грядущем, но совершившемся, но возможном соединении крестьянства с христианством, правды о земле с правдой о небе, заключается религиозная сила мужика Марeya. Он — древний Микула Селянинович, богатырь темных земных глубин, и в то же время — новый Святогор, богатырь горных, звездных вершин. Святой Егорий, победитель «Дракона, Змия древнего». Он — русский «народ-богоносец». Крестьянство есть христианство, а может быть, и наоборот: христианство есть крестьянство. Не старое, государственное, византийское, греко-российское, а юное, вольное, народное, мужичье христианство и есть «православие». Такова основная мысль Достоевского.

«Русский народ весь в православии. Более в нем и у него ничего нет, да и не надо, потому что православие — все. Православие — Церковь, а Церковь — увенчание здания и уже навеки. Кто не понимает православия, тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало того: тот не может и любить русский народ».

В этой основной мысли и основная ошибка Достоевского. Он принимает будущее за настоящее, возможное за действительное, свое новое апокалипсическое христианство за старое историческое православие.

Крестьянство хочет сделаться христианством, но не сделалось. Правда о земле хочет соединиться с правдой о небе, но не соединилась: для исторического христианства, православия, соединение это оказалось невозможным. И никогда еще до такой степени, как в настоящее время, крестьянство не было противоположным христианству. Тут в первобытном стихийном единстве народных верований что-то раскололось, дало трещину, и эта сперва малая трещина, постепенно углубляясь, сделалась наконец тою бездною, о которой говорит Достоевский: «вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездною».

Сила мужика Марeya в земле; но земля куда-то уходит от него. «Нет земли», эта, некогда тихая, жалоба, делаясь все громче и громче, превратилась наконец в отчаянный вопль, рев мятежа крестьянского и всенародного великой русской революции.

Вопит земля, а небо глухо. Земля залита кровью, а небо черно или красно от зарева пожаров. Христианство, уйдя на небо, покинуло землю; и крестьянство, отчаявшись в правде земной, готово отчаяться и в правде небесной. Земля — без неба, небо — без земли; земля и небо грозят слиться в одном беспредельном хаосе. И кто знает, где дно этого хаоса, этой бездны, которая вырылась между землей и небом, между крестьянством и христианством?

Из этой основной ошибки вытекают все остальные обманы и самообманы Достоевского.

Как в отношении своем к русскому престолярному христианству, так и в отношении этого христианства к просвещению вселенскому смешивает он будущее с настоящим, возможное с действительным, апокалипсическое с историческим.

«Окончательная сущность русского призвания заключается в разоблачении пред миром русского Христа, миру неведомого и которого начало заключается в нашем родном православии. По-моему, в этом вся сущность нашего могучего будущего цивилизаторства и воскрешения хотя бы всей Европы».

В чем же заключается особенность православия или, как Достоевский выражается, «русского Христа»?

Он дает несколько определений православия, но не может остановиться ни на одном.

«Во всей вселенной нет имени, кроме Его (Христа), которым можно спастись», вот будто бы «главная идея православия». Определение слишком широкое: оно обнимает не только православное, но и католическое, и протестантское, и всякое вообще христианское исповедание, ибо все они, точно так же, как православие, признают имя Христово единственно спасительным.

«Господи, Владыко живота моего» — в этой молитве вся суть христианства, а народ знает эту молитву наизусть. Главная же школа христианства, которую прошел он, это — века бесчисленных и бесконечных страданий.

Последнее определение, в противоположность первому, слишком узкое для религии самого Достоевского, хотя, может быть, и верное для православия.

Ведь если монашество в пору своего расцвета не сумело включить в себя зачаток светской культуры, то нет никакого основания думать, что теперь, в пору своего упадка, оно сумеет включить в покаянную молитву Исаака Сирина все необъятные горизонты современного европейского и всемирного просвещения. Ведь именно монашеский уклон, понимание христианства, как ухождения от мира, и было главною причи-

ною того, что Христос действительно ушел от мира, и мир ушел от Христа. Утверждать этот уклон, значит утверждать и это расхождение. Если бы Достоевский настаивал на последнем определении, то ему пришлось бы отказаться или от России с ее «русским Христом», или от Европы с ее вселенским просвещением? Ни того, ни другого он сделать не мог. Он искал другого определения, и действительно нашел более глубокое и точное для своей собственной религии, но для православия окончательно ложное.

Православие восточное есть будто бы всемирное духовное объединение людей во Христе. Западное, римско-католическое, папское христианство противоположно восточному. Западное воплощение идеи всемирного объединения «утратило христианское духовное начало». «Римским папством было провозглашено, что христианство и идея его без всемирного владения землями и народами не духовно, а государственно — другими словами, без осуществления на земле новой всемирной римской монархии, во главе которой уже не римский император, а папа,— осуществлено быть не может. Таким образом, в восточном идеале — сначала духовное единение человечества во Христе, а потом уже, в силу этого духовного соединения, и несомненно вытекающее из него правильное государственное и социальное единение; тогда как по римскому толкованию — наоборот: сначала заручиться прочным государственным единением в виде всемирной монархии, а потом уже, пожалуй, и духовное единение под началом папы, как владыки мира сего».

Тут неясность от двусмысленного употребления слова «государство». В первом случае, когда говорится о православии и вытекающем из духовного единения во Христе «правильном государственном единении», под «государством» разумеется нечто абсолютно противоположное тому, что обозначается теми же словами «государство» во втором случае, когда говорится о римском католичестве и об его отречении от христианского, «духовного начала» во имя «государственного владения землями и народами».

В первом случае «государство» понимается, как царство Божие, как теократия, то есть безгранично свободная, любовная общественность, отрицающая всякую внешнюю насильственную власть, и, следовательно, как нечто не похожее ни на одну из доньше существовавших в истории государственных форм; во втором случае «государство» разумеется как внешняя насильственная власть, как царство от мира сего,

царство дьявола — демонократия. Если бы устранить эту двусмысленность и довести до конца противоположение любовного, свободного единения людей единению насильственному, государственному, то получился бы для самого Достоевского неожиданный, но неминуемый вывод: совершенное отрицание всякой внешней государственной власти, всякого земного царства во имя единого Царя царствующих и Господа господствующих, совершенная анархия, конечно, не в старом, поверхностном, социально-политическом, а в новом, гораздо более глубоком, религиозном смысле, всемирная анархия как путь ко всемирной теократии, безвластие как путь к боговластию.

Но едва ли бы Достоевский решился утверждать, что теократическая анархия есть идеал восточного и в частности русского христианства, православия. А чего нет в религиозном идеале, того, конечно, нет и быть не может в религиозной действительности: безграничная покорность всем властям земным, совершенный отказ от любовной и свободной общечеловеческой, совершенное порабощение церкви государству — такова историческая действительность православия. На Западе происходила борьба духовной власти со светской, нового христианского идеала всемирной теократии с древнеримским, языческим идеалом всемирной монархии; римский первосвященник, для того чтобы превратиться в римского кесаря, должен был изменить своему первоначальному христианскому идеалу. На Востоке отречение от свободы Христовой в области общественной, победа языческого государства над христианской церковью произошла без всякой борьбы и без всякой измены, потому что и бороться было не с чем, изменять нечему, за отсутствием всякой идеи общественной святости в самом идеале православия. Историческая деятельность совершенно противоположна исторической схеме Достоевского: идея всемирного духовного единения человечества во Христе существовала, хотя и с неудачными попытками осуществления, только в западной половине христианства, в католичестве, тогда как в православии эта идея и не брезжила. Здесь, на Востоке, римский кесарь, самодержец в языческом смысле, «земной бог», «человекобог» — каким был до христианства, таким и остался в христианстве. И не было такого насилия, такого кощунства, такого непотребства самодержавной власти, которые не благословлялись бы православною церковью. Последний предел этой власти достигнут в естественном продолжении и завершении восточной римской империи — в русском самодержавии. И ежели государственная

власть пап Достоевскому кажется отречением от Христа, то русское самодержавие должно бы ему казаться прямым и широким путем в царство Антихриста.

А противопоставлять самодержавие папству, как духовную христианскую свободу — государственному языческому насилию, как теократию — демонократии, значит делать черное белым и белое черным.

Достоевский наконец понял, что, оставаясь на почве православия, нельзя найти вселенский смысл в «русском Христе». Тогда, оставив церковь, обратился он к русскому просвещению, к двум величайшим представителям его — Петру и Пушкину.

В преобразованиях Петра Достоевский находит «способность высоко синтетическую, способность всепримиримости, всечеловечности». «В русском человеке нет европейской непроницаемости. Он со всем уживается и во все вживается. Он сочувствует всему человеческому, вне национальности, крови и почвы. Он инстинктом угадывает общечеловеческую черту даже в самых резких исключительностях других народов: тотчас же соглашается, примиряет их в своей идее и нередко открывает точку соединения и примирения в совершенно противоположных сопернических идеях двух различных европейских наций».

«Допетровская Россия понимала, что нет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше, — православие, что она — хранилище настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других народах». Но «древняя Россия в замкнутости своей готовилась быть неправа. С петровской реформой явилось расширение взгляда беспримирное. Подобной реформы нигде никогда и не было. Это — почти братская любовь наша к другим народам; это — потребность наша всеслужения человечеству, даже в ущерб иногда собственным ближайшим интересам; это — нажитая нами способность в каждой из европейских цивилизаций или, вернее, в каждой из европейских личностей открывать и находить заключающуюся в ней истину. Там, в Европе, каждая народная личность живет лишь для себя и в себе, а мы начнем с того, что станем всем слугами, для всеобщего примирения. И в этом величие наше, потому что все это ведет к окончательному единению человечества. Кто хочет быть выше всех в царствии Божиим, стань всем слугой. Вот как я понимаю русское назначение в его идеале».

Ту же русскую особенность Достоевский видит в Пушкине: «мы поняли в нем (Пушкине), что русский идеал — всецелость, всепримиримость, всечеловечность».

Петр дал общественную, Пушкин — эстетическую форму русской «всечеловечности»; Достоевскому предстояло влить религиозное содержание в эту форму. Всечеловечество, как путь к Богочеловечеству, соединение света Христова с просвещением вселенским возможно только в том случае, если во вселенском просвещении скрыто начало света Христова, во всечеловечестве — Богочеловечество, которое христианскому сознанию и предстоит раскрыть во всей полноте. Причем недостаток или даже совершенное отсутствие этого христианского сознания в современной европейской культуре — в науке, философии, искусстве, общественности — не должно смущать: ведь главное отличие всечеловечества, как пути и средства, от Богочеловечества, как цели, и заключается именно в том, что в первом, во всечеловечестве, еще не соединено религиозным сознанием человеческое с Божеским, тогда как во втором, в Богочеловечестве, это соединение уже произошло окончательно. Достоевскому и предстояла задача соединить несоединенное, показать, что европейская культура, помимо Христа и даже как будто против Христа, все-таки идет ко Христу, от Христа Пришедшего ко Христу Грядущему, и что, следовательно, путь России и Европы, несмотря на все кажущиеся временные расхождения, один и тот же вечный путь.

Как же Достоевский разрешил эту задачу? Никак.

Едва успев ее поставить, тотчас же сам для себя закрыл все пути к ее разрешению.

«На Западе, воистину, уже нет христианства». «Европа отвергает Христа». В римском католицизме «продажа истинного Христа за царства земные совершилась». И в наследии католицизма, в социализме, этой попытке современного человечества «устроиться на земле без Бога», — закончилось будто бы то, что началось в католицизме, — сознательное отречение западного христианства от Христа.

Ежели это действительно так, ежели в Европе совершается не отречение Петра, который покается, когда пропоет петух, а отречение Иуды Предателя, ежели современное европейское просвещение — абсолютная ложь, царство Антихриста, то какое может быть «общение света с тьмою, Христа с Велиаром» — абсолютной истины с абсолютной ложью? И какое реальное значение имеет русская способность «находить в каждой из европейских цивилизаций заключающуюся в ней истину»?

Наука — главная творческая и движущая сила европейского просвещения. «Но в науке лишь то, — говорит старец Зосима, — что подвержено чувствам. Мир же духов-

ный, высшая половина существа человеческого, отвергнута вовсе, изгнана с неким торжеством, даже с ненавистью. Вслед науке хотят устроиться без Христа...» Достоевский признает, что Россия должна получить от Европы только внешнюю, прикладную сторону знания. «Но просвещения духовного нам нечего черпать из западноевропейских источников, за полнейшим присутствием источников русских... Наш народ просветился уже давно... Все, чего они желают в Европе, — все это давно уже есть в России — в виде истины Христовой, которая всецело сохраняется в православии». С таким принятием Европы согласилась бы, пожалуй, и старая Московская Русь. Но тогда зачем Петр? И какие могут быть отсюда пути к христианскому всечеловечеству?

Такой же смертный приговор произносится Достоевским над всюю общечеловечностью, над освободительным движением новой Европы. «Провозгласил мир, свободу, и что же мы видим в этой свободе? Одно лишь рабство и самоубийство».

В настоящем Европы, в ее промышленно-капиталистической жизни — «царство Ваала», бога крови и золота. «Да будет проклята цивилизация, если для ее сохранения необходимо сдирать с людей кожу. Но однако же это факт: для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу».

Будущее Европы еще безнадежнее настоящего. «В Европе все подкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно, на веки веков». «Она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного». «Пролетарии бросятся на Европу — и все старое рухнет навеки». «Германия — мертвый народ и без будущего». «Провалится Франция. Сами себя погубят. Таких даже и не жалко». «Уничтожатся французы... Останутся дикие, которые проглотят Европу. Из них подготавливается исподволь, но твердо и неуклонно, будущая бесчувственная мразь».

А к прошлому нет возврата. «Европа — кладбище. Дорогие там лежат покойники... Паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними — в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более».

Так вот что значит «почти братская любовь» России к Европе: любовь живого к мертвому. Русский образованный человек может целовать эти «старые чужие камни», плакать над ними и умиляться: «русскому Европа так же драгоценна, как Россия». Но что же делать русскому мужику Марею, Микуле Селяниничу с европейским кладбищем? Разве только смести мертвые камни, мертвые кости, «осколки

святых чудес» и вспахать для нового русского сева старую европейскую землю, утучненную прахом «дорогих покойников». Вся Европа — только затонувший материк, древняя Атлантида, которую зальет волнами русский океан. Если это и любовь, то от такой любви не поздоровится!

Кажется, сам Достоевский иногда чувствовал, что его необыкновенная «всечеловеческая» любовь к Европе похожа на необыкновенную человеческую ненависть. «Если бы вы знали,— пишет он приятелю из Дрездена в 1870 г.,— какое кровное отвращение до ненависти возбудила во мне к себе Европа за эти четыре года. Господи, какие у нас предрассудки насчет Европы!.. Пусть они ученые, но они ужасные глупцы... Здешний народ грамотен, но до невероятности необразован, глуп, туп, с самыми низменными интересами».

Кажется, Достоевский чувствовал и то, что на такую любовь Европа не может ответить России ничем, кроме ненависти. «В Европе все держат против нас камень за пазухой». «Европа нас ненавидит». «Европа презирает нас, считает низшими себя, как людей, как породу, а иногда мерзим мы им, мерзим вовсе, особенно, когда им на шею бросаемся с братскими поцелуями». «Мы для них не европейцы, мешаем мы им, пахнем нехорошо». Всех славян вообще «Европа готова заваривать кипятком, как гнезда клопов в старушечьих деревянных кроватях». «Там (в Европе) порешили давно уже покончить с Россией. Нам не укрыться от их скрежета, и когда-нибудь они бросятся на нас и съедят нас».

В заключение совет — чтобы не быть съеденными, самим съесть Европу. Таково наше христианское «всеслужение человечеству». Но мы ли съедем Европу, или Европа съест нас, во всяком случае этот русский скрежет уже тем омерзительнее европейского, что прикрывается «братскими поцелуями», от которых действительно «нехорошо пахнет». На эти поцелуи «русскому Христу» Христос вселенский мог бы ответить: друг, целованием ли предаешь Сына Человеческого?

Начав за здравие, Достоевский кончает за упокой не только европейской, но и русской Европы — русской интеллигенции. Тут в его суждениях такое же противоречие между первой посылкой и последним выводом, как и в суждениях о западно-европейской культуре. Посылка: истина всечеловечности, заключенная в русской интеллигенции, должна быть соединена с истиной Христовой, заключенной в русском народе. Вывод: у русской интеллигенции нет никакой истины, никакого возможного соединения с православным «русским Христом»; для того чтобы соединиться с на-

родом, русская интеллигенция должна отречься от своей последней сущности — от Европы.

«Мы (русские интеллигенты),— говорит Достоевский,— заключаем в себе великие русские начала общечеловечности и всепримиримости». «Но мы сознали, что идти далее нам одним нельзя, что в помощь нашему дальнейшему развитию необходимо мы нам и все силы нашего русского духа. Мы приносим на родную нашу почву образование, показываем прямо и откровенно, до чего мы дошли с ним и что оно из нас сделало. А затем будем ждать, что скажет вся нация, приняв от нас науку». «Мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего — и мысли и образа. Но преклониться мы должны под одним лишь условием, чтобы народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой. Не можем же мы совсем перед ним уничтожиться, и даже перед какой бы то ни было его правдой; наше пусть остается при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже, в крайнем случае, и за счастье соединения с народом. В противном случае, пусть уже мы оба погибнем врознь».

Такова посылка, а вот вывод.

По поводу унтер-офицера, Фомы Данилова, попавшегося в плен к туркменам и замученного за православную веру, Достоевский восклицает: «Это эмблема всей России, всей наше народной России!» «Нам (русским интеллигентам) вовсе и нечему учить такой народ». «О, конечно, мы образованнее его, но чему мы, однако, научили его — вот беда! Я, разумеется, не про ремесла говорю, не про технику, не про математические знания — этому и немцы заезжие по найму научат. А мы чему?.. У народа есть Фомы Даниловы, и их тысячи, а мы совсем и не верим в русские силы, да и неверие это считаем за высшее просвещение и чуть не за доблесть». «Нам даже и невозможно уже теперь сойтись с народом, если только не совершится какого чуда в земле Русской». «И тут прямо можно поставить формулу: кто не понимает православия, тот никогда не поймет народа нашего. Мало того: тот не может и любить народа русского».

Но ведь это формула не соединения, а разъединения. Русский интеллигент, пока остается самим собою, то есть русским европейцем, не может понять православия, так же как Европа не понимает его. А следовательно, не может понять и русского народа. Остается «погибать врознь». Достоевский, впрочем, надеется, что погибающий интеллигент в последнюю минуту, как маленький Федя, испуганный волком, бросится к мужику Марею, уцепится за него и

будет им спасен, но, разумеется, только ценою отречения от своей интеллигентской, европейской сущности.

Как бы то ни было, Достоевскому не удалось определить «русского Христа» ни из русского и вселенского христианства, ни из русского и вселенского просвещения — всечеловечности. После всех тщетных попыток определения получился безвыходный круг неопределенности, уравнения с двумя неизвестными: православие есть всечеловечность, всечеловечность есть православие; $x=y$, $y=x$.

Эта невозможность определить свою религию происходит у Достоевского не от бессилия религиозного сознания, а от противоречия между этим сознанием, которое во что бы то ни стало хочет быть православным, и бессознательными религиозными переживаниями, которые в православие не вмещаются.

Противоречие, видимое уже и в отвлеченном созерцании, во всемирно-исторической схеме, которой Достоевский старался определить отношение России к Европе, — обнаруживается окончательно в реальной действительности, в современной международной политике, в которой мечтал он воплотить эту всемирно-историческую схему, — особенно в статьях по восточному вопросу из Дневника Писателя за 1876—77 год, накануне и во время русско-турецкой войны.

«Константинополь должен быть наш», — неожиданно заключает Достоевский проповедь о смиренном «всеслужении» русского народа человечеству. «Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки», — повторяет он в то время русско-турецкой войны. «Спасение именно в том, если Россия займет Константинополь одна, для себя, за свой счет». «Вовсе не для политического захвата и насилия».

Пусть «не для», но ведь и не без «политического захвата и насилия», не без кровопролитной, может быть, всеевропейской войны. «Восточная война, — предсказывает Достоевский, — сольется со всеевропейскою, и даже лучше будет, если так разрешится дело. О, бесспорно страшное будет дело, если прольется столько драгоценной человеческой крови... Но пролитая кровь спасет Европу».

«Спасет ли пролитая кровь?» — ставит он тот же вопрос, как в «Преступлении и наказании», и в области общественной дает тот же страшный ответ, как нигилист Раскольников в области личной: «разрешает себе кровь по совести».

«Разумеется, это грустно, но что же делать, если это так. Уж лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока». «Человечество любит войну: тут потребность... Дол-

гий мир ожесточает людей, производит разврат». «Война очищает зараженный воздух, лечит душу, прогоняет позорную трусость и лень». «Без войны провалился бы мир, или по крайней мере, обратился бы в какую-то слизь, в какую-то подлую слякоть, зараженную гнилыми ранами». «Война необходима... Это возмутительно, если подумать отвлеченно, но на практике выходит, кажется, так».

А христианство? «Христианство само признает факт войны и пророчесствует, что меч не пройдет до кончины мира... Война разбивает братолюбие и соединяет народы».

В этом оправдании войны скрыт софизм, достойный Великого Инквизитора. Что «пролитая кровь спасает», доказано жертвою Голгофы. Но освящать именем Христовым пролитие не своей, а чужой крови — значит не со Христом распинаться, а распинать Христа; освящать войну, всемирное человекоубийство именем христианства — значит распинать Богочеловека в Богочеловечестве.

Социалисты, по уверению Достоевского, «хотят залить мир кровью», и он за это считает их бесноватыми; но ведь и сам он того же хочет, с тою лишь разницей, что революционеры, подобные Шигалеву, требуют «сто миллионов голов» во внутренней, — а реакционеры, подобные Достоевскому, во внешней политике. И не с тем же ли правом, с каким он восклицает: «да будет проклята цивилизация, если для ее сохранения необходимо сдирать с людей кожу», — можно бы воскликнуть: «да будет проклято христианство, если для его сохранения необходимо сдирать с людей кожу»?

Остается только утешаться тем, что сдирание кожи с еретического человечества спасает православное «всечеловечество». «Это возмутительно, если подумать отвлеченно, но на практике выходит, кажется, так».

Римское католичество, по мнению Достоевского, «возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, тем самым провозгласило Антихриста». Но не то же ли самое делает и православие Достоевского, который только и мечтает о царстве земном, о всемирной римской монархии?

«Москва (Россия) еще третьим Римом не была, а между тем должно же исполниться пророчество: без Рима мир не обойдется».

Константинополь и должен быть третьим русским Римом, главою новой всемирной монархии. «Константинополь должен быть наш», по праву византийского двуглавого орла, древнего герба России, по праву наследия восточной Римской империи. Русский «православный царь» и есть восста-

новитель этой империи и, «когда прогремит веление Божие,— освободитель православия от мусульманского варварства и западного еретичества».

Кстати, сопоставление «западного еретичества», то есть, в сущности, всего западноевропейского просвещения с «мусульманским варварством», как двух темных царств, побеждаемых единым светлым царством православия,— находится в бездонном противоречии с тем, что Достоевский говорит о преобразовании Петра Великого, как явлению русской «всечеловечности». Тут, впрочем, что ни мысль, то провал в бездонное противоречие.

Завоевание Константинополя только первый шаг России в Азию, по следам всех великих завоевателей, ибо только там, в Азии, над колыбелью и гробом человечества возможно последнее всемирное единение человечества, всемирная монархия. И Достоевский предсказывает для России «необходимость в захвате Азии». «В Азию! В Азию! — как будто бредит он в предсмертном дневнике.— Пронесется гул по всей Азии, до самых отдаленных пределов ее. Пусть в этих миллионах народов, до самой Индии, даже и в Индии, пожалуй, растет убеждение в непобедимости Благого Царя и в несокрушимости меча его... Имя Благого Царя должно стоять превыше ханов и эмиров, превыше Индийской императрицы, превыше даже самого калифова имени».

Наполеон шел в Азию. Он казался русскому мужику Марюю «Антихристом». Но Достоевский все-таки жалеет, что «в двенадцатом году, выгнав от себя Наполеона, мы не помирились с ними, под условием, чтоб у нас был Восток, а у него Запад». Мы разделили бы мир пополам, конечно, только до времени, пока обе половины старого мира не соединились бы в новый третий русский Рим.

Разумеется, для такого соединения Европы с Азией «всеевропейская война» должна сделаться всемирною, должны пролиться уже не реки, а моря «драгоценной человеческой крови». Но над этими морями крови и произойдет «настоящее воздвижение Креста Христового»; это и будет «окончательное слово Православия, во главе которого давно уже стоит Россия».

Такова «братская любовь России к другим народам» — не только в религиозном созерцании, но и в политическом действии, не только в теории, но и на практике: Россия проглотит сначала Европу, потом Азию и, наконец, весь мир. Это любовь даже не живого к мертвому, а хищного зверя к добыче, хищной птицы к трупу. «Где труп, там соберутся орлы». Вселенная — труп. И русский двуглавый орел на-

сытится трупом вселенной.

Берет Его дьявол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если падши поклонисься мне.

В кровавом бреду Достоевского о всемирной русской монархии «русский Христос» поклонился дьяволу:

«Взявший меч от меча погибнет. Нет, непрочно мечом составленное... После такого духа, веритьясь идее меча, крови, насилья»... Это сказал Достоевский о Германии, и это можно бы сказать о нем самом.

«Нам нужна война и победа». «Россия, особенно теперь, самая сильная из всех стран в Европе». «Об такую силу разбилась бы вся Европа». «Россия удивит мир». «Россия непобедима ничем в мире».

Какою жалкою кажется эта гордыня теперь, когда взявший меч от меча погибает.

О Русь! Забудь былую славу.
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.
Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть,
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.

Мы упали в яму, которую рыли другим. В то время как думали, что вселенная — труп, мы сами были уже почти труп; в то время как мечтали «русским Христом» воскрешать вселенную, от нас самих уже отступил Христос. И ежели такой человек, как Достоевский, впал в искушение, значит действительно мы были на краю гибели.

Господь наказал нас — и слава Господу! Выпьем же чашу гнева Господня до дна, ибо на дне спасение.

II

В политическом действии нашел Достоевский то, чего не мог найти в религиозном созерцании,— определение православия.

Это определение дает в «Бесах» раскаявшийся нигилист Шатов нераскаянному нигилисту Ставрогину, повторяя его же собственные, давнишние мысли.

«Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога,— Бога своего, непременно собственного, и вера в Него, как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Чем сильнее народ, тем особеннее его Бог. Всякий народ до тех пор и народ, пока имеет своего Бога особого, а всех остальных на свете

богов исключает безо всякого примирения; пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Если великий народ не верует, что в нем одна истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своей истиной, то он тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь Бога истинного. Единый народ — «богоносец» — это русский народ».

Можно бы сомневаться, разделяет ли эти мысли своего героя Достоевский, если бы не повторял он их в «Дневнике писателя».

«Всякий великий народ верит и должен верить, что в нем-то и только в нем одном и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной... Великое самомнение, вера в то, что хочешь и можешь сказать последнее слово миру, есть залог самой высшей жизни наций».

Итак, православие, истинное христианство, по мнению Достоевского, есть «великое самомнение» русского народа, вера его в себя самого, как в Бога, потому что русский бог, «русский Христос» — не что иное, как «синтетическая личность» русского народа. Вместо прежней формулы: «русский народ весь в православии» — получается новая, обратная: все православие в русском народе. Только тогда, когда Россия своим богом, своим Христом «победит и изгонит из мира всех остальных богов и христов», «русский Христос» делается вселенским.

Мы думали, что христианство — истина вселенская; но вот оказывается, что христианство истина одного народа избранного, русского народа-богоносца, нового Израиля.

Когда христиане называют евреев «жидами», они произносят хулу на Христа во чреве Матери Его, в тайне Рождества Его, во святом Израиле. Истинные «жиды» — не евреи, а те христиане, которые возвращаются от Нового завета к Ветхому, от Христа вселенского к Мессии народному. О каждом народе можно сказать то же, что о каждом человеке: народ, который хочет сохранить свою душу, свою исключительную народную истину, — потеряет ее; а тот, который потеряет ее ради вселенской истины, — сохранит ее. Каждый народ должен отречься от себя, от своей «синтетической личности, от своего особого бога», должен сделаться жертвою за все другие народы, умереть, как народ, во всечеловечестве, для того чтобы воскреснуть в Бо-

гочеловечестве. Каждый народ должен со Христом сораспяться, чтобы со Христом воскреснуть. А народ, который утверждает свое первенство на том, чтобы не самому быть слугою всем, а чтобы все были слугами ему одному, который не собою жертвует всем, а всеми жертвует себе, такой народ не со Христом распинается, а распинает Христа, Богочеловека — в Богочеловечестве. Это и есть подлинное «жидовство» — «жидовство вместо некогдашнего христианства», как выразился однажды Достоевский о современной Европе с ее царством еврейской биржи, и как можно бы выразиться с гораздо большим правом о национально-исключительном, суженном, «обрезанном», жидовствующем православии самого Достоевского.

Но тут есть и нечто худшее.

«Вы низводите Бога до простого атрибута народности» — это возражение Ставрогина Шатову совершенно справедливо; а оправдание Шатова: «напротив, я народ возношу до Бога, народ есть тело Божие» — ни на чем не основано. Ежели Бог только «синтетическая личность народа» и не более, то не народ есть тело Божие, а Бог есть тело, воплощение народной души; не народ получает бытие от Бога, а Бог — от народа. Не Бог создал народ, а народ и вообще род человеческий, человек создал Бога, по образу и подобию своему. Народ — абсолютное; Бог — относительное. Значит, все религии — только мифологии, только мнимо божественные подобию человеческой истины. Значит, прав атеист Фейербах, утверждающий, что человек поклоняется в Боге себе самому до тех пор, пока не сознает, что сам он, человек, и есть Бог и что нет иного Бога, кроме него.

Человек станет Богом — это откровение Человекобожества, совершенно противоположное откровению Богочеловечества: Бог стал Человеком.

Но Ставрогин и Шатов, а вместе с ними, кажется, и сам Достоевский, смешивают оба откровения в соблазнительном учении о новом Израиле, русском народе-богоносце, в учении о народобожестве, которое есть открытое человекобожество: делать Богом народ или даже весь род человеческий — такое же отступление от истинного Бога, как делать человека Богом. Недаром Ставрогин одновременно проповедует Шатову мнимое Богочеловечество, а Кириллову подлинное человекобожество, находя «совпадение красоты в обоих полюсах», а последней религиозной истины не находя ни в одном из них, потому что для него последняя истина та, что Бога нет. Но и Шатов, приняв учение о русском Христе, как собирательной личности русского наро-

да, недалеко ушел от той же последней истины.

«— Чтобы сделать соус из зайца — надо зайца, чтобы уверовать в Бога — надо Бога.

— Ваш-то заяц пойман ли, аль еще бега-ет? — спрашивает Ставрогин.

— Не смейте меня спрашивать такими словами, спрашивайте другими, другими! — весь вдруг задрожал Шатов.

— Извольте другими, — сурово посмотрел на него Николай Всеволодович. — Я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?

— Я верую в Россию, я верую в православие... Я верую в тело Христово... Я верую... — залепетал в испуге Шатов.

— А в Бога? В Бога?

— Я... я буду веровать в Бога».

Вот страшное признание: неужели не только Шатова, но и самого Достоевского? Можно верить в православие, не веря в Бога. Но, кажется, последний ужас в том, что, веря в «русского Христа», «русского Бога», нельзя верить в истинного Бога-Слово, во Христа вселенского. Мнимое Богочеловечество, «народобожество», так же как и подлинное человекобожество, есть неизбежный путь к безбожию.

Религиозная трагедия Достоевского в том, что его истинная религия — не православие; но он думал, что «неправославный не может быть русским», а ему нельзя было ни на минуту отойти от России, как маленькому Феде, напуганному вещим криком «волок бежит!», нельзя было ни на минуту отойти от мужика Марая. Маленький Федя ошибся: этот вещий крик раздался не около него, а в нем самом; это был первый крик последнего ужаса: Зверь идет, Антихрист идет! От этого ужаса не мог его спасти мужик Марей, русский народ, который, сделавшись «русским Христом», двойником Христа, сам превратился в Зверя, в Антихриста, потому что Антихрист и есть двойник Христа.

III

В самодержавии завершилось для Достоевского то, что началось в православии, — смещение человекобожества с богочеловечеством.

«Народ наш — дети царевы, а царь им отец. Тут идея глубокая и оригинальная; тут организм живой и могучий, организм народа, слиянного со своим царем воедино. Царь для народа не внешняя сила, не сила какого-нибудь победителя, а всенародная, всеединяющая сила, которую сам народ восхотел, которую вырастил в сердцах своих, за которую претерпел, потому что от нее только одной ждал исхода своего

из Египта. Для народа царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и верований. Отношение русского народа к Царю своему есть самый особый пункт, отличающий народ наш от всех других народов Европы и всего мира; это не временное только дело у нас, не преходящее, но вековое, всегдашнее и никогда оно не изменится. Идея же эта заключает в себе такую великую у нас силу, что, конечно, повлияет на всю дальнейшую историю нашу, а так как она, идея эта, совсем особливая и как ни у кого, то и история наша не может быть похожа на историю других европейских народов. Если хотите, у нас в России и нет никакой другой силы, зиждущей, сохраняющей и ведущей нас, как эта органическая живая связь народа с царем своим, и из нее у нас все и исходит».

Как примирить утверждение Достоевского: «русский народ весь в православии, больше у него нет ничего, да и не надо, потому что православие все» — с этим новым утверждением: русский народ весь в самодержавии, больше у него нет ничего, да и не надо, потому что самодержавие все? Или оба эти утверждения друг другом уничтожаются, или сводятся к третьему: самодержавие и православие в своей последней сущности одно и то же. Самодержавие — тело, православие — душа. Самодержавие — такая же абсолютная, вечная, божественная истина, как православие. Это и есть то «новое слово», которое русский «народ-богоносец» призван сказать миру.

Самодержавие вместе с православием получила Россия от Византии, от второго христианского Рима, который, в свою очередь, получил его от первого Рима языческого. Уже и там, в язычестве, идея самодержавия, в последней глубине своей, была идея не только политическая, но и религиозная. Беспредельная власть кесаря над Римской всемирной империей, власть одного человека над всем человечеством казалась властью божеской, и человек, обладавший этой властью, казался не человеком, а богом, земным богом, равным Богу Небесному. Произошел апофеоз римского кесаря: Divus Caesar, Кесарь Божественный, Кесарь-Бог, Человек-Бог. Но под личиною Бога скрывалось лицо Зверя — Нерона, Тиберия, Калигулы. И в то самое мгновение, когда на лучезарной вершине империи, в чертогах римских кесарей человек стал богом, в темной подземной глубине ее, в пещере Вифлеемских пастухов, Бог стал Человеком — родился Христос. По слову Достоевского, «произошло столкновение двух самых противоположных идей, которые только могли

существовать на земле: Человекобог встретил Богочеловека, Аполлон Бельведерский — Христа».

Чем же разрешилось это столкновение? Кто победил? Никто. «Явился компромисс», отвечает сам же Достоевский. «Компромисс», то есть чудовищная сделка между Богочеловеком и Богом-Зверем. Пока самодержавие оставалось языческим, христианские мученики умирали, чтобы не поклониться Зверю в лице Кесаря. Но когда самодержавие приняло «христианство», разумеется, только по имени, ибо в существе своем царство Зверя не может быть царством Христа, тогда Церковь, в свою очередь, приняла самодержавие, поклонилась римскому Кесарю, благословила Зверя именем Христа. Достоевский утверждает, будто бы это поклонение совершилось только на Западе, в католичестве, а отнюдь не на Востоке, не в православии. Но мы уже видели, что утверждение это — обман или самообман Достоевского. Как на Западе, так и на Востоке совершалось одно и то же, хотя и в двух противоположных направлениях: на Западе церковь претворялась в государство, папа, христианский первосвященник, делался римским кесарем; на Востоке государство претворяло в себя, поглощало церковь, римский кесарь делался христианским первосвященником, главою церкви, «крайним судьей дел церковных», по выражению Петра Великого в Духовном Регламенте Св. Синода. Но здесь и там произошло одинаковое смешение кесарева и Божьего, с той лишь разницей, что на Западе попыткой теократии, хотя и неудачною, борьбою духовной власти со светскою, пап с императорами, была истощена и ослаблена религиозная идея римской империи; тогда как на Востоке эта идея, не встречая никаких препятствий, развивалась, выростала и достигла наконец своего последнего всемирно-исторического завершения в Третьем Риме, в русском «православном самодержавии». Древняя языческая личина Человекобожества заменилась новою христианскою личиною Богочеловечества; но лицо осталось то же — лицо Зверя. И нигде в мире царство Зверя не было таким свирепым, безбожным и кощунственным, как именно здесь, в русском самодержавии.

Православная церковь сама не знает, что творит, когда называет наследников римского Зверя «Помазанниками Божиими», то есть «Христами», потому что Христос и значит «Помазанник Божий». Но если бы она когда-нибудь узнала это и все-таки не отреклась от самодержавия, то могла бы сказать о себе то, что Великий Инквизитор Достоевского говорит

Христу о римской церкви.

«Мы не с Тобой, а с ним (с дьяволом), вот наша тайна!.. Мы взяли от него то, что Ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал Тебе, показав Тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч Кесаря».

Чем же, как не мечом Кесаря, православное самодержавие должно завоевать Константинополь и основать последний — третий Рим, «залив мир кровью»? Что лицо самодержавия во внешней политике, обращенное ко всем народам, есть лицо Зверя, в этом, кажется, сам Достоевский не сомневался. Но он, вместе с тем, думал, что в политике внутренней, обращенной к России, лицо Зверя становится лицом Бога.

«У нас гражданская свобода,— уверяет он,— может водвориться самая полная, полнее, чем где-либо в мире, в Европе или даже в Северной Америке, и именно на этом же алмазном основании (на самодержавии) она и созиждется. Не письменным листом утвердится, а созиждется лишь на детской любви народа к Царю, как к отцу, ибо детям можно многое такое позволить, что и немислимо у других, у договорных народов, детям можно столь многое доверить и столь многое разрешить, как нигде еще не бывало видано, ибо не изменяет дети отцу своему». «Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду».

Слова о серых зипунах — намек на земский собор. Говорят, Достоевский боялся, что цензура запретит эти слова. «Не пропустят — и все пропало»,— восклицал он будто бы в смертельной тревоге.

Пропустили, но это ничего не спасло. Кажется, впрочем, самим Достоевским чувствовалось что-то неладное в этих мыслях о доверии царя к народу, что-то похожее не столько на «алмазное основание», сколько на ту бездну, над которою Медный Всадник Россию «вздернул на дыбы».

«Я слуга царю. Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит»,— писал он в своей записной книжке за несколько дней до смерти.

Почему же так долго не верит и может ли вообще когда-нибудь поверить? — вот вопрос, который должен бы решить Достоевский, но не успел — умер. И только что он умер, грянуло 1 марта, первый громовой удар Великой русской революции. Четверть века эта гроза собиралась и разразилась наконец только теперь, накануне

двадцатипятилетней тризны Достоевского.

Народ все ждал, когда-то царь поверит, и, может быть, думал, как Достоевский: «что-то уж очень долго не верит». Народ не дождался царя: царь не пошел к народу, и тогда народ пошел к царю.

9 января 1905 года, в лице сотен тысяч русских рабочих, которые шли по петербургским улицам на площадь Зимнего дворца, с детьми и женами, с образами и хоругвями, весь русский народ шел к царю своему, как дети к отцу, с верою в него, как в Самого Христа Спасителя. «Такому ли народу отказать в доверии?» Казалось бы, стоило только ответить верой на веру — и совершилось бы чудо любви, чудо соединения царя с народом. Казалось бы, так, по Достоевскому. Но — увы! — мы знаем, что произошло и чем ответила власть народу, любовь отчая детской мольбе. Народоубийством, детоубийством. И в том вина — не какого-либо отдельного самодержца, а всего «православного самодержавия», всего «христианского государства», от Константина Великого до наших дней.

И лицо русской земли залито русскою кровью. И под личиной Христа народ увидел лицо Зверя.

«Зверь идет! Антихрист идет!» — если бы теперь снова, услышав этот вещий крик, Достоевский, как некогда маленький Федя, бросился к мужику Марей, то нашел ли бы у него защиту? И не оказался ли бы сам он, мужик Марей, то есть весь русский народ, в таком же беспомощном ужасе, как Достоевский, перед Грядущим Зверем?

Ибо что такое в своих последних религиозных и метафизических основах вера православного народа в православного царя? В самодержавие народ верит, как в последнее соединение крестьянства с христианством, правды о земле с правдой о небе: царь будто бы даст народу землю и установит правду Божию на земле, соединит человеческое или человекобожеское, — это не решено, не отвечено и даже не спрошено. Но самая возможность такого вопроса указывает на опасность страшного соблазна и смещения в идее самодержавия: ведь ежели действительно русский царь призван соединить земное с небесным, человеческое с Божеским, значит, это соединение еще не совершилось во Христе Пришедшем, в Богочеловеке, и русскому самодержцу предназначено исполнить то, чего будто бы не исполнил Христос; значит, русский царь, разумеется, не какой-либо пришедший, а грядущий царь, Кесарь Третьего Рима, новой всемирной монархии, и есть «русский Христос, еще миру неведомый», как и утверждает

сам Достоевский: «Россия воскресит Европу русским Христом, еще миру Неведомым». И по другой формуле: «Бог есть синтетическая личность народа», а «русский царь есть воплощение личности русского народа», выходит опять-таки, что «русский Бог», «русский Христос» есть русский царь. Но ведь это уже не христианство, а хлыстовство. От веры в Мессию народного, воплощенного в целом народе-богоносце, к вере во Христа, воплощенного в отдельном человеке-богоносце, в Царе — то есть от жидовства к хлыстовству — таков путь Достоевского от православия к самодержавию.

И этот второй грядущий «русский Христос» не только отличен от первого, пришедшего, вселенского Христа, но и противоположен Ему: Тот, первый, отделил будто бы правду небесную от правды земной; а этот, второй, соединит их. Тот пришел для того, чтобы спасти только немногих, избранных, а этот придет, чтобы «спасти всех». «Ты придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, — говорит Великий Инквизитор Христу Пришедшему, — но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех».

И не противоположен ли второй Христос первому именно так, как Человекобог противоположен Богочеловеку, Зверь — Христу? Последняя тайна Великого Инквизитора в этом признании: «мы не с Тобой, а с ним» — не со Христом, а со Зверем. И последняя тайна, последний ужас православного самодержавия не в том ли, что самодержец — самозванец Христа?

О самозванце говорит в «Бесах» революционер Петр Верховенский Николаю Ставрогину, как будто предвосхищая и продолжая мысли Великого Инквизитора:

«— Я думал отдать мир папе... Надо только, чтобы с папой интернационал согласился: так и будет. Да другого ему и выхода нет... Слушайте, папа будет на западе, а у нас будете вы».

Кстати, эта абсурдная мечта Верховенского отчасти совпадает с не менее, может быть, безумною мечтою Достоевского:

«Константинополь (то есть Третий русский Рим, столица новой всемирной монархии) может послужить хоть на время подножием нового папы», то есть, конечно, русского и вселенского патриарха или русского и тоже вселенского царя-первосвященника.

«— Папа будет на западе, а у нас будете вы. Мы провозгласим разрушение... Мы пустим пожары... Мы пустим легенды... Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого?

- Кого?
- Ивана-царевича.
- Кого-о?

— Ивана-царевича: вас, вас!

Ставрогин подумал с минуту.

— Самозванца? — вдруг спросил он, в глубоком удивлении, смотря на иступленного. — Э, так вот, наконец, ваш план!

— Мы скажем, что он "скрывается", — тихо, каким-то любовным шепотом проговорил Верховенский, в самом деле, как будто пьяный. — Знаете ли вы, что значит это слово: "он скрывается"? Но он явится, явится. Мы пустим легенду, получше чем у скопцов. Он есть, но никто не выдал его. О, какую легенду можно пустить! А главное — новая сила идет. А ее-то и надо, по ней-то и плачут. Ну, что в социализме: старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила, да еще какая — неслыханная! Нам ведь только на раз рычаг, чтобы землю поднять. Все подымется!.. Слушайте, я вас никому не покажу, никому: так надо. Он есть, но никто не выдал его — он скрывается. А знаете, что можно даже и показать, из ста тысяч одному, например. И пойдет по всей земле: "видели, видели". И Данилу Филипповича, бога-саваофа, видели, как он в колеснице на небо вознесся пред людьми, "собственными" глазами видели. А вы не Данила Филиппович; вы красавец, гордый как бог, ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы, "скрывающийся". Главное, легенду! Вы их победите, взгляните и победите. Новую правду несет и "скрывается". И застонет стеною земля, и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить мы будем, мы, одни мы!..

— Неистовство! — проговорил Ставрогин.

Да, «неистовство». Но разве вся история русского самодержавия — не самое фантастическое и самое реальное «неистовство»? Во всяком случае, это не что-то трезвое, умеренное и благоразумное, «конституционно-демократическое», а пьяное, дикое, как тот огненный бред, из которого родились легенды скопцов и хлыстов о боге-саваофе, «сокатившем» с неба на землю. Петр Верховенский, гениальнейший из русских революционеров, первый понял, что в русском самодержавии, которое донныне казалось только силою реакционною, задерживающей, скрывается величайшая разрушительная революционная сила. Революция не что иное, как обратная сторона, изнанка самодержавия; самодержавие — не что иное, как изнанка революции. Анархия и монархия — два различные состояния одной и той же *prima materia* «первого вещества» — насилия, как

начала власти: насилие одного над всеми — монархия, всех над одним — анархия. Постоянный и узаконенный ужас насилия, застывший «белый террор», обледенелая, кристаллизованная анархия и есть монархия; расплавленная монархия и есть анархия. Мы это видим на опыте, в том, что перед нашими глазами теперь происходит: тающая глыба самодержавия течет огненною лавою революции.

«Романов, Пестель или Пугачев?» — таким вопросом Бакунин озглавил одну из своих статей, в которой, между прочим, доказывал, что русский царь мог бы спасти, по крайней мере, на время, самодержавие, если бы стал во главе русской и всемирной социальной революции. Выкинув среднего, слишком срединного, Пестеля и оставив двух крайних, получим вопрос: Романов или Пугачев, самодержец или самозванец? — вопрос монархиста Достоевского, совпавший с вопросом анархиста Бакунина.

Из русской истории мы знаем, как трудно иногда отличить самодержца от самозванца. Каждый пришедший царь оказывается вовсе не тем грядущим царем, которого ожидает народ, как Мессию. В этом смысле, каждый самодержец — самозванец воли народной. И если бы даже избрание царя совершилось по воле народа, то где ручательство, что воля эта совпадает с волею Божией, «с милостью Божией»? В соборном голосе церкви? Но церковь давно лишена соборного голоса; церковь обезглавлена царем, который стал сам «главою церкви», «крайним судиею» дел церковных. Помазание на царство совершается в церкви, но не церковью, а самим царем: это значит, что не только исторически, но и мистически каждый самодержец — самозванец.

С другой стороны, низвержение какой-либо династии еще вовсе не означает падения самодержавия в его последней мистической сущности. Перемена династии — дело исторического случая: были Рюрики, Шуйские, Годуновы, Романовы — почему бы не быть и Ставрогиным? От этого метафизическое существо дела не меняется. И не с большим ли правом, чем весьма многие исторические представители власти, мог бы оказаться «помазанником Божиим» Николай Ставрогин, этот подлинно русский «Иван-царевич», «красавец, гордый как бог»? Не с большим ли правом мог бы он повторить слова Наполеона: *Dio mi la donna; guai qui la tocca* (Бог дал мне корону; горе тому, кто к ней прикоснется). Или, по слову Платона: «пусть царствует гений». Ежели гений есть великая идея, в человеке воплощенная, — то со времени Петра Великого на престоле русских царей не было гения, равного Николаю Ставрогину, пророку двух величайших идей, которые когда-

либо существовали на земле, — Богочеловечества и Человекобожества. И ведь еще неизвестно, какую из этих двух идей противоположных, но для него одинаково истинных, воплотит он в своем самозванстве или самодержавии. Ежели идею о Богочеловечестве в русском народе-богососце, то что мог бы Достоевский возразить на такое самодержавие, чем бы мог он отличить такого самозванца от самодержца? Историческую невозможность? Но невозможность историческая не предвещает вопроса о возможности мистической. К тому же, по совершающимся перед нами невероятным событиям, мы все больше убеждаемся, да с этим и сам Достоевский спорить не стал бы, что в России все возможно.

Не казалась ли невозможностью и первая половина пророчества о русской революции? А между тем эта половина уже исполняется, почти исполнилась с ужасающей точностью: «такая раскачка пошла, какой еще мир не видал» и не сегодня завтра «рухнет балаган». Отчего бы не исполниться и второй половине пророчества — о самозванце?

Кто проливает кровь, тот переступает черту, отделяющую возможное от невозможного, действительное от призрачного. В том-то и ужас революции, что в них целые народы переступают эту черту крови и тем вовлекаются в область, где «все возможно». Когда же пролито столько крови, что земля уже не может выпить, и всюду стоят кровавые лужи, как лужи осенних дождей, тогда подымаются из них страшные силы, с чудовищными маравами, всемирно-историческими призраками. Один из таких призраков — «Иван-царевич», который уже есть, хотя никто его не видал, который «скрывается, но явится, явится». Он — вверху, вокруг него вожди религиозной всемирной революции, ученики Великого Инквизитора, «страдальцы, взявшие на себя подвиг познания добра и зла»; под ними — «шигалевщина», то есть военная диктатура пролетариата, социал-демократия, и наконец, в самом низу — «стомиллионное стадо счастливых младенцев», все человечество, «всемирное объединение людей» — в Богочеловеке или Человекобоге, это опять-таки не решено, не отвечено и даже не спрошено, это — последняя тайна Великого Инквизитора, «мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна».

В настоящем, по всей вероятности, очень раннем фазисе русской революции паразитически отсутствует идея религиозная. Как будто русский «народ-богососец» сделался безбожнейшим из всех народов, и крестьянство перестало быть христианством. Крестьянство ищет земли, только земли, как

будто окончательно забыв о небе и отчаявшись в правде небесной. Церковь что-то лепечет о Боге, но такое жалкое, что, кажется, сама себя не слышит и не понимает. Самодержавие, подписывая конституцию, и не вспомнило, что оно — «православное» и что нельзя ему отречься от своего помазания, не спросясь у тех, от кого оно приняло помазание. Об интеллигентных вождях революции и говорить нечего: для них религия — просто невежество.

Не только не способны они преодолеть религиозный соблазн, который заключен для народа в идее самодержавия, именно в кровной связи самодержавия с православием, но не подозревают о существовании этого соблазна. Мало того: сами соблазняются, подчиняются бессознательно религии самодержавия, когда, не успев развенчать царя, венчают на царство пролетариат или весь народ, как будто религиозное существо самодержавия, то есть власти человеческой, ставшей на место власти Божией, не одинаково в обоих случаях — в самодержавии царя, то есть в насилии одного над всеми, и в самодержавии народа, то есть в насилии всех над каждым: как будто не одинаковое отречение от Бога Небесного — признание какого бы то ни было «земного бога», его величества Кесаря, или его величества Народа, и как будто, наконец, «военная диктатура пролетариата» не должна привести неизбежно к военному диктатору, к Наполеону или Кромвелю, самозванцу или самодержцу. Был бы круг, будет и центр, было бы самодержавие, будет и самодержец.

Но отсутствие религиозной идеи в русской революции свидетельствует именно только о том, что ее настоящий фазис очень ранний. Как ни огромен поднявшийся вал, он все еще не возмутил последних глубин стихии народной. Как ни страшна буря над землею, она лишь слабый отзвук того, что происходит под землею: это одна из тех бурь, которые предшествуют землетрясениям.

Впрочем, и теперь уже русская революция — бессознательная религия, как и всякий великий переворот общественный, потому что во всякой революционной ответственности скрыто начало соборности и притом соборности вселенской — мечта «всемирного объединения человечества» в какой-нибудь последней, всечеловеческой истине, то есть начало бессознательно религиозное. В этом смысле душа русской революции — социал-демократия, уже и теперь соборно-вселенская и, следовательно, бессознательно религиозная. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — этот призывный клич, напоминающий крик жу-

равлей, нигде еще не раздавался с такой недостижимо далекой и торжественно-грозною, словно апокалипсической, надеждою или угрозою, как именно в русской революции.

Но самодержавие тоже религия. Когда оно будет низвергнуто окончательно, как строй политический, то обнажится его существо религиозное; когда оно умрет в политике, то воскреснет в религии: «он есть, но никто его не видал, он скрывается, но явится, явится» — «Царь Батюшка», «красное солнышко», грядущий Мессия народный, новый Папа и Кесарь Третьего Рима всемирной монархии, Кесарь Божественный, Кесарь-Бог, Человек-Бог. Власть одного, человекобожество прошлого кажется навеки противоположным власти всех, человекобожеству будущего; «зверь, выходящий из земли», монархия — навеки противоположным «зверю, восходящему из бездны», анархии. Но, может быть, оба зверя борются только до тех пор, пока не соединятся для борьбы с общим врагом — с Агнцем. Тогда-то снова в Третьем Риме, как некогда в Первом, «произойдет столкновение двух самых противоположных идей, которые когда-либо существовали на земле», — Человекобог встретит Богочеловека, Антихрист — Христа. Тогда-то исполнится и пророчество Великого Инквизитора: «Приползет к нам Зверь и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу и на ней будет написано: "Тайна". То, что я говорю Тебе, сбудется и царство наше соизжится».

Откуда самодержавие, все равно, царя или народа, откуда всякая власть человеческая, откуда всякое государство — от Христа или от Антихриста? — вот вопрос, который безмолвно, но неотразимо поставлен Великой русской и уже Всемирной революцией, в настоящем только социально-политической, в будущем — неизбежно и религиозной.

Вот из-за чего «взволновалось море», «затуманилась Русь» и «такая раскачка пошла, какой мир не видал».

И если на этот вопрос никто не ответит среди последнего немного ужаса, то мы, ученики великого учителя, великого пророка русской революции, Достоевского, ответим, как будто против него, а на самом деле за него:

Самодержавие — от Антихриста.

IV

Самодержавие от Антихриста! Сказать это без всяких оговорок — значит сделать слишком много чести самодержавию,

которое в современной исторической действительности своей, относительно религии невменяемо, безответственно; ему дела нет ни до Христа, ни до Антихриста; тут самодержавие, по русской поговорке, ни Богу свечка, ни черту кочерга.

Но, ставя вопрос об отношении самодержавия к религии, я говорю не об исторической действительности, а о мистической возможности. Чем ближе к своей вершине, тем самодержавие безбожнее; чем глубже в стихию народную, тем оно религиознее. Только там, в подземных глубинах этой стихии, огненных, но темных, происходит смешение Христа с Антихристом в идее самодержавия. «Православный царь-батюшка, красное солнышко» — сначала символ, образ, икона, потом одно из воплощений Христа и, наконец, воплощение совершенное, единственное — Сам Христос Грядущий, новый «русский Христос, миру ведомый». Человек становится иконою, икона — идолом, идол — Богом. Христианство подменяется хлыстовством, то есть непобежденным, несознанным, дохристианским язычеством. Неимверные апокалипсические чаяния вдруг, на какой-то последней высшей точке, срываются и падают в бездну апокалипсических ужасов. Тут в живом сердце народа величайшая истина сплетена с крепкими нитями, что, рассекая эти нити, легко ранить насмерть и самое сердце. Чтобы рассечь их, нужен до последней остроты заостренный на обе стороны, «обоюдоострый меч» сознания.

Достоевский вложил этот меч в наши руки. Сам он только и делал всю жизнь, что выковывал и оттачивал его, но не поднял в бою, потому ли, что не успел, или не наступил еще срок для последнего боя. Во всяком случае, одна черта отделяет сознание Достоевского от нашего религиозного сознания, от нашего религиозного действия — борьбы с Грядущим Зверем под личиной Господа Грядущего — в апокалипсических чаяниях и ужасах русского народа о самодержавии.

Когда мы поднимаем для этой борьбы, не нами начатой, этот меч, не нами отточенный, когда произносим это слово рассекающее: самодержавие от Антихриста, — мы говорим, повторяю, как будто против Достоевского, а на самом деле за него; мы делаем то, что он сделал бы сам, если бы довел до конца свое религиозное сознание.

В его последнем, величайшем и наиболее синтетическом, произведении, в «Братьях Карамазовых», дана уже почти совершенная формула этого сознания; уже сверкает из-под такой легкой дымки, что ее ничего не стоит снять, этот обоюдоострый меч, который нельзя направить в борь-

бе иначе как против самодержавия за Христа; уже почти вскрывается неразрешимое религиозное противоречие между Церковью и Государством, как между абсолютной истиной и абсолютною ложью, царством Божиим и царством дьявола.

О смешении этих двух царств говорит недаром в первых же главах романа — в прелюдии к симфонии — никто другой как Иван Карамазов, ученик Великого Инквизитора, старцу Зосиме, ученику или учителю самого Достоевского.

«Смешение церкви и государства будет вечным, несмотря на то, что оно невозможно, потому что ложь лежит в самом основании дела... Церковь должна заключать сама в себе все государство, а не занимать в нем лишь некоторый угол, и, если это теперь невозможно, то должно быть поставлено прямою и главнейшею целью всего дальнейшего развития христианского общества... В древние времена христианство являлось лишь церковью и было лишь церковью. Когда же римское языческое государство возжелало стать христианским, то оно лишь включило в себя церковь, но само продолжало оставаться государством языческим... Христова же церковь, вступив в государство, не могла уступить ничего из своих основ от того камня, на котором стояла она, и могла лишь преследовать свои цели, раз твердо поставленные и указанные ей Самим Господом: обратить весь мир, а стало быть и все древнее языческое государство в церковь. Таким образом, не церковь должна искать себе места в государстве, а, напротив, всякое земное государство должно бы впоследствии обратиться в церковь вполне и стать не чем иным, как лишь церковью».

Ученый монах, о. Паисий, обостряет и доводит до конца эти мысли Ивана Карамазова.

«Не церковь обращается в государство. То Рим и его мечта. То третье дьяволово искушение. А, напротив, государство обращается в церковь, восходит до церкви и становится церковью на всей земле, — что совершенно противоположено Риму»...

«Церковь есть воистину царство и определена царствовать, и в конце своем должна явиться, как царство, на всей земле несомненно — на что имеем обетование»...

Здесь, конечно, разумеется обетование Апокалипсиса о «тысячелетнем царстве святых на земле», на этой земле, и под этим небом, в конце всемирной истории, но до конца мира: «Агнец соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле» (Откровение V, 10). Те, «которые не поклонились Зверю, — ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Это — «стан святых и город возлюблен-

ный» (XXI, 4—8).

И старец Зосима подтверждает:

«Общество христианское пребывает незбылемо в ожидании своего полного преобразования из общества, как союза почти еще языческого, во единую вселенскую и владычествующую церковь. Сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему предназначено совершиться».

Тут с такою ясностью, как еще никогда и нигде, дано определение теократического сознания, определение пока лишь отвлеченное; указана лишь цель, а не путь, лишь воинствующая, а не торжествующая теократия, лишь положительное, а не отрицательное в отношении человечества к Богочеловечеству. Но при первой попытке воплотить теократическое сознание в действие обнаруживается и это отрицательное, враждебное; возникает непримиримая борьба вследствие непримиримого противоречия между Церковью и Государством. Тут не может быть никаких соглашений, никаких компромиссов. И ежели Иван Карамазов допускает «необходимый еще в наше грешное и не завершившееся время компромисс», то старец Зосима возражает: «церковь с государством сочетаться даже и в компромисс временный не может. Тут нельзя уже в сделки вступать». Это безусловное отрицание компромиссов и есть собственно первая точка нового теократического сознания, точка, в которой оно отличается от старой общественной бессознательности всего исторического христианства с его невольными и неизбежными допущениями всевозможных компромиссов, не только временных, но и вечных, между государством и церковью. Только эту непримиримость меч Христов и заостряется до последней остроты для последней битвы со Зверем.

Но для того, чтобы избежать опаснейших недоразумений, следует строго отличать понятие «государство» от понятия «общество».

Общество есть первоначальная стихия человеческого, только человеческого, которое, достигнув своего завершения в полноте религиозного сознания, избирает неминуемо один из двух путей: или через церковь к Богочеловечеству, или через государство к Человекобожеству. И раз один из этих двух путей избран, возврата нет, и каждый путь должен быть пройден до конца. Общество есть та земля, на которой растет всякое посеянное семя — или плевелы вражды, или пшеница Божия. Но раз выросли плевелы, они уже не могут стать пшеницею; раз выросло государство, оно уже не может стать церковью. Впрочем, плевелы и пшеница растут вместе до последней жатвы, когда серп отделит посеян-

ное Богом от посеянного дьяволом. Заострение этого серпа и есть теократическое сознание. Государство не может стать церковью уже потому, что оно само церковь, но церковь противоположного Христа — Антихриста. Борьба между государством и церковью — борьба на жизнь и смерть. Всему, чему государство говорит абсолютное «да», церковь говорит абсолютное «нет».

У Достоевского, вследствие недостаточно строгого отличия общества от государства, человечества от Человекобожества, происходит и смешение Государства с Церковью.

Как невозможен переход абсолютной лжи в абсолютную истину, дьявола — в Бога, так невозможен и переход Государства в Церковь. Возможен только переход общества в Церковь, и этот переход, естественная эволюция, действительно совершается во всемирно-историческом процессе. Конец всемирно-исторического процесса определяется началом теократического сознания, которое вскрывает неразрешимое противоречие между Государством и Церковью. И только что противоречие вскрыто, постепенный переход становится внезапным переворотом, история — Апокалипсисом, эволюция — революцией, самую разрушительную и убийственную для государства из всех революций. Ибо все политические революции отрицают старый государственный порядок во имя нового, лучшего, то есть, по-видимому, отрицают, на самом деле утверждают идею государственной власти, как абсолютную; у них нет ни рычага, ни точки опоры для ниспровержения этой идеи; и если бы даже была возможность ее ниспровергнуть, то им нечем ее заменить. У революции религиозной есть этот рычаг и эта точка опоры в идее любви, как власти, в идее Церкви, как Царства. Религиозная революция — предельная и окончательная, ниспровергающая всякую человеческую власть, всякое государство в его последних, метафизических основаниях.

Это — тот малый камень, пущенный из пращи Божией, который разбивает в прах глянцевые ноги Истукана, в видении пророка Даниила. Это — та малая искра, которая взрывает пороховой погреб, так что не остается камня на камне. «Огонь пришел Я низвести на землю и как томлюсь, чтоб он возгорелся». Будучи внутри себя величайшим порядком, властью, стройностью, теократия будет казаться извне величайшим бунтом, возмущением, анархией.

Один из слушателей беседы старца Зосимы с Иваном Карамазовым, русский атеист и либерал, вспоминает слова, сказанные ему в Париже, вскоре после декабрьской революции, одним французом, очень

влиятельным лицом, «не то что сыщиком, а вроде управляющего целою командою политических сыщиков».

«...Мы собственно этих всех социалистов — анархистов, безбожников и революционеров, не очень-то и опасаемся; мы за ними следим и ходы их нам известны. Но есть из них, хотя и немного, несколько особенных людей: это в Бога верующие и христиане, а в то же время и социалисты. Вот этих-то мы больше всех опасаемся; это страшный народ. Социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника». Слова эти и тогда меня поразили, но теперь у вас, господа, они мне как-то вдруг припомнились.

— То есть, вы их прикладываете к нам и в нас видите социалистов? — прямо и без обиняков спросил отец Паисий».

Вопрос остался без ответа, а между тем это самый важный, все решающий вопрос для религиозно-общественных идей Достоевского. Ответ, впрочем, для нас теперь уже ясен: конечно, старец Зосима, отец Паисий, Иван Карамазов и сам Достоевский, с точки зрения не только французских и русских сыщиков, но и тех, кого эти сыщики преследуют, — опаснейшие бунтовщики, революционеры и анархисты. Красные знамена политических восстаний бледнеют перед этим невиданным ультра-пурпуровым цветом религиозной революции. Внутри для вошедших в теократию — бесконечная надежда, утешение, успокоение, а извне — бесконечный террор — тот страх, о котором сказано: «люди будут издыхать от страха». Внутри — тишина, а извне — буря. Внутри последнее утверждение человеческого порядка в порядке Божеском, а извне самая анархическая из всех анархий. Рассказывают, будто бы иногда над самой воронкой смерча появляется малое круглое отверстие голубого неба: теократия — голубое небо над смерчем всеколлапсирующей религиозной революции.

Такова последняя сущность общественных идей Достоевского, которую проглядели одинаково как русские реакционеры, так и русские революционеры, да и сам он если не проглядел, то не хотел видеть, боялся увидеть. По крайней мере, сделал все, чтобы скрыть от других и от себя это слишком язвительное жало, притупить это слишком острое острие своего религиозного сознания.

Вот одно из таких притуплений: Иван Карамазов, с лукавством, достойным Великого Инквизитора, утверждает, будто бы переход государства в церковь «ничем не унизит государства, не отнимет ни чести, ни славы его, как великого государства, ни славы властителей его». Это значит: волки будут сыты и овцы целы. Это и есть

поклонение Христа князю мира сего за славу земных царств — та удочка дьявола, на которую попало все историческое христианство.

«Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его».

Таково окончательное поражение, предсказанное Государству в последней борьбе его с Церковью. Революционеры, верующие в это предсказание, конечно, опаснее, революционнее, чем неверующие.

Все ошибки Достоевского происходят оттого, что он вовсе не определяет силы сопротивления, которое Государство оказывает Церкви. Эта сила сопротивления равна всей жизненной силе Государства: жизнь Церкви — смерть Государства, жизнь Государства — смерть Церкви.

«Поверьте, что мы не только абсолютно, но более или менее даже законченного государства еще не видели. Все эмбрионы». Эти загадочные слова из предсмертного дневника Достоевского указывают на какой-то глубокий и скрытый ход мысли. Ежели «эмбрионам» отдельных исторических государств суждено развиваться в единое Государство будущего, «законченное и абсолютное», то не есть ли оно предсказанный в Апокалипсисе «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земных» — та всемирная монархия, ложная теократия, царство как церковь, с которой смешивается иногда у Достоевского теократия истинная, церковь как царство.

Тогда же, когда осуществится, как историческая реальность, при конце всемирной истории, но до конца мира, это «абсолютное государство», осуществится и «абсолютная церковь», абсолютная религиозная общественность, тоже как историческая реальность, как царство на земле, «город возлюбленный», «стан святых». И между этими двумя царствами, опять-таки здесь же, на земле, при конце всемирной истории, но до конца мира, произойдет последняя борьба.

«Антихрист придет и станет на безначалии», — в том же предсмертном дневнике своем говорит Достоевский. Это не совсем точно. Антихрист придет, выйдет из «безначалия», анархии, но станет не на анархии, а на монархии, не на безначалии, а на единоначалии, единодержавии, самодержавии. Антихрист будет последний и величайший самодержец, самозванец Христа. И в этом смысле все исторические самодержавия, все исторические государства только зародыши, «эмбрионы» апокалипсического Государства, Самодержавия Антихристового.

Антихрист — самозванец, ложный царь, ибо единый истинный царь — Христос. В последней борьбе Государства с Церковью и произойдет та борьба ложного царя с Истинным. Зверя с Агнцем, о которой сказано: «кони (самодержцы, слуги Антихриста) передадут силу и власть свою Зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей».

Или теократическое сознание еще не рождалось, и тогда тщетно «буди, буди» старца Зосимы и Достоевского: будет то, что было — безысходное смешение церкви с государством. Или же это сознание уже родилось, и тогда в нем начинается последняя брань Агнца со Зверем. И острие меча Христова, поднятого для этой брани, есть первое пророческое слово великой русской религиозной революции — слово, не даром идущее именно от нас, учеников Достоевского: самодержавие — от Антихриста.

Как мог Достоевский не произнести этого слова, как мог он скрыть свою величайшую истину под величайшею ложью, свою религиозную революцию под политической реакцией, лицо святого мятежника, старца Зосимы под личиной проклятого насильника, Великого Инквизитора? Как мог он принять самодержавие, царство дьявола, за царство Божие?

«Государство обращается в церковь» — это «есть великое предназначение православия», так отец Паисий сводит к исторической реальности апокалипсическое «буди, буди» своего учителя.

Вот главное заблуждение Достоевского, источник неодолимого страха, который заставлял его скрывать новое лицо свое под ветхою личиною, вливал новое вино свое в мехи ветхие. Он думал или хотел думать, что его религия — православие. Но истинная религия его если еще не в сознании, то в глубочайших бессознательных переживаниях, вовсе не православие, не историческое христианство, ни даже христианство вообще, а то, что за христианством, за Новым Заветом, — Апокалипсис, Грядущий, Третий Завет, откровение Третьей Ипо-

стаси Божеской — религия Св. Духа.

Неразрешимое противоречие земного и небесного, плотского и духовного, Отчего и Сыновьнего — таков предел христианства, только христианства. Окончательное разрешение этого противоречия, последнее соединение Отца и Сына в Духе — таков предел Апокалипсиса. Откровение Св. Духа — святая плоть, святая земля, святая общественность — теократия, церковь как царство, не только небесное, но и земное, исполнение апокалипсического чаяния: мы будем царствовать на земле, связанного с чаянием евангельским: да будет воля Твоя на земле, как на небе.

Я не буду повторять здесь того, что говорил о святой плоти много раз, может быть, смутно и преждевременно, но всегда с надеждою, что сказанное мною принадлежит не мне одному, а нам всем, идущим от церкви Петровой к церкви Иоанновой, и больше всего первому из нас, Достоевскому. Напомню только некоторые точки соприкосновения нашего с ним.

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней Матерью-Землею
Он вступи в союз навек.

В этой затверженной Дмитрием Карамазовым песне Елевзинских таинств слышится тоска всего язычества, всего человечества, от Эллинизма до Возрождения, от Возрождения до современной Европы, о святой земле, святой плоти. «Богородица что есть, как мнишь?» — спрашивает кто-то в «Бесах» одну странницу, посланную в монастырь на покаяние. «Богородица есть Великая Мать сыра земля», — отвечает странница. Древняя мать сыра земля, Великая Мать Елевзинских таинств, есть в то же время «новая земля» под новым небом, о которой сказано в Откровении: «и увидел я новое небо и новую землю». Тут незапамятно древнее, прошлое сливается с будущим, утренняя заря мира с вечернею, Книга Бытия с Апокалипсисом. «Братья мои, оставайтесь верными земле» — эту заповедь Ницше, который сам не знал, Кого проповедовал в образе «Диониса Распятого», повторяет и старец Зосима. «Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, ищи восторга и исступления сего. Омочи землю слезами радости твоей и люби сии слезы твои. Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий, великий и немногим дается, а избранным». «Не люби земного, люби небесное» — таков завет христианства, только христианства. «Люби земное в небесном, небесное в земном» — таков

завет религии Св. Духа — Св. Плоти. И после видения Каны Галилейской, нового брачного пиршества, где «премудрый Архитриклин воду в вино превращает, в вино радости новой» — Алеша исполнил завет старца Зосимы: «повергся на землю; не знал, для чего обнимает ее, не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать всю; но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков... Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом».

Бойцом для какого боя? Не для начинающегося ли великого боя Государства с Церковью, не для великой ли русской и всемирной религиозной революции?

Христианство есть откровение единой Личности Богочеловеческой; вот почему подлинная святость христианская есть по преимуществу святость личная, внутренняя, уединенная, безобщественная; и вот почему так бесплодны все попытки включить в христианство общественность, которая есть начало множественности, по существу своему если не противоречивое, то противоположное началу единства, началу личности. Не в христианство, а только в религию Троицы, Всех Трех — Божеской Множественности, открывающейся в Божеском Единстве, — включается и человеческая множественность, совокупность личностей — святая общественность; только в религии Святой Земли естественно включается и всемирное соединение и устройство людей на земле — церковь как царство. В христианстве церковь есть царство небесное — безземное, духовно-бесплотное; в религии Св. Духа церковь есть царство небесно-земное, духовно-плотское, не только невидимо, мистически, но и видимо, исторически реальное. Это — исполнение Третьего Завета, воплощение Третьей Ипостаси Божеской. Ибо точно так же, как Первая Ипостась Отчая воплотилась в мире природном, дочеловеческом — в космосе и Вторая Сыновняя — в Богочеловеке, Третья Ипостась Духа воплотится в Богочеловечестве, в Теократии.

Вот что значит для нас это пророчество Достоевского: «Церковь есть воистину царство и определена царствовать и в конце своем должна явиться как царство на всей земле». Мы ничего не прибавляем от себя к этому пророчеству, мы только завершаем его, доводим до степени нашего религиозного сознания и повторяем вместе с Достоевским, первым пророком Св. Духа, Св. Плоти:

«Сие и буди, буди!»

Таково лицо и такова личина его; лицо противоположно личине. Личина — право-

славие, самодержавие, народность; лицо — преодоление народности — во всечеловечности, преодоление самодержавия — в теократии, преодоление православия — в религии Св. Духа.

Иногда кажется, что такая же, как у Достоевского, противоположность лица личине существует и у всей России и что русская революция есть не что иное, как срывание личины с лица. Об этом неоткрывшемся лице, об этой неродившейся идее говорит и Достоевский: «будущая самостоятельная русская идея у нас еще не родилась, а только чревата ею земля ужасно и в страшных муках готовится родить ее». Если бы эта идея заключалась в православии, самодержавии, народности, то ей бы и рождаться нечего. Но переживаемые нами муки революции действительно похожи на страшные муки каких-то родов, кажется, не только русских, но и всемирных; не одна Россия, но и вся Европа, вся земля «Великая Мать сыра земля» в наши дни, точно так же, как во дни Рождества Христова, «чревата ужасно», ужасно беременна. И, может быть, недаром первый приступ рождающихся болей происходит именно в России. Достоевский думал, что всемирная революция, которой он ждал, которую звал, начнется в Европе и окончится в России. «Социалисты,— говорит он,— бросятся на Европу, и все старое рухнет. Волна разобьется лишь о наш берег». Происходит обратное: волна поднялась от нашего берега, и еще неизвестно, разобьется ли об Европу или Европу разобьет.

Ежели мера народа — государственность, то можно бы отчаяться в России: она всегда выказывала, и теперь больше, чем когда-либо, поразительную бездарность в творчестве государственных форм. После тысячелетних усилий создать что-нибудь похожее на политически реальное тело создала вместо тела призрак, чудовищную химеру, полубога, полуживотное — православное самодержавие, которое давит Россию, как бред, и чтобы очнуться от этого бреда, нужны почти предсмертные судороги. Ведь казалось же и Достоевскому, что весь самодержавный, «петербургский период русской истории вот-вот поднимется вместе с петербургским туманом и разлетится, как сон». Русская монархия — узаконенное беззаконие, застывший террор, обледенелая анархия; и русская революция слишком часто — только «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», по слову Пушкина — та же анархия.

Но, может быть, в этом нашем последнем отчаянии о государстве Российском —

наша первая надежда на русский народ. Не потому ли этот народ по преимуществу безгосударственный, анархический, что он по преимуществу религиозно-общественный, теократический? Не потому ли оказался он таким бездарным в творчестве государственном, что истинное призвание его — создать не мертвый механизм государства, этого «Автомата», «Искусственного Человека», Homo Artificialis, по выражению Гоббса, — а живое тело церкви, Богочеловечества? И в неутолимой тоске русского народа о грядущем царе-Мессии, соединителе правды земной с правдой небесной, не заключается ли, хотя и бессознательное и уродливо искаженное историческою действительностью, но, в идеальном существе своем, подлинное, теократическое чаяние?

Доныне, во всемирной истории, ни один великий народ не жил без государства; доныне быть в истории значит быть в государстве. Все попытки выйти из государственности кончались или тем, что народ погибал, порабощался другими, более государственно крепкими народами, или через революцию переходил от одного, менее — к другому, более совершенному, более государственному государству.

Подвергнется ли Россия этой общей исторической участи народов: найдет ли, наконец свою государственность в своей революции, или погибнет от своей анархии, умрет в «страшных муках родов»?

Во всяком случае, наша бесконечная религиозная надежда только в нашем бесконечном политическом отчаянии, только там, где кончается абсолютная государственность, начинается абсолютная религиозная общественность. Мы надеемся не на государственное благополучие и долгоденствие, а на величайшие бедствия, может быть, гибель России как самостоятельного политического тела и на ее воскресение как члена вселенской Церкви, Теократии. «Если семя не умрет, то не оживет» — это истина как для отдельных личностей, так и для целых обществ, целых народов.

Одно из двух: или Апокалипсис — ничто, и тогда все христианство — ничто. Или за историческою действительностью есть иная, высшая, не менее, а более реальная действительность апокалипсическая. За государственностью есть иная, высшая и опять-таки не менее, а более реальная общественность теократическая. И выйти из истории, из государственности еще не значит погибнуть, перейти в ничтожество, а, может быть, значит перейти из одного бытия в другое, из низшего измерения — в высшее, из плоскости исторической —

в глубину апокалиптическую.

Мы и надеемся, что русская революция, сделавшись религиозною, будет началом этого выхода.

Только в подвиге вольного страдания («надо страдание принять», завет самого Достоевского), вольной смерти политической для воскресения теократического может заключаться то «всеслужение человечеству», в котором видел Достоевский призвание России; в этом и только в этом смысле русский народ может сделаться «народом-богоносцем».

«Сие и буди, буди!»

А если это будет, то, несмотря на все свои заблуждения, Достоевский окажется все-таки истинным пророком.

И здесь, на этой грозно-торжественной тризне, уготованной ему самой историей, не наш слабый голос, а голоса Великой русской революции, голоса громов человеческих, в которых уже слышатся громы Господни, да спойт ему вечную славу.

1906 г.

Публикация Е. Левина

Теория

Михаил Ямпольский

ЛИЦО-МАСКА И ЛИЦО-МАШИНА

Кулешов охотно и подробно писал о тренинге и функционировании тела натурщика. Последовательно опираясь на некую смесь систем Дельсарта и Далькроза, Кулешов разработал собственную концепцию поведения натурщика — этого идеального механизированного, предельно точного существа. Этот человек-машина, процесс работы которого Кулешов откровенно называл «механическим процессом», должен ритмически сворачиваться и разворачиваться, напрягаться и расслабляться по заданию режиссера. Кулешов писал: «Человеческое тело, как всякий живой организм, имеет стремление увеличивать свою площадь в некоторых случаях жизненного процесса, а в некоторых — уменьшать ее, то есть обладает способностью свертывания и развертывания. Общую линию свертывания и развертывания, хотя бы она происходила с нарушениями в движении, легко уследить

и обратно легко построить. Человек может подниматься и опускаться по отношению к той поверхности, на которой он работает, он может занимать ударные и неударные положения, наконец, его тело и весь процесс движения происходит в различных сменах разных напряжений. В нем может быть избыток сил и упадок их, которые по-разному отразятся на характере жеста. Наконец, натурщик должен знать психологическое и физиологическое значение движения и распределять гармонически длительности».

Ироничный В. Туркин, процитировав этот абзац, отметил: «Это почти и вся "теория" Льва Кулешова в части, касающейся мастерства киноактера». Отчасти Туркин прав. Действительно, в текстах Кулешова мы не найдем практически ничего такого, что касалось бы каких-то иных выразительных возможностей человека, кроме заключенных в механизированном жесте.

Между тем тело актера имеет по меньшей мере одну часть, которая не может сворачиваться и разворачиваться, занимать ударные и неударные положения и которая имеет фундаментальное значение в сфере выразительности, — это лицо. Лицо оказывается той частью тела, которая в наименьшей степени подвластна механизации, и в этом смысле на фоне конструктивистских проектов Кулешова и его соратников оно предстает каким-то неподвластным системе архаическим элементом, явным архаическим наследием того «дурного прошлого», когда движения тела были безнадежно неорганизованными, неконтролируемыми. Новая кинематография, согласно Кулешову, должна строиться на «точности во времени», «точности в пространстве», «точности организации», это «кинематография, фиксирующая организованный человеческий и натуральный материал». Никакой точности организации лицо не дает. Оно связано с мистицизмом психологизма, против которого Кулешов выступал часто и запальчиво и который связывал с русской психологической драмой, «ложной с начала и до конца — глушей одновременно и кинематографии и жизни».

Как бы там ни было, при всей неудовлетворенности лицом избавиться от него все же не представляется возможным. Кулешов неохотно смиряется с его существованием, но указывает, что по своим возможностям оно не идет ни в какое сравнение с руками — идеальным аналогом неких механических рычагов. Парадоксальным образом режиссер видит в руках и ногах гораздо более эффективное средство выразительности, чем в лице: «...мы знаем, что руки выражают буквально все:

происхождение, характер, здоровье, профессию, отношение человека к явлениям; ноги — почти то же самое.

Лицо, по существу, все выражает значительно скупее и бледнее: у него слишком узкий диапазон работы, слишком мало выражающих комбинаций».

Отсутствие комбинаций и узкий диапазон работы — это отрицание возможностей лица именно с точки зрения его механики — лоб или глаз не могут сворачиваться и разворачиваться в таком пространственно-динамическом диапазоне, как рука и нога. Микродвижения мимики со всем неисчерпаемым богатством с точки зрения телесной механики слишком незначительны, чтобы принимать их в расчет.

Тем не менее лицо занимает весьма значительное место в режиссерской практике Кулешова начиная со знаменитых фильмов без пленки. Некоторые сцены в них строятся на навязчивом показе лиц натурщиков. Вот, например, фрагмент либретто фильма без пленки «Месь».

«12. Лицо клерка.

13. Лица двух.

14. Лицо машинистки.

15. Раскрытый шкаф. Клерк у шкафа.

16. Лицо клерка.

17. Лицо машинистки.

18. Лица двух».

Эти характерные для Кулешова монтажные сюиты лиц, разумеется, противоречат декларативному недоверию к лицу как органу выразительности. Как же все-таки мыслит себе лицо в качестве такого органа Кулешов? Мне представляется, что кулешовские лица можно разделить на две категории. Первую можно обозначить как лицо-маску, второе — как лицо-машину.

Начнем со второй категории как наиболее полно выражающей утопию кулешовской телесности. Лицо-машина — это такое лицо, которое вопреки своей анатомической норме ведет себя по законам механизированного тела натурщика. Это, по существу, лицо, превращенное в тело-машину. Это лицо, работающее по законам не свойственной ему телесности, воспроизводящее в своем «узком диапазоне» работу рук и ног. Каждая составляющая такого лица превращается в свободный механический орган. Кулешов дает такое характерное описание функционирования лица-машины: «С большой осторожностью следует переходить на работу с лицом. Кинематограф не терпит подчеркнутой, грубой работы лица; театральная техника для экрана неприемлема, потому что радиус движений на сцене слишком велик. На экране самые незаметные изменения лица выходят слишком грубыми — зритель не поверит в такую игру. Лицо тренируется рядом упражнений

обязательно с учетом метрического и ритмического времени работы. Лицо может изменяться от работы лба, бровей, глаз, носа, щек, губ, нижней челюсти. Лоб может быть нормален, приподнят, брови — то же самое, глаза нормальные, закрыты, полуоткрыты, раскрыты, широко раскрыты, повернуты вправо, влево, вверх, вниз. Нос может морщиться, щеки — надуваться и втягиваться, губы и рот сжаты, открыты, полуоткрыты, приподняты (смех), опущены; нижняя челюсть может быть энергично выставлена вперед, может сдвигаться вправо и влево. В общем для работы лица и всех сочленений человека очень полезна система Дельсарта, но только как учет возможных изменений человеческого механизма, а не как способ игры».

Этот кусок любопытен тем, что он начинается со стандартной для киномысли того времени установки на табуирование грубых мимических движений на экране, а кончается надувающимися щеками и карикатурными энергичными движениями нижней челюсти вперед, вправо и влево. Станным образом эту гротескную механику сам Кулешов, вероятно, не относил к области грубого мимирования. К этой странности мы вернемся ниже. Далее Кулешов предлагает читателю «примерный этюд» лицевых движений: «1) Лицо нормальное, 2) глаза прищурены, идут вправо, 3) пауза, 4) лоб и брови нахмуриваются, 5) нижняя челюсть выдвигается вперед, 6) глаза резко передвигаются вправо, 7) нижняя челюсть влево, 8) пауза, 9) лицо нормально, но глаза остаются в предыдущем положении, 10) глаза широко открываются, одновременно полуоткрывается рот и т. д.». В этой лицевой физкультуре поражает ее совершенная психологическая немотивированность. Лицо расщеплено на совершенно автономные части, которые движутся по заданию режиссера как части некой машины, не имеющей никакого смыслового задания. Перед нами чистое упражнение на динамику механических частей. То, что лицо-машина работает без всякого выразительного задания психологического типа, можно подтвердить и следующим фактом. Кулешов особое значение в механике лица уделял глазам. Это естественно, ведь глаза обладают гораздо большей механической свободой движений, чем, например, нос или щеки. Глаза — самая механическая часть лица. Кулешов отмечает: «Существует много специальных упражнений для глаз; например, им очень трудно без толчков, ровно передвигаться по горизонтальной линии вправо и влево; чтобы достигнуть плавного движения, надо на вытянутой руке держать карандаш, все время смотреть на него и водить им перед

собой параллельно полу. Такое упражнение быстро приучает глаз плавно работать, что на экране выходит гораздо лучше порывистых, рваных движений (если они, конечно, не нужны специально)».

Кулешов, по-видимому, придавал какое-то особое значение этой технике плавного движения глаз. В 1921 году он просит выделить ему небольшое количество пленки для регистрации теоретически наиболее важных для него экспериментов, среди которых «Равномерное движение глаз натурщика». Это упражнение демонстрирует два существенных момента. Во-первых, идею превращения глаза в руку. Движение глаза должно регулироваться не задачей зрения, но движением руки, с которым оно должно синхронизироваться. Это превращение глаза в своего рода протез руки, по-видимому, призвано механизировать движение глаза, плавность смещения которого придает ему выраженный механический характер. Во-вторых, плавность движения глаза отторгает последний от процесса зрения. Ведь та прерывистость, которую хочет изгнать Кулешов, задается нормальной работой глаза, останавливающегося в своих траекториях на некоторых точках, на объектах, с которыми этот глаз вступает в контакт. Работа глаза регулируется тем вещным миром, который он ощущивает. Механическая плавность движения делает глаз невидящим, не позволяет ему задержаться на предмете, объекте зрения. Глаз функционирует как машина, работающая по неким внутренним законам механики, никак не соотношенным с процессом зрения и внешним миром.

И наконец, еще один существенный момент, связанный с утопией плавно скользящего взгляда. Такой взгляд относится не к человеческой анатомии, а к сфере механического инструментального зрения. Глаз, движущийся плавно, без скачков, — это кинокамера, чье движение, хотя и имитирует движение глаза человека, строится как раз по принципам плавной механической траектории. Человек у Кулешова в своей механичности превращается в подобие кинокамеры.

Разумеется, в своем идеальном виде лицо-машина так и осталось теоретической утопией, но основные принципы этой утопии все же получили хотя бы частичное воплощение. Виктор Шкловский в своей статье о Хохловой цитирует впечатление немецкого театрального критика П. Шеффера, который в спектаклях кулешовской мастерской (фильмах без пленки) отмечает принцип «ритмизации мимического действия». Он же в игре Хохловой видит «великолепную игру глаз, неописуемую молниеносностью взгляда». Молниеносность взгляда —

это движение глазного яблока без прерывистости и задержек. Кулешов активно использовал этот навык Хохловой, в частности, в «Приключениях мистера Веста».

В том же фильме имеются целые эпизоды, в которых мимическая «работа» актеров строится по принципу лица-машины. Это, например, эпизод суда над мистром Вестом, где переодетые в гротескных большевиков бандиты пугают Веста невероятной механикой своих лиц, вращая глазами, челюстями, дергая лбом и т. д. В этом эпизоде в серию машинообразных лиц включен странный, ничем не мотивированный кадр, демонстрирующий обнаженный торс мужчины, то надувающего, то втягивающего в себя живот. Эта фантастическая механика живота, по существу, ничем не отличается от механики лиц. Лицо и тело в этом эпизоде работают совершенно в одном режиме и могут заменять друг друга. Тело становится лицеобразным, лицо — теломорфным. То и другое — механическим.

Теперь обратимся ко второму типу лица у Кулешова — лицу-маске. В отличие от лица-машины лицо-маска не имеет в текстах режиссера какого-то описания и обоснования. Интерес к лицу-маске возник в России еще в десятые годы. Применительно к кинематографу апологией лица-маски занимались многие теоретики от Деллюка до Лалаша. Деллюк, рекомендовавший актеру «создать себе гипсовое лицо», не колеблясь советовал для этой цели использовать кокаин: «Порция кокаина создает маску и придает глазам странную неподвижность, которую в кино можно только приветствовать». Маску в кино пропагандировал и соратник Кулешова Туркин, который в своей книге о киноактере перечислял классический набор актеров, чье мастерство постоянно описывалось в категориях маски: Чаплин, Аста Нильсен, Конрад Фейдт, Пауль Вегенер, Вернер Краус.

Кулешов посвящает специальную статью Конраду Фейдту, технику которого он традиционно сравнивает с техникой Асты Нильсен. Он утверждает, что лицо Фейдта «сконструировано по всем правилам кинематографической выразительности»: «Кривая улыбка, черные зубы, огромный лоб с дрожащими жилами нервного человека, исключительные для съемки глаза: светлые, стеклянные, почти белые».

Если для лица-машины чрезвычайно существенно механически плавное движение глаз, то для лица-маски — их неподвижность, белесость, стекловидность — то есть все то же отсутствие зрения, слепота. Глаза являются основным фактором, превращающим «лицо» в лицо человека. Это связано с тем, что именно глаза являются

знаками субъективности. Только они обращены из тела человека вовне и прорывают кожно-телесный покров как внешнюю границу организма. Глаза — это дыра внутри тела и во внешнем пространстве, это очаг своего рода метафоризма между телом и миром. Закрытие глаз метафорически обозначает превращение лица в вещь. Маска отчасти и является таким лицом-вещью.

В одном из важных ранних теоретических текстов Кулешов специально останавливается на связях натурщика с вещью: «...наиболее впечатляет не актер, а **вещи**. Забытая перчатка в пустом зале, цветок, присланный любимой, брошенная шаль или кольцо, снятые отдельно и вмонтированные в ряд сцен, производят определенной степени впечатление и "играют" своим видом и психологическим значением так же, как и натурщик. То есть значение натурщика и вещи в кино при умелом монтаже может быть равноценно».

Невидящий взгляд — это первейшее средство превращения лица в маску, вещь, придания лицу телесности, которая и уподобляет лицо вещи, натурщика — неодушевленному предмету. Жан Эпштейн, уделявший большое внимание приобретению предметом личности за счет предельного его укрупнения, специально останавливался на крупном плане глаза: «Крупный план глаза — это больше не глаз, это некий глаз: то есть миметическая видимость, за которой вдруг возникает личность взгляда...» Но именно предельное укрупнение глаза резко меняет его функцию, превращая глаз в объект, тело, отрывая его от функции взгляда, делающего лицо лицом. Не случайно Эпштейн не видит существенной разницы между крупным планом глаза и пистолета: «А крупный план револьвера — это больше не револьвер, это персонаж-револьвер...» Персонаж-револьвер, по существу, то же самое, что взгляд-личность, — нечто телесное, противостоящее самой сущности взгляда, который никак не может облечься в тело.

Может быть, наиболее выразительно лицо-маска у Кулешова возникает в знаменитом эксперименте с крупным планом Мозжухина. Для достижения монтажного эффекта было сознательно выбрано маскообразное лицо актера. Пудовкин вспоминал: «Мы нарочно выбрали спокойное, ничего не выражающее лицо». Ничего не выражающее лицо — это маска, которая еще не стала лицом в прямом смысле слова, потому что родовой чертой лица как лица является именно его способность **выражать**. Это. лицо-маска, сквозь которое еще должно проступить лицо-выражение. Ж. Делез и Ф. Гаттари точно окрестили такое

лицо-маску абстрактной машиной лицеобразования (*machine abstraite de visag  t  *) и отметили, что именно из этой абстрактной машины «рождаются конкретные лица». Согласно Делезу и Гаттари, абстрактная машина лица-маски состоит из черной дыры взгляда (субъективности) и белой стены лицевой поверхности, своего рода экрана. Такое лицо как будто скрывает в себе модель кинопроекции с остекленным взглядом глаза-камеры и белым экраном. Монтажный опыт Кулешова и демонстрирует, каким образом от соположенных с лицом объектов (тарелки супа, мертвой женщины и т. д.) на экран лица-маски проецируется конкретное лицо-выражение. Эксперимент с Мозжухиным может быть описан через модель «абстрактной машины лицеобразования», работающей на основе маски.

Проступание лица-выражения сквозь лицо-маску или, иными словами, рождение конкретного лица в монтаже связано у Кулешова с процессом превращения лица в тело, в инертный, вещный, отчужденный от внутренней выразительности объект. Рождение конкретного лица совершенно не связано у него с идеей некоего проступания смыслов (души) изнутри человеческого организма на его поверхность, не связано с классической идеей **выразительности** — экспрессии — как некоего давления изнутри наружу: экс-прессии. Кулешов писал: «...выражение какого-либо чувства натурщиков в пределах одной сцены меняется (на экране, а не во время "игры" его перед съемочным аппаратом) в зависимости от того, с какой сменой этот кусок монтируется... Подобный закон наблюдается в театре, который, правда, выражается в совершенно других моментах. Если мы наденем на актера маску и заставим его принять печальную позу, то и маска будет выражать печаль, если же актер примет радостную позу, то нам будет казаться, что маска радостна».

В этом рассуждении нужно отметить два момента. Первый — лицо-маска в монтажном ряду уподобляется маске на теле актера. Таким образом, монтажное окружение крупного плана натурщика превращается в своего рода тело или, во всяком случае, функционирует так же, как тело. Второй — лицо-маска получает свое значение от тела, она как бы изживает в себе все лицевое и служит для растворения лица в том теле, которое его продолжает. Маска превращает лицо в часть тела. Тело обладает той механической подвижностью, о которой мы уже говорили, и проецирует выразительность этой подвижности на статичное лицо-маску. Лицо становится отростком, органом тела.

Между прочим, тот опыт с маской, о котором писал Кулешов, совершенно независимо от него проделывал немецкий актер Вернер Краус. Карл Цукмайер вспоминал, что Краус ненавидел мимическую игру и мечтал воздействовать на зрителей с помощью маски. Однажды Цукмайер принес Краусу маску призрака, которая хранилась у него на чердаке. Краус надел ее и затем с помощью коротких монологов и жестикующих рук вызывал у присутствующих отчетливое впечатление, что маска плачет или смеется. В 1923 году Фридрих Зибург в статье «Магия тела» посвятил специальный фрагмент актерской техники Крауса, где, в частности, замечал: «Его телесная интенсивность так велика, что когда он не располагает в качестве строительного материала словом, вся его сила устремляется в члены его тела, где она стремится обрести чисто пантомимическую магию лица». Зибург пишет о магическом превращении в такие моменты всего тела в маску.

Установка на маску заставляет тело брать на себя функции лица, а лицо превращает в тело. Урбан Гад, анализируя игру Асты Нильсен (классической актрисы с лицом-маской), указывает, что само превращение лица в маску производится благодаря кинематографической технике крупного плана. Это превращение обладает своей логикой. Кинообъектив, обыкновенно описывающийся как инструмент сверхобъективного зрения, как бы проецирует свою силу объективирования на снимаемое им лицо. Оптика объективирует лицо, придавая ему характер маски. Гад пишет: «Но главное, это то, что фильм показывает самую незначительную особенность лица или фигуры в очень усиленном виде. Небольшая округлость ноги изгибает ее, превращая в саблю, нос с небольшой горбинкой становится крюком. Относительно большое расстояние между носом и ртом превращается в фильме в настоящую пустыню, скошенный подбородок создает попугайный профиль... Можно подумать, что в камере имеется линза, выточенная из андерсеновского волшебного зеркала». Гад описывает не просто исчезновение лица и затягивание его маской, но и своеобразное превращение лица в вещь и даже механизм (сабля, крюк).

Превращение лица в маску равнозначно его превращению в зеркало. Это зазеркаливание маски связано с ее предельной объективностью. Оно больше не отражает то, что происходит внутри организма, но как бы выворачивает свою рефлексивность наружу. Отсюда ее способность отражать значение движений тела, но неспособность отражать движения души. Включение маски в монтаж проходит через объективацию лица, через его превращение в тело, сам

покров которого, кожа, поверхность есть зеркало внешних влияний, граница внешнего мира. Балаш описывает исполнение Астой Нильсен роли Гамлета в эпизоде встречи Гамлета с Фортинбрасом: «Крупный план лица Асты Нильсен. Она смотрит на Фортинбраса, не узнавая его, пустыми непонимающими глазами. Ее губы в бессмысленной гримасе смеха подражают приближающемуся королю. Лицо Фортинбраса отражается в ее лице как в зеркале. Она как бы фотографирует лицо, ныряет в его глубины, возвращается назад, и смех, который был лишь извне отпечатанной маской, постепенно изнутри теплеет и становится живым выражением лица. В этом заключается все ее искусство».

Рождение конкретного лица, так же как и в эксперименте с Мозжухиным, происходит за счет отражения в маске (абстрактной машине лицеобразования) чужого тела. Отрывок Балаша интересен тем, что зеркальность функционирования маски здесь непосредственно описывается как киносъемка. Не просто лицо превращается в маску под воздействием объективного взгляда камеры, но сама маска становится камерой. «Пустые, непонимающие глаза», с которыми мы уже неоднократно сталкивались, в данном случае уже совершенно недвусмысленно становятся глазом камеры, чья объективность выражается в ее слепоте. Отсутствие прерывистости зрения, его дискретности окончательно увязывается с объективностью зрения. Объективность зрения — с вещью слепотой машины.

В 10—20-е годы маска все чаще начинает ассоциироваться с выражением сущности, а лицо — с ложью. По-видимому, такой подход кажется парадоксальным, но за ним стоит своеобразная логика. Маска сопряжена сущности, потому что объективно ее отражает. Она онтологична. В 1915 году Карл Эйнштейн издал работу «Негритянская пластика», оказавшую большое влияние на европейское понимание маски. Эйнштейн отталкивается от анализа татуированного тела как тела, потерявшего интимный характер, приобретающего своеобразную объективность. Эйнштейн называет татуировку актом «самообъективации» тела. Через этот акт африканец усиливает в себе элементы типического, претерпевает превращение в другого, в том числе и в явление природы — животное, реку и т. д. Той же цели служит и маска, объективирующая человека в род, которому он принадлежит, в бога. «Вот почему маска,— замечает Эйнштейн,— имеет смысл только тогда, когда она нечеловечна, безлична». Но это превращение в род или бога и есть приближение к сущности, к смыслу. В таком контексте лицо и личность,

разумеется, выступают как лживость.

Любопытно, что в 1927 году Рудольф Арнхейм в своих «Посмертных масках» утверждал, что именно посмертные маски выражают сущность человека, скрытую при жизни.

Лицо-маска, как и лицо-машина, у Кулешова лишь по видимости противоположны друг другу. И то и другое действует против лица-выражения, лица-личности. И то и другое руководствуется принципом превращения лица в тело. Лицо-машина действует по законам тела, в то время как лицо-маска, сохраняя неподвижность, рефлексивно, зеркально отражает движения тела. Монтаж служит по существу этой механической рефлексивности. Неподвижная маска приобретает смысл лишь постольку, поскольку она является продолжением движущегося тела. И то и другое работает как метафорические кинематографические машины.

Разумеется, эти люди-машины являются антропологической утопией, которую, как следует из приведенных выше высказываний, разделял не только Кулешов. Речь идет о довольно распространенной утопии 10—20-х годов. Эта утопия лишь частично касалась реальных, живых учеников и соучастников Кулешова, которых он без колебания описывал в качестве неких особых «футуристических чудовищ», людей, лишенных обычных лиц: «Нам нужны необыкновенные люди, нам нужны "чудовища", как говорит один из первых кинороботов Ахрамович-Ашмарин. "Чудовища" — люди, которые сумели бы воспитать свое тело в планах точного изучения его механической конструкции... И такова наша молодая, крепкая, закаленная и "чудовищная" армия механических людей, экспериментальная группа учеников Государственного института кинематографии».

Человек без лица — воплощение рода, бога — такое же чудовище, как животное, наделенное лицом. Мишель Приёр заметил: «Если бы животное в своей индивидуальной узнаваемости было опознаваемо по голове, выделяясь через лицо из своего стада, оно перестало бы быть членом своего рода, чтобы стать священным животным. Сакрализация животных сопровождается своего рода антропоморфным лицезобразованием, накладывающимся на его голову и придающим ему таратологический статус по отношению к роду, чьим анонимным и неидентифицируемым представителем оно бы было без этого фантастического преобразования».

Своеобразие лишенного лица животного заключается в том, что природное, биологическое здесь выступает как родовое, как нечто включенное в категорию, в разряд. Природное здесь выступает вполне в духе

Ницше, как маска. Человек же, отказываясь от лица во имя маски, напротив, отрицает свою связь с природным, хаотическим, вписываясь в рациональный организм рода, используя выражение Кулешова, в армию.

Кулешовское человеческое чудовище, меняющее лицо-машину на лицо-маску, имеет аналога в еще одном «чудовище», изобретенном культурой XIX века, — в истеричке. Истерия — болезнь, открытая XIX веком в период интенсивного интереса к проблемам физиогномики. Истеричка возникает в культуре XIX века как своего рода механический человек, на котором задолго до XX века моделируется утопия будущих конструктивистских сверхмарионеток. Ж.-М. Шарко, создавший медицинский канон в диагностике и лечении истерии, особое значение придавал открытой им возможности искусственно вызывать истерические состояния под гипнозом. Открытые лекции Шарко, собиравшие толпы любопытных, строились вокруг этих искусственно вызываемых гипнотических состояний, превращенных в настоящий театр истерии. Одним из открытий Шарко, сделанных им на «механическом» теле загипнотизированной истерички, была способность пациенток отвечать на любое задаваемое врачом положение тела изменением мимики лица. Мимирование истеричек происходило без всякого их сознательного участия. Лицо-маска истерички превращается под воздействием Шарко и его ассистентов в лицо-машину.

Сотрудник Шарко Легран дю Соль так описывает этот процесс: «Положение члена так тесно связывается с соответствующим выражением лица на основе привычки, что в каталептическом сне с легкостью и совершенно автоматически формируется большинство тех мускульных сокращений, которые выражают наши интимные чувства, стоит придать членам соответствующее положение.

Так, больная начинает улыбаться, когда к ее губам подносят пальцы, обращенные к ней внутренней стороной; ее лицо становится угрожающим, когда вытягивают вперед ее руку, сжатую в кулак... все эти движения лица выполняются спонтанно без участия воли или сознания пациентки. Речь идет о совершенно автоматическом поведении... больная действует машинально, как настоящий автомат, в тот момент когда приданные ей выражение или движение вызывают активность системы нервных клеток, отвечающих за данные действия».

Истеричка у Шарко не просто работает подобно классическому актеру, чья мимика обыкновенно считается отражением его внутреннего состояния. Она выражает страсти, не имеющие никакого отношения к ее

внутреннему состоянию. Ее мимика не является отражением хаотического, темного, мистического мира души. Мимика истерички является чисто механическим, мускульным отражением движения тела. Она работает на принципах чистой механики. Если представить мимику в качестве означающего, то его означаемым будет не темная область психики, а ясная механическая сфера оторванной от психики телесности. Лицо окончательно здесь увязывается со всем телесным механизмом, становясь его неотъемлемой частью. Такое изменение знаковой функции мимики меняет и ее механику. Лицо истерички принимает гораздо более отчетливые и неестественные масочные выражения, которые лишь условно могут быть соотнесены с определенным психическим состоянием.

Поведение истеричек в опытах Шарко обладало еще одной существенной особенностью. После того как движение члена прекращалось, больная на длительное время сохраняла без изменений свою псевдоэкспрессивную маску. Эту застывшую истеричку Шарко называл экспрессивной статуей и замечал: «Неподвижность полученных таким образом поз исключительно благоприятна для фотографического воспроизведения». Эти благоприятные обстоятельства Шарко использовал более чем широко, создав гигантскую фотографическую иконографию истеричек.

Лицо-маска истерички в данном случае является не просто экраном, но живой фотографией, некой метафорической эмульсией, на которой отпечатывались выражение лица, поза. Истеричка действует как фотографический аппарат. В этих застывших экспрессивных позах лицо-маска и лицо-машина объединяются воедино в странном симбиозе. Лицо истерички сохраняет все свойства лишенной выразительности маски, ее статичность и пустоту с энергичным отпечатком механического мускульного движения лица-машины. Механика лица-машины здесь как бы преобразуется в серию фаз-масок. Речь идет по существу о фотографировании движущейся машины, которая может быть остановлена в любой момент своего движения.

Показательно, что Кулешов в 1922 году начинает регулярно фотографировать своих натурщиков. Хохлова вспоминала: «В это время Кулешов начал снимать актеров мастерской у себя дома на фото. Он снимал нас в разных этюдах, в разных ракурсах, в разном освещении. Из этих фотографий был составлен альбом, который он называл "прейскурант мастерской", демонстрирующий ассортимент наших актерских возможностей». Среди фотографий натурщиков значительное место занимают изображения

гримас, подчеркнутых до гротеска мимических движений лица. Эти фотографии нельзя прочесть как традиционное представление актера в роли, акцентирующее экспрессивность мимики. Перед нами скорее «экспрессивные статуи» Шарко, демонстрирующие пиковые фазы лицевой механики, возможности мускульного механизма лица.

При всех поправках и отличиях иконография натурщиков Кулешова лежит в той же плоскости, что иконография истеричек Шарко.

И это неудивительно: за фотографиями французского психиатра и советского режиссера стоит во многом сходная идеология. Такой вывод может показаться более чем парадоксальным. Ведь новый человек советской утопии — это сверхрациональное существо, способное к тотальному сознательному контролю своего поведения, в то время как истеричка — не более чем бессознательный автомат, управляемый извне. Но эта противоположность на деле оказывается куда менее фундаментальной, чем кажется на первый взгляд. Сверхрационализация конструктивистского человека осуществляется за счет элиминации того темного психического образования, которое называется душой. Таким образом, поведение человека полностью отчуждается от любой случайности, любой непредсказуемости, связи с психологическим мистицизмом. Новый человек советской утопии по существу призван управлять собой как другим, тем самым превращая свое тело в марионетку собственного разума. При этом его разум, отчуждаясь от души, приобретает некий безличный характер, он становится разумом «другого». Станным образом натурщик как бы объединяет в себе и волю врача, и тело пациентки, поскольку и разум и тело выступают в нем как разум другого и тело другого.

Конструктивистский принцип недоверия к душе и уравнивания тела с механизмом вообще неожиданным образом перекликается с определенным типом психозов, которые начинают привлекать внимание психиатров и психоаналитиков в конце XIX — начале XX века. Психоанализ как будто открывает конструктивистского человека в параноике и шизофренике почти одновременно с теоретиками и практиками искусства.

В ранних «Исследованиях истерии» З. Фрейд и И. Брейер уже описывали этимологию истерии через метафору «чужого тела, которое долгое время спуска после проникновения (в живую ткань.— М. Я.) все еще продолжает быть работающим агентом». Механика истерии опи-

сывается здесь через проникновение «чужого тела», отчужденной телесности.

В 1911 году Фрейд обращается к анализу знаменитого случая Даниэля Пауля Шребера, параноика, считавшего, что Бог с помощью нервов-проводов-лучей лишает его воли и руководит его действиями. Провода-лучи Бога превращают Шребера в своего рода машину. Но эта «влияющая машина» шизофреника становится объектом специального рассмотрения в эссе ученика Фрейда Виктора Тауска в 1919 году, именно тогда, когда Кулешов активно приступает к своей работе. Тауск описывает случаи шизофрении, при которых пациенты считают, что на них влияет некая машина, лишаящая их воли и самих их превращающая в механических кукол. Но может быть, самое поразительное в эссе Тауска то, что «влияющая машина» описывается им как **кинематограф**: «...эта машина обычно волшебный фонарь или кинематограф... Она производит или уничтожает мысли и чувства с помощью волн или лучей, или таинственных сил, которые не в состоянии объяснить познания пациента в физике. В подобных случаях машина

часто называется "аппаратом внушения". Ее конструкция не может быть объяснена, но ее функция состоит в том, чтобы передавать или "выкачивать" мысли и чувства... Она производит моторные движения в теле».

Тела, подверженные воздействию «влияющей машины», сами становятся похожими на нее, симуляторами этой машины. Мы убедились в том, что шизофреническая машина Тауска, воплощенная в кинематографе, явно воздействует на тело. Лицо-машина и лицо-маска натурщиков Кулешова, работая как камера и экран, неожиданным образом воспроизводят работу кинематографа. Истеричка Шарко преобразуется в фоточувствительную пластинку. Невротик, как и конструктивистский натурщик, оказываются в сфере влияния «влияющей машины» кинематографа. Изобретение кино, изобретение истерии и психоанализа вырабатывают новый антропологический миф, который, обогатившись новыми эстетическими идеями, становится утопией механического «чудовища» Кулешова.



НАШИ АВТОРЫ

АЛИЕВ АРИФ ТАГИЕВИЧ — см. «Киносценарии» № 1, 1991 г.

КОЖУШАНАЯ НАДЕЖДА ПАВЛОВНА. Закончила филологический факультет Уральского государственного университета в 1974 г. и Высшие курсы режиссеров и сценаристов (мастерская С. Л. Лунгина и Л. В. Голубкиной). Автор сценариев короткометражных фильмов «С четверга на пятницу» (1983 г., реж. А. Зельдович), «Нам не дано предугадать» (1986 г., реж. О. Нарущая; опубл. в ж. «Киносценарии» № 3, 1986 г. под названием «Про войну»), «Торо» (1986 г., реж. Т. Телинов), «Бузкаши» (1987 г., реж. П. Ахматов). По ее сценариям поставлены художественные фильмы «Зеркало для героя» (1988 г., реж. В. Хотиненко), «Муж и дочь Тамары Александровны» (1989 г., реж. О. Нарущая), «Нога» (1991 г., реж. Н. Тягунов) и мультипликационный фильм «Дело прошлое» (1990 г., реж. О. Черкасова). Сценарий «Воскресный день» опубликован в ж. «Киносценарии» № 4, 1986 г.

ЛИТВИНОВА РЕНАТА МУРАТОВНА. Закончила сценарный факультет ВГИКа в 1989 г. (мастерская К. Парамоновой и И. Кузнецова). Автор сценариев фильмов «Ленинград. Ноябрь» (1991 г., в соавт. с О. Морозовым, реж. О. Морозов, А. Шмидт), «Очень любимая Рита, последняя с ней встреча» (снимается на киностудии «Казахфильм», реж. А. Аяпова), «Нелюбовь» (снимается на киностудии «Мосфильм», реж. В. Рубинчик), новой версии фильма «Трактористы» (в соавт. с Г. Алейниковым, снимается на киностудии «Мосфильм», реж. братья Г. и И. Алейниковы). Сценарий «Принципиальный и жалостливый взгляд Али К.» опубликован в ж. «Киносценарии» № 6, 1989 г. Автор сценария «Весна» (1989 г., в соавт. с Г. Алейниковым).

ПИРРО УГО (род. в 1920 г.). Итальянский писатель, журналист, кинодраматург. Автор и соавтор сценариев фильмов «Рим, 11 часов» (1952 г., реж. Дж. де Сантис), «Опасно: бандиты!» (1952 г., реж. К. Лидзани). Автор пяти романов, два из которых послужили основой для фильмов «Они шли за солдатами» (1956 г., реж. В. Дзурлини) и «Иованка и другие» (1959 г., реж. М. Ритт). В соавторстве с Элио Петри написаны сценарии фильмов: «Каждому свое» (1967 г.), «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений» (1970 г.), «Рабочий класс идет в рай» (1971 г.), «Собственность больше не кража» (1973 г.), «Тодо модо» (1975 г.), «Грязные руки» (1978 г., по пьесе Ж.-П. Сартра). Фильмы поставлены режиссером Элио Петри.

ПЕТРИ ЭЛИО (1929—1982). Итальянский режиссер, сценарист, критик. Дебютировал фильмом «Убийца» (1961 г.); «Считанные дни» (1962 г.). Наиболее значительные произведения созданы им

в сотрудничестве со сценаристом Уго Пирро: «Каждому свое» (1967 г., по повести Л. Шаши), «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений» (1970 г.), «Рабочий класс идет в рай» (1971 г.), «Собственность больше не кража» (1973 г.), «Тодо модо» (1975 г.), «Грязные руки» (1978 г., по пьесе Ж.-П. Сартра).

ТЮРИН РУДОЛЬФ КОНСТАНТИНОВИЧ (род. в 1938 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1965 г. (мастерская К. Парамоновой). Автор сценариев художественных фильмов «Птицы наших надежд» (1973 г., реж. Э. Ишмухамедов), «Кровь и пот» (1975 г., реж. А. Мамбетов и Ю. Мاستюгин), «Серебряный рог Алатау» (1976 г., реж. В. Пусурманов), «Вкус хлеба» (1979 г., совм. с А. Лапшиным, В. Черныхом и реж. А. Сахаровым), «Прощание» (1980 г., совм. с Л. Шепитько и Г. Климовым, реж. Э. Климов), «Памятник» (1983 г., реж. А. Каблуков) и др. Автор сценариев «Маляры» (1965 г.), «Бунт на коленах» (1965 г., «Киносценарии» № 2, 1988 г.), «Предполье» (1972 г., «Киносценарии» № 4, 1988 г.), «Рахманинов» (1978 г.), «Республика гениев» (1979 г.), «День как день» (1985 г., «Киносценарии» № 4, 1987 г.) и др.

ЧЕРНЫХ ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ (род. в 1935 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1967 г. (мастерская И. Вайсфельда и Н. Фокиной) и Высшие курсы режиссеров телевидения в 1968 г. Автор сценариев около тридцати художественных фильмов, в том числе: «Человек, на своем месте» (1973 г., реж. А. Сахаров), «Собственное мнение» (1977 г., реж. Ю. Карасик), «Москва слезам не верит» (1980 г., реж. В. Меньшов), «Человек, который закрыл город» (1988 г., совм. с А. Боринным, реж. А. Гордон), «Культоход в театр» (1983 г., реж. В. Рубинчик), «Выйти замуж за капитана» (1984 г., реж. В. Мельников), «Любовь с привилегиями» (1990 г., совм. с Е. Брагинским, реж. В. Кучинский), «Я объявляю вам войну» (1991 г., реж. Я. Лапшин).

ЧЕЧУЛИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1932 г.). Закончил операторский факультет ВГИКа в 1957 г. (мастерская Б. Волчека). Как оператор-постановщик снял около тридцати художественных фильмов. В журнале «Киносценарии» опубликованы «Записки конформиста, не дожившего до пенсии» (№ 4—6, 1990 г., № 1, 1991 г.).

ЯМПОЛЬСКИЙ МИХАИЛ БЕНЕАМИНОВИЧ (род. в 1949 г.). Закончил МГПИ им. В. И. Ленина. Кандидат педагогических наук. Доктор искусствознания. Старший научный сотрудник ВНИИ киноискусства. Автор работ по вопросам теории и истории кино, семиотики и культурологии.

2р 00к
70434

5

КИНОСЦЕНАРИИ

1991